

изд. 1897.

Волынский, Р. Д. С

СОБРАНИЕ
РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ
П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.



Съ усиліемъ подняла она правую руку и прошлась ею по лбу и щекамъ. На лбу—липкій потъ. На головѣ—гуг-таперчевый пузырь со льдомъ.

Ходъ болѣзни вспомнился ей. Простуда, тупая головная боль, ознобъ, разстройство желудка, жаръ... Перевезли ее въ больницу.

„Въ больницу“,—повторила она беззвучно спекшимися губами, и ужасъ ея возрасталъ. Она познала особую боязнь больницы, общую и простому народу, и господамъ.

Больница, вѣдь это вѣрная смерть,—нищенская, рядовая, безпривѣтная, съ ужасными операціями, съ грубымъ равнодушіемъ врачей, фельдшеровъ и сидѣлокъ, лежанье по мѣсяцамъ въ палатахъ, длинныхъ, уставленныхъ койками, пропитанныхъ запахомъ госпитальнаго смрада и карболки, гдѣ около васъ стонуть, храпять, крикомъ-кричать и дѣлають все то, чѣмъ немощь человѣческая становится грязна и противна,—больница, гдѣ по утрамъ унтеръ обходитъ палаты и громко спрашиваетъ:

— Кому причащаться?

И смерть тамъ предметъ промысла, обычная статья мелкихъ доходовъ служителей, причта, гробовщиковъ.

Рука больной упала на фланелевое одѣяло, высоко поднятое до подмышекъ; голову она откинула немного на подушку. Страхъ ея не пропадалъ; она все яснѣе думала о близости смерти. И отвращеніе къ больницѣ также росло, хотя она лежала въ просторной комнатѣ, на чистѣйшемъ бѣлѣ, воздухъ провѣтривался, пахло чѣмъ-то ароматическимъ, къ ней приставлена „сестра“—и ночуетъ около нея уже не первую ночь... Она умретъ вотъ на той же кровати, одна или на рукахъ сестры, въ безпамятствѣ, можетъ-быть, безъ большихъ страданій, какъ будто это не все равно... Не боли страшать ее, а самая смерть, переходъ въ ничто.

Будетъ лежать на той же кровати, а потомъ на столѣ, трупъ; *ея* трупъ! Онъ въ одинъ день разложится... отъ него пойдетъ невыносимый запахъ... Положатъ его въ гробъ и зароютъ въ мокрую яму,—теперь октябрь,—а тамъ ждуть его черви, полное уничтоженіе.

Нервное вздрагиваніе потрясло больную до маковки.

Перейти въ ничто? Оборвалась жизнь... Но она не хочетъ! Этого нельзя!.. Она не свела своихъ счетовъ!.. Развѣ она готова къ переходу туда?

„Куда?“—мысленно спросила она себя. Въ первый разъ

въ жизни задала она себѣ *этотъ* вопросъ, рѣшительно въ первый.

Она не думала никогда, съ тѣхъ поръ, какъ помнила себя взрослой, про какіе-нибудь счеты съ тѣмъ, что будетъ „на томъ свѣтѣ“. Повторяла она, вмѣстѣ съ другими, эти слова: „на томъ свѣтѣ“, какъ говорятъ: „царство небесное“ или „горняя обитель“, по ничего они ей не представляли собою, никакой картины, и не вызывали особаго чувства. Сколько великихъ постовъ прошло съ говѣньемъ, исповѣдью, причащеніемъ... Она надѣвала бѣлое платье, повторяла за священникомъ вполголоса торжественныя слова: „Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко Ты еси“... На исповѣди все обходилось прилично и мягко, она признавалась въ своихъ грѣхахъ общими мѣстами, разъ навсегда затверженными... И когда священникъ спрашивалъ:

— Не имѣете ли еще какихъ особенныхъ прегрѣшеній?

Она неизмѣнно отвѣчала:

— Не припомню, батюшка.

И въ самомъ дѣлѣ, она не помнила, или ихъ и совсѣмъ не было, этихъ „особенныхъ прегрѣшеній“, такихъ, за которыя служитель алтаря налагаетъ суровыя эпитиміи... Такъ прошло десять, двадцать, тридцать лѣтъ.

Ей сорокъ пять, минуло въ сентябрѣ, въ самый день четырехъ именинницъ: Вѣры, Надежды, Любви и Софіи. И, по крайней мѣрѣ, двадцать лѣтъ съ того времени, какъ она овдовѣла, тянулся одинъ большой и многообразный смертный грѣхъ: лжи, лицемерія, затаеннаго ехидства и человѣконенавистничества.

Она перейдетъ въ ничто, или въ „лучшій“ міръ, послѣ двадцати лѣтъ, полныхъ этого первенствующаго грѣха. Вся ея жизнь мгновенно предстала ей, охваченной ужасомъ смерти, какъ безконечная ткань изъ двоедушныхъ словъ, поступковъ, минъ, жестовъ, съ неустанною работой обдумыванія, подготовки, актерской практики, точно заучиваніе цѣлой сотни ролей передъ зеркаломъ.

И она должна умереть, быть-можетъ, сегодня или завтра, съ такимъ прошедшимъ? Лгать себѣ уже нельзя. Если Господь смирится надъ нею и пошлетъ ей исцѣленіе,—а она была свѣжая, здоровая и сильная женщина,—она стряхнетъ съ себя свою оболочку, вѣвшаюся въ нее

ость ея положенія, — грѣхъ лицемѣрія, двоедушія и затаенной злобности.

Головъ легко, почти совсѣмъ легко; боли она уже не чувствуетъ въ вискахъ и темени. Она приподнялась съ тѣмъ туловищемъ и прислонилась спиной къ тремъ подушкамъ.

Новый взглядъ въ уголъ, на кресло, гдѣ спала сестра милосердія, приостановилъ ея страхъ.

Эта сестра ходитъ за нею по призванію, изъ жалости къ людямъ, не спала цѣлыя ночи напролетъ и всегда кротко обращалась съ нею, выносила ея нервничанье.

Въ болѣзни маска спала съ больной; сладкій звукъ голоса, усвоенный ею со всѣми, исчезъ, перешелъ въ хриплый, отрывистый и часто злобный. А сестра была неизмѣнно вынослива.

Вотъ и теперь, стѣдить ей окликнуть эту, уже пожилую дѣвушку, она проснется безъ всякаго жеста скуки и нетерпѣнія, безъ зѣвоты и потягиванія, и тихо спросить.

— Что угодно?

Жажда мучить больную. Она, въ полутьмѣ, не найдетъ питья, да и руки не повинуются.

— Сестра! — окликнула она, и ея голосъ раздался въ комнатѣ.

Голосъ былъ слабый, но одно это слово произнесла она слащаво, фальшиво.

„Господи! — внутренно выговорила она со слезами на глазахъ, — опять эта комедія. Не избавиться мнѣ отъ нея никогда! И умереть-то я никогда не умру искренно и просто!“

Но почему же ей не обратиться къ сестрѣ мягкимъ голосомъ? Тутъ нѣтъ фальши: хоть къ своей сидѣлкѣ почувствовать искреннюю благодарность.

— Пить хочется, — прошептала она.

Ея голосъ тотчасъ упалъ. Она не могла уже мѣнять, по произволу, его звука.

Сестра подошла къ столику около кровати.

— Извольте, — чуть слышно выговорила она.

Жадно стала пить больная изъ кружки.

— Сразу много нельзя, — остановила ее сестра.

Громко вздохнула больная; питье еще больше освѣжило ее. Но мысль о смертной опасности опять начала овладѣвать ею.

— Позвольте температуру, — сказала сестра, взяла со

стола термометръ и своими гибкими и привычными пальцами стала разстегивать кофту больной.

Та повиновалась, закрыла глаза и лежала такъ, недвижно, съ термометромъ подъ мышкой. Слышно было только ея неровное дыханіе. Сестра присѣла на табуретъ, въ ногахъ кровати.

— Сестра!—окликнула больная.

— Что угодно?

— Я умру?

— Господь съ вами!

— Что жъ скрывать?.. Надо подготовиться. Я чувствую... смертельную слабость.

— Это ничего,—отвѣчала сестра, не мѣняя позы.

— Я была въ безпамятствѣ?

— Да.

— И долго?

— Съ перерывами—нѣсколько дней. Съ той среды.

— Что жъ докторъ сказалъ?

Сестра хотѣла было запретить больной говорить, но ей стало жалъ. Отчего же не утѣшить, не дать надежды? Докторъ не отчаивается. Были признаки ослабленія бо-
лѣзни.

— Умру?—порывисто добавила больная.

— Что вы! Что вы! Богъ съ вами! Вчера температура не поднималась.

— Все равно!

Но, про себя, больная радостно повторяла: „температура не поднималась“,—и что-то блеснуло у ней въ головѣ и отдалось въ груди... Можетъ, и встанетъ!

Сестра подошла къ ней, вынула термометръ, поднесла его къ ночнику и проговорила погромче:

— Вотъ видите. Вчера было сорокъ и пять десятыхъ, а сегодня сорокъ ровно. Падаетъ температура!—вырвалось у ней теплымъ звукомъ.

„Радуетса!—подумала больная,—радуется вчужѣ; а что ей за дѣло до меня, до того, умру я или выздоровѣю?“

— Спасибо, голубушка,—вымолвила она внятно.

— Нельзя говорить!

Больная смолкла. Головѣ продолжаетъ быть легко, мысли ползутъ безъ усилія, и она не можетъ ихъ остановить; только слабость мѣшаетъ выговаривать ихъ беззвучно губами, какъ она привыкла это дѣлать, когда была здорова.









Библ. кат. Восточный, Р. Д. С

СОБРАНИЕ
РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ
П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.





Труд. А. Ф. МАГЕСА, Ср. Целенч. № 1.

— Превосходно!.. Позвольте языкъ.

Онъ уже сидѣлъ на краю кровати и взялъ ея руку. Солнце обливало свѣтомъ его бѣлый лобъ, переходившій въ такую же бѣлую лысину крутого черепа. На немъ гладко сидѣлъ черный сюртукъ, до верху застегнутый. Отъ него пахло о-де-колономъ.

— Не дурно!.. Не дурно!.. Appetitъ есть?

— Да, докторъ, очень даже большой, — шутиливо отвѣтила больная.

— Не позволите ли на полную порцію? — спросила дѣловымъ тономъ сестра.

— Конечно! И вина... до двухъ рюмокъ. Вамъ нашъ порвейнъ по вкусу? — весело спросилъ онъ больную.

— По вкусу.

— Ну, и прекрасно!

Онъ взялъ со столика склянку съ микстурой. Ея оставалось на доньшкѣ.

— Мы вамъ другое пропишемъ.

Фельдшерица записала рецептъ и порцію подъ диктовку доктора.

Онъ все еще сидѣлъ на кровати и оглядывалъ больную.

— Еще недѣлку, и можно будетъ выписаться... коли пожелаете.

— А читать можно?

— Не совѣтую... погодите еще денька три-четыре. Зачѣмъ мозги-то утруждать? Послѣ такой болѣзни...

— Привычка.

— Да, вы, вѣдь, были, кажется, чтицей?

Она ничего не отвѣтила, только кивнула головой.

Сестра и фельдшерица поняли, что докторъ хочетъ о чемъ-то съ больной переговорить, и тихо вышли изъ камеры.

— Выписаться всегда успѣете, — сказалъ докторъ и посмотрѣлъ на больную другимъ, болѣе серьезнымъ взглядомъ своихъ пронизательныхъ и глубокихъ глазъ. — Вамъ здѣсь не дурно?

— Очень хорошо.

— Вотъ видите. Поживите у насъ. Черезъ недѣлку будете ходить, работать можете.

— А меня не погонять? — спросила она вкрадчиво.

Это у ней вышло противъ ея воли.

„Сразу не отстанешь“, — тотчасъ подумала она.

— Кто же смѣетъ? Отъ меня зависитъ, — сказалъ увѣ-

ренно докторъ, и повыше правой брови у него явилась складка человѣка, съ которымъ не такъ-то легко воевать.

Она его прекрасно понимала, и ее влекло къ нему. Какая разница—онъ и она, хотя оба они трудовые, подневольные люди. Вѣдь и лѣкарей нынче на Москвѣ какъ песку морского!.. Не поладилъ съ начальствомъ—и попросить вонъ, все равно, что ее всякая вздорная старуха или франтиха-барынька. А какая разница! Онъ знаетъ, что ему долженъ быть ходъ—не здѣсь, такъ въ другомъ мѣстѣ, не въ Москвѣ, такъ въ губерніи. Сестра уже говорила ей, что Василій Ѳеодоровичъ напечаталъ „ученую книжку“, и не просто медицинскую, а съ литературною отдѣлкой. Пожалуй, попадетъ и въ доценты, ученое имя себѣ сдѣлаетъ. И онъ—сынъ вольноотпущеннаго (это ей тоже сестра сообщила вчера), даромъ, что у него такой красивый обликъ. Что-то крестьянское и до сихъ поръ чувствуется.

Какъ же ей равнять себя съ нимъ? Какую ѣдку зависти возымѣла бы она къ нему до своей болѣзни! Какъ бы она стала ему льстить въ глаза, а про себя честить его разночинцемъ, выскочкой, „лукавымъ мужичонкомъ“, особливо если бѣ „ея барыня“ сдѣлала его годовымъ докторомъ и стала за нимъ ухаживать. Онъ изъ „подлага“ сословія, а она—полковничья дочь!.. Теперь зависти никакой нѣтъ. Она отъ всей души желаетъ ему блестящей карьеры и почти гордится тѣмъ, что она у него лѣчилась.

— Вы отсюда на прежнее мѣсто?—спросилъ докторъ, вынимая изъ кармана панталонъ узкую серебряную папиросницу.—Васъ одна папироса не обезпоятъ?

— Пожалуйста, я очень люблю.

И она не лгала. Табачный дымъ она выносила; но ей пріятно въ особенности то, что она можетъ разрѣшить ему куренье, доставить ему хоть вздорное удовольствіе.

Докторъ закурилъ, сунувъ папиросу въ лѣвый уголъ рта и зажмуривъ на той же сторонѣ глазъ.

— Куда я отсюда?—переспросила она медленно.—Какъ придется!.. Къ Марьѣ Филипповнѣ Грибановой, если мѣсто не занято.

— Она о васъ похлопотала для помѣщенія сюда.

— Она. Что-то нѣтъ отъ нея никого. Вотъ буду по-сильнѣе—напишу.

— Можно и поручить кому-нибудь изъ нашихъ спра-

виться. Угодно, и я заѣхалъ бы Гдѣ она живетъ? Кто это: важная барыня или коммерсантка изъ нынѣшнихъ, что въ *тьерсъ* *этѣ* лѣзутъ и въ бары?

Ротъ его повела усмѣшка.

— Пожилая дѣвица, — договорила больная и стала слѣдить за собою, чтобы не проскользнуло въ ея тонѣ никакихъ фальшивыхъ звуковъ. — Барышня-дворянка, съ хорошимъ родствомъ.

— Старушенція?

— За пятьдесятъ.

— Свой домъ?

— Нѣтъ. Живетъ въ *chambres garnies*.

И она назвала улицу.

— Знаю! бывалъ тамъ. Одинъ мой пациентъ прозвалъ эти номера: „Дворянское гнѣздо“.

— Очень вѣрно!

Они оба разсмѣялись: онъ погромче, она посдержаннѣе. Собственный смѣхъ показался ей добродушнымъ. Она осталась имъ довольна.

— Мѣсто хорошее? — спросилъ докторъ тономъ чело-вѣка, знающаго цѣну людямъ и работѣ у чужихъ людей.

— Какъ сказать?.. Положеніе такое же, какъ и вездѣ... въ компаньонкахъ, — не безъ труда выговорила больная. — Двадцать рублей.

— На полномъ содержаніи?

— Да, и комнатка своя. Она занимаетъ цѣлое отдѣленіе.

— Капризная, небось, дѣва?

— Не особенно.

Ей рѣшительно не хотѣлось пробыть свою недавнюю „госпожу“, хотя случай и представлялся прекрасный.

— Ну, такъ торопитесь особенно нечего, — и докторъ поднялся, — справиться — справьтесь, или мнѣ поручите, я въ тѣ мѣста часто ѣзжу, а пока — ѣшьте, пейте, мысли печальныя отгоняйте. Благо и солнце у васъ вонъ какъ играетъ!

Онъ пожалъ ей руку. Прикосновеніе его руки было пріятное: мягкая и теплая кожа совсѣмъ уже не отзывалась мужицкимъ родомъ.

— Благодарю васъ, Василий Ѳеодоровичъ, — искреннею нотой проводила его она и, по уходѣ доктора, оставалась минутъ десять съ закрытыми глазами. Все лицо ея выражало душевную кротость.

III.

Швейцаръ, въ чуйкѣ, съ лиловымъ воротомъ рубашки, отворилъ наружную дверь и впустилъ даму, сошедшую съ дрожекъ.

— А, Муза Прокофьевна! Вотъ и вы пожаловали!

Она, уже на дрожкахъ (санний путь еще не насталъ), почувствовала слабость, какъ только проѣхала всего одну улицу. Слишкомъ понадѣялась на себя. Правда, докторъ разрѣшилъ прокатиться. А ей надо же знать, куда она дѣнется послѣ шестинедѣльнаго лежанья въ больницѣ: найдетъ ли свободнымъ прежнее мѣсто, или должна будетъ взять комнату и начать рыскать по Москвѣ, отыскивать себѣ пропитаніе?

Ея „колотовка“,—такъ она звала, до болѣзни, свою дѣвицу-барышню,—прислала ей разъ полфунта чаю, но на ея письмо ничего не отвѣтила. Ъхала Муза Прокофьевна съ малою надеждой и старалась всю дорогу, подъ траску извозничьей пролетки, не возмущаться безсердечіемъ своей старой дѣвы. Изъ больницы ее не тянуло. Если бы можно, она осталась бы тамъ подольше. Ея тамошняя жизнь, между докторомъ и сестрой, текла въ благодушномъ настроеніи. Выздоровливать, видѣть на себѣ заботу хорошихъ людей оказалось пріятнѣе, чѣмъ ей говорили когда-то. Иными днями она себя не узнавала. Остался ея мягкій голосъ съ пѣвучимъ московскимъ произношеніемъ; но все, что она скажетъ вслухъ, то самое она и думаетъ, и ни разу не поймала она себя на чемъ-нибудь двоедушномъ и лукавомъ.

— Николаюшка, здравствуй!—сказала она швейцару, когда вошла въ переднюю и присѣла на диванъ, стоявшій у входа, противъ доски съ именами квартирантовъ.

И прежде звала она его такъ же ласково, но тогда это была маска. Всѣхъ людей въ номерахъ она ненавидѣла за ихъ дерзость или безцеремонность съ „мадамой“, т. е. съ ней, съ компаньонкой, и швейцара, и коридорнаго Евсея, и номерную Оеклушу, и собственную старую горничную своей госпожи, Прасковью.

— Марья Филипповна у себя?—спросила она, переводя дыханіе.

— Никакъ нѣтъ-съ... Ушли гулять на Тверской бульваръ.

— Однѣ ушли?

- Никакъ нѣтъ-съ, съ барышней.
- Съ какой барышней?
- Къ нимъ ходить, по утрамъ... читають имъ.
- Чтица, стало-быть?
- Такъ точно.
- Изъ какихъ?
- Не могу знать навѣрное. Изъ пріютскихъ никакъ.

„Мѣста лишилась“,—проговорила про себя Муза Прокофьевна, но не разсердилась, не начала мысленно чистить „колотовку“. Москва велика и не было никакой особенной сладости жить у старухи и выносить ея нравъ. Можетъ, это и къ лучшему.

— Кто же тамъ, въ помѣщеніи?

— Прасковья Дементьевна.

Прасковья! Невыносимая Прасковья! Съ ней она жила въ одной комнатѣ, должна была уступить ей мѣсто за дощатою загородкой, гдѣ та спала, и выносить ея сапъ, храпъ и воркотню подъ носъ, а по утрамъ шлепанье стоптанными башмаками, безпрестанную бессмысленную ходьбу въ коридоръ и назадъ и возню съ вареніемъ кофею „для барышни“. Она только и умѣла угодить кофеемъ Марьѣ Филипповнѣ. Прасковья выросла вмѣстѣ съ барышней, такая же, какъ и та, старая дѣва, рабски привязанная къ ней, тупоголовая, обидчивая и спесивая. Сколькихъ неимоверныхъ усилій стоило Музѣ Прокофьевнѣ постоянно держаться съ ней ласковаго, иногда искательнаго тона!.. И такъ каждый день, почти два года, зимой и лѣтомъ, въ Москвѣ и въ деревнѣ, гдѣ Прасковья помѣщалась тоже рядомъ съ нею, за перегородкой, и сопѣла, и храпѣла, и бормотала себѣ подъ носъ, и хлопала дверью, и шлепала башмаками ежеминутно.

— Хорошо, — сказала Муза Прокофьевна, и должна была сдѣлать надъ собой усиліе, чтобы ничего не прибавить.

Меньше говорить—вотъ вѣрное средство не лгать и не фальшивить. За мысли нельзя ручаться. Онѣ приходятъ или не приходятъ—не въ нашей волѣ, но говорить и не говорить—этимъ мы можемъ управлять.

Она встала и начала подниматься по лѣстницѣ потихоньку, придерживаясь рукой за перила, и дышала тяжело, чѣмъ до болѣзни.

На первой площадкѣ ея поклонился, свѣсивъ голову на крахмальную грудь рубашки, коридорный Евсей, бри-



тый, представительный лакей, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, правая рука управляющаго. И передъ нимъ она не разъ лебезила. Онъ бывалъ съ ней вѣжливъ, по совѣстѣ не такъ, какъ съ Марьей Филипповной. Ту всѣ по-баивались, и даже звали ее иногда „генеральшей“, хотя она только генеральская дочь.

— Евсѣй, здравствуй!—отвѣтила она ему на поклонъ и не назвала „Евсѣюшка“, какъ прежде.

Надо было подняться еще цѣлымъ этажомъ выше. Марья Филипповна, по скупости, жила высоко, чтобы за отдѣленіе въ три комнаты, такое же, какъ въ бельэтажѣ, платить двадцатью рублями дешевле. И, все-таки, одной такой „старушенціи“,—Муза Прокофьевна вспомнила веселое слово доктора,—надо цѣлое помѣщеніе съ гостиной, и спальней, и комнатою „*pour mes gens*“, какъ она называла своимъ знакомымъ; а въ числѣ этихъ „gens“ значилась и компаньонка. Считая лакея и горничную при номерахъ, полотеровъ, кубовщика и швейцара, за ней ухаживало семь человекъ.

Муза Прокофьевна задержала ходъ этихъ мыслей, окликнувъ на верхней площадкѣ номерную Оеклушу.

Оеклуша—добрая дѣвушка и хорошенькая. Ея глазки, въ родѣ мышиныхъ, ласково и смѣшливо мигаютъ. Носикъ пуговкой немножко сталъ краснѣть, свѣтлое ситцевое платье сидитъ на ней ловко и бѣлый фартукъ—къ лицу.

Съ Музой Прокофьевной она всегда была привѣтлива и ни отъ какой услуги не отговаривалась недосугомъ. Но и ее компаньонка не любила, по цѣлымъ недѣлямъ внутренно придиралась къ ней, подозрѣвала ее въ шашняхъ съ коридорнымъ, наконецъ, просто не могла равнодушно смотрѣть на ея молодость, на свѣжее личико, на пышную грудь и слышать ея звонкій, ласкающій голосокъ. Постоянная веселость и выпосливость Оеклуши возмущали ее.

„Этакая идиотка!—часто говорила она про себя, проходя по коридору, гдѣ Оеклуша летала изъ одного номера въ другой.—Этакая идиотка! Чего она рада?.. Цѣлый день мечется по комнатамъ, прибираетъ, выноситъ, чиститъ, сѣжигать разъ сорокъ на кухню и поднимется пятьдесятъ ступенекъ, живетъ въ конуркѣ, безъ окна, ѣсть урывками и—довольна, улыбается... Щеки у ней точно два масляныхъ блина...“

Этого она не могла простить Оеклушѣ. Житѣе номерной во много разъ тяжелѣе ея службы. Она это сознавала и еще больше раздражалась; кончила даже тѣмъ, что стала находить положеніе Оеклуши гораздо лучше своего, считать, сколько отъ каждаго жильца она получить въ мѣсяцъ, и безпрестанно повторяла про себя, что номерная горничная ни у кого въ услуженіи не находится, а только исполняетъ свою должность, между тѣмъ какъ она—Муза Прокофьевна Петина, дочь полковника и вдова чиновника восьмого класса—живетъ въ услуженіи у старой колотовки, за которой ходятъ семь человѣкъ прислуги.

— Муза Прокофьевна... матушка!..

Сердечный возгласъ Оеклуши отдался въ душѣ Петинной. Дѣвушка бросилась къ ней, помогла ей добраться до послѣдней ступеньки и усадила на стулъ, стоявшій на верхней площадкѣ.

— Совсѣмъ задохнулась...—выговорила она.

— Полегчало вамъ, матушка?—спрашивала заботливо Оеклуша.

— Вотъ видишь, Оеклуша, брожу.

— Все еще тамъ лежите?

Оеклуша не захотѣла произнести слово „больница“, но ея пухлый лобъ наморщился на особый ладъ.

— Тамъ еще... скоро выйду... У васъ какъ здѣсь все... по-старому?—спокойно спрашивала Петина и осталась довольна собою.

Оеклуша ей положительно нравилась, и она подумала даже, что если ей придется опять здѣсь жить, у Грибачевой, Оеклуша будетъ скрашивать ея жизнь.

— По-старому,—отвѣтила дѣвушка, и ротъ ея широко улыбнулся. — Только Малинины съѣхали. Антufьева барышня замужъ выходятъ, младшая, изъ тридцатаго номера.

— За кого?

— За офицера. Говорятъ, богатый офицеръ, драгунъ, съ синими лацканами.

— Ну, а тебѣ какъ, Оеклуша? Все такая же тяжелая служба? На подмогу никого не берутъ?

— Нѣтъ-съ... справляюсь!

— Ты утомима!

Она встала и потрепала Оеклушу по плечу. Прежде она этого бы не сдѣлала, хотъ и смазывала медомъ свои слова, когда ей нужно было что-нибудь спѣшное отъ этой дѣвушки.

— Марья Филипповна гулять ушли,—доложила на ходу Оеклуша.

— Знаю. У ней новая чтица? — спросила Петина, не мѣняя спокойнаго тона.

— Новая-сь,—отвѣтила Оеклуша вполголоса.

Ей непріятно было огорчать прежнюю компаньонку Грибановой.

— Живетъ здѣсь?

— Нѣтъ-сь, приходитъ на цѣлый день.

— Молодая?

— Совѣмъ молоденькая,—радостно отвѣтила горничная.

Чуть было не выбрала ее Петина про себя „идіоткой“.

Добродушіе Оеклуши еще возросло въ эти шесть недѣль.

— Изъ барышень?

Вопросъ Петина задала еще тише, чѣмъ ей говорила Оеклуша, въ трехъ шагахъ отъ двери въ ея бывшую комнату.

— Въ школѣ какой-то училась, какъ въ родѣ пріюта. Хорошенькая, волосы чудесные.

— По-французски читаетъ?

— Не слыхала-сь. Кажется, она не умѣетъ по-французски.

„Не умѣетъ“,—повторила мысленно Петина и, взявшись за ручку двери, сказала:

— Большое спасибо тебѣ, Оеклуша, за добрую память обо мнѣ.

— А вы, Муза Прокофьевна, нешто опять не къ намъ? Вѣдь, я думала, та чтица вамъ взамѣну, пока вы нездоровы были?

— Не знаю, милая, не знаю.

— Къ намъ пожалуйте... У насъ житье покойное... и ко всѣмъ вы привыкли.

Оеклуша разсмѣялась и убѣжала. По коридору уже трещалъ, около ея каморки, электрическій звонокъ.

Муза Прокофьевна постучалась и, не дожидаясь оклика изъ комнаты, вошла туда.

Опять охватилъ ее тотъ запахъ, что шелъ отъ загородки, гдѣ жила Прасковья, — смѣсъ кофе съ коровинымъ масломъ, которымъ она смазывала себѣ волосы, и какой-то травы въ ея сундукѣ, стоявшемъ подъ кроватью, и лампаднаго масла.

— Прасковья Дементьевна! не узнали меня?

Старая горничная, въ шелковой кадавейкѣ и въ сѣткѣ

на темныхъ, еще не сѣдыхъ волосахъ, безъ бровей, что-то готовила на окнѣ, гдѣ стоялъ кофейникъ на спиртовой лампочкѣ и всякія корзинки, склянки и баночки.

— Ахъ, сударыня!.. И въ самомъ дѣлѣ не признала сразу! Долго жить будете!.. Вотъ вы ужъ какъ—оправились совсѣмъ. Позвольте я салонъ-то съ васъ симу.

Прасковья какъ будто обрадовалась бывшей компаньонкѣ своей барышнѣ. Ея хмуро-тупое лицо стало яснѣе. Она помогла Музѣ Прокофьевнѣ снять съ себя лисью шубку съ котиковымъ воротникомъ, приличную, но очень уже подержанную.

— Кофейку не угодно ли? Я духомъ заварю.

Петинной захотѣлось вѣрить, что старуха не фальшивить передъ нею. И ей самой теперь она не такъ противна. Дворовая, какъ дворовая,—пожалуй, лучше очень многихъ: предана безкорыстно, честна, не пьетъ, многое умѣетъ уладить, заштопать, солить, варить и — все это безъ очковъ.

— Благодарю васъ, Прасковья Дементьевна, не хочется.

Она сѣла на кушетку, служившую ей постелью. Прасковья перестала возиться около окна и присѣла на кончикъ стула. Ей, видимо, хотѣлось отвести душу, потолковать съ компаньонкой.

— Вы къ намъ опять?—начала она прямо.

— Да у васъ другая чтица.

— Что жъ, что другая?.. Барышня такъ се взяли... на время. Просто дѣвчонка, изъ пріютскихъ. Одна книгиня-благотворительница подсудобила.

Это деревенское слово „подсудобила“ показывало достаточно, что Прасковья новая чтица не нравится.

— Молодая?

— Дѣвчонка гладкая... Прости, Господи... блохи не укулишь. Все прихорашивается цѣлый день, да коклѣсы свои приглаживаетъ.

— И по-русски, и по-французски читаетъ?—спросила Муза Прокофьевна.

— По-французски? — повторила Прасковья и повела ртомъ.—Кто ее выучилъ?.. И по-русски-то ровно дьячокъ бормочетъ—алаваля!

— Какъ же Марья Филипповна обходится безъ французскихъ книжекъ?

— Такъ и обходится. Вотъ я и говорю вамъ, суда-

рыня, гдѣ же ей васъ заступить! Вы какъ отчеванивали! И я, бывало, отсюда все слышу и разумѣю. Такимъ же образомъ и по-французски.

„Неужели, — подумала Муза Прокофьевна, — Прасковья была мнѣ предана? А я что-то не замѣчала“.

Она оглядѣла дряблѣе лицо горничной и сказала про себя:

„Нѣтъ, это изъ-за непріязни къ новой чтицѣ“.

— Вотъ, кажется, паша пріютская. Слышите, на весь коридоръ каблуками стучить и мурлычетъ... ровно здѣсь, съ позволенія сказать, скверное мѣсто какое!..

Прасковья встала и плюнула.

IV.

Шумно отворилась дверь и вошла новая чтица. Суконное пальто съ барашковымъ воротникомъ и такая же шапочка подъ бѣлымъ шелковымъ платкомъ, румяныя щеки, высокая грудь, густыя брови, молодые зубы, блескъ глазъ, даже родинка на правой щекѣ, — все это въ одинъ мигъ оглядѣла Муза Прокофьевна.

— Прасковья! — окликнула дѣвушка мягкимъ, низковатымъ голосомъ. — Марья Филипповна приказали заварить поскорѣе чаю. Вотъ варенья я принесла и сухариковъ. Марья Филипповна гостей приведетъ. Въ бельэтажѣ новыя жильцы... Антуфьевы: мать и двѣ барышни.

Она это говорила, снимая съ себя платокъ и потомъ шубу и шапочку. Дыханіе у ней, отъ ходьбы, перехватывало. Грудь ея колыхалась подъ кофточкой цвѣта бордо, перехваченной желтымъ кожанымъ кушакомъ. Она положила покупки на комодъ и тотчасъ же обратилась къ чужой дамѣ:

— Вамъ Марью Филипповну? Онѣ сейчасъ будутъ.

Голосъ ея правился Петниной, да и вся она. Молодость пышило отъ нея и замолаживало невольнѣю сорокалѣтнюю женщину, на которую только что глядѣла смерть во всѣ глаза.

„Ее оставить колотовка“, — подумала она и не ощутила злости къ чтицѣ.

Ей стало жалко эту свѣжую, красивую и веселую дѣвушку. Она видѣла, какъ пройдетъ ея жизнь въ меблированныхъ комнатахъ около старой дѣвы, съ ея замашками и тономъ, въ однообразнѣйшей обстановкѣ, и такъ цѣлые годы, пока не пригланется въ жены какому-ни-

будь телеграфисту или конторщику, или не сбѣжить къ студенту, на Патріаршіе пруды.

— Я подожду,—сказала она тихо, безъ приторной сла-
дости, которую навѣрное бы пустила прежде.

— Да онѣ свой человѣкъ,—съ удареніемъ выговорила
Прасковья.—Это Петина, Муза Прокофьевна, у насъ жили...
вотъ въ этой комнатѣ.

— А!.. Вы мадамъ Петина!

У чтицы въ этомъ возгласѣ слышалось смущеніе. Она
сейчасъ же испугалась. Могутъ прогнать. Но молодость и
безпечная натура взяли верхъ.

— Пожалуйте въ гостиную, — ласково пригласила она
Петину, и тотчасъ же, передъ зеркальцемъ на комодѣ,
поправила прическу.

Двѣ густыя черныя косы падали у ней по спинѣ, свя-
занныя внизу.

— Онѣ знаютъ...—не удержалась, осадила ее Прасковья
и прибавила:—Пожалуйте, сударыня, тамъ книжки фран-
цузскія давно васъ ожидаютъ.

Эти слова чтица прекрасно разслышала. Она все еще
поправляла прическу передъ зеркальцемъ.

Прасковья перешла съ Петинной въ слѣдующую ком-
нату, отдѣланную гостиной, свѣтлую, но узкую и неве-
селую, съ репсовою мебелью вдоль стѣнъ и большимъ
столомъ передъ диваномъ. Стѣны стояли голыя, безъ ма-
лѣйшей картинки. Разнокалиберное зеркало торчало на
другой стѣнѣ, въ оправѣ краснаго дерева. Дверь вела въ
третью комнату—спальню. Всѣ три были подъ-рядъ.

— Барышнѣ-то безъ французскаго по вечерамъ скуч-
ненько,—продолжала Прасковья, не понижая голоса.

Петинной стало почти непріятно за эти намеки.

— Кто эти Антуфьевы?—спросила она, чтобы перемѣ-
нить разговоръ, и подошла къ столу, гдѣ лежало нѣ-
сколько книжекъ.

— Генеральша... давнишняя пріятельница барышни и
по деревнямъ сосѣди были. При покойникѣ жили широко.
Теперь обѣдняли. Вотъ пріѣхали вывозить барышень...
А сама-то хвора... Не знаю, какъ и выѣзжать будутъ.
Дѣвки матерья, горластыя,—прибавила Прасковья своимъ
особымъ „непочтительнымъ“ тономъ, хорошо знакомымъ
Петинной.

На столѣ лежало два французскихъ романа и старая
книжка „Revue des Deux Mondes“, какъ разъ тотъ но-

мерь, который она читала Грибановой передъ своею болѣзнию. Стало, съ тѣхъ поръ старухѣ по-французски никто не читалъ. Она своими глазами не работала, кромѣ чтенія писемъ, да и то съ трудомъ. Близорукость перешла у ней въ слабость зрѣнія, особенно на одинъ глазъ.

Въ эту минуту Петина не могла рѣшить, какіе у ней шансы сохранить прежнее мѣсто. Безъ французскихъ книгъ старухѣ скучно; она привыкла къ слушанію романовъ и статей, непременно по-французски. Она и говорила почти всегда на этомъ языкѣ, многосложно, съ претензіей, съ московскими барскими оборотами, любила важничать знаніемъ языка и безпрестанно поправляла Петину; принимала визиты барынь и разныхъ „хрычей“, отъ двухъ до пяти каждый день, и заводила тогда нескончаемый монологъ: или про тѣ мѣста, гдѣ жила за границей, или про знатное родство, или про то, какъ дворянство обижено и упало.

Остаться безъ мѣста, искать его сейчасъ, еще ослабѣвшей отъ болѣзни, пугало ее; но и состоять при Грибановой послѣ житія въ больницѣ, на свободѣ, въ тишинѣ, при уходѣ, лучше котораго трудно и придумать, не привлекало ее нисколько.

Неожиданно отворила и тотчасъ стремительно захлопнула дверь маленькая старушка въ черномъ.

Петина ждала, какъ „барышня“, по своей разсѣянности, думая, что она вошла въ спальню, а не въ гостиную, сейчасъ же повернуть ключъ въ двери.

На этотъ разъ она этого не сдѣлала.

— Кто тутъ? — окликнула она, еще не оборачиваясь совсѣмъ.

— Мы, сударыня, и съ Музой Прокофьевной, — отвѣтила Прасковья громко и возбужденнѣе обыкновеннаго.

— Муза! Это вы?

Старуха прищурила на нее свои подслѣповатыя глаза и подошла къ ней короткими шажками, съ нервнымъ покачиваніемъ сухого, широкаго, согнутаго туловища.

— Déjà... rétablie?—спросила она, не дожидаясь отвѣта, въ носъ, нарастѣвъ и низкимъ голосомъ, и опять такъ еще недавно ненавистный звукъ прошелся по душѣ компаньонки.

Фраза „déjà rétablie?“ отозвалась въ пей, особенно это „déjà“ значило другими словами: „ты, матушка, живуча, какъ кошка, прилетѣла изъ больницы; а я думала, что

ты или отправишься въ Елисейскія поля, или, по крайней мѣрѣ, провалиешься мѣсяца три“.

Все ей противно: манера говорить московской дворянки и старой дѣвы, самый звукъ голоса, гдѣ сидѣлъ оттѣнокъ увѣренности въ себѣ, сознание какого-то и надъ чѣмъ-то своего превосходства, безцеремонное отношеніе ко всему тому, что: „n'est pas de son bord“, при наружности, туалетѣ и даже жестахъ, которые Муза Прокофьевна давно считала старомодными, смѣшными и невоспитанными.

— Поздравляю... со скорымъ выздоровленіемъ, — продолжала Грибанова свой монологъ и, обратившись въ сторону Прасковьи, приказала:—Поскорѣ чай. Каля тебѣ говорила. Пожалуйста только не конайся!..

Ни одного слова отъ сердца, ни одного звука сочувствія своей компаньонкѣ, бывшей при смерти и прожившей съ ней полтора года, хоть въ благодарность за то, что выносила свою подневольность, ухаживала за ней разъ пять въ эти полтора года, и въ деревнѣ, и въ Москвѣ, во время припадковъ ревматизма и болей въ ногахъ, когда старуха дѣлалась невыносима своею раздражительностью.

„И эти москвички,—подумала она,—обитательницы меблированныхъ комнатъ, и барыни въ собственныхъ домахъ воображаютъ, что онѣ добры, гостепріимны, привѣтливы, судачать про иностранцевъ, про заграничные народы, находятъ, что нѣмки, француженки, англичанки—всѣ безъ сердца, всѣ сухи, плохо воспитаны, эгоистки... Да ни въ какой семьѣ самыхъ закорюзлыхъ буржуа или бюргеровъ не встрѣтили бы меня такъ, какъ эта колотва!“

Мысль быстро промелькнула въ головѣ Петинѣ, когда старуха повернулась на низкихъ каблукѣхъ своихъ прунелевыхъ открытыхъ башмаковъ. Она заглянула въ дверь и кликнула:

— Каля! ты приготовила все къ чаю?

„Что это за имя?“—спросила себя Петина, стоя у окна въ неловкой позѣ.

Грибанова не сказала ей даже: „сядьте“.

Она разсудила сама сѣсть и выговорила кротко, но безъ прежней слащавости:

— Извините, Марья Филипповна, я присяду... еще слаба на ногахъ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Старуха кинула эти слова, не оборачиваясь къ ней лицомъ, и прошла въ спальню, повернулась еще на каблукъ и продолжала говорить все на тотъ же тонъ.

— Поторопились! Надо бы вылезать!.. Vous savez... эта болѣзнь... elle peut revenir... возвратная, можетъ-быть.

„Типунъ тебѣ на языкъ!“ — выбранилась Петина, не вытерпѣвъ. Старуха возмутила ее этимъ бездушнымъ умничаньемъ.

Изъ спальни, гдѣ Грибанова начала мыть руки и душиить себя ненавистными Петиною духами пачули, она все говорила:

— Oui, ma chère, поторопились. Вы развѣ совсѣмъ вышли?

— Нѣтъ еще, — громче отвѣтила Петина изъ гостиной. — Но въ концѣ недѣли выпишываюсь. Надо освободить камеру.

Въ гостиной Грибанова, вернувшись, не сейчасъ устала, а все ходила отъ зеркала къ столу, отъ стола къ окну: то книжку возьметъ, то переставитъ горшокъ цвѣтовъ, то поправитъ абажуръ, и все своею сорочьею походкой, съ подпрыгиваніемъ и поворотами на каблукахъ, скоро-скоро, точно будто комната — огромная зала.

„Неужели я не найду ничего лучше, — думала Петина, — а должна буду опять запираяться въ этихъ номерахъ на всю зиму?“

Ее пронизала даже нервная дрожь. Лучше разомъ выяснить вопросъ.

— У васъ чтица? — сказала она совсѣмъ не сладко, но безъ недовольства въ голосѣ.

— Каля!

— Какъ вы ее зовете?

— Каля!.. Калерія!.. Нельзя мнѣ было оставаться безъ никого!

— Я не къ тому, Марья Филипповна. Конечно, вамъ нужна была чтица... Я не хочу ни у кого отбивать мѣста. Если вы довольны этою дѣвушкой — и прекрасно. Я постараюсь найти другое мѣсто.

Ей было удивительно то, какъ это она сказала спокойно, безъ тайной злобы, безъ ужимокъ. Должно-быть, оттого, что, въ самомъ дѣлѣ, она рада будетъ оставаться безъ мѣста, только не идти опять къ Грибановой.

— La petite, — начала старуха (она была еще все на ногахъ), — est gentile. Видѣли вы ее?

— Видѣла.

— Сирота, изъ пріюта; меня княгиня Полоцкая, — Грибанова произнесла по-московски: „кнѣзья“, — просила. Elle lit... comme ça... не то, чтобы ахти какъ! Да и не нужно этого... Вы, моя милая, очень ужъ старались. Меня это тоже утомляетъ... Seulement, elle ne sait que le russe.

Петина почти пожалѣла, про себя, что эта чернобровая и грудастая „Кали“ обучена только по-русски.

— Какъ же вы теперь?.. — начала она неуверенно.

— Ecoutez donc! — властно перебила ее Грибанова, и тутъ только сѣла въ большое кресло и въ позѣ, въ какой она принимала у себя и могла сидѣть такъ по пѣлымъ часамъ сряду. — Ecoutez donc! — повторила она еще властно. — Я обдумала все въ вашемъ интересѣ, Муза. Лучше вы сами бы ничего не пріискали. Я вамъ, Муза, разыскала прекрасную кондицію. И здѣсь, въ нашемъ гарни.

— Здѣсь? — переспросила Петина и внутренно совсѣмъ не обрадовалась.

— Ecoutez donc! Внизу, въ бельэтажѣ, поселилось семейство Антупьевыхъ, une bonne connaissance à moi. Мать est une Кривоусова, de maison; мы вмѣстѣ выѣзжали. Une famille comme il faut. Были богаты! Теперь... должны вотъ, какъ и я же, жить по комнатамъ, въ гарни.

„Слышала“, — хотѣла было замѣтить Петина, но воздержалась.

— Двѣ барышни... не вѣсты, très bien de leurs personnes. Сама un peu malade. Имъ нужна компаньонка, чтобы выѣхать, проводить и вообще tenir compagnie. Вотъ я и разсудила помѣстить васъ къ нимъ. По вечерамъ вы будете свободны... очень часто. И ко мнѣ милости просимъ, по-французски почитать. Я буду вамъ платить, положу по пяти рублей... Да онѣ дадутъ рублей... пятнадцать, на всемъ готовомъ, какъ у меня, больше не дадутъ.

— Комната? — прервала Петина.

— Кровать отдѣльно... за перегородкой. Assez propre. Барышни снятъ въ другомъ отдѣленіи...

— Тутъ же?

— Ахъ, матушка! — вдругъ подняла тонъ старуха, — нельзя же требовать салоновъ. Скажите спасибо и за это, по нынѣшнимъ временамъ. Elles vont venir à l'instant même... Понравитесь вы имъ — можете въѣзжать хоть завтра, благо вашъ сундукъ здѣсь же стоитъ, вонъ тамъ, въ коридорѣ, — все сохранно.

Петина промолчала. Въ коридорѣ раздались звонкіе голоса, прерываемые смѣхомъ. Дверь отворилась. Въ гостиную вошли двѣ барышни и ихъ мать. Она ихъ осматривала и у ней вырвались мысленно слова:

„Все лучше, чѣмъ цѣлый день со старухой!“

V.

— Какъ ты смѣешь это говорить?!

— Смѣю!

— Мама, запрети ей... Это Богъ знаетъ на что по-хоже!

— Лида!.. ты вѣшиваешься не въ свое дѣло!..

— Но вѣдь я права? C'est une affaire d'argent! C'est ignoble! Epouser sans amour!

— Лида! je te défends...

— Гадкая!

Салфетка летитъ почти прямо въ лицо барышни, круглой, хорошенькой брюнеткѣ, съ насмѣшливымъ лицомъ... Бросила салфетку меньшая, съ волосами цвѣта кудели, худая, прозрачная кожей, голубоглазая. Обѣ одѣты въ одинаковыя платья, съ иголки, клѣтчатыя, цвѣтныя и очень модныя.

Завтракать только что начали. Подали котлеты съ картофелемъ, непривлекательную померную ѣду. Сестры сидѣли одна противъ другой, на диванѣ—мать, съ просѣдью, сухоощавая, длинная дама, поблекшая, съ привычнымъ выраженіемъ чопорнаго, неумнаго лица, въ сѣромъ платьѣ. Противъ нея помѣщалась новая компаньонка, Муза Прокофьевна.

Младшая, Мэри, вскочила изъ-за стола, бросилась на кресло около окна и заплакала, съ истерическими всхлипываніями. Старшая, Лида, продолжала ѣсть, и ея глаза, гдѣ блеститъ задоръ и язвительность, обращены тоже къ окну; но она не смотритъ на сестру, а черезъ ея высокій шиньонъ, въ окно, на крышу, покрытую ярко сіяющимъ снѣгомъ.

Петина потупила глаза и деликатно доѣдала кусочки картофеля. На ея лицѣ застыло прилично-кроткое выраженіе, въ которомъ разобрать ничего нельзя.

Про себя, она говоритъ: „Хорошо, нечего сказать! Бравятся какъ судомойки, только вперемежку съ французскими фразами! Старшая завидуетъ жениху младшей и напускаетъ на себя благородныя чувства, возмущается

бракомъ по расчету, а сама была бы рада-радехонька выскочить за того же богатенькаго дурачка, драгунскаго подпоручика!"

Она уже не можетъ остановить ходъ этихъ мыслей и воздержаться отъ прежней своей компаньонской мины— кротко-слащавой и непроницаемой.

Мать встала поспѣшно и подошла къ младшей дочери; ее она больше любитъ, но побаивается старшей,—та съ характеромъ, зла, дерзка и настойчива. Злитъ теперь еще сильнѣе отъ замужества младшей; знаетъ, что она хорошенькая, и лучше сложена, и бойка на языкъ, а вотъ сидитъ „въ дѣвкахъ“ который ужъ мясоѣдъ.

— Полно, Мэри, je t'en prie?

— Non! Non! — всхлипываетъ блондинка, уткнувъ голову въ спинку кресла.

Съ самаго утра онѣ бранились и кричали разомъ, и въ ухахъ Петинной стоитъ звонъ отъ ихъ голосовъ,—высокихъ, пѣвучихъ и крикливыхъ,—и стоитъ онѣ третью недѣлю, съ тѣхъ поръ, какъ она поступила въ Антуфьевымъ.

Да и что же ей дѣлать, какъ не сохранять приличную, сладковатую мину? Развѣ онѣ—эта захудалая барыня и эти двѣ невѣсты-безприданницы—смотрятъ на нее какъ на равную, или хотъ на компаньонку, но заслуживающую довѣрія, способную дать хорошей совѣтъ, войти въ ихъ интересы?

Онѣ торговались съ пей „какъ жида“, упирались нѣсколько дней на двѣнадцати рубляхъ въ мѣсяцъ, да еще съ ея сахаромъ, насилу-насилу додали ей еще три рубля, помѣстили ее въ такую же „закуту“, въ какой Прасковья живетъ наверху, надъ ними. Тамъ она принуждена каждую ночь слушать болтовню или перебранку дѣвицъ до невозможныхъ часовъ—до трехъ, до четырехъ, даже и въ тѣ дни, когда онѣ не выѣзжаютъ; а ей сонъ нуженъ, она еще чувствуетъ приступы слабости послѣ тифа. Пробовала мягко и осторожно вставлять свое слово и, разумѣется, умиѣ того, что здѣсь говорится,—мать дѣлаетъ гримаски, точно она прислуга, не смѣющая вставлять слова въ разговоръ господъ. Меньшая дочь ничего не слушаетъ и не понимаетъ, кромѣ тряпокъ, офицеровъ, собраний, коньковъ и сплетенъ про барышень; старшая—непремѣнно отъзовется какою-нибудь дерзкою фразой.

Стало-быть, маска нужна, опять та же, еще такъ не

давно ненавистная, съ которой она испугалась умирать въ больницѣ.

— Ну, полно, ну, полно!—успокаивала мать.—Лида, надѣюсь, пойметъ, какъ она дурно поступаетъ.

Лида продолжала смотрѣть черезъ голову сестры, прищуриваясь, на снѣгъ, лежавшій на крышѣ, и ея свѣжія, полныя губы слегка вздрагивали. Все лицо выражало: „я права и буду еще настаивать на томъ же“.

Вошелъ коридорный Евсѣй съ блюдомъ. При немъ надо было сохранить приличіе.

Мэри встала, громко высморкалась и какъ ни въ чемъ не бывало сѣла на свое мѣсто и сказала сестрѣ:

— Ma serviette, s'il vous plait!

У старшей мелькнуло желаніе бросить ей салфетку обратно въ лицо, но при „человѣкѣ“ этого нельзя.

Евсѣй сейчасъ догадался, что вышла семейная сцена. Но на его бритомъ, кругломъ лицѣ дрессированнаго лакея все оставалось безстрастнымъ и приличнымъ.

Компаньонка вбокъ взглянула на него и сейчасъ же подумала:

„Вотъ съ кого должно брать примѣръ! Развѣ Евсѣй станетъ имъ показывать свои настоящія мысли и чувства? Зачѣмъ? Чтобъ онѣ его оборвали? Онѣ ихъ презираетъ и справляетъ свою должность. У каждого своя маска, иначе совсѣмъ пропадешь!..“

— Что это?—брезгливо спросила коридорнаго барыня, наклонившись къ блюду.

— Рагу-съ.

— Что?—переспросила насмѣшливо старшая.

— Рагу,—доложила особенно кротко и отчетливо компаньонка.

— Да это что же,—спрашивала мать коридорнаго,—изъ какого мяса?.. Вѣдь это, кажется, баранина.

— Фи! баранина!—почти взвизгнула Мэри и во весь ротъ сгримасничала.

— И лукъ тутъ! Лукомъ пахнетъ... Quelle horreur!—отозвалась Лида и сдѣлала тоже гримасу.

Всѣ разомъ заговорили, какой гадостью ихъ кормятъ. Развѣ онѣ не объявляли разъ навсегда управителю, что онѣ ни баранины, ни луку, ни шинату, ни зразъ съ кашей, ни лапши, ни ножекъ не ѣдятъ. И вдругъ имъ даютъ баранину, и въ соусѣ лукъ!

Евсѣй, еще ставя блюдо на столъ, доложилъ степенно и значительно:

— Барашекъ... молодой... Самый свѣжій. Многіе одобряютъ...

— Но мы не ѣдимъ, мой милый,—остановила его мать, говорившая съ прислугой въ тонѣ покровительства.

— Другого блюда нѣтъ-съ. Какъ вамъ будетъ угодно.

Онѣ знали, что съ Евсѣемъ шутить было неудобно: онъ способенъ сказать повару, чтобы имъ другого ничего, заново, не готовили, а то такъ заставить ихъ прождать цѣлыхъ два часа.

Евсѣй преспокойно поставилъ блюдо съ бараньимъ рагу и сталъ перемѣнять тарелки.

Съ гримасами и восклицаніями начали барышни и ихъ мать выбирать кусочки, отряхавъ отъ соуса и лука. Его запахъ пріятно защекоталъ въ ноздряхъ компаньонки. Она любила и ягнятину еще съ дѣтства.

— Вамъ положить?—съ пріятною улыбкой предложила Петина младшей.—Я вамъ выберу кусочки.

— Пожалуйста!

„Нечего,—говорила про себя компаньонка,—и баранину слопаєте, потому что голодны и только завтраками и держитесь; на четырехъ берете всего два обѣда. Не можете ѣсть баранины и луку, а сами торговались изъ-за этого завтрака и каждый день кричите, что васъ грабятъ, берутъ за два блюда на четыре персоны тридцать пять рублей!“

Эти „привередничества“ при тайномъ безденежьи и „скавыжничествѣ“ — самыя бездеремонныя слова такъ и скакали у ней въ головѣ—становились ей все противнѣе. При этихъ барскихъ требованіяхъ копеечничать на каждомъ шагѣ, а за квартиру платить полтора ста рублей въ мѣсяцъ, и часто брать карету, и должать во всѣхъ пассажахъ и всѣмъ портнихамъ.

Ея жалованья въ концѣ мѣсяца ей не заплатятъ, она видитъ это уже и теперь, впередъ...

Петина вдругъ сдержала свои мысли, испугалась и пристыдила себя.

„Что это?.. Опять прежняя Муза Прокофьевна? Озлобленная, ненавистница, лъстивая, съ притворною улыбкой и медоточивыми словами странницы-богомолки?“

Ей сдѣлалось почти физически тошно. Если бъ передъ ней сидѣли другіе люди, она покалась бы сейчасъ же;

но одинъ новый взглядъ на нихъ — и ей такой порывъ показался дикимъ.

„Развѣ онѣ поймутъ и оцѣнятъ? Никогда! Это будетъ только предлогъ къ гримасамъ или безцеремоннымъ выходкамъ“. Она не мѣняла своей притворной улыбки и спросила барыню:

— Кофей прикажете заварить?

— Разумѣется! — отвѣтила за мать старшая дочь.

Обѣ барышни дождали баранье рагу. Дома ѣли онѣ очень неопрятно и невоспитанно: наваливались грудью, оба локтя клали на столъ, чмокали, ѣли съ ножа, крошили хлѣбъ, не рѣзали, а дергали мясо или теребили его вилкой. Муза Прокофьевна привыкла, живя по такимъ семьямъ, къ дурной манерѣ ѣсть; но сегодня ей какъ-то особенно противно, и она рада была уйти въ спальню барышень, гдѣ на окнѣ, какъ Прасковья—Грибановой, она заваривала кофе.

Разговоръ возобновился у стола, все о томъ же, о замужествѣ младшей барышни. Старшая не сдавалась. Она начала говорить больше матери, чѣмъ сестрѣ, что этотъ бракъ почти скандальный. Какой-то забзжій офицерикъ, армейскій драгунъ, глуповатый, правда, смазливый, — „даже по-французски не говорить!“ — встала она въ число своихъ доводовъ, никто его въ московскихъ хорошихъ домахъ не знаетъ. Стоитъ онъ съ полкомъ Богъ знаетъ гдѣ, въ жидовскомъ мѣстечкѣ, въ Польшѣ...

Мэри вскочила и ушла въ комнату матери, но оттуда она прислушивалась къ словамъ сестры, говорившей такъ громко, что въ коридорѣ все было какъ пролито, и Феклуша давно уже знала, что у Антуфьевыхъ идетъ „драчная грамота“ изъ-за жениха и барышни „ругаются“. Эта вѣсть обошла всѣ этажи и обѣ ней уже говорили на кухнѣ и даже въ отдѣленіи, гдѣ живутъ кубовщикъ и полотеры.

Слушала и Петина, улаживая спиртовую лампочку подъ жестянымъ кофейникомъ.

Доводы старшей дочери еще не скоро истощились. Она почти настаивала на томъ, чтобы мать написала сыну, — онъ служилъ въ Петербургѣ, — и навела черезъ него справки объ этомъ „офицерикѣ“, — не говори уже о томъ, — добавила Лида, все поднимая голосъ, — какъ „дно“ отдавать руку и сердце послѣ трехъ котильоновъ, и гдѣ? — въ дворянскомъ клубѣ, на вечерахъ, по средамъ, гдѣ бы-

ваетъ „всякій сбродъ“—и зубные врачи, и приказчики, и желкіе адвокаты изъ жидковъ.

Мать сказала:

— *Tu as raison, Lydie*,—и крикнула:—Мэри, не извольте капризничать! Объ этомъ надо подумать.

Мэри притихла; но когда компаньонка подала кофей,—надо было три раза сходить за чашками въ коридоръ,—она наскоро проглотила свой кофей, вскочила и крикнула:

— Муза! мы идемъ на бульваръ!

Петина вопросительно взглянула на барыню.

— Конечно!—закричала Мэри, готовая заплакать.—Мы съ Лидой общались вчера!.. Нельзя же обманывать.

— Кому общались? Ему?—спросила мать.

— *Mais oui!*

Мэри повернулась лицомъ къ сестрѣ и еще громче крикнула:

— Идти за него или нейти, но нельзя же такъ обрывать!.. *C'est ignoble!* Гулять все-таки мы пойдемъ.

— Прикажете одѣться?—спросила Муза Прокофьевна барыню съ особенно пріятнымъ выраженіемъ лица.

— Коли вамъ говорить!—нестерпимо грубо кинула ей Мэри.

Компаньонка молча и съ граціознымъ наклоненіемъ головы прошла въ свою „закуту“.

Все у ней внутри дрожало отъ обиды и отвращенія. А руки терпѣливо приглаживали передъ зеркальцемъ, въ темнотѣ убогой и тѣсной загородки, волосы на лбу и надѣвали шапочку, и увязывали шею платкомъ.

Какъ она ихъ ненавидѣла! И прежде, до своего душевнаго „переворота“, она не припоминала этакон злобы, какъ въ эту минуту. Даже руки у ней дрожали и на языкѣ, на самомъ кончикѣ, явился вкусъ горечи, точно отъ желчи.

И надо надѣвать шубку поскорѣе, а то Мэри крикнетъ на весь коридоръ:

— Муза! что вы копаетесь! Это ни на что не похоже!..

Она должна идти съ ними гулять, а у ней теплыя ботинки съ протоптанною подошвой и некогда ей было отагать ихъ починить... Надѣть калоши,—одна изъ барышень непременно крикнетъ: „Это невозможно, Муза! Съ вами идти нельзя. Извольте снять ваши *бахилы!*“

И однимъ бульваромъ дѣло не ограничится. Женихъ

драгунъ пригласить ихъ, навѣрное, кататься на конькахъ. Коньки надо будетъ нести ей же, если не всю дорогу, то назадъ непременно, и тамъ, на пруду Омина, сидѣть на вѣтру и морозѣ, забнуть, пока барышни съ офицеромъ, взявшись за руки, будутъ выдѣлывать вѣзеля.

— Муза! вы готовы?—раздался голосъ Мэри.

— Готова, Марія Борисовна.

— Слава Богу!.. Съ вами это рѣдко случается.

Возгласъ барышни вызвалъ въ ней цѣлый потокъ за-таенной брани; она поспѣшила въ гостиную съ улыбкой на губахъ, дрожавшихъ отъ обиды и злобы.

VI.

Лампа горитъ тускло и пахнетъ керосиномъ. Коридор-ный не вытираетъ ее какъ слѣдуетъ. Петина наклонилась надъ книгой и читаетъ. Старуха Грибанова, вся сгорбив-шись, сидитъ въ темномъ углу въ креслѣ, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ.

— Ахъ, Муза,—прервала она чтеніе,—*comme vous pro-
nonsez mal aujourd'hui!*

Петина поднимаетъ глаза въ сторону старухи и кротко ждетъ замѣчанія.

— Вы, милая, советъмъ разучились... Кто это произно-сить: *иде-зѣсь, а ѣсь...* Dieu sait quoi!

— Не буду, Марья Филипповна.

— И опять слово horrible... У васъ выходитъ *horribble*. Сколько лѣтъ читаете—и все ошибки!

Старуха завозилась на креслѣ и зачмокала губами — признакъ того, что она будетъ и дальше ворчать и при-дираться.

У Музы Прокофьевны звонить въ ухѣ, голова тяжелая, въ глазахъ—точно песокъ насыпанъ. Она бы прилегла; но развѣ это возможно?!

Сегодня она здѣсь будетъ читать до девяти. У ея гос-подъ вечеръ, четвергъ, станутъ собираться черезъ пол-часа; она должна разливать чай и хлопотать о закускѣ, бѣгать безпрестанно въ коридоръ и даже спуститься не разъ на кухню.

— *Ecoutez donc!* — прервала чтеніе старуха, — нынче опять у васъ базаръ?

— Да, нынче четвергъ.

— Вотъ вы оттого такъ ужасно и читаете, что туда топорпитесь

— До девяти я свободна. Вамъ извѣстно, Марья Филипповна. Я предупредила.

— Знаю, матушка, знаю. Вы хоть бы вашимъ дѣвкамъ сказали, что такъ нельзя кричать, какъ онѣ кричатъ, когда у нихъ гости, да и днемъ, когда онѣ между собою болтають. Черезъ потолокъ проходить все. Я спать не могу по ихъ четверямъ. Хохочутъ, мебель передвигаютъ... И все это подъ моею спальней.

— Какъ же я могу дѣлать имъ замѣчанія? У нихъ мать.

— Такъ можете отъ моего имени. Не хотите для меня ничего сдѣлать, вотъ вы что лучше скажите.

Возражать Петина не рѣшалась, да и охоты не имѣла. Вялость во всемъ тѣлѣ приковывала ее къ стулу и наполняла особую усталостью, голова дѣлалась все тяжелѣе.

— И что это у нихъ за манера?—продолжала Грибанова.—Какъ только кто-нибудь войдетъ съ визитомъ ли, вечеромъ ли, онѣ подымутъ крикъ и хохотъ.

— Манера такая!

— Воспитанія нѣтъ. Какъ же матери-то не стыдно? Вѣдь она хорошаго рода. Еще институтки... Институтки онѣ, что ли?

— Кажется, Марья Филипповна.

— Кажется!—передразнила старуха.—Что это вы ничего не знаете? Живете у нихъ нѣсколько недѣль, а не слышали даже, институтки онѣ или нѣтъ.

— Институтки. Я вспомнила.

Петиной было уже настолько не по себѣ, что она даже ничего не чувствовала противъ старухи за ея ворчанье и грубость.

— Мнѣ съ ними не дѣтей крестить... Но все это подъ моими головами, подъ моею спальней. Вы должны это поставить на видъ мадамъ Антуфьевой, и сегодня же, безпремѣнно.

„Меня поправляетъ по-французски, — подумала компаньонка,—а сама говоритъ: *безпремѣнно*“.

Въ дверь постучали.

Старуха завела этотъ иностранный порядокъ, и не мало доставалось отъ нея прислугѣ за то, что входятъ не постучавшись.

— Войдите!—крикнула она сердито.

Оеклуша выставила въ полуотворенную дверь свое круглое, хорошенькое личико.

— Музу Прокофьевну просить,—пролепетала она.

— Что это за манера?—осадила ее тотчасъ Грибанова.—Войди порядкомъ и затвори дверь! А то сквознякъ! Тамъ у васъ въ коридорѣ хоть таракановъ морозъ.

Дѣвушка вошла, затворила плотно дверь и встала въ амбразурѣ.

— Музу Прокофьевну просять внизъ,—повторила она.

— Слышали. Больше ничего?—спросила Грибанова.

— Больше ничего-съ.

— Ну, ступай.

Оеклуша быстро повернулась и захлопнула за собою дверь.

— Какое же тутъ возможно чтеніе?

Старуха сердито повернулась въ креслѣ, спиной къ своей чтицѣ.

— Извините, Марья Филипповна... Я бы съ удовольствіемъ.

Голосъ Петинной упалъ. Она сама удивилась этому.

„Неужели слягу опять?“—подумала она довольно равнодушно.

Ей вспомнились безцеремонныя слова Грибановой насчетъ того, что она слишкомъ рано выписалась изъ больницы, что ея болѣзнь можетъ вернуться.

Вдругъ представилась ей камера, гдѣ она вылежала шесть недѣль, сестра милосердія, докторъ Василій Федоровичъ... Какъ ей тамъ было хорошо выздоравливать! Какъ за ней ходили!.. Опять бы туда отъ этого ненавистнаго „бабля“, отъ этихъ барынь и барышень мебелированныхъ комнатъ, отъ ихъ бездушія, грубости, воркотни, суетности, жадности, отъ непрерывныхъ и все болѣе и болѣе горькихъ и горькихъ обидъ.

Она приподнялась съ книгой въ рукѣ.

— Идите, идите!.. Только, пожалуйста, извольте сказать м-ше Антufeвой, что я не могу выносить такого содома! Не уймутся ея барышни—я буду управляющему жаловаться.

— Хорошо-съ. Покойной ночи, Марья Филипповна.

— Хороша покойная ночь! Я знаю, что до пѣтуховъ не засну. Да развѣ онѣ ужинъ дають?

— Холодную закуску.

— Скажите, пожалуйста! Деньжонковъ нѣтъ, а туда же—разносолы!.. И то сказать, deux demoiselles à marier! За кого просватана меньшая?

— За офицера.

— Да, мнѣ Каля сказывала, что сестры совсѣмъ перебрались изъ-за него. Старшая не позволяетъ.

Муза Прокофьевна только пожала плечами и улыбнулась, скосивъ ротъ.

— Завтра я вся къ вашимъ услугамъ,—сказала она, и ея фальшивый топъ уже не коробилъ ее нисколько.

Въ гостиной, у Антѣевыхъ, шумный и крикливый разговоръ дѣвицъ стоялъ стономъ.

Сидѣло двое молодыхъ людей: студентъ въ золотыхъ очкахъ и съ чолкой на лбу и штатскій—изъ „архивныхъ“ чиновниковъ. Драгуна-жениха не было. Ему написали утромъ письмо, что Мэри слишкомъ молода, дала ему слово необдуманно, и назначили ему, не отказывая наотрѣзъ, годовой срокъ.

Мэри утромъ плакала, а теперь, съ возбужденнымъ лицомъ, говорила громче сестры, безпрестанно смѣялась раскатистымъ дѣвичьимъ смѣхомъ и перебивала то сестру, то молодыхъ людей.

— Мүза! Venez donc! — встрѣтила ее мать. — Le thé vous attend.

Самоваръ приготовленъ былъ у окна, съ печеньями, купленными у Филиппова, подешевле... Петина сейчасъ же стала разливать чай. Самоваръ немного пахнулъ и дымилъ. Голова у ней все сильнѣе разбалчивалась. Она часто страдала мигренями; но это былъ не мигрень, а другая, болѣе тупая боль. Но она помогала ей почти ничего не думать, кромѣ того, кому какъ налить чай: послаще или покрѣпче, и кому предложить какого печенья.

Гости прибывали. Пріѣхали барыни-сестры, обѣ вдовы, съ Плющихи, гдѣ жили въ собственномъ особнякѣ. Въ углу молодежи тоже прибыло: три дѣвицы и вольноопредѣляющійся. Онъ внесъ съ собою запахъ сапогъ и закурилъ крѣпчайшую папиросу. То и другое волнами ударило въ виски компаньонки, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, вблизи этого юнкера.

Около дамъ помѣстился одинъ баринъ, ихъ общій пріятель, старый холостякъ, съ звучною дворянскою фамиліей, разсказчикъ анекдотовъ и любитель-актеръ, считавшійся въ Москвѣ талантомъ-самородкомъ.

Въ который разъ въ ея жизни доносились до Петиною обрывки все того же, то тягучаго и липкаго, какъ пастила, то тараторящаго разговора объ однихъ и тѣхъ же именахъ московскихъ баръ.

— Vous savez... Marie Paul vient d'arriver.

— Pas possible!

— Le prince Alexandre Michel a eu un coup apoplexie foudroyante.

Это значило по-русски: „Марія Павловна“ и „Александръ Михайловичъ“. Давно извѣстны ей эти московскія вольности французскаго барскаго разговора; она надъ этимъ всегда потѣшалась тайно, а теперь ей не до потѣхи. Она должна думать только о томъ, чтобы не пропустить кого-нибудь изъ гостей, не оставить ихъ безъ чаю. Въ кружкѣ молодежи русскій разговоръ господствуетъ. Всѣ они хуже учены по-французски своихъ отцовъ и матерей, особенно молодые люди.

— А-а!.. — разомъ встрѣтили дѣвѣцъ Антurfевы входящаго офицера.

И перекрестная болтовня съ раскатами смѣха поднимается съ новою силой. Входящій офицеръ осыпанъ градомъ дѣвичьихъ вопросовъ, отвѣчаетъ больше звуками, чѣмъ словами, самъ порывисто смѣется. Мари овладѣваетъ разговоромъ, Лида перебиваетъ ее, остальные барышни взвизгиваютъ.

„Господи!—почти стонетъ про себя компаньонка,—Грибанова сердится наверху. Я должна сказать сегодня же Антurfевой насчетъ крика“.

Но это ни къ чему не приведетъ, только вызоветъ неприятность, — все обрушится на нее же, за то, что она „суетъ носъ не въ свое дѣло“.

А посмотрѣть, какъ эти самыя барышни Антurfевы проходятъ по коридору гуськомъ, когда идутъ гулять, или, въ однихъ платьяхъ, поднимаются въ верхній коридоръ къ знакомымъ... Воды не замутятъ! Онѣ идутъ мелкими шажками, скорѣе плывутъ, чѣмъ идутъ, вытянутыя въ струнку, съ своими длинными косами по спинамъ, смотреть впередъ, точно у нихъ шея схвачена тисками, ни разу не взглянуть въ сторону... Помилуйте! Развѣ это можно „pour des demoiselles de distinction“?

Это была послѣдняя злобная мысль компаньонки. Она съ милою усмѣшкой поднесла послѣднюю чашку чаю старинку-холостяку и только что сѣла опять къ самовару, какъ ее начала пронимать дрожь вдоль спины, хотя въ комнатѣ температура поднялась до двадцати градусовъ.

Въ глазахъ прошлося облако и на лбу выступилъ холодноватый потъ.

Она уловила минуту, подошла къ Антуфьевой и шепнула ей:

— Простите... ужасная головная боль. За ужиномъ я не нужна... позвольте мнѣ удалиться къ себѣ.

И сдѣлала при этомъ, съ большимъ усиленіемъ, просительно-пріятное лицо.

Барыня поморщилась и протянула:

— *Comme vous voudrez.*

Это значило: „вамъ слѣдуетъ быть при дѣлѣ, бѣгать за посудой, звать коридорнаго, предлагать гостямъ кушать“.

Большая капля горечи капнула на ея душу. Ее всю передернуло, и она безъ всякихъ ужимокъ и извиненій прошла въ другую комнату, освѣщенную одною свѣчей подъ абажуромъ, взяла эту свѣчу и, придя въ свою загородку, бросилась на постланную на ночь постель.

Дрожь не прекращалась. Въ комнатѣ было очень свѣжо; она и не замѣтила, что форточка стояла отворенной и черезъ нее морозный воздухъ входилъ широкою струей, и прямо противъ занавѣски, прикрывавшей отверстіе ея загородки.

Голова начинала горѣть и клонило ко сну. Она забылась, но ее пробудилъ гамъ разговоровъ и стукъ ножей о тарелки.

Ужинали.

Петина съ трудомъ подняла голову и стала прислушиваться.

Все та же дѣвичья болтовня, смѣхъ, перебирание слуховъ о „Marie Paul“ и „prince Alexandre Michel“.

О, какъ онѣ ей ненавистны! Она начала кусать подушку и биться о нее головой... Ей захотѣлось, чтобы сейчасъ же загорѣлся домъ, и всѣ онѣ погибли съ ихъ смѣшными замашками, мелкими душонками, съ ихъ житьемъ на чужой счетъ или на проценты, или въ долгъ, съ ихъ поскуднымъ равнодушіемъ ко всему, что не онѣ, и отсутствіемъ простой жалости къ такимъ, какъ она, которую онѣ третируютъ хуже, чѣмъ коридорнаго Евсѣя, потому что тотъ имъ сгрубить или сдѣлаетъ гадость, какъ довѣренный лакей управителя.

Ее была лихорадка вѣчной, безысходной обиды вмѣстѣ съ какимъ-то зловѣщимъ недугомъ, который опять подползалъ къ пей.

Послѣ припадка она ослабла, безпомощно опустилась на подушку, навзничъ, и опять забылась...

Снова разбудилъ ее громкій шопоть двухъ сестеръ, рядомъ, въ спальнѣ. Онѣ лежали въ темнотѣ, — свою свѣчу онѣ потушили, — у себя, лежали лицомъ къ Музѣ, на двухъ кроватяхъ, стоявшихъ параллельно, и взапуски болтали о мужчинахъ.

Лида успѣла помириться съ Мэри, и офицеръ-драгунъ уже не тревожилъ ее. Архивный молодой человекъ поправился ей сегодня, любезничалъ съ ней особенно. Мэри не ревновала: она занята другимъ — штатскимъ, помѣщикомъ изъ Коломны, „très distingué“, два раза бывшимъ за границей; у него конный заводъ и еще какая-то фабрика...

Шушуканье дѣвицъ затягивалось. Навѣрное, шелъ уже четвертый часъ ночи. Петина взялась за голову: въ темнотѣ, кажется, не такъ болить, и ознобъ прошелъ.

„Можетъ, просто, нервы“, — успокоила она себя.

Но шушуканье дѣвицъ мѣшало заснуть. Какъ бы она прикрикнула на нихъ, если бѣ посмѣла!

— Лида!.. Мэри! — вдругъ донеслось изъ спальни матери. — Mon Dieu... Venez donc!.. Разбудите Музу.

— Что такое?

Она встала. Разумѣется, за нее же возьмутся.

— Муза, Муза, вставайте! — крикнула ей Мэри, — съ шатап что-то сдѣлалось...

Одѣтая, она зажгла свѣчу и вышла изъ-за занавѣски. Дѣвицы поднялись, въ рубашкахъ и кофтахъ, и заметались.

Барыню схватили колики. Она стонала и каталась по кровати.

— Доктора!

За докторомъ слали компаньонку.

Чуть было не стала она возражать: ей самой нездоровится, какъ же она побѣжитъ, ночью, въ морозъ?

Но она не посмѣла. Голова болить, въ ногахъ слабость. Съ трудомъ надѣла она на себя шубку, разбудила швейцара, справилась, гдѣ тутъ поблизости докторъ. Ближе Никитской аптеки нѣтъ съ ночнымъ дежурствомъ врачей.

На улицѣ снѣгъ хлеснулъ ей въ лицо и вызвалъ дрожь.

„Проклятыя! проклятыя!“ — шептали ея горячія губы.

И ни одного извозчика.

VII.

Больничная камера тонетъ въ полутьмѣ, освѣщенная одною висячею лампой.

Бѣлѣютъ койки. Ихъ до десяти въ этой палатѣ тифознаго женскаго отдѣленія. Есть тяжелыя; двѣ-три выздоравливаютъ. Сидѣлка прикурнула въ углу. По камерѣ ходитъ ритмическій звукъ дыханія больныхъ. Нѣкоторые дышать съ усиленіемъ.

Петина проснулась и пришла въ себя. Что-то придавливаетъ ее и сковываетъ ей члены. Она лежитъ третью недѣлю. У ней „возвратный“. Попаала она не туда, не въ ту лѣчебницу, гдѣ ей было такъ хорошо, а въ простую больницу, старую, пропитанную госпитальнымъ запахомъ, на дворянскую половину. Положили ее вмѣстѣ со всѣми. При ней уже двѣ женщины умерли. Тогда она еще не выпадала въ забытѣе. Она видѣла, какъ одна изъ нихъ умирала рядомъ, черезъ проходъ. Ихъ раздѣлялъ ночной столикъ.

Умирала молодая женщина, вдова офицера. Ее причащали уже въ полубезпамятствѣ. Повторяла она безсмысленно разныя слова. Имя „Витя“ безпрестанно соскакивало съ ея языка. Пѣла она пѣсни и куплеты изъ оперетокъ, но жалобнымъ голосомъ, отъ котораго у Петинѣ холодило подъ ложечкой и ужасъ смерти не переставалъ мутить ей остатокъ сознанія.

Хуже ничего она въ жизни не испытывала. Вотъ и ея очередь пришла. На этотъ разъ она знаетъ и чувствуетъ: это настоящая смерть. Ее не отворишь и ничѣмъ не умиловишь ее.

Доктора не переменяются здѣсь. Младшій ординаторъ прибѣжитъ и пробормочетъ себѣ подъ носъ, о чемъ-нибудь спроситъ вяло и спѣшно и сдѣлаетъ кислую гримасу.

Она его возненавидѣла и почти не отвѣчала ему, жаловалась на все старшему доктору и бранила всѣхъ докторовъ и ихъ „кухню“.

Старшій докторъ изъ семинаристовъ, съ балагурнымъ тономъ, здоровенный, возмущавшій ее своимъ самоувѣреннымъ видомъ, всею своею повадкой человѣка, хапающаго большія деньги на частной практикѣ.

Раза два онъ на нее прикрикнулъ, когда она чего-то не хотѣла дѣлать, и съ тѣхъ поръ сталъ ей еще противнѣе ординатора. Сидѣлки—лѣнливыя, жадныя, бездуш-

ныя — догадались сейчасъ, что она бѣдная и „на-водокъ“ отъ нея не будетъ. Ъда—отвращеніе. Посуда—оловянная: кружки и тарелки.

И каждый день одно въ головѣ, сердцѣ, кругомъ, въ этой палатѣ, во всѣхъ остальныхъ—смерть, которая придетъ не сразу. Ее надо ждать, точно въ передней ждутъ очереди у доктора, или адвоката, или сановника—просители.

Такъ протянулась первая недѣля. Въ концѣ ея Петиной стало гораздо хуже. Сознаніе подолгу смѣнялось бредомъ. Температура поднялась до крайняго предѣла.

Больною въ послѣдній разъ овладѣлъ ужасъ, уже знакомый ей и по первому лежанью въ лѣчебницѣ, когда болѣзнь пощадила ее на время—до своего возврата.

„Возвратная!“ — повторяла она, хватаясь за это слово, безсильная думать послѣдовательно и, въ то же время, потрясенная смѣсью ощущеній отчаянія и злобы.

Она испугалась всей своей прежней жизни, когда смерть дохнула на нее впервые: лжи, притворства, постыдной маски, испугалась отвѣта за такую жизнь, расплаты „на томъ свѣтѣ“, жадно хотѣла жить, чтобы „страхнуть“ съ себя свою „личину“.

И она была тогда чистосердечна. Она повѣрила, что можно измѣнить себя, стоить только искренно пожелать этого, познать истину, покаяться...

Какое безуміе!.. Исправить одна могилка.

„Могилка!“—стала она повторять новое слово. Ее завтра выкоплют на дешевомъ мѣстѣ кладбища, въ мерзлой землѣ... А, можетъ, свалить и въ общую яму.

Кто позаботится о ней? Кто похоронитъ честно и благородно, какъ прилично дворянкѣ, дочери полковника, вдовѣ чиновника восьмого класса?

Ужъ не „колотовка“, не Грибанова ли? Или тѣ мерзкія, бездушныя, прогорѣлыя Антупьевы, аристократки изъ меблированныхъ комнатъ? Онѣ ее уморили. Для барыни, объѣвшей холодной осетрины съ хрѣномъ, должна она была бѣжать, ночью, во вьюгу, за докторомъ и до утра прикладывать барынѣ припарки, когда она сама еле держалась на ногахъ.

А потомъ нѣсколько дней провалилась она. Имъ—сканднымъ и транжиркамъ на себя, въ долгъ — не пришла даже и мысль послать за докторомъ.

„Муза капризничаетъ, Муза валяется на постели, Богъ знаетъ что!“

Вотъ какіе возгласы слышала она изъ своей закуты въ то время, какъ у ней пылали щеки и голова была охвачена жаромъ. Тифозную перевезли ее въ больницу. Со-сѣдка по коридору сжалилась и прислала своего доктора. Тотъ сказалъ:

— Тифъ. Возвратный.

И какъ эти барышни, съ ангельскими лицами и косами во всю спину, шарахнулись отъ нея, отъ зачумленной!

— Mon Dieu!.. C'est une horreur! Она насъ заразитъ!..

Заперлись всѣ три въ дальней комнатѣ, въ спальнѣ матери, и не выходили оттуда до тѣхъ поръ, пока ее не вынесли изъ квартиры два полотера.

Ни разу не прислали онѣ узнать, жива или уже свезли на погостъ, фунтика сахару не прислали, банки варенья.

Старуха Грибанова, для очистки совѣсти, чтобы потомъ рассказывать своимъ „кнѣзнямъ“, прислала чтицу спра-виться въ контору. Навѣрное, строго-на-строго наказывала ей въ палату къ больной—Боже упаси!—не заглядывать.

Да, она лгала, хитрила, улыбалась, говорила медоточивыя слова, поддѣлывалась. Какъ же иначе можно было поступать, чтобы прожить, не очутиться на улицѣ или попрошайкой, или швеей съ заработкомъ въ пятьдесятъ копеекъ въ день, на своихъ харчахъ и на своей квартирѣ?

„Такъ и слѣдовало“,—повторила она, цѣпляясь за готовые мысли.

Вся обиды жизни, двадцати пяти лѣтъ, проведенныхъ компаньонкой и чтицей, обступила ее въ образахъ, мелькавшихъ одинъ за другимъ и вмѣстѣ... Вотъ она дѣвуш-кой-институткой у бѣдныхъ, скудныхъ родственниковъ не то приживалкой, не то племянницей... Тетка пилить, жи-лецъ-офицеръ, любовникъ тетки, пристаетъ въ углахъ съ пошлостями; дядя пьетъ и говоритъ сальности... Выдали за тихаго чиновника... Она его хоронить... Въ конторкѣ осталось отъ похоронъ два рубля, да еще при пособіи отъ начальства. Вдовой началось хожденіе по чужимъ людямъ. Они мигаютъ ей, растягиваются вдоль или вкось, всѣ эти рожи барынь, мужей ихъ, барышень, кадетовъ, прислуги, особенно одинокихъ барынь, не желающихъ старѣться, съ румянами на щекахъ, дѣлають ей гримасы, вводятъ носами, кричать:

— Mais écoutez donc!.. Муза... Vous radotez, ma chère.

И съ житія у родныхъ, сиротой и чтицей, она приучилась говорить сладко, слѣдя за собою, выбирая слова, упражнялась, про себя, въ пѣвучихъ московскихъ звукахъ, точно диктовала дѣтямъ изъ хорошей книжки. И лицо свое налаживала она на тотъ же тонъ: дѣлала ротъ калачикомъ, улыбалась имъ на всякіе лады, умѣла улыбаться и глазами, опускать ихъ, поднимать—искательно, съ уваженіемъ, кротко, жантильно,—всячески... Умѣла ходить, нагнувъ голову къ лѣвому или къ правому плечу, корпусомъ немного впередъ, на цыпочкахъ или маленькими шажками, чуть слышно.

Всегда и вездѣ изображала она собою молодую вдову тонкаго воспитанія, принужденную жить „въ людяхъ“.

Но какъ же могла она быть иною?

Этотъ вопросъ возвращался послѣ все новыхъ и новыхъ приступовъ полубреда, сквозь которые прощаніе съ жизнью дергало ее несмолкаемымъ ужасомъ, отчаянною и безсильною яростью.

Проклятіи она уже не въ силахъ была произносить, даже про себя, но она ихъ чувствовала. Слова замѣнялись движеніями души. Она различала ихъ. Символы выскакивали въ мозгу; только не могла она овладѣвать ими тотчасъ и докладывать сознанію.

Изъ всей этой мѣки конечнаго расчета съ жизнью выплыло одно чувство, покрывшее остальное: бесполезность всякаго усилія, порыва, надежды на то, что станешь другою: стоить только захотѣть—и стряхнешь съ себя свой исконный грѣхъ... Все идетъ неизбѣжною чередой, безъ остановки, неизвѣстно зачѣмъ и куда, и забираетъ тебя вѣчно вертящимся колесомъ; а ты бьешься, лукавишь, злобствуешь, ненавидишь людей, видишь отъ нихъ новыя и новыя обиды... И все изъ-за чего?

Изъ-за куска хлѣба, изъ-за платышка съ барскаго плеча, изъ-за того, чтобы тебя считали самою барыней, а не судомойкой, чтобы около тебя слышался французскій языкъ и за столомъ лакей подавалъ тебѣ послѣдней то, что осталось отъ твоихъ господъ.

Умирающая вдругъ поднялась въ кровати съ усиленіемъ и нѣсколько секундъ сидѣла, упираясь изнемогающими кистями рукъ въ матрацъ... Глаза ея блуждали по полутемной палатѣ. Она слышала дыханіе больныхъ и храпъ сидѣлки.

„Нешто умру?“ — спросила она себя по-русски, просто-

народнымъ оборотомъ, и застыла въ смутномъ ощущеніи.

Страшиться смерти или нѣтъ? Чего же страшиться?.. Вѣдь это конецъ всему, вѣдь дальше будетъ то же, что было до сихъ поръ... Еще хуже! Придетъ старость... отъ двухъ тифовъ можетъ быть новая тяжкая болѣзнь, цѣлыми годами, отекъ легкихъ, водяная. И пока не положить въ больницу или не помѣстятъ въ богадѣльню, надо будетъ переходить отъ одной „колотовки“ къ другой, жалованье будутъ убавлять, станутъ просто держать изъ милости, какъ приживалку. А если будетъ слѣпнуть... Вѣдь слѣпота—вторая смерть!..

Лучше нырнуть и тамъ...

„Гдѣ тамъ?—удалось ей беззвучно выговорить губами.—Гдѣ?“

Она не знала. Ее не влекло туда. Она не боится „того свѣта“, но и не тянетъ ее къ нему, какъ къ послѣднему убѣжищу мира и тишины.

Слезы умиленного страха передъ тайной разставанья съ жизнью не дрожали на ея отягченныхъ вѣкахъ.

На одной изъ коекъ больная завозилась, привстала и окликнула:

— Сидѣлка!

Умирающая обратила къ ней глаза и въ головѣ у ней зеленою полосой промелькнула мысль:

„Эта скоро выпишется“.

Она вспомнила: больная тоже страдала возвратнымъ тифомъ, старуха-чиновница, какъ она, гораздо ея старше, за шестьдесятъ лѣтъ.

И она выпишется завтра, послѣзавтра, на-дняхъ, испытаетъ радость выхода на улицу, чистаго воздуха, высокое наслажденіе сознавать, что смерть позади, что живешь, какъ и другіе, молодые, здоровые и безпечные.

Сидѣлка, крихтя, подошла къ больной, звавшей ее.

— Испить,—прошептала та.

„Испить“,—повторила Муза Прокофьевна, заметалась на постели и начала вслухъ бредить.

На разсвѣтъ она пришла на нѣсколько минутъ въ полусознаніе.

Надъ ней наклонилось широкое и потное лицо сидѣлки.

— Батюшку... не желаете?—говорила она ей громко, почти въ самое ухо.

— Что?

— Батюшку... Плохи вы, сударыня, не ровень часъ, чего Боже сохрани!..

Муза Прокофьевна ничего не отвѣтила и только правою рукою стала что-то спихивать.

Сидѣлка приняла это за знакъ согласія и ушла сказать старшему фельдшеру.

Глаза умиравшей остановились на койкѣ въ углу, на койкѣ старухи-чиновницы.

Та уже сидѣла на постели, жевала кренделекъ, запивая его чайкомъ.

По лицу Музы Прокофьевны проползла змѣйкой гримаса ядовитой усмѣшки, точно говорившей:

„Чаякъ попиваешь, старушенція, довольна, что завтра тебя выпустятъ, и ты отправишься къ какимъ-нибудь кумушкамъ на Божедомку судачить про всѣхъ и про меня! Довольна, подлая, что ты, старая старуха, осилила „возвратную“, а я умираю и мой трупъ будутъ выносить въ ту самую минуту, какъ ты станешь спускаться съ лѣстницы и унтеръ понесетъ твои пожитки!“

Въ головѣ, какъ въ густомъ туманѣ, съ красно-огненнымъ освѣщеніемъ, мерцали фигуры, цвѣта, слова, смѣнялись полнымъ мракомъ и опять выскакивали.

Но надъ всѣмъ этимъ... тамъ гдѣ-то, въ тѣлѣ, въ душѣ, въ груди или въ мозгу... кипѣла, какъ расплавленная смола, и вырывалась горечь и злоба всей жизни, со скрежетомъ безсилія противъ того, что тянуло вонъ изъ этой самой постылой жизни, изъ этой жалкой и постыдной тины...

Грудь поднималась порывисто, пальцы то и дѣло выползали изъ-подъ байкового одѣяла... Бормочущія, запекшіяся губы шептали безъ конца.

Смерть спускалась къ изголовью тяжело, поводя чернымъ крыломъ, и медлила нанести послѣдній, все исплюющій ударъ.

ЗА КРАСНЕНЬКУЮ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

— Полина! гдѣ вы?.. Пора вести дѣтей гулять.

— Сейчасъ!

Полина прихорашивалась передъ зеркаломъ, приставленнымъ къ стѣнѣ, надъ умывальникомъ, пудрила себѣ щеки и подбородокъ, прошла пуховкой и по чолкѣ, спускавшейся до бровей.

Эта чолка, или „холка“—она ее и такъ называла—придавала Полинѣ особенный видъ. Барыня уже говорила ей:

— Неужели вы не можете разстаться съ вашей прической?

Разъ Полина услышала, какъ барыня назвала ее холку: „порочная чолка нашей бонны“.

Эти слова разсмѣшили ее.

Порочная, такъ порочная; но холка къ ней идетъ. а это—главное.

— Полина!—раздался опять окликъ барыни.

— Приспичило!—ворчливо прошептала молодая дѣвушка.

Ей уже пошелъ двадцатый годъ съ Покрова, но по фигурѣ и лицу никто не дастъ больше шестнадцати, не смотря на ее „порочную“ чолку. Волоса у нея дымчатые, тонкіе и довольно жидкіе. Вотъ еще причина, почему она держится за свою прическу. Она густо помадитъ волосы на лбу и умѣетъ пышно ихъ класть грядкой; издали кажется, что они у нея густые-прегустые.



Торопливо приколола Полина высочайшую шляпку длинной бронзовой булавкой съ матовым кубикомъ на концѣ. И шляпка—она это замѣчала—также не очень-то нравится барынѣ. Мало ли что!.. Не ходить же ей киким-рой?.. Пожалуй, и цвѣтъ пальто, голубовато-зеленоватый, тоже находятъ слишкомъ яркимъ... Такъ вѣдь на свой счетъ ее одѣвать не будутъ? А жалованья всего красненькая!—стыдно признаться!.. Горничныя, а тѣмъ паче кухарки, получаютъ сплошь и рядомъ гораздо больше. Хорошо еще, что она можетъ добывать себѣ разныя туалетныя вещи. Въ томъ-то и „гадость“, что она не то горничная, не то бонна; начала жить у этихъ господъ въ услуженіи и переименована въ бонны, жалованья прибавили три рубля и общали черезъ годъ—шутка, сколько ждать!—еще пять рублей.

Въ зеркальце Полина въ послѣдній разъ взглянула на свое овальное личико съ извилистымъ носикомъ и двумя ямочками... Она отлично знаетъ, что можетъ нравиться, если бъ ей даже никто этого и не показывалъ изъ мужчинъ.

— Полина!.. Что же вы?

Послѣ третьяго оклика Полина кинулась изъ своей комнаты въ дѣтскую, откуда дверь была полуотворена на площадку.

Тамъ дѣти дожидались, наполовину одѣтыя, для прогулки. Около нихъ хлопотала сама барыня, высокая, очень худая особа съ сѣдьющими волосами и добрыми сѣрыми глазами, въ темной блузѣ.

Дѣтей было трое: старшая дѣвочка Маша, лѣтъ восьми, похожая на мать, блѣднолицая, съ голубыми, длинными глазами, шаловливая, размашистыхъ движеній. На голову нахлобучила она бѣлый вязаный беретъ съ кистью и держала за эту кисть, пока мать натягивала ей на слишкомъ долги руки кафтанчикъ изъ темно-сѣраго сукна, скроенный по-мужски. Вторая дѣвочка, лѣтъ пяти, Шура, стриженная, съ золотистыми вихрами и немного горбоносая,—носъ у нея былъ „комическій“, по опредѣленію отца,—весело оглядывала всѣхъ темными глазами и подпрыгивала на мѣстѣ, сложивъ ноги, точно черезъ веревочку... На нее еще ничего не надѣвали изъ верхняго платья, и полуголыя ея ножки въ цвѣтныхъ короткихъ чулкахъ, обутыя въ открытые козловые башмачки, подгибались немного при каждомъ прыжкѣ.

— Шура! перестань!—сейчас же остановила ее Полина, взяла поперекъ тѣльца, посадила къ себѣ на колѣни и начала натягивать вязанья длинныя штиблеты.

Шура смѣялась груднымъ, отрывистымъ смѣхомъ и кричала:

— Кока, а Кока!.. Ты бутузъ! Ты бутузъ!..

„Бутузъ“ на полтора года моложе Шуры. Между ними большая дружба, но онъ ее уже начинаетъ „тузить“, когда она къ нему черезчуръ пристаеъ. Кока—его гораздо рѣже зовутъ Колей—считается въ семействѣ „философомъ“. До двухъ лѣтъ онъ все молчалъ и смотрѣлъ на всѣхъ своими огромными, выпуклыми глазами, ни къ кому особенно не льнулъ, не требовалъ, чтобы его занимали, сидѣлъ по цѣлымъ часамъ въ своемъ кресельцѣ и о чемъ-то все думалъ... Боялись, что онъ будетъ косноязыченъ; но когда онъ накопилъ запасъ словъ, то заговорилъ, и опять на свой манеръ.

Шура прибѣжить въ гостиную, попрыгаеъ, то сядетъ на кресло, то поегозить около гостя и „представляетъ комедію“, по выраженію ея матери. Или среди разговора, ни съ того, ни съ сего, разразится:

— А у насъ сегодня трубочки со сливками!..

Совсѣмъ не такъ заявляетъ себя Кока. Когда его приводятъ изъ дѣтской, и онъ подойдетъ къ кому-нибудь, подставитъ свой большой, крутой лобъ или сочныя губы, то онъ продолжаетъ думать вслухъ и произноситъ цѣлый монологъ картавымъ голоскомъ и съ очень милымъ вытягиваніемъ губъ. Вздернутый его носикъ съ большими ноздрами даетъ тому, что онъ лепечетъ, забавный отгѣнокъ...

Маша отошла къ окну и начала уже обдергивать застежки у своего кафтанчика. Мать принялась одѣвать Коку. Онъ за этимъ процессомъ о чемъ-то началъ разсуждать и силился находить самыя настоящія слова. Пѣкоторыя ему рѣшительно не давались. Въмѣсто „л“ онъ произносилъ „уо“ и вмѣсто „р“—„л“. Но мать старалась его понять. Кока былъ ея тайный любимецъ, и Шура это пронихала своей ревливой „женской“ природой... На-дняхъ она все отталкивала брата отъ колѣнъ матери, чуть та его прижметъ къ себѣ, совершенно какъ завистливая собачка. Въ дѣтской она сама то и дѣло принимается цѣловать Коку, и въ лобъ, и въ губы, и въ „загривочекъ“, такъ что онъ иной разъ и тукманкой отвѣтитъ на эти



неистовыя ласки. Но „мама“ больше ласкала его, чѣмъ ее. Дошло до того, что она приближалась къ матери, сѣла къ ней на колѣни, залилась горячими слезами и, всхлипывая, начала просить:

— Не ласкай Коку! Не ласкай! Онъ чужой! Онъ чужой!..

— Какой чужой?—чуть не съ ужасомъ спросила мать.

— Чужой! Ты моя... Я твоя!.. А онъ чужой!..

Такъ и нельзя ее было сдвинуть съ того, что Кока чужой и цѣловать его при ней нельзя.

Но сегодня Шура слишкомъ занята предстоящей прогулкой и не заводитъ свои ревнивыя глазки въ сторону матери; а та, одѣвая Коку, раза два прикоснулась губами къ его щекѣ и милому издернутому носику съ большими ноздрями...

Дѣти готовы, обдернуты, упакованы и принаряжены: Маша все „вихляется“ и задѣваетъ нарочно за мебель, Шура подирываетъ по-козыи, Кока молчитъ и посапываетъ. Полина повела его за руку. На немъ такой же беретъ, какъ и на дѣвочкахъ, но краснѣй.

— Пожалуйста, — останавливаетъ барыня бонну, когда та была съ дѣтми въ передней.

— Чего-съ?

— Пожалуйста, не ходите вы на Невскій! Тамъ слишкомъ большая ѣзда. Можете побыть въ саду Аничкова дворца, если сегодня пускаютъ, а потомъ пройдите по набережной къ Лѣтнему саду...

— Хорошо!..

Тонъ отвѣта Полины не особенно хмурый, но и не очень довольный.

Она знаетъ, почему барыня запретила вести дѣтей по Невскому.

Вовсе тутъ не дѣти и не лошади на Невскомъ: совсѣмъ другое...

Педѣли три тому назадъ. Полина вела старшую дѣвочку изъ Фребелевскаго сада, и дорога самая ближняя по Невскому. Шли онѣ по солнечной сторонѣ, и на углу Садовой, гдѣ кондитерская Балла, повстрѣчался съ ними одинъ „топографъ“, унтеръ-офицеръ изъ топографской школы, Булочкинъ, „великолѣпный“ брѣвнѣтъ, пріятель ея брата; остановился, щелкнулъ шпорами, приложилъ руку къ гербу барашковой шапки и попросилъ позволенія пройти въ Литейной.

Она, конечно, позволила. Чтò же въ этомъ худого? Онъ не солдатъ; да и солдатъ-то нынче множество изъ гимназистовъ и студентовъ... А у Булочкина какія манеры! Разговоръ ведетъ онъ тонкій и совершенно приличный. Даже очень полезенъ, при дѣтяхъ: если на какого-нибудь извозчика прикрикнуть, онъ можетъ и пашку поднять!.. Шли они тихо; только онъ такія смѣшныя вещи сталъ рассказывать и лицо у него серьезное при этомъ, жилка на одна не дрогнетъ — разумѣется, она смѣялась, и Маша тоже прислушивалась и то и дѣло прыскала.

Вотъ вѣдь и все „преступленіе“. Онъ и не замѣтили барыни, ни Полина, ни дѣвочка... А та ѣхала на дрожкахъ, какъ разъ около Аничкова моста пересѣкла Невскій и отлично ихъ узнала, говоритъ даже, что окликнула ихъ, да онъ ничего не слышали... Она видѣла, какъ ихъ провожалъ „юнкеръ“ съ саблей и провелъ ихъ до самой Литейной. Такъ оно и было, довелъ до Литейной, опять сталъ во фрунтъ, шпорами щелкнулъ, отдалъ рукою честь и сказалъ:

— До зобаченья, панна Паулина!

Булочкинъ такъ зоветъ ее всегда, увѣряетъ ее, что въ ней русскаго ничего нѣтъ; даже стыдитъ немножко тѣмъ, что она по-польски выражается съ грѣхомъ пополамъ... А онъ, даромъ что чистый москвичъ, живалъ въ Вильнѣ, на съѣмкахъ, и такъ и „рѣжетъ“ по-польски.

Какое же преступленіе во всемъ этомъ? И все-таки, вчеромъ того же дня, она удостоилась выговора. Барыня спросила ее:

— Съ вами юнкеръ шелъ? Родственникъ вашъ?

Хотѣла она прямо солгать, почему-то — дура! — застыдилась и отвѣтила только:

— Пріятель брата!

— Прошу васъ, на Невскомъ, не заговаривать съ мужчинами.

— А ежели старый? — вырвалось у Полины.

— Вообще съ посторонними... Вы исполняете свои обязанности, вы при дѣтяхъ...

„Обязанности“...

Выносить она не можетъ, что барыня употребляетъ такія важныя слова... „Исполнять обязанности“. За красненькую, при своей одеждѣ?..

— И Невскаго вообще прошу васъ избѣгать.

— Да вѣдь, иначе, большой крюкъ?



— Нужды нѣтъ...

Вотъ что значило наставленіе не водить дѣтей по Невскому.

Когда же на него попадешь? Съ дѣтьми нельзя, а ее пускаютъ не больше одного раза въ недѣлю, да и то еще каждый разъ позволеніе дается съ гримасой.

Не то чтобы барыня была зла, или придиричива, или гордачка; да все у нея на умѣ надзоръ за поведеніемъ... подозрѣваетъ ее въ чемъ-то... и прямо не говоритъ... чуть что—и давай разными „важныя“ слова нанизывать, точно проповѣдь читаетъ...

На лѣстницѣ Маша начала скакать черезъ ступеньку и чуть не „расквасила“ носъ. Коку Полина взяла на руки. Шура побѣжала за старшей сестрой и считала столбики перилъ:

— Пять, шесть, семь! Кока!.. Ты бутузъ!

У нея такіе дни бываютъ! Какъ выдумаетъ, вотъ какъ сегодня: „ты—бутузъ“, такъ и будетъ до ночи повторять, и на улицѣ, и за столомъ, и въ дѣтской, пока Кока не догадается, не хватить ее кулачкомъ по маковкѣ или по спинѣ... Его только Шура и боится.

Что можетъ быть тошнѣе возиться съ дѣтьми? Особенно если къ этому и не думаешь себя готовить, какъ она вотъ, Полина. Конечно, лучше называться „бонной“, чѣмъ горничной. Хорошо еще, что такое слово нынче употребляютъ. Прежде просто говорили: нянька. Да и за „бонну“ врядъ ли ее считаютъ „стоящіе“ мужчины, у кого есть вкусъ...

Чѣмъ же она не гувернантка? Сколько есть учительницъ, до шестисотъ рублей получаютъ, не то что изъ русскихъ, а даже изъ француженокъ и англичанокъ, которыя „выглядятъ“—Полина постоянно употребляетъ это петербургское слово—хуже всякой „замухрыжистой“ бонны. Ни манеръ, ни одѣться не умѣютъ, ни причесаться. Такъ, какія-то „замусоли“.

Внизу, на площадкѣ, швейцаръ снялъ у нея съ рукъ Коку, она опять взяла его за руку, дѣвочки пошли впередъ, но каждая сама по себѣ. Маша „презирала“ Шуру, а Шура или приставала къ ней, или на нее дулась.

Тротуаръ выдался узкій, Полина крикнула дѣтямъ:

— Идите поодионокѣ, а не за разъ!

Шура побѣжала впередъ и стала стучать ножками по

плитамъ тротуара, надавливала на каблукъ и считала шаги свои:

— Семь, восемь, девять...

— Finissez!—крикнула Полина, и ей стало легче оттого, что у нея такъ звонко и, какъ ей показалось, „шикозно“ вышло это французское слово.

Отчего ей и не пускать въ ходъ тѣхъ французскихъ словъ, какія у нея остались въ памяти? Ее учили не на мѣдныя деньги.

И тутъ барыня тоже умничать стала. Она не прочь ее подучить и по-французски, и другимъ предметамъ, но съ дѣтьми не позволяеть употреблять иностранныя слова.

— Вы дѣлаете ошибки!.. Вы можете приучить ихъ уху къ неправильнымъ оборотамъ и нечистымъ звукамъ.

Вѣдь дается же кому такой разговоръ: „неправильные обороты“, „нечистые звуки“—точно профессоръ.

Полина не сознавала того, что барыня серьезно заботилась о „развитіи“ своей бывшей горничной, а теперь бонны. Мужъ подсмѣивался надъ ней и частенько говорилъ:

— Да оставь ты ее... ничего изъ нея не выйдетъ; у нея на умѣ „Зоологическій садъ“ да „Орфей“, а ты ее развивать задумала. Смотри, чтобы она дѣтей гдѣ-нибудь не растеряла дорогой или не приучила ихъ къ какимъ-нибудь пошлымъ выходкамъ.

Но барыня не сдавалась. Ей Полины было жалко, искренно жалко. Передъ нею стояло молодое женское существо, миловидное, смѣшноватое, но, кажется, еще не испорченное, выброшенное судьбой изъ жизни почти барышни. А у Ольги Павловны—такъ звали барыню—даже и забота о троиxъ малолѣтнихъ дѣтяхъ не отбила охоты „развивать“.

Она дѣлила свое время между дѣтской и всевозможными лекціями; въ промежуткахъ читала все, о чемъ только говорилось на послѣдней лекціи. Сначала ходила на курсы по естественнымъ наукамъ, уже матерью семейства, поддерживала выпускной экзаменъ, хотѣла было пойти въ „медики“, да расхворалась, и мужъ не допустилъ.

Послѣ того у нея не прекращалась тоска по лекціямъ. Соляной Городокъ сдѣлался для нея чѣмъ-то въ родѣ клуба. Съ осени, по крайней мѣрѣ раза по три, бывала она тамъ; даже и не справлялась иногда по газетамъ, кто читаетъ, а прямо шла къ восьми часамъ, платила сорокъ

копеекъ и слушала, въ айтрактахъ переходила отъ одной пріятельницы къ другой, все узнавала про нихъ, охада надъ неудачами, радовалась удачамъ, спорить не любила, но сочувствовала постоянно кому-нибудь изъ лекторовъ, кто дѣлался героемъ сезона.

Не проходило ни одной благотворительной лекціи, ни одного чтенія въ клубъ, въ Кредиткѣ, въ залѣ Кононова, куда бы Ольга Павловна не попадала или, по меньшей мѣрѣ, не стремилась. Если пропускала—значить, кто-нибудь изъ дѣтей прихварывалъ.

Мужъ не мало потѣшался надъ ней, но жили они очень согласно, и онъ въ воспитаніе ребятишекъ не вмѣшивался.

Проводивъ дѣтей съ бонной, Ольга Павловна задумалась о Полинь, по поводу замѣчанія, сдѣланнаго насчетъ Невскаго.

Дѣвушка могла обидѣться. Вѣдь это подозрѣніе — намекъ на то, что она — легкая особа, заговаривающая съ мужчинами.

Но развѣ можно было не напомнить о Невскомъ? Бонна съ ея дѣтьми идетъ и хохочетъ, у Аничкова моста; рядомъ—юнкеръ, гремитъ саблей и вретъ какія-то пошлости!..

И сдается ей иногда, что мужъ ея правъ... Пробуетъ она до сихъ поръ приучать Полину къ чтенію, даже говорить съ ней по-французски и поправляеть ея, даетъ ей задачникъ Евтушевскаго и приохочиваетъ къ рѣшенію задачекъ, самыхъ простенькихъ, исправляетъ ея письменныя упражненія.

Орѳографія ей лучше всего дается, и даже она можетъ недурно построить фразу, хотя и съ ошибками противъ русскаго языка.

И надъ этимъ мужъ подтрунивалъ.

— Ты ее выучишь, навѣрно, любовныя записки писать, но до тройного правила не дотянешь ее; повѣрь мнѣ, гораздо раньше она сбѣжитъ съ какимъ-нибудь юнкеромъ изъ береиторской школы.

„Жалкая дѣвочка!“—повторила про себя барыня и пошла читать статью о солнечныхъ затмѣніяхъ.

II.

Обидно Полинь то, что у нея такая плохая комнатка. Главное — очень узка. И свѣтъ не попадаетъ на ту стѣну, гдѣ виситъ зеркальце. На другую стѣну нельзя его повѣсить: мѣшаетъ большущій шкафъ, гдѣ половина

вещей господскихъ. И все не знаетъ она, что лучше: быть горничной или бонной. Комната у нея та же, те-перешнюю горничную помѣстили въ темномъ чуланчикѣ, гдѣ передняя. Подавать кушанье, выносить и подметать было для нея „низко“; зато возиться безпрестанно съ дѣтьми—тоже не малая каторга.

Не къ тому ее готовили.

Нужды нѣтъ, что отецъ ея вышелъ изъ вольноотпущенныхъ, но онъ управлялъ богатыми имѣніями въ западномъ краѣ. Онъ всегда жилъ какъ баринъ, ѣздилъ въ фаэтонѣ, игралъ въ карты съ исправниками и судебными приставами, женился на шляхтянкѣ. Мать ей передала свое миловидное личико, и манеры, и говоръ. По-польски Полина много забыла въ послѣднія пять лѣтъ, какъ отецъ перебрался послѣ смерти матери въ Петербургъ; русскій выговоръ у нея порядочный; но она до сихъ поръ не замѣчаетъ того, что у нея то и дѣло вы-скакиваютъ разные польскіе и южно-русскіе обороты. Она еще говоритъ: „зъ Варшавы“, или: „я скучала за вами“, или: „провинціональный“, и многое въ томъ же родѣ. По общій складъ ея рѣчи петербургскій, и барыня хорошенько еще не замѣтила всѣхъ этихъ ошибокъ: иначе она взволновалась бы, какъ бы бонна не передала ихъ дѣтямъ.

Отлично помнитъ Полина житье въ господскихъ усадьбахъ, гдѣ ея отецъ—управляющій—помѣщался какъ настоящій баринъ. Имѣнія принадлежали всегда большимъ господамъ, которые въ нихъ сами не жилали.

Она помнитъ даже,—ей тогда было лѣтъ шесть, семь,—что мать ѣздила съ ней кататься въ коляскѣ, на четырехъ лошадахъ, по двѣ дугомъ, въ шорахъ; кучеръ былъ одѣтъ въ ливрею и хлопалъ предлиннымъ бичомъ. Звукъ бича никогда не испарялся изъ ея памяти... Это хлопанье бича, передняя уносная пара рыжей масти съ лисьими хвостами на хомутахъ — по венгерско-польской модѣ, соединялись въ ея памяти съ просторомъ полей и зелеными дубовыми рощицами обширныхъ барскихъ „маестностей“...

Мать умерла, отецъ потерялъ мѣсто, „проворовался“, какъ говорили дворовые, — и это ихъ слово Полина слышала не одинъ разъ. Братъ учился въ гимназій, его взяли и перевели вмѣстѣ съ нею въ Петербургъ. Сначала кое-какъ перебивались, одно время даже и порядочно

жили. Но среди этой, все еще полубарской обстановки, случилось дѣло...

Отецъ попалъ въ „шайку“, которую всю, почти до одного человѣка, переловили. Въ ней были и шантажисты, и даже поддѣлыватели чужихъ подписей. Онъ векселей не фабриковалъ, но въ вымогательствѣ по какимъ-то постыднымъ похижденіямъ одного богатаго барина дѣйствовалъ, хотя и не явно; его все-таки привлекли, сначала засадили, потомъ выпустили на поруки, потомъ опять засадили, и такъ до трехъ разъ; кончили тѣмъ, что сослали его, за неимѣніемъ явныхъ уликъ, административно...

Полинѣ пошелъ тогда четырнадцатый годъ. Она выучилась читать и писать красивымъ почеркомъ, могла бойко повторять нѣсколько заученныхъ французскихъ словъ и на фортепиано играла по слуху два вальса, цыганскія пѣсни и вошедшія въ моду у мелкихъ актрисъ и кокетокъ опереточныя фразы и куплеты...

Услали отца — и съ тѣхъ поръ онъ какъ въ воду канулъ. Она и до сихъ поръ не знаетъ, живъ онъ или умеръ. Брата взялъ въ приказчики въ суровскую лавку одинъ еврей изъ Перинной линіи, а въ ней приняли участіе двѣ дамы, патронессы одного общества, хотѣли помѣстить въ фельдшерицы, да она оказалась слишкомъ слабой въ „русскихъ предметахъ“, и послѣ разныхъ поступленій, на два, на три мѣсяца, въ школы кройки, во „фребелички“ и другія профессіи, она попала въ услуженіе. Братъ ея Адамъ — такъ его назвали при крещеніи, по желанію матери — перешелъ на жалованье лучше въ модный магазинъ, на Литейной, сталъ рослымъ, красивымъ малымъ, широкимъ въ плечахъ, большимъ франтомъ и тайнымъ кутилой. Она его всегда боялась, и онъ ей нравился всѣмъ. Считала она его за умницу и даже за „ученаго“. Онъ относился къ ней насмѣшливо, иногда съ покровительствомъ. Когда она поступила въ услуженіе, онъ почти пересталъ къ ней ходить, срамитъ ее, чуть не прибилъ, какъ могла она унизиться до положенія „холошки“? Потомъ явился къ ней разъ, подъ вечеръ, по заднему ходу, слегка выпивши, приласкалъ ее; потомъ занялъ у нея два рубля, конечно безъ отдачи, и сталъ ее подбивать, всячески доказывая, что жить въ бонпахъ, на жалованьи горничной, совершенная негѣ...
нотъ.

— Съ твоей мордочкой,—говорилъ онъ ей,—съ манерами, да не найти хорошаго мѣста?

Чего-чего ни перечислилъ онъ по части одной продажи: и парфюмерный магазинъ въ Гостиномъ, гдѣ только „одинъ женскій полъ“, и нѣсколько буфетовъ, гдѣ такихъ „пумпусиковъ“, какъ она, съ радостью примутъ, и магазины готовыхъ дамскихъ вещей... Кончилъ онъ тѣмъ, что сказалъ:

— По-моему, лучше ужъ въ булочную, въ продавщицы идти, чѣмъ состоять на положеніи полухолопки!

Выраженіе „полухолопка“ рѣзало ее по кожѣ и заставляло краснѣть по всю щеку.

— Достань, Адамъ, достань! — повторяла Полина, разстроенная и сильно возбужденная словами брата.

— И достану!..

Съ того раза онъ не приходилъ больше десяти дней. Да она отчасти и рада была этому, потому что у себя въ комнатѣ принимать ей не совсѣмъ удобно; барыня, кажется, до сихъ поръ подозрѣваетъ, что это не братъ ея родной, а такъ молодой человѣкъ изъ ухаживателей! Голосъ къ тому же у Адама зычный, низкій баритонъ, и шопотомъ онъ не согласится говорить. Въ немъ отъ матери сидитъ „шляхетскій“ гоноръ, обидчивъ онъ выше всякой мѣры, и если разсердится, то способенъ произвести скандалъ, гдѣ угодно, особенно послѣ лишней бутылки пива.

О мѣстѣ что-то, однако, не было помину, иначе Адамъ написалъ бы ей по городской почтѣ.

Полина присѣла къ столику, гдѣ у нея стоитъ ящикъ, оклеенный голубымъ атласомъ, отперла ключикомъ, который носила на шеѣ, и вынула оттуда нѣсколько записочекъ.

Вотъ уже второй мѣсяцъ, какъ у нея завелся въ домѣ маленькій „интересець“.

По воскресеньямъ приходитъ племянникъ барыни, кадетъ Миша, уже на выходѣ. У него смѣшной носъ, въ родѣ какъ у собакъ, съ раздвоеніемъ между ноздрями, зато щеки румяныя, курчавые каштановые волосы и свѣтло-каріе глаза. Они у него загораются каждый разъ, какъ Полина около него...

Во второй же приходъ кадета, онъ всунулъ ей въ руку записочку... Не могла же она не прочесть ее!..

Въ записочкѣ стояло:

„Душечка Полюночка, вы не знаете, что вы для меня. Пожалуйста, отпроситесь хоть одинъ разъ, въ тѣ дни, когда я прихожу къ тетѣ; но съ утра, чтобы не возбудить подозрѣнія“.

Записочку Полина нашла дерзкой... Какъ могъ этотъ „мальчишка“ сейчасъ же просить у нея любовнаго свиданія?.. Надо бы было хорошенько проучить его, показать записку его теткѣ.

Но это сейчасъ же показалось ей „неблагодарнымъ“... Къ чему вмѣшиваться господь? Она и сама сумѣетъ справиться съ кадетикомъ, „осадить“ его, такъ что онъ будетъ знать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Однако, Полина, ложась спать въ тотъ же день, перечла еще разъ записочку Миши, и слова: „вы не знаете, что вы для меня“, вызвали на ея пухленькихъ губахъ усмѣшку. Слово „что“ было подчеркнуто, и это заинтересовало ее... Вѣдь онъ не мальчуганъ, у него усы пробиваются, онъ баринъ и, кажется, богатенькихъ родителей.

Вѣдь если онъ сразу влюбился въ нее, развѣ можно на это сердиться?

Но все-таки надо ему было показать, что она видитъ его насквозь, и самой не заговаривать.

Въ слѣдующее воскресенье Полина нарочно не отпрашивалась и была неотлучно при дѣтяхъ. Миша пришелъ въ дѣтскую, поздоровался съ нею, дѣтей началъ сажать къ себѣ на колѣни, вскакивалъ, подбѣгалъ къ ней, хотѣлъ-было дѣлать ей намеки, потомъ не выдержалъ, сталъ всячески къ ней подслуживаться... Но она сухо съ нимъ обращалась и глазами раза два ему показала, что за его дерзость слѣдовало бы ему уши надрать.

Кадетъ это понялъ, и началъ даже краснѣть, опускать глаза... Полинѣ очень смѣшило и еще больше льстило ея самолюбію такое волненіе.

Вотъ она, значить, какова! Однимъ взглядомъ можетъ дерзкаго мальчика осадить. Впередъ будетъ знать, какъ записочки всовывать въ руку въ такомъ тонѣ... Но она огорчилась тѣмъ, что Миша въ это воскресенье другой ей записочки не всунулъ въ руку и даже не положилъ на ея столѣикъ. Дверь она не запирала. Онъ могъ это сдѣлать во всякое время...

Вмѣсто одного, она въ слѣдующіе дни получила три письма по городской почтѣ.

„Полина! — писалъ кадетъ красными чернилами, — вы поступаете со мною такъ, что мнѣ остается одно — исчезнуть“.

И такъ, на четырехъ страницахъ перваго письма, и строки, крестъ-накрестъ, шли на второй и третьей страницахъ.

Разумѣется, она не испугалась. Подчеркнутое слово „исчезнуть“ значило, что, молъ, я съ собою покончу. Кто же нынче не пугаетъ самоубійствомъ?.. Она такъ ему и написала въ отвѣтъ, по городской почтѣ, въ почтовое отдѣленіе на Островъ, до востребованія:

„Пугать меня не надо“.

И больше ничего. А руку свою немного измѣнила.

Собою она была довольна.

Кадетъ сталъ писать чуть не каждый день. Почтальону (и не одному, а троемъ) Полина наказала отдавать письма, адресованныя ей, въ кухню, съ задняго крыльца. Она боялась, какъ бы барыня не обратила вниманія... Руку свою Миша тоже немного измѣнялъ; но все-таки можно было узнать его почеркъ.

Накопилось у нея больше дюжины писемъ и записочекъ. Въ нихъ Миша просилъ свиданія или возможности, когда придетъ къ роднымъ, „улучить минуту“ и „выслушать выраженіе его страсти“.

Но Полина все еще уклонялась. Онъ цѣлый день торчалъ въ дѣтской. Она глядѣла на него ласково, нѣсколько разъ сдѣлала ему глазки, позволила, невзначай, когда Миша подпалъ что-то съ полу, около низкаго кресла, гдѣ она сидѣла, пожать ей кончики пальцевъ. Но кадетъ дѣлался все предпримчивѣе и въ темномъ уголкѣ хотѣлъ прижать ее...

Она кинула ему почти негодующе:

— Что за дерзость!..

Но внутренно не разсердилась на него. Положимъ, можно было объяснить его безцеремонный порывъ тѣмъ, что онъ на нее смотритъ какъ на бывшую горничную, которую онъ засталъ въ томъ же домѣ. Любовныя записки говорили о большомъ увлеченіи. Миша, нужды нѣтъ, что кадетъ, уже на возрастѣ; на нѣсколько мѣсяцевъ старше ея, выйдетъ въ офицеры, навѣрное въ кавалерію... И теперь бы онъ ей нравился, да его кадетское пальтецо смѣшило ее. Онъ полный, пальтецо короткое и кушакъ,



точно на женщинъ: все вмѣстѣ какъ-то ее не настраиваетъ...

На его записки она отвѣчаетъ рѣдко и очень сдержанно: два-три слова и непременно измѣненнымъ почеркомъ. Ей и хочется иногда написать побольше, выразить не любовь свою, а разныя чувствительныя вещи, вспомнить дѣтство, высказать, какъ ея „благородныя чувства“ страдаютъ отъ теперешняго положенія, дать ему нѣсколько совѣтовъ насчетъ любовныхъ влеченій и показать ему, съ какой дѣвушкой онъ вступилъ въ тайную переписку.

Миша провожалъ ее, когда она пошла гулять съ дѣтьми. Это было при его теткѣ. По лицу барыни Полина могла заключить, что та еще никакихъ подозрѣній не имѣетъ.

Дорогой кадетъ не переставалъ надоедать ей своими нѣжностями и даже такъ приободрился, что предложилъ зайти „куда-нибудь“ въ кофейную или кондитерскую.

Полина отказала, хотя ей ужасно захотѣлось зайти...

На возвратномъ пути повстрѣчался съ ними ея братъ Адамъ. Онъ шелъ такой франтоватый, въ пальто съ мерлушковымъ воротникомъ и въ высокой зимней шапкѣ московскаго фасона.

Они поговорили. Полина „представила“ ему кадета. Миша почему-то затруднился первымъ протянуть руку Адаму, скорѣе всего изъ нерѣшительности; а тотъ обидѣлся,—Полина это замѣтила,—глаза его зло заблестѣли, и онъ такъ строго спросилъ:

— А вы, господинъ кадетъ, позволеніе имѣете гулять съ моей сестрой отъ вашей тетки?

Миша сначала сконфузился, но тотчасъ же обидчиво отвѣтилъ:

— Для этого я не обязанъ просить ни у кого позволенія...

Адамъ возразилъ однимъ словомъ:

— Однакожъ!

И, кивнувъ головой только сестрѣ, пошелъ, помахивая тростью.

Черезъ два дня Адамъ пришелъ къ ней, и не заднимъ ходомъ, а черезъ парадное крыльцо, прямо въ дверь, скрипѣлъ и стучалъ своими заграничными ботинками на толстыхъ подошвахъ, и вызвалъ ее сейчасъ же черезъ горничную изъ дѣтской.

Онъ сидѣлъ у нея на кровати въ шапкѣ и пальто.

— Достала мѣсто? — радостно спросила его Полина шопотомъ.

— Не такъ это легко!.. А вотъ что ты мнѣ скажи...

Адамъ всталъ, подошелъ къ двери, затворилъ ее плотно и началъ ей производить формальный допросъ: давно ли этотъ кадетъ увивается за пею и не желаетъ ли она съ нимъ „амурничать“?

Полина захотѣла было войти „въ амбицію“, но струсила.

— Я тебѣ замѣсто отца! — говорилъ Адамъ, и такъ громко, что она должна была его упросить — говорить потише.

— Навѣрно съ записочекъ любовныхъ началъ? — уже шопотомъ спросилъ Адамъ.

Полина не сразу на это отвѣтила, а стала говорить, что это „ни съ чѣмъ несообразно“ думать о ней, точно о какой дурочкѣ... Развѣ можно „увлечься“ кадетомъ, хотя бы у него и румяныя щеки и усики?..

Но Адамъ плохо ее слушалъ, а прямо подошелъ къ столику, взялъ атласный ящичекъ, который, на бѣду, не былъ запертъ, точно чутьемъ догадался, что тамъ любовная корреспонденція.

Онъ вытряхнулъ на подушку всѣ письма и записочки Миши... Полина хотѣла было не допустить, даже разсердиться или заплакать, но братъ отвелъ ее рукой, сѣлъ опять на постель, сталъ перечитывать, дѣлать изъ нихъ пачку.

— Его собственной рукой писано? — спросилъ онъ уже не суровымъ, а скорѣе ласковымъ тономъ.

— Его!

— Переиначено?

— Нѣтъ!..

— Ладно!

И онъ засунулъ пачку въ карманъ пальто.

— Этого ты не смѣешь, Адамъ! — почти вскрикнула Полина.

— Дурочка ты!.. У тебя это спапаютъ и вытурятъ вонъ со скандаломъ, а у меня это будетъ въ сохранности!.. Поняла?

И онъ щелкнулъ ей большимъ, мясистымъ пальцемъ по лбу.

Полина разсмѣялась и тотчасъ же сообразила, что Адамъ — „не промахъ“; что держать эти письма и записки опасно. Даже у нея мелькнула у самой мысль, что пачка



любовныхъ изліяній, просьбъ и нѣжностей кадета „пригодится“.

III.

Стала задумываться Полина. Съ дѣтми она нервна и придирчива. Кока съ ней заговариваетъ, но она даетъ на него окрики. Мальчикъ обидится, уйдетъ въ уголъ и вымещаетъ свою обиду на Шурѣ. Та его ревнуетъ, сгрозитъ около него и добьется-таки тукманки отъ брата. Старшая дѣвочка вся искривлялась. Мать недовольна, но, по своимъ „принципамъ“, не можетъ сдѣлать энергическаго выговора боннѣ. Она уже совѣтовалась съ мужемъ. Тотъ сказалъ:

— Дѣлай, какъ знаешь! Что же тебѣ стоить расчестъ ее?..

— Она очутится на улицѣ! Развѣ ты не видишь, какая у нея натура... и паружность?!

Баринъ не хотѣлъ разубѣждать барыни. Онъ ее очень любилъ, но про себя и въявь подтрунивалъ надъ ея „идеями“ и „гуманной чувствительностью“.

Влюбленности кадета тетка еще не замѣчала, и по характеру не была подозрительна. Но, противъ своей воли, она начала приходить въ безпокойство и разъ, войдя въ дѣтскую, когда Полина дергала Шуру за руку и, кажется, собиралась дать ей „шлепсъ“, она прочла ей длинное нравоученіе.

Оно было весьма сдержанное и даже благожелательное, но Полинѣ показалось нестерпимо обиднымъ и унижительнымъ. Въ этомъ нравоученіи она признала намеки на ея кокетство съ кадетомъ, чего на самомъ дѣлѣ не было. Она сначала слушала съ разгорѣвшимся лицомъ и часто моргала, вдругъ начала возражать, и такимъ тономъ, какого барыня еще не слыхала отъ нея...

Когда она слушала барыню, то въ воображеніи ея всталъ братъ Адамъ, съ пачкой писемъ кадета въ рукахъ, и это ее наполнило чувствомъ силы, точно будто у нея противъ барыни есть что-то такое очень вѣское и рѣшительное; не только она не боялась быть уличенной, а, напротивъ, готова была даже кинуть барынѣ такой возгласъ:

„Вамъ-де слѣдовало за племянникомъ построже надзирать, а не мнѣ читать нотации“.

Если бы барыня не смолкла, Полина навѣрное бы „выпалила“ ей эти именно слова.

Въ возбужденномъ настроеніи вернулась Полина къ себѣ въ комнату, и ей захотѣлось вдругъ укладываться. Она подошла къ своему сундуку, покрытому пледомъ, сняла пледъ, отперла и даже откинула крышку.

Укладываться она, однако, не стала.

Куда же она дѣнется, сейчасъ же?

Да барыня и не пригрозила ей ничѣмъ. Но вся эта „канитель“, т. е. положеніе пяньки при дѣтяхъ сдѣлалось пошлымъ до-нельзя.

„Нянька! Ну, какая она нянька?!“ — Переводъ французскаго слова „бонна“ на русское разсмѣшилъ ее. Полина вслухъ расхохоталась, но точнѣе же опять выпятила свои хорошенькія губки и легла на постель, что она дѣлала рѣдко, изъ боязни помять прическу.

Опять мысль ея перешла къ Адаму. Братъ пугалъ ее, и привлекалъ.

Куда же ей до него? Положимъ, онъ и „нахвастаетъ“ многое, и до сихъ поръ не могъ ей предложить никакого порядочнаго мѣста, только все соблазняетъ разговорами. Но она знаетъ, что у Адама „чортовъ“ характеръ. Когда онъ разозленъ, онъ волка схватитъ за горло. Ну, волка — не волка, а на человѣка, на любого, кинется, будь хоть тамъ генералъ или какой угодно важный сановникъ. И если Адамъ все еще „торчитъ“ въ мелкихъ приказчикахъ, то оказіи не вышло ему пробиться и получить „полный ходъ“.

Полина вслѣдъ за тѣмъ подумала:

„А что онъ сдѣлаетъ изъ пачки писемъ кадета?“

Не отвѣчая себѣ на этотъ вопросъ, Полина задала и другой:

„Жалко ей или нѣтъ Мишу? Нравится онъ ей, серьезно?..“

Не противенъ, потому что нѣтъ около нея въ домѣ никакого другого молодого и красиваго мужчины — больше вѣдь и ничего. Но жалѣть его она не жалѣетъ. Чего жалѣть такого балбеса? Письма онъ умѣетъ писать, да и то черезчуръ уже распространяется и пишетъ связно, каракульками, такъ что ей трудно разбирать. Въ первыхъ записочкахъ, когда онъ измѣнялъ свой почеркъ, разбирать было легче, а потомъ и пошло все хуже и хуже.

„Зато почеркъ настоящій“.

Она мысленно произнесла эти слова и не испугалась,



не застыдилась ихъ. „Настоящій почеркъ“ — это улика. Изъ нея Адамъ что-нибудь *такое* да устроить. Онъ не спроста взялъ къ себѣ письма.

Въ первый разъ въ мозгу Полины поднялся вопросъ:

„Что называть хорошимъ поступкомъ и что безчестнымъ, и можно ли отъ себя требовать разныхъ тонкостей передъ господами?“

Вѣдь она все-таки живетъ у „господъ“, а сама шляхлянка, ну, хоть дочь шляхтянки.

Ея совѣсть подсказала далѣе, что барыня добрая, принимала въ ней участіе, пробовала учить ее, наставить на хорошій путь.

Но вѣдь все это — „одна канитель“. Учись, корпи, изнывай надъ шаловливыми дѣтьми и дальше двадцати рублей жалованья не пойдешь. Да и двадцати никогда не получишь. Гувернантки изъ нея не сдѣлаютъ. Можетъ, по-французски будетъ побойчѣ болтать, а „русскимъ предметамъ“ ни въ жизнь она не научится! Нипче съ педагогическихъ курсовъ идутъ на чetyреста рублей, а это выходитъ всего-то по тридцати рублей въ мѣсяцъ съ небольшимъ. Попроще гувернантки живутъ за двадцать рублей, а то такъ „изъ-за пищи“, за столъ и квартиру, хуже, чѣмъ „она грѣшная“.

По ея происхожденію и воспитанію она изъ того же „званія“, какъ и ея господа, но къ нимъ она не можетъ чувствовать то, что слѣдовало бы быть благодарной, не замышлять ничего противъ нихъ.

„Если изъ-за этого толстощекаго Мишки, — она такъ уже звала его про себя, — выйдетъ хоть самомалѣйшая неприятность, она сейчасъ Адама „за бока“, и пускай онъ изъ всего извлекаетъ что-нибудь выгодное для нея“.

Полина не подумала о томъ, какъ это будутъ звать хорошіе люди... Слово не пришло ей на умъ. Да развѣ — и то сказать! — она стала сама первая дѣлать глазки кадету или завлекать его? Нимало! Это она „хоть на духу“ скажетъ. Какъ же его можно сравнивать съ ея знакомымъ изъ топографскаго училища, изъ-за котораго тоже вѣдь досталось ей отъ барыни. Вотъ изъ-за того стоило бы „пострадать“ и нотацію выслушать.

Всѣ эти вопросы дали ея душѣ оборотъ, неожиданный для нея самой.

Она задумалась о жизни „вообще“.

Злиться на другихъ, хотя бы и на теперешнихъ сво-

ихъ „господъ“, по правдѣ сказать, — ей не хочется... У нея характеръ легкій. Если бы она жила въ своемъ семействѣ такъ, какъ ее воспитывали, она бы ни съ кѣмъ не ссорилась, все бы распѣвала, да пріятныя книжки читала, да наигрывала бы на фортепіанахъ или ѣздила бы по сосѣдямъ-помѣщикамъ.

Но можетъ ли она смотрѣть серьезно на свое теперешнее дѣло?

На свѣтѣ такъ ведется, что одни богаты, другіе бѣдны, или разорены, впади въ нужду—вотъ какъ она съ отцомъ. Почему одни блаженствуютъ, а другіе должны къ нимъ прислуживаться, отъ нихъ обиды терпѣть, весь вѣкъ подачками ихъ кормиться?.. Почему?

Она не могла на это отвѣтить, но сердце ей нашентывало, что никакого на все это нѣтъ хорошаго резона. Такъ все дѣлается, зря, на этомъ свѣтѣ. Никакой „правды“ нѣтъ, да и быть не можетъ.

„Все дѣло, — думала Полина, — въ случаѣ, въ удачѣ. Сумѣлъ улучшить минуту, вотъ и хорошо, вотъ и жить будешь пріятнѣе... Отецъ ся поймался... А если бы удача повернулась къ нему лицомъ, онъ, навѣрное, былъ бы теперь самъ помѣщикъ или крупнѣйшій арендаторъ, а ее бы съ большимъ придапомъ отдали за эскадроннаго командира, въ драгунскомъ полку, въ томъ, что стоялъ около нихъ, въ жидовскомъ городѣ. Жаль только, что мундиры то нынче у всѣхъ такіе ненарядные. То ли дѣло было, когда она дѣвчонкой, по девятому году, сиживала на колѣняхъ у этихъ самыхъ драгунъ; но они тогда носили гусарскій мундиръ, зеленый съ золотомъ, и фуражки съ голубымъ изумруднымъ околышемъ.

Къ такимъ выводамъ подталкивалъ ее и возрастъ.

Полина, вотъ уже больше года, какъ перешла отъ тревоги, слабостей, головныхъ болей, страха по ночамъ—къ другому настроенію. Теперь ей вдвое тяжело сидѣть заперти или прохаживаться на прогулкѣ съ дѣтьми. Она хочетъ жить, а жить—значитъ рисковать, значитъ идти навстрѣчу всякой случайности и всякой удачѣ... Кто же знаетъ? Въ кадетѣ Мишѣ „сласть“ небольшая, но онъ можетъ очень и очень пригодиться... Да и не уродъ онъ. его усики и цыпныя щеки, и даже неустановившійся теноровый голосъ, пѣть-нѣть да и запрыгають передъ нею, когда она лежитъ утромъ, лѣжится, кутается въ одеяло и жмурить глазки, какъ кошка...

Главное дѣло—ловко вести всякое знакомство, ухаживаніе, пользоваться тѣмъ, что само идетъ къ тебѣ навстрѣчу. Вѣдь безъ того же кадета ей еще тошнѣе было бы жить въ боннахъ.

А отъ всякой глупости ее удержать братъ. Онъ — „башка“, какъ его называлъ и отецъ; лучше и не придумаешь для всякаго казуснаго житейскаго случая, гдѣ придется постоять за нее и выудить что-нибудь отъ „простофиль“ или осадить нахала и заставить загладить свою вину.

Полина сѣла къ столику и начала писать записку Мишѣ. И на этотъ разъ она не забывала переименовывать свой почеркъ. Она отпросилась на цѣлый день и рассчитывала уйти со двора. Миша придетъ къ завтраку и прочтетъ ей записку. Въ ней она скажетъ только, что часу въ третьемъ она будетъ въ Лѣтнемъ саду, на большой аллеѣ; но оставаться въ саду не станетъ, а только пройдетъ взадъ и впередъ.

Но какъ передать записку? Оставить у швейцара? Онъ, пожалуй, разболтаетъ. И безъ того у него есть склонность обо всемъ разспрашивать... Полина подозреваетъ, что швейцаръ изъ „жидковъ-перекрещенцевъ“... Нѣтъ, швейцару отдать нельзя. Развѣ горничной?.. Съ нею она не въ ладахъ. Горничная на нее начала дуться, узнавъ, что Полина была прежде на ея мѣстѣ. Онѣ съ кухаркой довольно громко ругали ее и не одинъ разъ называли „высочкой“, „барской барыней“ и другими прозвищами, грубили ей на каждомъ шагѣ, особенно горничная. Надо было даже пожаловаться барынѣ, чтобы заставить эту „дрянь“ выметать изъ ея комнаты. Та вслухъ говорила:

— Не велика фри! И сама можетъ прибрать у себя.

Раза два Полина изъ-за нея вслакивала. Нѣтъ! И горничной нельзя оставить записочки... Кому же?

А изъ дѣтей кому-нибудь? Сначала она подумала: старшей дѣвчонкѣ? Она не по лѣтамъ смысленная и даже съ разными порочными склонностями, „все отлично понимаетъ“—такъ ее аттестовала сама Полина.

Но потому-то именно и не безопасно будетъ отдать ей записку для передачи Мишѣ. Не Кокѣ же?.. Онъ еще ничего не разумѣетъ порядкомъ, пожалуй, разорветъ или начнетъ мусолить конвертъ или запикивать его въ ротъ. А Шурѣ?

На Шурѣ Полина остановилась. Почему же нѣтъ? Ей не надо и долго растолковывать. Просто сказать: „Вотъ, Шурочка, здѣсь лежитъ записка; когда Миша придетъ, отдай ему“.

Записку положить въ дѣтской на столѣ, подъ какую-нибудь игрушку. А вдругъ какъ Шура, во весь голосъ, объявить это при матери!..

Между Кокой и Шурой Полина долго колебалась... Ни разу ее не остановила мысль, что она—„бонна“, какъ же это она дѣлаетъ маленькихъ дѣтей посредниками своихъ „шашней“; вѣдь такъ назовутъ это кухарка, горничная, а то и сама барыня.

И все-таки она выбрала Шуру.

Уходя, Полина отвела ее въ уголокъ—остальныхъ дѣтей не было—и сказала:

— Слушай, Шура, ты видишь вотъ это?

И она показала ей книжку.

— Вижу, Поля!—весело пролетела Шурочка и протянула ручку.

— Я положу сюда, подъ твой картонный домикъ... Когда Миша придетъ, отдай ему...

Полина разсудила, что будетъ совершенно безопасно вложить записку въ книжку.

— Только ты не трогай книжки!.. Картинокъ тутъ нѣтъ...

— Не буду!

— То-то! Я узнаю, если будешь мусолить листки.

— Не буду!—повторила Шура.

Полина положила книжку подъ картонный домикъ. Шура сама ей помогала. Книжку домикъ прикрылъ, такъ что никто бы и не догадался...

На этомъ Полина успокоилась и ушла, совершенно довольная своей комбинаціей. Но случилось не такъ, какъ она мечтала...

Шура исполнила ея порученіе. Въ дѣтскую вошелъ Миша въ ту минуту, когда тамъ никого, кромѣ нея, не было.

Она сейчасъ же подскочила къ нему, взяла его за руку, съ серьезной миной подвела его къ столику, гдѣ стоялъ картонный домъ, и сказала таинственно:

— Подыми!

Онъ поднялъ.

— Возьми книжку!



— Отъ кого?—спросилъ Миша, и весь зардѣлся.

— Отъ Поли!

Онъ схватилъ книжку порывисто и развернулъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ видѣлась закладка.

Какъ разъ въ эту минуту вошла въ дѣтскую его тетка.

Миша захлопнулъ книжку, но такъ неловко, что изъ нея выпала записочка.

Шура запрыгала вокругъ нея и закричала:

— Уронилъ! уронилъ!

— Что это?—спросила тетка не строго, но пылливо.—
Отъ кого?

— Я не знаю,—отвѣтилъ кадетъ.

И опять Шура подскочила къ запискѣ, подняла ее и поднесла Мишѣ.

— Тебѣ! Тебѣ!

— Почему же мнѣ?

Онъ ужъ догадался, въ чемъ дѣло, и такъ разсердила его эта нелѣпная дѣвчонка, что онъ чуть было, при теткѣ, не далъ ей „леща“, какъ говорили у него въ корпусѣ.

— Подай!—крикнула строже мать.

Шура подала.

— Кто тебѣ отдалъ книжку?

— Поля!

— Для кого?

— Вотъ для Миши.

— А-а!..

Вышла значительная пауза. Кадетъ хотѣлъ было отвоевать себѣ записку и началъ возражать:

— Однако, позвольте, ma tante... это... вѣроятно...
Полина...

— А вотъ увидимъ...

Но она не распечатала конверта, только положила себѣ въ карманъ.

— Когда Полина вернется, я при тебѣ и при ней раскрою письмо и увижу, кому оно написано.

Миша чуть не заплакалъ.

IV.

Въ магазинѣ, гдѣ братъ Полины состоялъ приказчикомъ, еще только начинали торговать. Адамъ смотрѣлъ въ окно на мокрый тротуаръ, на пѣшеходовъ, на проѣзжавшія дроги съ покойникомъ. Утро стояло мокрое и немного туманное. Хозяинъ сдѣлалъ ему выговоръ за прогуль.

Адамъ на него злился и кусалъ себѣ губы. Ему хотѣлось выместить на комъ-нибудь свое сердце. Одного мальчика онъ уже толкнулъ въ загривокъ, рискуя, что тотъ пожалуется хозяину. Онъ самъ былъ младшій приказчикъ, и драться ему еще не полагалось.

Когда онъ взбѣшенъ, у него сердце сжимается и блѣдность дѣлается такая, что вотъ-вотъ сейчасъ въ обморокъ упадетъ. Но это только кажется; напротивъ, у него силы прибываетъ и дерзости, всѣхъ онъ можетъ сокрушить въ такія минуты.

Дверь съ улицы растворилась широко и шумно. Адамъ быстро повернулъ голову.

Вошла, почти вбѣжала, Полина.

И она казалась блѣдной. Ея чолка не такъ старательно была расчесана. Шляпка сидѣла немного назадъ, что къ ней шло.

— Адамъ!..

Полина кинулась къ брату, и онъ сейчасъ же замѣтилъ, что у нея заплаканные глаза.

— Что такое?—спросилъ онъ строгимъ голосомъ.

— Исторія!.. Меня гонять!.. Заступись!..

Слезы уже подступали ей къ горлу.

Братъ отвелъ ее въ уголъ, за выступъ арки, гдѣ навалена была цѣлая кина матерій.

— Ну, говори!..

Она заплакала, но нервное движеніе головой брата остановило ея слезы.

Вчерашняя „исторія“ приняла въ пересказѣ Полины совсѣмъ другія формы и краски. Выходило, что барыня гонить ее „со шкапдаломъ“ и „осрамила“ ее передъ прислугой, на весь домъ, что баринъ тоже наговорилъ ей „всякихъ обидъ“ и что „такъ этого оставить невозможно“.

Она передавала все это порывистымъ шопотомъ, глотая слезы, и краснѣла постепенно. Адамъ слушалъ ее нетерпѣливо и сморщилъ переносицу.

— Окончательно гонить?—перебилъ онъ ее.

— Дали четыре дня сроку и жалованье до перваго числа; а мнѣ до восьмого слѣдуетъ... Адамъ, приди!..

— Ладно!.. Мы имъ покажемъ!..

Его разсерженность находила себѣ исходъ.

— Куда же я дѣнусь?—пролепетала Полина.—Ты ничего не нашелъ?..



— Здѣсь нельзя распространяться. Приходи въ кухмистерскую противъ памятника... въ обѣдъ... Мы тамъ разберемъ.

— Хорошо!

— Только смотри, чтобы у тебя чего-нибудь не сдапали въ компанѣ.

— Я на ключъ заперла дверь.

— То-то! А мы этихъ буржуевъ приструнимъ!

Полина поднялась на пыпочки и прикоснулась губами къ блѣдной щекѣ Адама.

— Нечего!.. Безъ нѣжностей...

Она сконфузилась и пошла, но пернула и самымъ низкимъ шопотомъ спросила:

— Письма у тебя, Адама?

— Какія?

— Ахъ, ты, Господи!.. Да того... кадета?

— Еще бы!.. Иди!..

— Такъ въ пять часовъ, въ кухмистерской?

— Противъ памятника.

Изъ магазина Полина вышла болѣе спокойной походкой и держала все голову внизъ, не смотрѣла то на вывѣски, то на встрѣчныхъ... Она была немного смущена тѣмъ, что Адамъ встрѣтилъ и выслушивалъ ее сурово, не сказалъ ей ни одного утѣшенія, не приласкалъ ее ничѣмъ.

Ну, да что же дѣлать, коли у него такой нравъ! Зато, такъ онъ этого не оставитъ, добьется того, что ей заплатить до восьмого, извинится передъ ней, да и еще что-нибудь съ нихъ Адамъ „сдеретъ“.

— Непремѣнно,—вслухъ выговорила Полина, когда поворачивала съ Литейной въ Малую Итальянскую.

Какъ можно, чтобы онъ не воспользовался теперь лачкой писемъ кадета? Да она сама—будь они у нея—сейчасъ же бы не такъ осадила барыню. Да и того на первый разъ было довольно, что она ей отвѣтила.

Записочка выпала изъ книжки. Книжку Шура получила отъ нея.

„Какъ будто уличили ее съ повиннымъ!“ Но вѣдь мало ли что вретъ эта дѣвчонка. Она—„сочинительница“. Это и матери ея извѣстно. Если даже повѣрять дѣвчонкѣ, то вѣдь всего-то-на-все и есть, что передача книжки кадету. Записочка могла быть заложена въ нее въ видѣ закладки...

Отпереться отъ своей руки она не успѣла, когда барыня

стала передъ ней „судейшей“; но это можно будетъ сдѣлать. Почеркъ не ея—это первое, а второе то, что на конвертѣ не было никакого адреса.

Сама „судейша“ проговорила:

— Положимъ, адреса нѣтъ и подписи нѣтъ, и рука какъ будто не ваша, но вы назначили свиданіе въ Лѣтнемъ саду именно на такой часъ, къ которому Михаилъ Петровичъ могъ поспѣть въ Лѣтній садъ.

На это обвиненіе у нея хватило разсудка ничего не отвѣтить.

Не разругивалась она и послѣ, когда барыня стала ее стыдить материнскимъ тономъ, хотѣла отъ нея добиться покаянія, раскаянія...

Какъ бы не такъ!

Положимъ, не очень мудро было и притвориться кающейся, попросить прощенія и, не сваливая ничего на кадета, взять всю вину на себя. Это навѣрное удалось бы съ такой „ученой дурехой“, какъ барыня. Но ничего такого Полина не сдѣлала, и теперь хвалила себя. Очень ужъ ей тошно въ боннахъ, и такая „исторія“, такъ или иначе, да поставитъ ее на другую дорогу.

Она не стала „убеждать“ на Мишу, но сказала съ достоинствомъ:

— Вы, *мадамъ*, лучше бы за племянникомъ вашимъ присматривали. Я его не соблазняла... И если я захочу, то его же на свѣжую воду выведу...

Больше ничего она не прибавила. Она тогда въ одинъ мигъ сообразила, что ей будетъ выгоднѣе приберечь пачку записочекъ и „большущихъ“ писемъ кадета и выпустить съ ними Адама.

Вотъ это-то ея моведеніе, за которое всякій ее „умницей“ назоветъ, и взорвало барыню. Она чуть не со слезами начала говорить ей, какая она испорченная дѣвочка, какъ она не заслуживаетъ снисхожденія.

— Повинись ты чистосердечно, и бы вамъ простила!..

Этакое „блаженство“ жить у нея, въ чуланчикѣ, за красненькую, и возиться съ тошными ребятишками!

Чѣмъ ближе подходила Полина къ дому, тѣмъ она больше убѣждалась въ томъ, какаа она умная и ловкая, сколько у нея характера и какихъ „дѣловъ“ можно надѣлать съ такимъ братомъ, какъ ея Адамъ.

Она жила у господъ, по должности своей не испра-

вляла. Ей дали трое сутокъ сроку. Она ихъ „освободить“ и раньше.

Вошла она съ параднаго подъѣзда, хоть и знала, что горничная встрѣтитъ ее съ хмурымъ видомъ; „вотъ какая фря—ее прогнали, а она звонитъ въ электрическій звонокъ и заставляетъ выбѣгать въ переднюю“. Но если эта „бестія“ скажетъ ей грубость, она должна смолчать, чтобы не подать самомалѣйшаго повода къ чему-нибудь „такому“ вплоть до прихода брата.

Дверь отперла кухарка и впустила ее безъ ворчанія. Кухарка была добрѣе горничной, и ей стало жаль Полину тотчасъ послѣ ея сцены съ барыней. Она даже говорила въ кухнѣ:

— Еще бы, такого балбеса племянника завели, да чтобы пашней не было!..

Полина прошла тихо, но съ достоинствомъ, мимо отворенной двери въ гостиную, не снимая своей шубки, и начала, безъ шума, укладываться. Она уже знала, что послѣ господскаго обѣда можетъ выйти такая сцена, съ участіемъ ея брата, послѣ которой придется сейчасъ же выѣзжать и вывозить свои пожитки.

Въ чемоданъ все не вошло. Она долго соображала, изъ чего сдѣлать узелъ и что оставить для помѣщенія въ верхнемъ отдѣленіи чемодана.

Это укладыванье взяло у нея около двухъ часовъ. Добра набралось столько, что на одномъ извозчикѣ она не уѣдетъ, а двухъ брать дорого. Лучше припасти на всякій случай ломового. Объ этомъ позаботится Адамъ.

И тутъ, въ первый разъ, ея легкая голова остановилась на вопросѣ: гдѣ она будетъ сегодня ночевать?

У брата?

Но у него комнатка узенькая, въ одно окно.

„Гдѣ-нибудь“, — отвѣтила себѣ Полина, и въ пятомъ часу ушла въ кухмистерскую, что противъ памятника.

Господа обѣдали въ шесть часовъ и на этотъ разъ безъ старшей дѣвочки. Ее послали къ дѣтямъ присмотрѣть за ними. При ней мать не хотѣла говорить съ отцомъ о Полинѣ.

Мужъ, по обыкновенію, слегка подсмѣивался надъ женой.

Онъ ей сказалъ въ началѣ обѣда, по-французски, чтобы не понимала горничная:

— Такъ и должно было случиться!.. Кадетъ въ любовномъ возрастѣ...

Но она не могла смотрѣть на эту исторію, какъ онъ, только юмористически. Она возмущалась и чистосердечно была огорчена испорченностью молодой дѣвочки, отсутствіемъ въ ней „нравственнаго инстинкта“. Мужъ опять подтрунилъ надъ ея склонностью къ „психологическимъ тонкостямъ“, а потомъ сталъ говорить серьезно.

Надо поскорѣе отпавить бонну и позаботиться о хорошей иностранкѣ. Онъ стоялъ за недорогую англичанку, которая, по крайней мѣрѣ, будетъ вести меньшихъ дѣтей въ привычкахъ опрятности и гигиены.

Барыня не очень восторгалась англичанками. Онѣ бываютъ грубоваты, даютъ дѣтямъ „эгоистическій“ складъ настроенія, да многія изъ нихъ, — тѣ, что подешевле, — тайно попиваютъ.

Обѣдъ кончился, впрочемъ, тихой бесѣдой. Одно только смущало барыню — и она не скрыла этого отъ мужа — какъ бы не вышло еще чего-нибудь „такого“?

— Да чего же? — спросилъ лѣниво мужъ, закуривая сигару.

— Отъ этой испорченной личности всего можно ждать...

Только что были сказаны эти слова, какъ въ передней — дверь въ столовую оставалась отворенной — затрещалъ звонокъ.

Одинъ разъ, два раза, три раза, звонъ былъ сердитый и требовательный.

— Боже мой!.. Что это такое?..

Съ этимъ возгласомъ поднялась барыня. Изъ дѣтской выскочила старшая дѣвочка. Горничная бросилась въ переднюю.

Поднялся и баринъ съ сигарой въ зубахъ.

Въ передней раздался мужской, низкій и твердый голосъ.

Барыня вышла въ переднюю первая, за ней мужъ, нѣсколько поздне.

Ближе къ вѣшалкѣ стоялъ, посреди прихожей, Адамъ и держалъ Полину за руку.

Онъ не снялъ своей круглой фетровой шляпы и оперлся другой рукой на палку. Полина стояла въ возбужденной позѣ, грудью впередъ. Щеки ея рдѣли. Братъ ея былъ блѣденъ, и только глаза его злобно блеснули.

Въ кухмистерской онъ выпилъ рюмку водки и двѣ бутылки пива, изъ которыхъ далъ стаканъ сестрѣ.



— Да-съ, пожалуйста мнѣ сюда самое хозяйку!

Эти слова встрѣтили барыню. Она внутренне очень испугалась, но, запахнувшись въ свой вязанный платокъ, остановилась около двери и довольно спокойно спросила:

— Что вамъ угодно? И кто вы?..

— Я—братъ Полины... И мнѣ угодно, мадамъ, чтобы вы и вашъ мужъ дали мнѣ объясненіе—почему вы выгоняете со скандаломъ честную дѣвушку?

Онъ говорилъ, разставляя широко слова и не мѣняя тона, точно онъ предварительно выучилъ вступительныя слова своей рѣчи.

Барыня хотѣла отвѣтить поблагороднѣе и поосторожнѣе, но ее предупредилъ мужъ; онъ выдвинулся изъ-за нея и сказалъ:

— Снимите, прежде всего, шляпу.

Адамъ обнажилъ свою красивую, курчавую голову.

— Шляпу я сниму; но я жду отвѣта. Дѣвушка—моя сестра. Я—ея защитникъ.

Баринъ разсердился сразу, какъ многіе флегматики, принужденные дѣйствовать, взорванные чѣмъ-нибудь неожиданнымъ и дерзкимъ.

— Мы васъ не знаемъ и знать не желаемъ. Если вы братъ, то внушите вашей сестрѣ лучшія правила... Она можетъ съѣхать отъ насъ... Жалованье ей заплатятъ; а васъ мы покорнѣйше просимъ не вмѣшиваться и не начинать здѣсь сценъ.

— Что-о-съ? — съ дрожью въ голосѣ спросилъ Адамъ, оставивъ руку Полины,—она тоже начинала трусить,—и сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Ступайте вонъ!—крикнулъ баринъ.

— Paul, de grace!.. — шопотомъ хотѣла удержать его жена.

— Ну, это аттанде!—отвѣтилъ Адамъ.—И если вы по-смѣете дотронуться до меня, вы будете раскаиваться.

Барыня вся обмерла. Ей показалось, что карманъ пальто Адама топырился... тамъ револьверъ...

Она схватила руку мужа и стала его отпихивать къ двери, повторяя:

— Va-t-en!.. Va-t-en!

Но мужъ ея далъ приказаніе горничной послать за дворникомъ.

Адамъ сообразилъ, что его могутъ вытолкать, перемѣнилъ позу и, обращаясь къ сестрѣ, сказалъ:

— Полина, ничего не бойся!.. Иди въ свою комнату и выноси свои вещи... Я отсюда не выйду, я долженъ тебѣ защищать!..

— Вашей сестрѣ ничего не сдѣлають дурного!—вскричала барыня. — Ея жалованье она можетъ сейчасъ получить...

— Меня не смѣють гнать! Я—братъ!—повторилъ Адамъ и сѣлъ на ясеневый стулъ, около зеркала.

„Зачѣмъ же онъ не покажетъ пачку писемъ?—думала Полина, оправившись отъ смущенія. — Теперь-то бы и надо!“

— Идите въ вашу комнату,—сказала ей барыня, которой удалось уговорить мужа не посылать за дворникомъ.

— Я не могу одна все вынести...—проговорила Полина почти кротко. — Братъ мнѣ долженъ помочь.

И на это согласилась барыня. Дѣти выбѣжали было въ переднюю, но ихъ выпроводили...

Когда чемоданъ, узелъ, картонки Полины были вынесены на площадку, Адамъ въ растворенную дверь крикнулъ:

— Вы еще про насъ услышите!..

V.

Черезъ три-четыре дня господа получили повѣстку отъ мирового судьи.

Это ихъ разстроило гораздо больше, чѣмъ они сами, быть-можетъ, ожидали.

За завтракомъ сидѣли они опять другъ передъ другомъ. Старшую дѣвочку отвели въ школу; съ меньшими пошла гулять новая бонна, изъ нѣмокъ, пожилая и довольно суровая.

Барыня стояла, однакожъ, за то, чтобы судиться... Баринъ не хотѣлъ разбирательства и видимо боялся скандала...

Въ первый разъ они серьезно поспорили.

— Ничего, кромѣ грязи, изъ этого не можетъ выйти!—говорилъ баринъ.

— Мы ни въ чемъ не виноваты...

— И это не совсѣмъ вѣрно,—возразилъ мужъ. — Миша нашъ родственникъ. Записочки нашли отъ него...

— Но Миша отрицаетъ.

— Ахъ, мой другъ!—перебилъ баринъ. — Развѣ ты не



видишь, что онъ лжетъ?!. Я не знаю, кто изъ нихъ испорченнѣе: онъ или она...

Барыня баловала своего племянника, но ей горько было сознаться, что, пожалуй, мужъ и правъ...

Кадетъ заперся, думая, должно-быть, что онъ всѣ письма и записочки Полинѣ писалъ измѣненной рукой.

— У брата этой дѣвицы,—продолжалъ свои доводы баринъ,—въ рукахъ коллекція любовныхъ писемъ... Онъ съ ними явится къ мировому, и его адвокатъ этимъ какъ нельзя лучше воспользуется... Сейчасъ все это явится въ репортерскихъ отчетахъ!..

— И пускай!

„Трусить“ передъ „гласностью“ считала барыня верхомъ малодушія.

— Ты напрасно хорохоришься!

Это слово „хорохоришься“ показалось женѣ очень обиднымъ и вульгарнымъ.

Но мужъ продолжалъ свои доводы... Выходило, по его разсужденію, что они ни въ какомъ случаѣ не правы. Ихъ „нравственная“ и прямая обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы молодая дѣвушка, почти „ребенокъ“, не попадала подъ развращающее вліяніе въ ихъ домѣ; а соблазнить Полину началъ ихъ племянникъ!.. Стало-быть, идти на разбирательство—по крайней мѣрѣ, вредить молодому человѣку. Лучше довести его самого до признанія своей вины, а не выдавать его.

Этотъ оборотъ доводовъ началъ дѣйствовать на барыню. Ей жалко стало Мишу. Она подумала и о томъ, что процессъ и въ Полинѣ вызоветъ чувство дешевой побѣды, если приговоръ судьбы будетъ въ ея пользу... Тогда она, при *такомъ* братѣ, превратится въ закоренѣлую авантюристку и шантажницу...

Въ концѣ ихъ разговора состоялось молчаливое соглашеніе, хотя ничего не было сказано рѣшительнаго.

Каждый изъ нихъ остался съ неприятнымъ чувствомъ предстоящей исторіи; но и барыня склонилась къ тому, что „разбирательства лучше избѣжать, не изъ малодушныхъ, а изъ порядочныхъ и гуманныхъ мотивовъ...“

Надо было дѣйствовать.

Разбирательство у мирового назначалось черезъ недѣлю...

Но и братъ съ сестрой также ждали и рассчитывали.

Адамъ обдумалъ планъ; но сразу онъ его не объявлялъ сестрѣ. На женщинъ вообще онъ смотрѣлъ съ большимъ

презрѣніемъ. Полина, помѣстившись почти въ „углу“, за перегородкой, у тѣхъ самыхъ жильцовъ, гдѣ квартировалъ и Адамъ, почувствовала себя гораздо хуже, чѣмъ у господъ. Тѣсно, темно, съ гряздой, заброшенно... Братъ цѣлый день въ магазинѣ, обѣдать ходитъ въ трактиръ или въ кухмистерскую; вечеръ проводитъ въ пивной и возвращается очень поздно... Въ театръ ни разу не предложилъ ей сходить... Она бы согласилась и на верхи, но онъ гордецъ, „фордыбака“, ему непременно—въ кресла... Даже мѣста амфитеатра въ Александринскомъ онъ считаетъ „ниже своего достоинства“.

У нея оставалась всего одна красненькая — ея мѣсячное жалованье. За квартиру, за недѣлю, она отдала хозяйкѣ впередъ полтора цѣлковыхъ. Бѣла она дома, кое-что, ходить въ кухмистерскую было дорого, особенно съ братомъ; онъ непременно потребуетъ что-нибудь особенное, а платитъ заставлялъ ее половинную долю.

По утрамъ она ходитъ въ контору справляться — не требуютъ ли на мѣсто. И за это пришлось еще заплатить. Она рекомендуется на нѣсколько должностей: продавщицы, кассирши, за буфетъ; бонны она не поставила. Въ конторѣ она видитъ, какая „пропасть“ ищущихъ мѣстъ, и не такихъ, какъ она, недоучившаяся, а настоящихъ — ученыхъ, съ курсовъ разныхъ... Бывшія педагогички ѣдутъ въ губернію, на двадцать рублей, а то такъ берутъ мѣста сельскихъ учительницъ, за „три синенькихъ“, въ глушь, куда она „ни за какіе орѣхи“ не поѣхала бы... Лучше умерла бы здѣсь, съ голоду...

Адамъ что-то замолчалъ о хорошемъ мѣстѣ. Только что она объ этомъ заикнется, онъ дастъ на нее окрикъ. Характеръ у него „дьявольскій“, и она не стала бы съ нимъ жить, если бъ даже у нихъ были средства.

Думала Полина и о кадетѣ. Прошло дня четыре—она начала ждать записочки отъ Миши, хотя и не признавалась себѣ въ этомъ. Но онъ струсилъ — такъ рѣшила Полина; вѣроятно, мальчишески разрюмился; а если и заперся, все-таки же теперь не станеть се разыскивать.

Да и какой въ немъ „интересъ“?

Денегъ у него нѣтъ, въ офицеры — еще когда-то выпустятъ; Адамъ изъ него ничего не извлечетъ. Надо его бросить. Она къ нему и не имѣла никогда склонности.

И все-таки Полина заикнулась Адаму о кадетѣ. Онъ на нее прикрикнулъ:



— Дура ты! Дура! И больше ничего! Когда они теперь въ нашихъ рукахъ, а ты хочешь имъ опять всё козырни въ руки отдать!..

И она себя самое душой назвала.

Вѣдь ясное дѣло, что теперь надо добиться „отступного“, выставляя себя жертвой соблазна... Чтò бы тамъ ни говорилъ кадетъ, какъ бы ни запирался, а письма налицо.

До разбирательства оставалось только три дня. Адамъ зашелъ къ ней, утромъ, отправляясь въ магазинъ; она еще лежала въ постели.

— Что валяешься?—далъ онъ на нее окрикъ.

Въ рукахъ у него была пачка писемъ и записокъ кадета.

— Я сейчасъ!—всполошилась она.

— Ну, лежи!..

Онъ сѣлъ на край постели и положилъ пачку на одѣяло.

— Вотъ чтò ты сдѣлай,—началъ онъ полушопотомъ.— Разбери хорошенько, отложи къ сторонѣ большія цидулы, гдѣ онъ ужъ настоящей своей рукой писалъ; а записочки, которыя вначалѣ были и рука гдѣ измѣнена, особо отложи и перевяжи тесемочкой. И чтобъ все было готово... Я послѣ завтрака отпрошусь—и пойду...

— Къ нимъ?

— Извѣстное дѣло!

— Лучше отъ нихъ подождать...

— Засылатъ они не будутъ; а что теперь трусять—я пари подержу; а главное, ты не суйся!.. Не съ твоимъ куринымъ мозгомъ это все разсудить!..

Она не возражала и внутренно очень обрадовалась: Адамъ своего добьется и съ пустыми руками не придетъ. Она хотѣла даже обнять его, да онъ такихъ „миндальностей“ не терпѣлъ.

Какъ только она осталась одна, Полина поспѣшно умылась, и въ кофточкѣ принялась разбирать записочки и письма, разбила ихъ на нѣсколько пачекъ, отдѣлила большія отъ маленькихъ, и тѣ, гдѣ Миша пылче всего выливалъ свои чувства, положила отдѣльно. А потомъ начала въ каждой кучкѣ отбирать то, чтò писано безъ измѣненія почерка, и класть особо. Такъ же и съ записками, гдѣ кадетъ еще старался писать чужой рукой.

Къ приходу Адама все было приготовлено. Полину нѣсколько разъ разбиралъ тихій смѣхъ, когда она раскладывала кучки и потомъ собирала ихъ въ двѣ пачки.

Каждую пачку она перевязала „фавёркой“. У нея нашлась и голубая тесемочка изъ-подъ конфетъ, и красная ленточка, которой уже былъ первоначально перевязанъ пакетикъ съ саше и парой еще не надѣванныхъ перчатокъ.

Голубымъ она перевязала записки съ измѣненной рукой, болѣе скромный и невиннаго содержанія, краснымъ—остальныя; тамъ стояли самыя пылкія любовныя слова. Красный цвѣтъ прямо подходилъ къ такому содержанію. Она видѣла, въ одной пьесѣ, переводной съ французскаго, какъ любовникъ возвращаетъ своей возлюбленной пачку ея писемъ. И она отлично помнитъ, что они были перевязаны крестъ-накрестъ ленточкой, такъ аккуратно и красиво, какъ вотъ теперь она все подобрала и увязала.

Часу въ двѣнадцатомъ пришелъ Адамъ.

Полина пріодѣлась. Она была увѣрена, что онъ возьметъ ее съ собою. Ей даже представлялась сцена въ гостиной... Ее непременно посадить на кресло, и она будетъ сидѣть съ опущенными рѣсницами, въ то время какъ братъ приступить къ объясненію... Она умѣетъ, гдѣ нужно, и покраснѣть. Вмѣшиваться она не станетъ. Вотъ они и посмотрятъ, какія у нея манеры и какъ она себя держитъ... Пускай поищутъ: какую такую бонну найдутъ они на десять рублей!

Въ этихъ мысляхъ Адамъ засталъ ее. Она была уже въ шляпѣ.

— Ты куда?—отрывисто спросилъ онъ.

— Съ тобой, Адама.

— Остроумно!..

— А развѣ я лишняя?

— Ты-то?.. И очень! У тебя никакого апломбу нѣту, а тутъ нужно мужское давленіе... Можешь и снять шляпу...

— Все равно... Выйдемъ вмѣстѣ... Я въ контору пройду!..

— То-то въ контору!.. Не пачни по Пассажу прохаживаться!

— Что это, Адамъ!

Она чуть не расплакалась!.. Какъ могъ онъ ее подозрѣвать въ такой „гнусности“?.. Да и съ какой стати представляетъ онъ себя такимъ строгимъ гувернеромъ?.. А самъ-то онъ развѣ не кутитъ? Но ей строгость Адама все-таки скорѣе правилась. Онъ, стало-быть, стоитъ за „вѣраствелность“, какъ она произносила, съ оуавой „д“

— Ну, хорошо,—кратко произнесла она,—ступай одинъ!..

— Подай письма!—приказалъ Адамъ.

Полина подала обѣ пачки.

— Которыя писаны съ поддѣлкой?

— Вотъ эта связка, поменьше...

Адамъ взялъ ее и засунулъ въ боковой карманъ пиджака.

— А эти ты не возьмешь? — съ удивленіемъ спросила Полина и держала въ рукахъ пачку побольше.

— Нѣтъ, не возьму.

— Да это жъ главныя...

— Запри ихъ въ сундукъ!.. Они пригодятся; только не сразу.

Онъ усмѣхнулся на особый ладъ.

Въ его усмѣшкѣ Полина могла прочесть:

„Ты дурочка—ничего не понимаешь!..“

Съ тѣмъ онъ и ушелъ. Полина отправилась въ контору послѣ него. Она еще попудрила себѣ носъ и немного чолку. Передъ зеркаломъ—оно было еще меньше и плоше, чѣмъ у господъ—раздумалась она еще разъ: почему Адамъ взялъ съ собою только одну пачку записокъ?—и рѣшила, что онъ „будетъ держать за пазухой камень“.

Она заперла оставленную ей связку въ свой сундукъ и почувствовала, что изъ всего этого что-нибудь и выйдетъ.

Въ это время Адамъ уже звонилъ у парадной двери той квартиры, откуда его хотѣли выпроводить съ дворникомъ. Усмѣшка не сходила съ его сухого и властнаго рта. Какъ только горничная отворила ему, онъ вошелъ очень смѣло, шляпы не снималъ и велѣлъ передать карточку баринѣ.

— Я по дѣлу,—прибавилъ онъ басомъ.

— Барыня вышедши,—доложила горничная и карточки не брала.

— А баринъ дома?

— Дома-съ...

— Въ такомъ случаѣ отдайте карточку ему.

Баринъ прочелъ на карточкѣ: „Адамъ Ардалионовичъ Пышковскій“, и не догадался, что это братъ Полины; ея фамилію онъ плохо помнилъ.

— Это тотъ... скандалистъ, — шопотомъ доложила ему горничная.

— Какой скандалистъ?

— Братъ Поли...

„Полиной“ она не желала называть бывшую горничную.

— Позовите!—приказалъ тотчасъ же баринъ.

Въ просторномъ кабинетѣ свѣтъ падалъ изъ оконъ прямо на входную дверь.

Адамъ вошелъ, остановился у самой двери и оглянулъ кабинетъ. Баринъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ, прямо противъ него, но на большомъ разстояніи.

— Садитесь,—сказалъ ему баринъ вѣжливо и, какъ ему показалось, съ улыбкой.

Эта улыбочка могла значить: „я тебя, милый мой, не очень боюсь“.

— Вы братъ Полины?

— Нешто не узнали меня?—довольно безцеремонно спросилъ Адамъ.

— Узналъ - съ, — оттянулъ баринъ.—Вы пришли, вѣроятно, предложить намъ мировую...

Отпираться было бы глупо.

— Ежели подходяще,—процѣдилъ Адамъ почти сквозь зубы.

— Что же вы желаете?..

— Да вотъ... у насъ есть фактическія доказательства...

Адамъ вынулъ пачку писемъ и держалъ ихъ двумя пальцами правой руки.

— Записочки?

— Вашего племянника. Помимо всего прочаго... какъ вы прогнали дѣвушку, со срамомъ и безъ всякаго повода.

Тотъ Адама поднялся.

— Вы сколько же хотите за эти записки?—перебилъ его баринъ, и на лицѣ его опять заиграла усмѣшка.

— Извините... я не шантажистъ какой-нибудь.

— Мы это оставимъ...

Баринъ вышелъ изъ-за письменнаго стола и сдѣлалъ два-три шага къ тому креслу, гдѣ сидѣлъ братъ Полины.

— Ежели соотвѣтственно обидѣ...

Слова выходили у Адама съ задержкой, и это начало его бѣситъ. Онъ слегка покраснѣлъ.

— Тутъ все записки моего племянника?..

— Обязательно!—отвѣтилъ Адамъ и прибавилъ:—Положимъ, въ нѣкоторыхъ поддѣлана рука. Но господинъ кадетъ не очень искусенъ по этой части... Въ томъ случаѣ, какъ онъ будетъ записаться... есть вѣдь на это и эксперты...

— Конечно!—весело отвѣтилъ баринъ.

Его братъ бонны занималъ, и онъ уже видѣлъ, что дѣло кончится „отступнымъ“.

— Поддѣлка самая немудрая...

— Позвольте поглядѣть...

Братъ Полины повернулся въ креслѣ.

— Да какъ же я съ вами на сдѣлку пойду, если я не ознакомлюсь съ этими... документами?..

— Ужъ будьте покойны... А впрочемъ, я къ вамъ пришелъ въ надеждѣ на благородное обхожденіе... Извольте... Просмотрите! Вотъ я здѣсь кладу.

И Адамъ положилъ пачку на маленькій столикъ, около его кресла.

Баринъ подошелъ, развязалъ и подержалъ въ рукахъ нѣсколько записочекъ.

— Въ сущности, это вздоръ!—выговорилъ онъ.

— А ежели вздоръ, то изъ-за чего же вы сестру мою со скандаломъ выгнали? Въ чемъ ея преступленіе? Въ томъ, что она, какъ ваша супруга увѣряетъ, отвѣтила ему?

— Преступленія никакого нѣтъ, а бонна назначила свиданіе въ Лѣтнемъ саду, что не желательно было для насъ, вотъ и все...

— Превосходно-съ; а желательно ли будетъ для господина кадета, если, напримѣръ, его начальство извѣстится о его похожденіяхъ?

Вопросъ Адама звучалъ такъ увѣренно, что баринъ сказалъ мысленно:

„Какой молодой, но чистокровный негодай!“

Ему захотѣлось вытолкать Адама, но онъ воздержался.

— Хорошо,—выговорилъ онъ, кладя записки на столикъ.—Чего вы желаете?.. Если ваша цифра будетъ нелѣпо высока, извольте являться къ мировому.

Адамъ поторговался, но не очень; въ сундукъ Полины лежали остальные письма, поцѣпнѣ этихъ записочекъ, и баринъ такъ былъ простъ, что удовольствовался ими.

Отъ него потребовали расписки въ полномъ удовлетвореніи. Когда онъ спускался съ лѣстницы, въ карманѣ у него лежало двѣ „бѣленькихъ“, но онъ ихъ не отдалъ сестрѣ, а сказалъ, что половину онъ положилъ для нея „на текуцій счетъ“.

VI.

О Полинѣ въ домѣ ея бывшихъ господъ стали забывать. Кадета простили. Новая бонна не могла, по своему виду и лѣтамъ, вызывать въ немъ любовнаго влеченія. Но у его тетки остался на душѣ точно дурной вкусъ отъ

того, что съ братомъ Полины пошли на сдѣлку и запла-
тили отступное. Напротивъ, мужъ ея былъ очень дово-
ленъ и ни въ чемъ себя не упрекать.

Раннимъ послѣобѣдомъ, барина не было дома, барыня
сидѣла въ дѣтской и показывала Шурѣ картинки изъ
книги „Степка-Растрѣпка“. Хотѣлось ей также заставить
ее выучить наизусть сентиментальные стихи. У Шуры
память становилась очень дѣлкой, и она то и дѣло пе-
редразнивала отца съ матерью, свою бонну, старшую
сестру и братишку. Она знала и куплетики изъ „Ма-
лютки“:

„Публика отборная
Въ залѣ собрана:
Комната просторная
Ужъ полнымъ-полна!“

Горничная доложила, что съ задняго крыльца пришелъ
какой-то пожилой господинъ и говорить, что у него до-
барыня дѣло. Фамиліи своей не называетъ.

— На бѣдность?

— Должно полагать, что такъ...

— Попросите въ гостиную...

— Да къ нему и въ коридоръ бы можно...

— Попросите въ гостиную!—съ удареціемъ сказала ба-
рыня и спустила съ своихъ колѣнъ Шуру.

Въ гостиной стояла полутемнота. Горничная зажгла
двѣ свѣчи на одномъ изъ дальнихъ подзеркальничковъ.

У камина стоялъ высокій человѣкъ, сѣдой, съ длин-
нымъ, смѣшнымъ носомъ, бородатый, обвязанный шарфомъ,
въ плохой черной парѣ.

Всего скорѣе было принять его за „просящаго“, ка-
кимъ его и сочла горничная.

Онъ раза два кашлянулъ хрипло и глухо и переми-
нался съ ноги на ногу. Отъ него по гостиной пошелъ
запахъ плохого табаку и неопрятнаго, стараго платья.

— Вамъ угодно?—спросила барыня, прищуриваясь отъ
близорукости.

„Проситель“—такъ она его уже окончательно опредѣ-
лила—пододвинулся, нагнувъ на особый ладъ голову и
спросилъ:

— Вы однѣ изволите быть?

Тономъ онъ напоминалъ дворецкаго или управителя
изъ отпущенниковъ.

И вдругъ барынь стало немного жутко, почти страшно. Онъ могъ броситься на нее и зарѣзать.

Она позвонила.

— Зажгите лампу, здѣсь темно.

Горничная хлопотала около лампы, поглядывая на барыню.

И ей дѣлалось жутко. Большие никого, кромѣ дѣтей, не было въ домѣ. Бонна и кухарка отпросились со двора.

— Вамъ угодно?—повторила барыня, когда горничная ушла.

Старикъ осмотрѣлся и сдѣлалъ два шага отъ камина.

— Моя фамилія Пышковскій... Вамъ не безызвѣстна?..

— Пышковскій?..

— Отецъ дѣвицы Пелагеи, что жила у васъ при дѣтихъ...

— А-а!..

Ей сейчасъ представилась вся исторія съ Полиной.

„Опять шантажъ!“—подумала она и поглядѣла тревожно на этого отца „дѣвицы Пелагеи“. Онъ уже выдѣлялся при свѣтѣ лампы гораздо отчетливѣе. Его длинный носъ тревожилъ ее,—она еще такъ недавно читала книгу Ломброзо о преступномъ человѣкѣ, и тамъ говорится, что у всѣхъ воровъ и грабителей длинные носы. Но глаза съ красноватыми вѣками и унылымъ взглядомъ вызвали въ ней чувство жалости.

„Зачѣмъ оскорблять подозрѣніемъ?“—спросила она.

— Вы позволите присѣсть?—спросилъ отецъ Полины.

Ей сдѣлалось опять совѣстно за себя: почему она раньше не пригласила его сѣсть.

Онъ сѣлъ и опять закашлялся.

— Извините—безпокою васъ... Катаръ привязался... А въ Петербургѣ, при такомъ климатѣ...

Слово „климатъ“ онъ выговорилъ съ удареніемъ на „а“.

Барыня припомнила, что ей Полина рассказывала про отца своего. Онъ управлялъ большими помѣстьями, жилъ баринномъ, „пострадалъ“ и скитался неизвѣстно гдѣ.

„Можетъ-быть, онъ бѣглый преступникъ или баторжный?“

Этого вопроса она опять застыдилась.

— Сударыня, — продолжалъ онъ и повернулъ вбокъ свою голову съ приплюснутымъ затылкомъ и съ лысиной на маковѣ, — про свои мытарства я вамъ рассказывать не буду... зачѣмъ же лишать драгоценнаго времени?.. По-

страдалъ!.. Дѣтямъ хотѣлъ дать надлежащее воспитаніе... Сами изволите видѣть... Пелагея кое-чему училась... и на фортепьянахъ, и по-французски... дѣвочка она не дурная... только характеромъ вышла легкая... Надо снизойти...

— Что же вамъ угодно?—перебила его барыня.

— А собственно такъ, позвольте изъясниться...

„Опять что-нибудь кляузное“,—подумала барыня и стала жалѣть о томъ, что мужа ея нѣтъ дома.

— Она загладила свою глупость... Вотъ я теперь вернулся... Почти что съ волчьимъ паспортомъ,—онъ опустил голову, но голосъ его пошелъ ей въ душу,—пить, ѣсть надо, а кто же можетъ, хоть на первыхъ порахъ, поддержать. Дѣти—сынъ не задался... Черствого сердца. Пелагея не въ примѣръ добрее... И вотъ, сударыня, отъ вашего милосердія будетъ зависть...

— Я ничего не могу!.. —стремительно выговорила барыня.

— Весьма многое, прошу извинить меня...

— Мы и безъ того...

— Я знаю-съ,—докончилъ отецъ Пелагеи,—что въ вашемъ помѣщеніи вышло не совсѣмъ пристойное препирательство. Дѣвочка обидѣлась... хотя за ней, безъ сомнѣній, была вина. Позвольте, какъ родителю, и свое сужденіе сказать. Допустить себя до полученія любовныхъ записочекъ и даже пространныхъ писемъ ей, ни въ какомъ разѣ, не слѣдовало. Ежели ваша добрая воля была прекратить все дѣло...

— Вамъ извѣстно, какую роль во всемъ этомъ игралъ вашъ сынъ?

— Извѣстно-съ... И я, сударыня, одобренія моего не даю... Это, нѣкоторымъ образомъ, какъ бы вымогательство...

— Вы сами сознаете?

— Всенепремѣнно. И будь я здѣсь, ни до чего бы такого не допустилъ, хотя бы и при полной денежной крайности.

„Онъ, кажется, честный“,—поторопилась подумать барыня, и ей уже не было жутко отъ присутствія этого человѣка съ волчьимъ паспортомъ и длиннымъ „преступнымъ“ носомъ. Вѣдь одинъ носъ не можетъ же быть несомнѣннымъ признакомъ порочности?.. Вонъ и у Шурочки какой уже большой носъ, хоть и „комическій“.

— Это очень похвально,—выговорила барыня и опять

опустила голову: ей показалось, что она не имѣетъ права учительствовать.

— Въ настоящемъ же обстоятельствѣ обращаюсь униженно къ вашему великодушному сердцу и прошу убѣдительно вникнуть...

Она чуть замѣтнымъ жестомъ остановила его на нѣсколько секундъ.

— Дочери моей выходить очень хорошее мѣсто. И меня, черезъ нее, могутъ призрѣть. Люди богатые... У нихъ усадьба подъ Петербургомъ... безъ надлежащаго надзора. Меня бы пустили пріютиться во флигелѣ для надзора за зданіями и экономіей...

— Очень рада, если ваша дочь опять на хорошей дорогѣ.

— Но, сударыня, безъ личной рекомендаціи ничего теперь невозможно получить...

Барыня начала понимать.

— Вамъ угодно, стало-быть?..

— Вашего благороднаго содѣйствія... Не пускайте и дѣвочку мою съ волчьимъ паспортомъ... Она вамъ, сударыня, да, полагаю, и дѣтямъ вашимъ зла не могла сдѣлать...

— Конечно, — отвѣтила барыня, — но если Полинѣ поступаетъ на мѣсто педагогическаго характера, я не могу рекомендовать ее... у нея нѣтъ никакой подготовки... и вы сами знаете, что натура у нея... легкая...

— Ахъ, матушка!..

Голосъ старика дрогнулъ.

Онъ вдругъ полѣзъ рукой въ боковой карманъ сюртука и вынулъ оттуда какой-то пакетъ.

— Приношу вамъ убѣдительное доказательство... моихъ шляхетныхъ чувствъ. У сына вытребовалъ я эти письма вашего племянника, уже подлинной рукой писанныя... Они могли бы подать поводъ къ новому разбирательству... Я вытребовалъ, сударыня... вотъ они... Прошу нѣсколькихъ строкъ вашей многоуважаемой руки...

„Вотъ оно что!“ — подумала барыня, и вся вспыхнула.

Она сообразила, что ея мужъ промахнулся, а племянникъ опять можетъ быть привлеченъ къ щекотливому дѣлу...

— Извольте!..

Черезъ пять минутъ, послѣ нѣсколькихъ прочувствованныхъ фразъ, съ рекомендаціей въ рукахъ, отецъ Полины удалился.

Въ столовой кончали обѣдъ. И баринъ, и барыня все еще находились подъ впечатлѣніемъ недавней второй исторіи. Она кончилась благополучно. Письма кадета сожжены. Хотя въ нихъ и не было ничего опаснаго, даже если бъ отецъ Полины донесъ начальству Миши; но онъ безъ выкупа не возвратилъ бы ихъ, непріятность вышла бы непремѣнно.

Обоимъ дышалось легче, но минутами и мужъ и жена сознавали, что оба они „сглушили“: одинъ черезчуръ испугался, другая перепустила своего гуманизма. Имъ хотѣлось забыть про всю эту глупую исторію. Главный поводъ къ ней — Миша — чувствовалъ свою вину, сидѣлъ теперь за „зубреньемъ“ къ экзамену и приходилъ рѣже.

Обѣдалъ у нихъ товарищъ мужа по службѣ, моложе его, очень франтоватый и ласковый къ дѣтямъ. Онъ, почти каждый разъ, возилъ имъ сласти, противъ чего возставала мать.

И сегодня онъ привезъ имъ московскаго лакомства. Кока, въ дѣтской, сосредоточенно доѣдалъ свою розовую палочку абрикосовской пастилы. Старшая дѣвочка обѣдала съ большими. Шура, тоже полакомившись пастилой, выпорхнула въ столовую, прильнула къ гостю и кончила тѣмъ, что сѣла ему на колѣни и трогала его бакенбарды, лацканы сюртука, булавку на галстукѣ и воротнички.

Мать нѣсколько разъ останавливала ее.

— Мы друзья!..—успокаивалъ гость.

— А у тебя нѣтъ того, что у папы...

И она показала на манжеты отца. У гостя они подошли подъ обшлага рукава.

— Нѣтъ, есть!..—отвѣтилъ гость.

— Покажи!

Гость вытянулъ обѣ манжеты, онѣ блестяли, и на каждой было по золотой запонкѣ съ жемчужиной посрединѣ.

Шура все это осмотрѣла, и ей непріятно было то, что она ошиблась. Манжеты налицо и запонки богаче, чѣмъ у папы.

Она даже наморщила кожу своего „комического“ носа.

— А вотъ у тебя, — сказалъ гость, — такъ нѣтъ никакихъ манжетъ...

И онъ прошелся двумя пальцами по кожѣ ея полненькой и голенькой ручки.

Шура задумалась—примолкла болѣе чѣмъ на минуту.

— Зато, — съ торжествующимъ выраженіемъ и громко выговорила она, — у тебя нѣтъ крахмальной юбки!

Всѣ большіе разсмѣялись.

Но матери показалось, что въ этомъ отвѣтѣ звучали ноты недавней бонны, Полины. Шура начала обезьянить ея манеру говорить... У той были также быстрые отвѣты, не лишенные остроумія. И та способна отвѣтить чѣмъ-нибудь въ родѣ этой „крахмальной юбки“.

Съ искренней грустью подумала мать:

„Шура все-таки похожа на птицу, никакихъ идей она не приобрѣтетъ“.

Но тотчасъ же, схвативъ веселые и добрые взгляды мужчинъ, обращенные на нее, утѣшилась мыслью:

„Зато ее будутъ любить!“

Прошло цѣлыхъ три года. Шура выучила наизусть всѣ стишки изъ „Степки-Растрѣпки“; Коку водили въ Фребелевскій садъ. Старшая дѣвочка начала тосковать по длиннымъ платьямъ.

Мать ихъ стала болѣзненнѣе, еще похудѣла, но все такъ же читала книжки, интересовалась „вопросами“ и посѣщала лекціи. Вообще она мало ходила пѣшкомъ.

Разъ, на углу Невскаго и Садовой, около Пассажа, съ ней раскланялась изящная молодая дама, въ бархатной кофточкѣ съ бобромъ и высокой шляпѣ съ перьями. Красноватая вуалетка прикрывала верхнюю половину лица.

Барыня отвѣтила на поклонъ. Онѣ обѣ остановились разомъ.

— Какъ я рада! — воскликнула молодая дама и протянула ей руку.

„Кто это?“ — спросила себя барыня. Лицо знакомое, но назвать она не можетъ.

„Должно-быть, на лекціяхъ встрѣчала“, — успокоила она себя и спросила:

— Давно васъ не видать! Какъ поживаете?

— Я замужемъ.

— А-а!

— Ужъ второй годъ... Мой мужъ имѣетъ контору. Мы живемъ хорошо. Онъ много зарабатываетъ. Дѣтей у насъ нѣтъ.

Показалось барынѣ изъ-подъ вуалетки, что щеки молодой дамы слегка подбѣлены. Голосъ тоже знакомый,

даже очень; но ничего она все-таки не может приписать къ личности этой дамы.

— Очень рада...

— Вы позволите зайти къ вамъ?—спросила вкрадчиво дама.

— Пожалуйста! Мы все тамъ же.

— Въ Надеждинской? Въ угловомъ домѣ?

— Да!

Онѣ опять пожали другъ другу руку.

По дорогѣ домой, барыня раза два-три спросила себя: „да кто же это, наконецъ?“ И такъ и рѣшила, что какая-нибудь сосѣдка по лекціямъ Соляного-Городка.

Подаютъ ей карточку дня черезъ два. Стоитъ неизвѣстная ей фамилія.

— Просите!

Горничная пропустила въ дверь гостиной даму въ бархатной кофточкѣ съ бобримъ.

— Все у васъ попрежнему? — начала гостя, оглядываясь на стѣны.—А дѣти гдѣ? Кока, я думаю, большой! И Шура?..

— Извините,—конфузливо сказала барыня.—Я все припоминаю...

Гостя поняла.

— Да вы, кажется, не узнали меня?.. Поля, Полина!

— Ахъ, вы—Полина?

Первой мыслью барыни было: „да какъ же это у васъ, послѣ попытокъ шантажа, хватило смѣлости разлетѣться къ намъ?“

Но ея принципы взяли верхъ.

— Вы извините,—заговорила Полина, и сквозь бѣлила начала слегка краснѣть. — Я обрадовалась, когда встрѣтила васъ... Что было, то прошло! Мнѣ и дѣтей хочется повидать... Позвольте подарочекъ имъ принести...

И такъ все это было сказано безмятежно, добродушно, что барыня почти растрогалась.

Полина чувствовала свое полное торжество: ее приняли сразу за настоящую даму, и она будетъ вхожа въ домъ, откуда ее прогнали съ исторіей.

— Благодарю васъ! — еще сконфуженнѣе пролепетала ея бывшая барыня.

ПОСЛѢДНЯЯ ДЕПЕША.

I.

Раздавалось только прерывистое дыханіе въ полутемнотѣ покоя, гдѣ лежалъ тяжело-больной. Лампочка съ абажуромъ, скрытая въ углу, вбокъ отъ кровати, завѣшанной шерстяною матеріей, еле досылала свѣтъ до лица дѣвушки, слѣдившей за дыханіемъ больного. Она стояла у нижней спинки кровати и облокотилась на нее однимъ локтемъ.

Сквозь окна безъ двойныхъ рамъ и спущенныя гардины глухо доносился гулъ людной улицы огромнаго города. Въ каминѣ тлѣлъ коксъ. По угламъ комнаты начинало холодѣть.

На ночномъ столикѣ склянки, пузырьки, коробочки, стаканъ, ложечка—все перепуталось и говорило о быстрой смѣнѣ средствъ за какіе-нибудь три-четыре дня.

Не раньше, какъ въ среду, — шелъ четвертый день, — отецъ этой дѣвушки вернулся вечеромъ съ публичной лекціи, на бульварахъ, былъ возбужденъ, много и оживленно разговаривалъ, — какъ всегда; у нихъ сидѣли гости, и только, къ самому концу вечера, сказалъ, что на лекціи была ужасная духота и его немного прохватило при выходѣ.

Ночью открылся сильный жаръ. На другой день утромъ стало мучить колюще въ правомъ боку. Кашель, удушье, а потомъ и бредъ указывали на воспаленіе. Какъ разъ пріѣхалъ днемъ тотъ докторъ, большая знаменитость, что забѣжалъ, разъ въ недѣлю, къ ней. Она только что опра-

вилась передъ тѣмъ отъ нервнаго разстройства. Докторъ былъ знаменитостью собственно по нервнымъ и душевнымъ болѣзнямъ. Онъ сталъ лѣчить и отца.

Опасность сказалась съ перваго же утра. Докторъ не произнесъ еще названія болѣзни, но она уже догадывалась, что это воспаленіе легкихъ, или, по крайней мѣрѣ одного праваго, гдѣ было самое сильное колотье.

Дома никто головы не терилъ. Двѣ ея меньшія сестры: постарше—отъ одной съ нею матери, а другая—дѣвочка—отъ мачихи, хотѣли чередоваться съ нею и съ мачихой около больного, но онъ ихъ усылалъ.

Маленькая сестра съ перваго дня была недовольна тѣмъ, какъ знаменитый докторъ началъ лѣчить отца.

— Онъ не долженъ былъ браться! — строго говорила она. — Онъ знаетъ хорошо совсѣмъ другія болѣзни. Что онъ такое сдѣлалъ? Сейчасъ поставилъ банки! Развѣ ставить банки? Это при Мольерѣ такъ лѣчили: пускать кровь!

И старшая сознавала, что это—правда, хотъ и двѣнадцатилѣтняя дѣвочка такъ негодовала. Но отказать доктору никому не пришло въ голову: вѣдь онъ — знаменитость и лѣчитъ отъ всякихъ внутреннихъ болѣзней. У нея скребло теперь на сердцѣ оттого, что такъ сдѣлалось по ея винѣ.

Вѣдь докторъ навѣщалъ ихъ только для нея. Не будь ея—онъ не пріѣхалъ бы съ визитомъ, и лѣченіе пошло бы иначе. О консилиумѣ она было заикнулась, но ей самой стало ужасно страшно. Вчера отецъ лучше себя чувствовалъ; весь день не впадалъ въ забытье, меньше кашлялъ, говорилъ со всѣми, шутилъ. Онѣ всѣ обрадовались. Сегодня, съ утра, пошло хуже да хуже. Докторъ былъ два раза: по его лицу, ужимкѣ губъ, по взгляду, точно тайкомъ брошенному сегодня вечеромъ на больного, она поняла всю глубину опасности.

Докторъ, уходя, произнесъ слово: „кризисъ“,—слово, ничего не говорящее и страшное. Кризисъ долженъ произойти въ ночь или къ утру. А ночь уже началась. Она знаетъ, что если къ утру отцу лучше не будетъ, тогда все уже поздно. И тогда-то и пригласятъ на консилиумъ еще двухъ-трехъ знаменитостей.

Строгое, красивое, не очень уже молодое лицо дѣвушки вытянулось отъ двухъ ночей безъ сна. Носъ съ горбиной передалъ ей отецъ, и большіе голубые глаза, и широкія темнорусыя брови. Она смотритъ въ полутьму, силится,

въ совершенной темнотѣ полога, разглядѣть дорогія черты. Овалъ головы выступаетъ; густые волосы съ просѣдью разметались. Голова лежитъ навзничъ, но обернулась немного влѣво, къ стѣнѣ. Воротъ мягкой рубашки поднялся и рѣзко отдѣляется отъ темноты полога. Теперь она видитъ, что глаза только полузакрыты и ротъ—также. Дыханіе идетъ ртомъ, тревожно, съ особымъ звукомъ, хватающимъ ее за душу.

Одѣяло плотно, какъ всегда во французскихъ постеляхъ, покрываетъ грудь больного до подмышекъ. Одна рука — правая — выбилась наружу и, нѣтъ-нѣтъ, поднимается и дѣлаетъ жесты.

Это опять начало бреда.

„Неужели *ею* не стапеть завтра, послѣзавтра? — думаетъ дочь. — Еще въ среду его разговоръ такъ искрился!.. Кто бы сказалъ тогда, что ему уже подъ шестьдесятъ? Да и какой это возрастъ для людей, какъ *онъ*?“

Она думала объ этомъ почти спокойно. Мысль о смерти не вставала еще передъ нею, какъ холодающее ощущеніе, а только какъ смутная возможность.

Ее мучило гораздо болѣе то, что „изъ-за нея“ „специалистъ совсѣмъ по другимъ болѣзнямъ“ началъ лѣчить и его; и ни у кого не достало духу или ума, находчивости отстранить его. На маленькую ея сестру прикрикнули даже за ея „умничанье“, за то, что она нашла банки „допотопнымъ лѣченіемъ“.

Кризисъ назрѣвалъ. Что-то дѣлается въ этомъ правомъ легкомъ? Нѣтъ ли въ немъ и теперь уже нарыва? Тогда — конецъ.

II.

Больной сдѣлалъ движеніе. Дѣвушка нагнулась.

— Чтò такое, чтò такое?..

Онъ спросилъ испуганно и поднялъ голову въ полузабытѣи.

— Это я.

— Денеша есть?

— Не принесли еще.

— Ну вотъ, ну вотъ!

Онъ хотѣлъ, кажется, совсѣмъ выпрямиться, но силъ у него не достало. Голова безпомощно упала на подушку; одной — правой — рукой попробовалъ онъ сдѣлать неопредѣленный жестъ.

И опять впалъ въ забытѣе.

Вечерняя депеша запоздала. Утромъ была уже одна. Какъ только онъ выходилъ изъ забытѣя, первый его вопросъ:—„денеша есть?“

Тамъ, на Женеvскомъ озерѣ, лежитъ больной его другъ. „Но у того старая, запущенная болѣзнь, приковавшая его къ постели „надолго“,—почти съ завистью подумала дѣвушка.

Но ей не стало обидно ни за себя, ни за остальныхъ домашнихъ, что отецъ и въ тяжелой болѣзни думаетъ только о своемъ „Николѣ“. Онъ всѣхъ ихъ любитъ,—мысленно она выговорила „любилъ“,—и брата, и ее: сколько тяжелыхъ заботъ положилъ на ея воспитаніе, болѣзни; чему ни училъ, куда ни возилъ? И меньшихъ сестеръ—также, особенно самую меньшую, отъ второй жены.

Но „Николя“—это нѣчто особенное! А вѣдь онъ просто пріятель, чужой по крови. *Такой* дружбы она никогда не видывала, да и не читала нигдѣ въ книжкахъ. Между ними встала женщина. Другіе бы подставили другъ другу грудь на дуэли, а тутъ одинъ уступилъ другому права мужа. Иначе и не могло быть при такомъ чувствіи...

Дѣвушка, отъ усталости, опустилась на низкій табуретъ, позади кровати, но голова ея была возбуждена.

Необычайная дружба ея отца съ его „духовнымъ“ братомъ повела ее теперь къ думѣ о той странѣ, откуда ее вывезли годовалымъ ребенкомъ. Это—ея *родина*; а увидитъ ли она ее когда-нибудь? При жизни отца, конечно, нѣтъ!.. Опа и не хочетъ этого. Пускай она *никогда* не вернется на родину, только бы жилъ онъ...

Но эта родина—живая, передъ нею, въ его лицѣ. Отецъ ея пріѣхалъ оттуда совсѣмъ готовымъ человекомъ, большимъ талантомъ, блестящимъ, несравненнымъ писателемъ, и привезъ съ собою то, чѣмъ его сдѣлала родина, и тотъ городъ, гдѣ онъ родился, гдѣ учился, гдѣ съ отроческихъ лѣтъ полюбилъ своего „Николю“.

Всѣ его рассказы о томъ времени именно теперь приходили ей на память, и всего ярче выиспались въ головѣ годы студенчества и первой любви, женитьбы, пріятельскаго кружка передъ давно и страстно желанной поѣздкой въ Европу...

Быть-можетъ, никогда не попадетъ она туда, въ старую русскую столицу,—ее что-то утѣряетъ въ этомъ,—

а она отсюда видитъ всѣ мѣста—въ городѣ и въ окрестностяхъ его—особенно за городомъ. Она видитъ деревенскій домъ на пригоркѣ, въ сторонѣ отъ шоссе,—позднѣ тамъ же прошла и желѣзная дорога,—съ садомъ, надъ обрывомъ, съ живописными холмами и лощинами вокругъ. Пріятельская пирушка на воздухѣ затянулась. Справляютъ день рожденья... или провожали кого-то: все равно,—случаевъ бывало много. Какіе споры, сколько идей и блеска, пыла, веселости, надеждъ!.. Вино пили щедро. Одинъ изъ пріятелей, докторъ, хохочетъ раскатыстымъ смѣхомъ, страшнымъ для непривычнаго слуха, на всѣхъ кричитъ, всѣмъ командуетъ, и всѣ его слушаются, и всѣмъ весело отъ выходокъ чудака...

Имъ становилось нестерпимо въ тогдашней жизни; они задыхались, страдали душой; а время, все-таки, было чудное. Беззавѣтная, лучезарная дружба ея отца съ его „Николей“ и тогда поднималась надо всѣмъ, что двое постороннихъ мужчинъ могутъ испытывать другъ къ другу...

Почему же такъ?

Должно-быть, ихъ „поколѣніе“ не такъ чувствовало, какъ теперешнія? Гдѣ у ней самой, въ ея дѣвичьей жизни, что-нибудь похожее? А она уже пожила на свѣтѣ, ей идетъ двадцать шестой годъ; еще два-три года, и она—„старая дѣва“. Оттого-то имъ—этимъ людямъ „сороковыхъ годовъ“—такъ особенно и жилось. Нужды нѣтъ, что многіе поплатились за свои идеи и упованія... Сколькихъ разбросало по свѣту: тѣхъ сослали, эти ведутъ скитальческую жизнь на чужой сторонѣ; никто не сдѣлалъ карьеры.

Зато всѣ почти, кто остался вѣренъ себѣ, сойдутъ въ могилу съ именемъ...

„Но что имя, когда живой человѣкъ перестанетъ дышать?..“

Она вся вздрогнула: побоялась, что ея душа перейдетъ въ сонъ...

„Что--слава, когда вотъ тутъ, на этой постели, будетъ лежать холодѣющее тѣло?..“

И это можетъ-быть. Неужели—завтра?

Она быстро закрыла лицо ладонями и почти зажала себѣ ротъ, чтобы не разрыдаться.

Но на душѣ у нея, сквозь ѣдкую боль, смѣшанную съ жасомъ смерти отца, просвѣчивало что-то, вызванное теплою думой о чудной дружбѣ людей „того“ поколѣнія.

Все переживаетъ такое чувство: и страсть къ любимой женщинѣ, и славу, и даже кровную связь съ дѣтьми... Она не ревновала къ другу за ежедневныя депеши отца. Съ какою радостью сѣла бы она около кровати и стала бы писать текстъ телеграммы, подъ его диктовку, какъ дѣлала сегодня, уже два раза, и вчера также, если бы это не было ему такъ вредно; а удержать его нельзя: онъ не можетъ отказаться отъ такого высшаго наслажденія...

III.

Дверь тихонько отворилась. Въ спальню проскользнула дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, рослая, бѣлокурая, съ крупнымъ ртомъ, въ темной шерстяной блузѣ, перетянутой широкимъ кожанымъ кушакомъ.

Она беззвучно подбѣжала къ старшей сестрѣ, сѣла къ ней на колѣни, озиравась на больного и стала спрашивать ее такъ тихо, что та понимала ее больше по движениямъ губъ.

— Спать?

— Въ забытьи.

— Бредить?

— Почти нѣтъ.

— О чемъ спрашивалъ?

— О депешѣ.

— Нѣтъ депеши: вчера пришла лѣ четверть восьмого, а сегодня нѣтъ!—сказала дѣвочка и сдвинула свои тонкія брови.

Она помолчала нѣсколько секундъ и начала, уже отъ себя, рассказывать порывисто, но отчетливо, и все такимъ же еле слышнымъ шопотомъ.

— Я умоляла маму послать депешу брату, а она не согласилась; говоритъ: „что его напрасно пугать?..“

— Она права,—строже выговорила старшая сестра.

— Надѣется на кризисъ!..

Это слово обдало старшую холодомъ.

Дѣвочка повела губами.

— Я ему не довѣряю...

— Кому?

— Да доктору! Кризисъ! Фраза! — прибавила она со всѣмъ какъ большая.

Онъ помолчали.

— Порошокъ принять?

— Принялъ.

— Ахъ, хоть бы пришла депеша! Это его опять оживить...

И, отвѣчая на свою мысль, она сказала медленно:

— Не всё *ею* такъ любить... изъ друзей...

— А что?

— Да вотъ... заходилъ тотъ...

Она назвала имя стариннаго пріятеля отца, жившаго также за границей, съ которымъ онъ былъ, одно время, въ ссорѣ, но незадолго до болѣзни помирился.

— Мама при мнѣ ему говоритъ,—продолжала дѣвочка и держала свое лицо совсѣмъ плотно къ лицу сестры,—говорить ему: „послушайте, вы мнѣ разъ какъ-то сказали, что у васъ, изъ русскихъ, было только два самыхъ дорогихъ человѣка: онъ, — дѣвочка повернула немного голову къ кровати,—и тотъ еще“... ну, ты знаешь... критикъ?..

— Знаю.

— Мама его и просила—я весь разговоръ слышала:—„останьтесь до завтра,—докторъ объявилъ, что завтра — кризисъ,—что вамъ стѣитъ подождать до завтра? Одно изъ двухъ: или онъ встанетъ, или“...

Дѣвочка поблѣднѣла, схватила руку сестры и сильно пожала ее.

— И что же?

— Мама еще ему сказала: „вѣдь вы будете упрекать себя, если вдругъ вы его никогда не увидите“...

— Не говори такъ!

— Кажется, это на всякаго бы подѣйствовало!

— Неужели... не захотѣлъ?

— Простился!

Губы дѣвочки сложились въ горькую усмѣшку.

— Вотъ такъ другъ! — болѣе рѣзкимъ шопотомъ говорила она.

— Почему знать?.. Онъ не могъ, — сказала старшая сестра: она всегда боялась осуждать другихъ.

— Это ясно!—рѣшила дѣвочка.—И пускай его! И не надо! Только вотъ папа, бывало, хвалить все свое,—она недолго искала слова,—свое поколѣніе!..

Ея развитость не по лѣтамъ давно пріучила ее къ такимъ словамъ.

— Вотъ тебѣ и поколѣніе, и друзья!.. Кто изъ насъ на это способенъ?..

Слова ея, проговоренныя попотомъ, вызвали въ старшей опять думу о дружбѣ отца, о томъ поколѣніи, что дѣвочка сейчасъ такъ искренно обличала... Стало — это все было тамъ въ гостиной, полчаса тому назадъ? Стало — и ея отецъ можетъ-быть для пріятелей, для тѣхъ, кто такъ долго шелъ съ нимъ рука объ руку, настолько безразличнымъ, что не хочется даже переночевать, чтобы узнать: остался онъ живъ, или нѣтъ?!

„И пускай его!“ повторила она слова своей сестренки — хлѣткія слова. — „И не надо!“ Пусть одна только дружба — та, про которую отецъ любилъ произносить стихи Пупкина, когда говорилъ о „союзѣ“ съ близкими сердцу: — „Онъ какъ душа — нераздѣлимъ и вѣченъ!“ — пусть дружба эта грѣтъ его, и освящаетъ, и призоветъ опять къ жизни!..

Слезы показались на ея рѣсницахъ.

— Мы его спасемъ! — страстно зашептала дѣвочка и прижалась къ ней. — Только ты пошла бы спать... милая! Оставь меня. Я насилу прогнала маму. Она на ногахъ не стояла... Но я прогнала!..

— Тсс!..

Больной повернулся, но не просыпался. Дѣвочка опустилась съ колѣнъ сестры, стала на цыпочкахъ у спинки и глядѣла въ темноту полога. Обѣ онѣ притаили дыханіе. Въ комнатѣ слышалось тиканье часовъ на каминѣ, да потрескиваніе догорающихъ углей.

Онъ началъ бредить. Обѣ дочери прислушивались. Сначала онѣ ничего не могли разобрать. Какъ будто онъ отъ кого-то отбивался. Онъ произносилъ слабые звуки, кажется, по-русски; но ни одного слова имъ не удавалось схватить.

IV.

Минуты черезъ двѣ голосъ сталъ крѣпчать; произношеніе было уже разборчивѣе.

— Ты выше! — бредилъ больной. — Ты выше... да! Ахъ. Коли! — громко вздохнулъ онъ. — Нѣтъ, не говори: императивъ...

— Что такое? — спросила дѣвочка.

Она не поняла слова: „императивъ“.

Старшая остановила ее движеніемъ головы.

— Никто, никто въ мірѣ не способенъ... Одинъ — ты! Простишь, и все отдашь, все!..

Онѣ слушали, и каждое слово, подхваченное на-лету, открывало имъ смыслъ: для одной — совсѣмъ ясный, для другой — смутно понимаемый; но и она знала если не о чемъ, то о комъ бредить отецъ.

Вдругъ онъ запѣлъ. Это ихъ испугало. Что-то заунывное, какъ будто со словами. Голосъ вытягивался въ длинную и жалобную ноту. И точно онъ хотѣлъ схватить напѣвъ и никакъ не могъ сдѣлать это сразу.

Во мглѣ комнаты это пѣніе звучало и страшно, и жалко. Никогда онѣ не слыхали, чтобы отецъ что-нибудь напѣвалъ, хоть и былъ такого живого характера. Это пѣніе несло имъ съ собою предчувствіе близкаго конца...

Пѣніе оборвалось. Старшая дочь сидѣла на стулѣ съ опущенной головой. Дѣвочка положила ей на колѣни свою голову и удерживала рыданія.

— Кто здѣсь? — спросилъ больной твердо, и поднималъ голову.

— Я,—отвѣтила старшая дочь.

— Одна?

— Здѣсь и Лили.

— А-а!

Дѣвочка выскочила изъ-за угла кровати и прильнула къ изголовью.

— Папа,—зашептала она.

— Ну, что... вертунья?..

Онъ приласкалъ ее, погладивъ по мягкимъ и густымъ волосамъ.

— Тебѣ лучше... скажи?

— Лучше.

Онъ отвѣтилъ это такъ твердо, что старшая,—она тоже вышла изъ-за кровати,—радостно вскинула рѣсницами.

— Тебѣ хорошо?—спросила она у кровати.—Надо еще порошокъ...

— Знаю.

Онъ поморщился. Лицо его показалось имъ обѣимъ совсѣмъ здоровымъ, съ румянцемъ, съ блескомъ въ возбужденныхъ глазахъ.

— А денеша? — спросилъ онъ и совсѣмъ сѣлъ въ постели.

Дѣвочка подложила ему за спину подушку.

— Денеша еще нѣтъ, папа,—сказала она первая.

Ея сестра готовила лѣкарство.

— Какъ же это?—почти жалобно выговорилъ онъ и сталъ оглядываться.—Ему хуже?

Отъ безпокойства его глаза потемнѣли.

— Дали бы знать, папа,—подсказала дѣвочка.

— Я самъ спрошу его... депешей!

Опять къ нему вернулось возбужденіе. Онъ подперся правымъ локтемъ о подушку.

Старшая дочь поднесла ему лѣкарство. Онъ, безъ гримасы, выпилъ и самъ поставилъ рюмку на столѣ, улыбнулся имъ обѣмъ и сложилъ руки на груди.

Это была его любимая поза: стоялъ ли онъ или сидѣлъ, особенно когда что-нибудь слушалъ со вниманіемъ и сочувствіемъ. Она обрадовалась этой позѣ, и ей не стало уже страшно за то, что онъ будетъ громко говорить ей текстъ депеши и утомится.

— Не диктуй, папа! Послушайся меня! Мы сейчасъ пошлемъ, спросимъ... и съ отвѣтомъ...

Старшая молчала и только просительно взглядывала на него.

— Садись!—приказалъ ей отецъ,—пиши карандашомъ!

Выговаривалъ онъ хорошо, безъ той прерывистой передышки, какъ во снѣ. Она сѣла у лампы.

— Ты готова?—спросилъ онъ.

— Готова.

— „Умру я или останусь въ живыхъ,—диктовалъ онъ ей, и голосъ его вздрагивалъ отъ силы чувства,—тебѣ шлю я свой привѣтъ, вѣчный,—тотъ, что долженъ пережить меня и витать надъ тобою всегда, согрѣвать тебя, безцѣнный другъ и братъ мой...“

Ему недоставало воздуха. Онъ закашлялся.

— Папа!—звукомъ тихой мольбы выговорила дѣвушка и подняла голову отъ бумаги.

— Пиши!

Новый приливъ возбужденія овладѣлъ имъ.

— „Твой образъ, твоя ангельская доброта мирять меня со всѣмъ, что я видѣлъ среди людей и въ себѣ въ первомъ: мелкаго, возмутительнаго, грязнаго и хищнаго. Мнѣ сладко мое преклоненіе передъ твоей святою личностью. Откликнись, хоть еще разъ, на мой призывъ, однимъ словечкомъ откликнись! Я жду твоей масляной вѣтви въ моемъ предсмертномъ ковчегѣ...“

Ркъ дѣвушки летала по страницѣ. Онъ диктовалъ по-

русски; она передавала по-французски: потребность его души сказалась въ этомъ предпочтеніи родного языка.

— Ты усталъ! Будеть!—шепнула дѣвочка, все еще у его изголовья.

— „Ты одинъ... твой голосъ... и способенъ, быть-можетъ, вернуть меня къ жизни. Прощай, Никола!“

Внезапно голосъ его оборвался, и голова упала на подушку. Дѣвочка испуганно вскрикнула. Старшая дочь бросилась къ кровати.

Въ груди дыханіе вызывало хрипъ. Правая рука стала тянуть къ себѣ одѣяло...

Агонія началась.

ТРИ АФИШИ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

— Господи! Куда я ихъ заложила?..

Нервные руки шарили въ ящикъ комода, лицо еще не старой, худой и поблеклой жепщины наклонилось надъ ящикомъ, и глаза перебѣгали отъ одной вещи къ другой.

Тамъ валялись разные тряпки, пустыя картонки изъ-подъ папирозъ, газетные листы. Тамъ же должны были лежать перевязанный шнуркомъ три старыя афиши. Но она ихъ не находила. Безъ этихъ афишъ и фотографической карточки изъ той же эпохи Надежда Степановна Строева не отправлялась на поиски мѣста.

И сегодня она одѣлась въ свое единственное, не изношенное платье съ шелковой отдѣлкой, сшитое больше пяти лѣтъ назадъ, уже перекрашенное въ прошломъ году. На лбу у ней подвитыя кудерки, густая еще коса положена на маковку. Въ темныхъ волосахъ пробивается сѣдина.

— Ахъ ты, Господи!

Афиши исчезли изъ ящика. Строева перешарила еще разъ все, что тамъ лежало, и съ тоскливой тревогой въ лицѣ заметалась по комнатѣ. Темный и узкій номерокъ въ двѣнадцать рублей былъ такъ тѣсенъ, что она безпрестанно задѣвала за что-нибудь: за кровать, за комодъ, за убогій умывальный столъ, облѣзлый и кривобокій.

Потерять эти три афиши и карточку изъ того времени.



когда Строева занимала въ провинціи первое амплуа,— было бы для нея чѣмъ-то зловѣщимъ. Она держалась за нихъ, какъ за реликвиі. Онѣ только и говорили про ея сценическое прошлое, служили ей вещественнымъ доказательствомъ ея карьеры. Безъ нихъ она сейчасъ почувствуетъ себя въ пустомъ пространствѣ, безъ имени, безъ всякихъ даже правъ на кусокъ хлѣба.

Она не могла найти, выбилась изъ силъ, сѣла на кровать и тихо заплакала.

Суетѣрное чувство наполнило ее всю: безъ трехъ афишъ и карточки она считала себя совсѣмъ потерянной. А положеніе было тяжкое. Она еще не переживала такого, никогда и нигдѣ: ни въ провинціи, въ долгіе уже годы своихъ скитаній, ни въ Петербургѣ, ни здѣсь, въ этой Москвѣ, куда она стремилась, какъ въ обѣтованное мѣсто. Столько театровъ, такія жалованья, бѣшеная конкуренція, огромный спросъ на актеровъ, всякихъ: и большихъ, и маленькихъ, тысячныхъ и рублевыхъ.

И вотъ скоро наступитъ хмурый октябрь, а у ней ничего нѣтъ, ничего—ни общанія, ни задатка, ни ангажемента въ провинцію—ничего!

Строева тихо плакала и обтирала глаза смятымъ, заношеннымъ платкомъ. Ей хотѣлось зарыдать и хоть сколько-нибудь облегчить свое горе. Но рыданія не вырывались изъ груди, спирались въ горлѣ, а слезы все текли неудержимо. Глаза краснѣли, носъ также, все лицо. Она всхлипнула одинъ разъ и вдругъ перестала плакать, поднялась съ кровати, остановилась у комода, отерла глаза и щеки.

Ее пронизала мысль: „какъ же я съ такимъ лицомъ пойду просить объ ангажементѣ?“

Слезы изсыхали вдругъ. И снова она принялась искать на полу, во всѣхъ закоулкахъ, подъ комодамъ; заглянула свѣчу, искала и подъ кроватью.

Ни афишъ, ни карточки нигдѣ не было.

Выбившись изъ силъ, Строева присѣла къ окну и безпомощно опустила голову въ раскрытыя ладони рукъ.

— Безталанная я, безталанная!—прошептала она, и это слово „безталанная“ гмышло у нея такъ глубоко трагическимъ по звуку, что она невольно прислушалась къ нему и еще разъ повторила его, уже какъ актриса.

Развѣ у ней нѣтъ дарованія? Откуда бы взялся такой звукъ? Вѣдь она и на сценѣ можетъ пустить его! Стоить

только вспомнить настоящее житейское горе — и сейчас вызовешь въ себѣ настроеніе и найдешь точно такую интонацію.

Да, талантъ у ней есть и былъ всегда. Не бездарность гнететъ ее, а неудача — вотъ больше трехъ лѣтъ, что-то роковое и жестокое, съ чѣмъ не хватаетъ силъ бороться.

Вчера еще она держала въ рукахъ три афиши и карточку, перехваченныя каучуковымъ кружочкомъ, когда ходила въ театръ и дожидалась режиссера. Такъ и не дождалась. Но пачку она не выпускала изъ рукъ. Прежде она носила ее въ маленькомъ кожаномъ мѣшечкѣ, съ металлической ручкой въ видѣ кольца. Мѣшечекъ былъ изъ шагреновой кожи, заграничный. Ей подарили когда-то, па югѣ, въ Ростовѣ-на-Дону. Но мѣшечка уже давно нѣтъ. Онъ ушелъ къ закладчику, вмѣстѣ со всѣми цѣнными вещами, и лисьей шубой, и хорошими туалетами.

Время близилось къ полудню. Пора идти... А какъ идти безъ *всего*?

Режиссеръ выслалъ ей сказать, что сегодня она застаетъ его, но не позднѣе часа. Онъ ея не знаетъ. И она не служила съ нимъ нигдѣ, даже фамиліи его не помнитъ. Будь съ нею афиши — она сейчасъ бы показала ему, въ какихъ роляхъ выступала еще не такъ давно. Но не о такомъ амплуа мечтаетъ она теперь. Гдѣ ужъ!.. Съ однимъ платьемъ, безъ шубы, въ потертой тальмѣ, въ старомодной шляпкѣ...

Мысль о шляпкѣ заставила Строеву обернуться къ комоду, гдѣ, около зеркальца, пріютилась шляпка съ отдѣлкой изъ поблеклыхъ лентъ, въ видѣ щитка. Года два назадъ она была модная, а теперь никто уже не носитъ такихъ.

Она схватила рукой за шляпку и встряхнула ее. Подъ тулей, на цвѣтной пыльной салфеткѣ, покрывавшей комодъ, лежала пачка изъ трехъ афишъ и карточка, съ приклееннымъ къ фотографіи листкомъ чайной бумаги.

— Ахъ ты, Господи! — звонко, съ досадой и радостью крикнула актриса и сжала пачку въ нервныхъ тонкихъ пальцахъ.

Совсѣмъ изъ головы вылетѣло у ней то, что она вчера вечеромъ положила пачку подъ шляпку, именно съ тѣмъ, чтобы не забыть, чтобы всего легче взять ее съ собою, когда будетъ надѣвать шляпу.

— Господи! Господи! — повторила она, и ее охватило чув-

ство дѣтской радости, точно будто она нашла какой-то талисманъ съ чудодѣйственной силой, открывавшій ходъ всюду.

Она опять присѣла на кровать, сняла каучуковый ремешокъ съ пачки, бережно положила его на подушку, потомъ—такимъ же бережнымъ жестомъ—и карточку, и стала развертывать афиши, какъ будто не была увѣрена въ томъ, что ихъ тутъ три.

Всѣ три были налицо.

Она стала развертывать ихъ, гладила рукой, любовалась... А на сердцѣ у ней сладко щемило, на глазахъ опять наворачивались слезы, но уже не слезы острой горечи.

Первая афиша была бенефисная, на большомъ листѣ тонкой глянцевитой бумаги. Спектакль, на лѣтнемъ театрѣ, въ одномъ изъ волжскихъ городовъ, былъ въ пользу артистки Строевой. Ея имя стояло двухвершковыми буквами. Она играла Катерину въ „Грозѣ“... Вторая афиша—тоже бенефисная—на розовой бумагѣ и поменьше размеромъ, три года назадъ. Большой пьесой шли „Ошибки молодости“... Она играла княгиню Рѣзцову. Тогда у ней были платья, цѣлая дюжина дорогихъ шелковыхъ и бархатныхъ туалетовъ и костюмовъ. Она считалась и хорошей „grande coquette“, и въ драмѣ занимала первое мѣсто.

Третья афиша—узенькая, обыкновенная, какія продаютъ капельдинеры. Она играла на югѣ съ плохой труппой, но считалась все-таки гастролершей. Давали „Вѣшныя деньги“.

Она не могла оторваться отъ нихъ, гладила бумагу, всматривалась въ большія буквы заглавій, пропикалась сознаниемъ, что это не сонъ, что она, дѣйствительно, держитъ ихъ въ рукахъ, что она, на самомъ дѣлѣ, играла всѣ эти роли—и Катерину, и княгиню Рѣзцову, и героиню „Вѣшныхъ денегъ“.

Ярко, почти съ отчетливостью мозгового видѣнія, представляла она себѣ эти три фигуры въ костюмахъ—Катерину, въ расшитой кичкѣ, бѣломъ креповомъ платьѣ и сарафанѣ—букетами по глазетовому фону, и зеленое шелковое платье второго акта съ купеческой „головкой“—изъ двуличневой шелковой косынки; въ княгинѣ Рѣзцовой—въ трехъ разныхъ туалетахъ—черное шелковое платье съ бархатной отдѣлкой она носила вплоть до про-

шлаго лѣта и продала старьевщицѣ-еврейкѣ... А какое оно было когда-то модное, какъ облекало ее тогда еще пышный станъ... И героиней „Въшеныхъ денегъ“ видѣла она себя, въ томъ актѣ, что происходитъ въ увеселительномъ саду. На ней былъ бѣлокурый барикъ, локоны падали по спинѣ, на лбу—завитая чолка, рукава въ прошивкахъ, сквозь нихъ бѣлѣлись руки—полныя и красивыя. И какъ она любила эту роль!.. Въ ней она чувствовала себя такъ легко, какъ дома. Ей не пужно было подѣлываться подъ барскія интонаціи. Онѣ у ней выходили естественно. Слышалось, что она и въ жизни умѣла говорить точно такъ же. Ее не смущало то, что роль не симпатична. Сколько можно въ ней было показать отгнѣнковъ женскаго кокетства, смѣлости, демонической граціи, шельмовства, блестящей испорченности! Она не была такою въ жизни, а любила роли въ этомъ родѣ; онѣ ей удавались лучше, чѣмъ слезливыя и романтическія, которыя приходилось играть гораздо чаще.

Долго Строева не могла оторваться отъ трехъ афишъ.

— Господи, что это я!..—вслухъ выговорила она, и начала торопливо ихъ складывать, сдѣлала опять узенькую пачку, взяла съ подушки карточку и поглядѣла на нее еще разъ.

На карточкѣ она была снята молодой женщиной съ косою, положенной въ видѣ короны на темі, съ эполетцами на плечахъ изъ толстыхъ шелковыхъ шнурковъ. Снималась она въ Казани, послѣ бенефиса, гдѣ въ первый разъ играла въ „Завоеванномъ счастьѣ“.

И почему именно эта карточка уцѣлѣла? Сколько разъ она снималась, и въ сколькихъ городахъ, и въ сколькихъ костюмахъ!.. Тѣ всѣ раздавала или затеряла, а эта вотъ уцѣлѣла и прошла вмѣстѣ съ нею черезъ всю ея сценическую жизнь.

Каучуковый ремешокъ обхватилъ пачку. Строева подумала, не положить ли за корсетъ... Такъ было бы вѣрнѣе, но выпимать неудобно. Лучше держать просто въ рукѣ, плотно сжать... Изъ кармапа юбки можетъ выпасть...

Она поднялась съ кровати бодрѣе. Улыбка появилась на поблеклыхъ губахъ... Передъ зеркальцемъ поправила она волосы, бережно надѣла шляпку,—пачка все еще лежала на подушкѣ,—свою старенькую драповую накидку, и съ вѣрой въ удачу, послѣ такой хорошей пригѣты, фальшивой тревоги, вышла въ коридоръ, заперла дверь, влючь

взяла съ собой и прошла мимо комнаты хозяйки не на цыпочкахъ, а твердымъ шагомъ, не боялась того, что та станетъ приставать за неплатежъ квартирныхъ денегъ.

II.

— Обождите... Семенъ Захарычъ сейчасъ не могутъ... занаты... — говорилъ Строевой дежурный служитель въ короткомъ пиджакѣ, вечеромъ превращавшійся въ капельдинера.

Она стояла въ коридорѣ, совсѣмъ почти темномъ, около входа на сцену. Гдѣ-то вдали мерцалъ огонекъ лампочки, поставленной на лѣстницу, которая вела въ логи.

— Гдѣ же обождать?—тихо, почти просительно выговорила Строева.—Въ фойѣ?..

— Можно и въ фойѣ... А то пожалуйста въ режиссерскую.

— Куда же пройти?

Она еще не бывала за кулисами этого театра и не знала, гдѣ помѣщается режиссерская.

— Пожалуйста!..

Служитель провелъ ее черезъ проходъ, мимо литерной логи и около закуты, гдѣ помѣщался газовщикъ во время представленія, указавъ на крутую узенькую лѣсенку.

— Тамъ и подождите, — сказалъ служитель, и куда-то юркнулъ.

На сценѣ шла еще репетиція. Строева остановилась у кулисы. Запахъ, особый, не разложимый и не передаваемый, запахъ кулисъ, опять обдалъ ее... Больше полугода она имъ не дышала. Какъ ни ужасна была ея теперешняя доля, какъ ни предательски обошлась съ ней сцена, она не могла еще чують этотъ запахъ безъ сердцебіенія, скорѣе пріятнаго, чѣмъ болѣзненнаго.

Изъ-за павильона, отнимавшаго свѣтъ отъ этого угла, доносился гулъ голосовъ и громкій шопоть суфлера. Одинъ голосъ, глухой и вздрагивающій, врывался въ реплики репетирующихъ. Она узнала окрики режиссера.

— Нѣтъ-съ! Нельзя! Марья Сергѣевна! Этакъ невозможно. Вы у него передъ носомъ уходите... Короче возьмите. Извольте повторить!

— Ушла!—раздался женскій голосъ.

— Ушла!—повторила про себя Строева, и въ первый разъ подумала: — „почему актеры и актрисы, въ такихъ случаяхъ, говорятъ: „ушла“, а не „ухожу“, или „сѣла“, а не „сажусь“?

— Вотъ это десятое дѣло! — пронесся возгласъ режиссера. Строева зажмурила глаза и облокотилась о край кулисы.

Женскій голосъ — она сообразила сейчасъ, что это первый сюжетъ — опять зазвучалъ звончѣе другихъ. Выдался монологъ.

„Какая же это читка?“ — думала Строева, и сталаправлять интонаціи.

— Не такъ, не такъ! — повторяла она.

И въ голосъ ея слышались совсѣмъ другіе звуки: гораздо умнѣе, правдивѣе, не съ такими избытками приѣмами поднятія и опущенія тона.

„Сколько получаетъ?“ — спросила она, приходя въ волненіе. — Навѣрно не меньше пятисотъ въ мѣсяцъ, если не всѣ шестьсотъ“.

Шестьсотъ рублей!

А у ней нѣтъ въ портмонѣ и трехрублевки... Останься она теперь безъ ангажемента, „хоть на выходъ“, — въ первый разъ мелькнуло въ ея головѣ, — и нищета полная; два-три платья снесетъ къ закладчику, и останется нищей. Ъхать въ провинцію, — поздно, пропустила время, понадѣялась „Богъ знаетъ на что“, не уѣхала въ Нижний, на шестьдесятъ рублей.

Все такъ же жадно продолжала она прислушиваться къ читкѣ первой актрисы.

Голосъ былъ уже не очень молодой, женщины за тридцать. Строева сообразила, кто это можетъ быть. Имена двухъ первыхъ актрисъ театра были ей извѣстны, но она съ ними нигдѣ не служила...

— Вамъ кого? — спросили ее сбоку.

Она боязливо обернулась съ фразой извиненія на губахъ.

Спросилъ ее какой-то молодой малый, въ обшарканномъ сюртукѣ и рубашкѣ съ шитымъ косымъ воротомъ, что-то въ родѣ бутафора или машиниста.

— Я къ режиссеру, — шопотомъ выговорила она.

— Онъ занятъ.

— Я знаю. Они приказали мнѣ подождать въ режиссерской.

— Такъ вы туда и подите... Здѣсь нельзя постороннему народу.

Все это было сказано довольно грубо. Она покраснѣла, промолчала и на цыпочкахъ отошла отъ кулисы.

— Не туда, не туда!.. Лѣвѣе!—крикнулъ ей малый въ обшарканномъ сюртукѣ.

Щеки зардѣлись у нея и сперло духъ. Чувство безпомощности проникло въ нее, нищенской и щемящей... Она и про режиссера сказала уже „они“, точно прислуга.

Въ режиссерской она присѣла на диванчикъ и оглядѣлась. Надъ овальнымъ столомъ, откуда не прибрали подноска съ пустой полбутылкой сельтерской воды, горѣлъ газовый рожокъ. Стѣны были оклеены афишами, покрыты фотографическими портретами и рисунками. Изъ-за перегородки виднѣлся письменный столъ. Тамъ тоже горѣлъ газъ. Было очень душно. Строева разстегнула верхнія пуговицы тальмы лѣвой рукой, а въ правой держала пачку изъ трехъ афишъ и карточки.

И справа, на стѣнѣ, афиша на ярко-зеленой бумагѣ потянула ее къ себѣ. Большимъ жирнымъ шрифтомъ выдѣлялось заглавіе пьесы „Ошибки молодости“. Она сочла это за добрую примѣту.

Когда она слышала быстрые мужскіе шаги, ввизу, по направленію къ режиссерской, она перекрестилась... Но шаги повернули въ сторону выхода въ коридоръ нижняго яруса. Протянулось томительныхъ четверть часа... Она была въ нерѣшительности: спать ей свою тальму,—дѣлалось пестершимо жарко,—или остаться въ ней. Тальма смотрѣла менѣе запошенной, чѣмъ платье. Въ плохо освѣщенной режиссерской не такъ легко было разглядѣть изъѣзны.

Репетиція кончилась. Строева слышала, какъ прокричалъ что-то режиссеръ. Она могла схватить только слово „господа“. Потомъ кто-то зашѣлъ, проходя за кулисы, прокатился женскій смѣхъ, плотники зашагали тяжелыми сапогами, убирая павильонъ, и стали переговариваться между собою.

Она встала и подошла къ двери... Щеки горѣли, въ глазахъ точно насыпали песку... На сердце защемило. Вся тяжесть ея положенія, вся ея артистическая доля давили ее въ эту минуту и стояли передъ нею пестершимымъ укоромъ самой себѣ, печальной и глупой затѣей, выбившей ее изъ колен. И возирата назадъ не было. Ей за тридцать, молодость прошла, здоровье подорвано, въ волосахъ сѣдина, опоры нигдѣ и ни въ чемъ. Каторжной цѣпью прикована она къ этимъ кулисамъ, выхода нѣтъ!..

Опять зеленая афиша привлекла къ себѣ ея взглядъ. Неужели въ самомъ дѣлѣ она играла какъ „гастролерша“ роль княгини Рѣзцовой, и ей подавали вѣщокъ, и на шелковой юбкѣ ея платья были нашиты кружевные воланы?..

А теперь?..

По лѣсепкѣ вбѣжала въ режиссерскую маленькаго роста актриса, съ лицомъ дѣвочки четырнадцати лѣтъ, въ красной бархатной шляпѣ, сидѣвшей на ея головѣ въ видѣ соусника, и въ зимней кофточкѣ, обшитой перьями. Запахъ аткинсоновскихъ духовъ наполнилъ тѣсную комнату.

Актриса, съ засунутыми въ карманы руками, повернулась на каблукѣ и закинула голову жестомъ комической *ingénue*.

— Никого! — звонко протянула она и вбокъ поглядела на Строеву.

Она заглянула и за перегородку.

— Репетиція кончилась?—спросила ее Строева.

— Я не занята въ большой пьесѣ. Водевиль сейчасъ будутъ репетовать... А вамъ кого?

— Господинъ режиссеръ долженъ сюда придти...

— Господинъ режиссеръ! — повторила актриса съ дурачливой миной.—Это кто же? Прокофьевъ?

— Семенъ Захарычъ, кажется, ихъ зовутъ...

— Вы, значить, по дѣлу?

Актриса достала изъ кармана юбки папиросницу и закурила.

— На выходъ?..—кинула она тотчасъ же второй вопросъ.

„На выходъ“,—отдалось въ душѣ Строевой.

Значить у ней такой видъ, что никто и не подумаетъ о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ „выхода“. Ей стало такъ обидно, что она отвернула голову, чтобы актриса не замятила слезъ.

Та, не дожидаясь отвѣта, повернулась опять на каблукѣ и затянулась дымомъ.

— У насъ народу набрано всякаго. Врядъ ли вы чего-нибудь добьетесь... У насъ, знаете, порядки строгіе. Когда нужно—и настоящихъ артистокъ паряжаютъ на выходъ. Кто меньше полутора ста рублей получаетъ—не имѣетъ права отказываться. Такъ и въ контрактѣ стоитъ.

Строева промолчала. Она не могла говорить о себѣ и

своей долѣ безъ сильнаго душевнаго волненія,—боялась расплакаться. Развѣ такая вертлявая дѣвочка съ подкрашенными глазами можетъ дать ей добрый совѣтъ или войти въ ея положеніе? Только лишнюю обиду придется проглотить.

— Я скажу режиссеру, что вы дожидаетесь!—крикнула ей актриса на порогѣ дверки и кивнула ей своей бархатной шляпой.—Онъ теперь навѣрно закусываетъ, а сейчасъ мы водевиль будемъ репетовать...

Она сбѣжала съ лѣстницы, скрипя своими высокими ботинками на высочайшихъ каблукахъ.

Раздался ея голосокъ. Она кого-то остановила на пути, разсмѣялась и крикнула:

— Ахъ вы, уроды!

Какъ всѣ эти звуки, манеры, слова были ей знакомы, даже скрипъ ботинокъ и размѣръ шаговъ, искусственная походка, какая пріобрѣтается на подмосткахъ. Она сама не пріобрѣла этихъ фасоновъ. Въ ней и опытному глазу трудно распознать актрису, иначе какъ по тону, когда она разговариваетъ.

— Семень Захарычъ!—крикнула ingénue.—Семень Захарычъ!

— Что еще?—отозвался изъ глубины глухой мужской голосъ.

— Васъ ждѣтъ въ режиссерской какаѣ-то мадамъ.. Вы ей приказали тамъ побыть.

— Дайте мнѣ хоть бутербродъ проглотить. Экъ приспичило! Мало ихъ тутъ шляется...

Голосъ режиссера ничего хорошаго не обѣщалъ Строевой. Въ немъ звучалъ отказъ. Но просить надо, жизнь не ждѣтъ... Она отерла глаза, встала, подошла къ зеркалу, висѣвшему по другую сторону стола, и поправила шляпку. Пачку съ тремя афишами не выпускала она изъ лѣвой руки... Безъ нихъ она была бы еще безпомощнѣе.

— Иванъ Андреевичъ!—донесся до нея глухой голосъ режиссера.—Начинайте... Я сейчасъ вернусь!..

III.

Строева встала и оправилась. Въ колѣняхъ у нея сразу ослабли ноги. Легкая дрожь проползла вдоль спины.

— Прошу извинить,—раздался глухой голосъ режиссера.—Я васъ просилъ послѣ репетиціи... Я чертовски занятъ...

Худой, съ небритыми щеками и недавно запущенной бородой, съ плотно стриженными волосами на головѣ, небрежно одѣтый, онъ, близко подойдя къ ней, оказался на цѣлую голову выше ея. Его широкій ротъ съ желтыми зубами повела косая усмѣшка; сѣрые глаза вглядывались въ нее строго.

Она начала извиненіе.

— Вамъ собственно что же угодно?

— Моя фамилія, по театру, Строева. Вы меня не знаете?—тономъ робкаго вопроса выговорила она.

— Не имѣю удовольствія.

Садиться онъ ее не просилъ.

— Я около десяти лѣтъ служу... Занимала...

— Извините... госпожа Строева... Вы покороче пожалуйста... Вы сами знаете, какова наша служба...

— Вотъ эти афиши...

Она сорвала съ пачки резиновый ремешокъ, отдѣлила карточку отъ трехъ афишъ и подала ихъ режиссеру.

— Что это такое?

Онъ еще сильнѣе скосилъ свой широкій ротъ.

— Вотъ, — заговорила она, нервно и стремительно, и начала развертывать листы и класть ихъ на столъ.

— Старыя афиши?—иронически спросилъ режиссеръ.

— Да... старыя афиши.

Она сдержала внезапно нахлынувшія слезы, выпрямилась и заговорила совсѣмъ другими звуками. Въ нихъ слышалась женщина, получившая хорошее барское воспитаніе. Актриса, съ заученными интонаціями рѣчи, слѣдила съ нея.

— Эти три афиши—мое единственное достояніе... На нихъ стоитъ мое имя... какъ артистки, занимавшей первое амплуа...

— Да, я вамъ вѣрю... Теперь и фамилію вашу припоминаю...

— Позвольте мнѣ досказать,—остановила она его.—Я играла и гастроли, какъ видите вотъ здѣсь, на афишѣ... и это было такъ еще недавно... Вы—артистъ. Вы знаете, какъ легко потерять положеніе... Бѣда ждать за угломъ... Болѣзнь... потеря свѣжести. Я не затѣмъ это говорю, господинъ режиссеръ, чтобы васъ разжалобить. Я хотѣла только познакомить васъ съ моимъ недавнимъ прошлымъ. Но мои желанія самыя умѣренныя. Я хочу быть полезной... какую угодно работу...

И дальше она не пошла. Доводовъ у ней не хватило... Да и какіе доводы?.. Онъ видѣлъ, что она доведена до крайности, что она просить о кускѣ хлѣба.

— Трупна у насъ въ полномъ комплектѣ... А дублюръ намъ на каждое амплуа нельзя держать...

Режиссеръ поглядѣлъ на нее бокомъ и выразительно скосилъ ротъ... Она поняла въ этомъ взглядѣ оцѣнку того—могла ли она быть „дублюрой“.

— Я и не предлагаю,—проговорила она сразу спавшимъ тономъ.

— На выходъ,—продолжалъ режиссеръ,—намъ тоже не требуется лишняго народа... Мы обставочныхъ пьесъ не любимъ ставить... Это не нашъ жанръ... И насчетъ Шекспира мы не проходимся.

Она молча поглядѣла на него продолжительно и печально... Слишкомъ тяжело сдѣлалось ей—нищенски повторять все одно и то же.

Онъ зажмурилъ правый глазъ—у него это былъ родъ тика—и прокашлялся.

— Если васъ и приметъ дирекція, такъ на самый маленький окладъ.

Она хотѣла спросить „на какой“—и воздержалась.

— Я всею буду довольна,—пролепетала она.

— Сегодня я вамъ все-таки отвѣта дать не могу... Такъ какъ вы долго служили и держали первое амплуа, опытность у васъ должна быть... Посмотримъ. Зарекомендуйте себя, когда случай выпадетъ. Только у васъ гардеробъ врядъ ли есть подходящий...

Взглядомъ, безъ словъ, она отвѣтила ему: какой же могъ быть у ней гардеробъ?..

— Ну-съ,—заторопился режиссеръ,—дѣло не ждеть.—Голосъ его сталъ помягче и глаза не такъ строго пронизывали ее.—Маленький окладъ, на выходъ, я вамъ добу... рублей на тридцать, на сорокъ—не больше.

Онъ былъ уже на первой ступенькѣ лѣстницы. Строева быстро подалась къ нему.

— Я согласна,—стремительно выговорила она.

— Ну, такъ завтра навѣдайтесь. Только пораньше, передъ началомъ репетиціи. Меня съ десяти часовъ здѣсь найдете... Мое почтеніе.

Длинная фигура исчезла.

Строева повернулась къ столу и, вся разбитая отъ волненія, присѣла съ опущенной головой. На столѣ лежали

развернутыя ея три афиши... и карточка на одной изъ нихъ.

Она подняла голову и долго смотрѣла на эти афиши. Примѣта не измѣнилась. Ей обѣщано мѣсто, у ней, ни зима, есть пропитаніе... Сорокъ рублей!.. Въ ея положеніи и это огромный окладъ... А тамъ—кто знаетъ—выпадетъ случай, сколько ролей знаетъ она наизусть, можетъ сыграть безъ репетиціи, только бы кто-нибудь подѣлился туалетами. Если случится это передъ самымъ спектаклемъ—найдется и платье.

Внизу, на сценѣ, кончилась репетиція водевиля, а она все еще сидѣла у стола, точно приковавшаяся, и глядѣла на свои афиши...

Медленно принялась она свертывать ихъ и складывать въ пачку, вмѣстѣ съ карточкой. Не сразу нашла она и каучуковый ремешокъ... Болѣе спокойно положила она пачку за корсетъ,—теперь она ихъ уже никому не будетъ показывать,—широко вздохнула и, уходя, оправила прическу передъ зеркаломъ. Собственное лицо показалось ей не такимъ поблеклымъ, устарѣвшимъ и жалкимъ, какъ полчаса передъ тѣмъ.

Съ гримировкой она еще могла сыграть княгиню Рѣзову... Нуженъ только туалетъ, да парикъ... Но гдѣ уже мечтать о такихъ роляхъ!.. Хорошо, если дадутъ и бытовую, гдѣ можно обойтись ситцевымъ платьемъ и кацавейкой... Та, прежняя Строева, которой подносили вѣнки и браслеты, уже умерла... Въ зеркалѣ, въ эту минуту, отразилась только тѣнь ея...

„Что же это я?..“—подумала она и испугалась, какъ бы режиссеръ не поднялся еще и не далъ на нее окрика.

На сценѣ сдѣлалось шумнѣе... Опять раздались перекрикиванья плотниковъ, начавшихъ прибирать декораціи.

Тихонько начала она спускаться по лѣсенкѣ, боясь, чтобы ступени не скрипѣли.

Между двумя кулисами она остановилась, ей загордился путь бутафоръ, несшій скамейку... Она должна была обождать, а потомъ взять правѣе, къ выходу въ коридоръ, мимо литерной ложи.

Ее слегка толкнулъ уходившій съ репетиціи актеръ, въ мягкой шляпѣ и длинномъ пестромъ пальто, небольшого роста,—толкнулъ и тотчасъ же обернулся.

Она узнала маленькое лицо съ удлинненнымъ, краснѣющимъ носомъ, очки, плохо сидѣвшіе на носу, краснова-



тость щекъ, въ особенности пучки волосъ, смѣшно торчавшихъ на вискахъ.

— Здравствуйте, Мишинъ! — окликнула она его тихо и неуверенно.

Онъ сначала воззрился на нее близорукими глазами, поправилъ очки, откинулся назадъ и разсмѣялся.

— Батюшки! Надежда Степановна!.. Вы ли это?.. Сколько зимъ... Вотъ встрѣча... Сколь апель истуарь!.. Куда? Откуда?.. Къ намъ на службу? А въ настоящій моментъ— идете, или вамъ кого надо?..

Встрѣча съ комикомъ Мишинымъ обрадовала ее чрезвычайно. Она крѣпко пожала ему руку и весело оглядывала его маленькую фигурку, забавный носъ, клоки волосъ на вискахъ.

— Я выхожу... Вы также?

— Всенепремѣнно... Только какъ же это такъ? Надо бы покалякать. Неудобно ли въ буфетъ?.. Тамъ мы чайку спросимъ... Вотъ встрѣча!

Онъ уже успѣлъ разглядѣть, какъ была одѣта Строева, и въ его добрыхъ, подслѣповатыхъ глазахъ промелькнула жалость.

— Вы здѣсь служите? — спросила она, когда они перешли въ коридоръ.

— Самолично.

— Какъ же я объ этомъ не знала... милый... Сергѣй... По батюшкѣ она забыла, какъ его зовутъ.

— Ардальоновъ, сынъ Мишинъ.

— И на афишѣ не видала что-то...

— А произошло это оттого, что я только на той недѣлѣ объявился.. У Макарія на ярмаркѣ провалялся до первыхъ чиселъ сентября; да случилась семейная одна исторія... вытребовали меня на родину... въ городъ Елецъ... Тамъ я вмѣсто трехъ-то дней три недѣли прожилъ, да еще схватилъ лихорадку... Пожалуйте сюда... вонъ лампочка горитъ. Это въ буфетъ дорога.

IV.

По буфету расползлися сумерки. Около стойки никого не было, кромѣ буфетчика. Мишинъ и Строева сѣли за столикъ, вправо, за уголъ.

— Я, Надежда Степановна, сейчасъ чайку спрошу; вы съ лимончикомъ или со сливками?

— Я безъ всего.

— Сію минуту.

Комикъ подошелъ къ стойкѣ, заказалъ чаю, выпилъ водки, сильно поморщился и закусилъ килькой.

— Вотъ судьба-то, — говорилъ онъ, вернувшись, и положилъ оба локтя на столъ. — Я думалъ, вы меня не узнаете. Тогда я мальчуганомъ смотрѣлъ. Помните, въ Ростовѣ-на-Дону? А теперь ужъ и сѣдина пробивается... Ужасно я радъ видѣть васъ...

Онъ перемѣнилъ тонъ и, смотря на нее поверхъ очковъ, спросилъ потише:

— Къ намъ служить?

— Не знаю... Обѣщалъ режиссеръ.

— На какой окладъ?

Ей сдѣлалось нестерпимо стыдно сказать, что ее, да и то еле-еле, принимаютъ „на выходъ“.

Но она поборола это чувство... Мишинъ — добрый малый, понимающій, изъ студентовъ; онъ не будетъ тайно злорадоваться, что вотъ госпожа Строева, бывший „первый сюжетъ“, когда служили вмѣстѣ въ провинціи, — теперь кланяться грошоваго жалованьишка, на выходъ.

— Окладъ!.. — повторила она и показала головой. — Какой ужъ окладъ, Мишинъ... Все возьму...

Мишинъ сдѣлалъ печальную мину, которая у него вышла комической.

— Такія времена, — выговорилъ онъ, и вскинулъ бровями, отчего выраженіе стало еще забавнѣе. — Да вѣдь вы, Надежда Степановна, — какъ бы спохватился онъ, — могли бы съ честью держать ампула... ну, хоть бы грандъ-дамъ!

Онъ поправилъ очки, и ему бросились въ глаза ея потерявшая тальма и старомодная шляпка.

— Гдѣ ужъ?.. Вы лучше вотъ что скажите, Мишинъ, — она стала говорить шопотомъ, — режиссеръ у васъ всѣмъ орудуешь?..

— Есъ, — отвѣтилъ Мишинъ и повелъ губами на особый ладъ. — Кормило въ его рукахъ.

— А сборы какъ?

— Пока ничего. Но — между нами, — онъ наклонился къ ней черезъ столъ, — я чую, что у насъ безъ междоусобія не обойдется... Вы меня чуточку помпите по этой части, Надежда Степановна, я всегда отъ всякой дипломатіи сторонился и никакихъ особыхъ правъ себѣ не выговаривалъ. Контрактъ всякій подпишу, только двухъ



вещей не могу: роли въ стихахъ и гишпанцевъ изображать...

Строева тихо разсмѣялась.

— Да-съ, гишпанцевъ не могу... Здѣсь ихъ, по всѣмъ видимостямъ, изображать не въ обычаѣ; а насчетъ стиховъ я прихожу въ нѣкоторое смущеніе... Говорятъ, собираются пройти слегка по Мольеру...

— Для меня теперь, Мишинъ, все равно, только бы продержаться до поста. А тамъ, ужъ и не знаю, какъ быть...

— Плохія, плохія дѣла вездѣ, до безобразія плохія. Атрепренерская повадка одна: задаткомъ приманилъ, а на второй мѣсяцъ и настраиваетъ лыжи; или соберетъ всю труппу въ фойе, чернѣй двубортный сюртукъ застегнетъ до верху и произнесетъ нѣкоторый дискурсъ: милорды, молъ, и господа, сборы, какъ изволите видѣть, какіе, въ касѣ чахотка, я запаснымъ капиталомъ не обладаю... И выходитъ слѣдующая альтернатива: или закрыть двери въ сей храмъ музъ, или вы сами уже выпутывайтесь изъ бѣды—составьте между собою сосѣте,—онъ произнесъ слово умышленно русскимъ звукомъ,—играйте, голубчики, на маркахъ, это расчудесное учрежденіе и вы на него очень, по теперешнему времени, падки; меня же, джентльмены, не благоугодно ли взять въ главные распорядители съ жалованьемъ, приличнымъ моему прежнему директорскому званію...

Комикъ не могъ воздержаться отъ прибауточного тона; привычка брала верхъ надъ его чуткой и добродушной натурой... Ему хотѣлось разспросить ее, по душѣ, о томъ, какъ она дошла до теперешняго положенія, сказать ей что-нибудь ободряющее, но онъ стѣснялся.

Она это поняла.

— Вы женаты, Мишинъ? — спросила она, отхлебнувъ изъ стакана.

— Оборони Боже! Одинъ, какъ перстъ. И даже гражданскаго сожителства чужаюсь.

— И не скучно?

— Мало ли что!.. Да и гдѣ скучать!.. Въ нашемъ амплуа это не полагается.

Неожиданная мысль промелькнула въ головѣ Строевой.

„Мишинъ—холостякъ, ни съ кѣмъ не связанъ, если не скрываетъ. Окладъ у него, навѣрно, не меньше двухсотъ рублей... Для нея—и поддержка такого актера была бы находкой!..“

— По женской части,—продолжалъ Мишинъ въ томъ же тонѣ,—у насъ есть специалисты. А главный Донъ-Жуанъ на-дняхъ явится... Его перетянули съ неустойкой въ полторы тысячи...

— Кто это?—спросила Строева.

— Свирскій... Семьсотъ рубликовъ окладъ.

— Свирскій?—вырвалось у нея.

Она тотчасъ же смолкла и поглядѣла вбогъ на Мишина.

„Нѣтъ, онъ ничего не знаетъ“.

— Вы съ нимъ служили?

— Не приводилось... Слыхалъ, что гусь лапчатый...

Это имя „Свирскій“ наполнило ее волненіемъ, которое она силилась подавить.

— Который Свирскій? Извѣстный, по провинціи, первый любовникъ?

— Онъ самый.

Да, Мишинъ могъ не знать про ея прошедшее съ этимъ Свирскимъ. Съ комикомъ она служила всего одну зиму, и тогда уже, когда Свирскій бросилъ ее.

— И его ждутъ... сюда?..

— Долженъ выступить на будущей недѣлѣ. И анонсы уже сдѣлали.

Она должна будетъ служить въ одной труппѣ со Свирскимъ!.. И состоять выходной актрисой на нищенскомъ окладѣ, въ то время, когда онъ получаетъ семьсотъ рублей и за него платитъ полуторатысячную неустойку...

„Что она для него? Старуха, статистка!.. И какая нестерпимая обида—видѣть успѣхъ этого человѣка, послѣ всего, что она пережила съ нимъ и изъ-за него!..“

— Съ кѣмъ же онъ теперь живетъ?—спросила Строева сдвленнымъ звукомъ.

— Приѣдетъ онъ сюда съ нѣкоей госпожей Перцовой... Какіе у ней таланты—я не знаю... Окладъ тоже и ей рублей двѣсти никакъ... Выдаетъ онъ ее за жену; но, кажется, вокругъ ракитова куста они вѣнчались. Наши дамы будутъ отбивать его вшапуски...

Слушая Мишина, она нѣсколько разъ спросила себя: „Неужели поступлю?“ И была минута, когда она рѣшалась бѣжать къ режиссеру и сказать ему, что на выходъ она не согласна, что ей не нужно никакой службы въ Москвѣ...

Но вѣдь она очутится, черезъ недѣлю, на улицѣ! О провинціи думать нечего... У ней нѣтъ ни одного мало-



нальски сноснаго туалета. Никто ей не дастъ задатка—на проѣздъ... Безуміе—не схватиться за сорокъ рублей!.. Будь что будетъ!

— Такъ мы, значить, сослуживцы, Надежда Степановна. Контрактъ подписали?

Мишинъ поднялся.

— Какой контрактъ,—выговорила она и также поднялась.—Что положить, то и возьму. Вы видите, Мишинъ, я убитый судьбой человѣкъ... Другому я бы не стала такъ говорить, а вы—съ душой. Что жъ!.. Была на первыхъ роляхъ, а теперь на выходъ.

— На выходъ? — протянулъ Мишинъ и поглядѣлъ на нее поверхъ очковъ.—Что вы, голубушка!..

— На сорокъ рублей, — чуть слышно промолвила она и усмѣхнулась.

— Здѣсь, въ Москвѣ?!.. Да какъ же прожить?..

Онъ опустилъ свою смѣшную голову съ двумя пучками на вискахъ.

— Надо прожить!..

— А потомъ?

— Не знаю... Да, Мишинъ, исковеркалъ театръ всю мою жизнь... Одно спасенье—безпечность... Впередъ глядѣть не хочу и не умѣю.

— Да нѣтъ,—заговорилъ онъ, пожавъ ея руку, — это никакъ невозможно!.. Режиссеръ васъ не знаетъ. Вѣдь вы можете быть полезнѣйшимъ членомъ труппы... Я поговорю... Вамъ надо къ самому принципалу обратиться... Такая артистка въ труппѣ, какъ вы,—приобрѣтеніе. Жаль, принципалъ-то нездоровъ... Да я съ Прокофьевымъ поговорю, сегодня же, на спектаклѣ... Я, знаете, всегда въ сторонѣ держу себя, чуждъ всякихъ интригъ и домогательствъ чужаюсь не меньше, чѣмъ гишпанскихъ ролей. А на этотъ разъ, я поговорю!..

— Спасибо, спасибо!

Слезы навернулись на ея рѣсницы.

— Вамъ завтра хотѣлъ дать отвѣтъ режиссеръ?

— Завтра.

— Ну, и прекрасно! Какъ же это можно—на выходъ?.. Ну, положимъ, если меньше ста рублей жалованья, такъ въ контрактѣ будетъ стоять—на выходъ, а все-таки же не въ статистики...

— Я согласилась на сорокъ рублей.

— Хотя красненькую еще накинуть. Помилуйте... обидно за вас!

Мишинъ еще разъ пожалъ ея руку и свободной рукой взъерошилъ волосы.

Оба вышли молча изъ буфета и внизу молча же попрощались. Имъ не хотѣлось, чтобы кто-нибудь изъ театральнхъ услышалъ ихъ разговоръ. Онъ далъ ей свой адресъ.

Мишинъ жилъ на Тверской, въ меблированныхъ комнатахъ „Ливадія“.

V.

— Свирскій, Свирскій!..

Она выговорила это имя вслухъ и закинула голову, сидя на кровати, въ своемъ номерѣ.

Вчера ее приняли съ жалованьемъ въ сорокъ пять рублей. Мишинъ не выпросилъ полныхъ пятидесяти; но онъ говорилъ съ режиссеромъ—этому она вѣрила. Сегодня она пришла въ театръ такъ, безъ дѣла... На сценѣ репетировали „Блуждающіе огни“, но она не знала, что за пьеса идетъ... И первое лицо, мелькнувшее передъ ней, между двумя кулисами,— было лицо только что пріѣхавшаго перваго любовника, который вечеромъ долженъ былъ явиться въ своей лучшей роли.

Онъ не много измѣнился. Тотъ же красивый профиль съ довольно крупнымъ носомъ, тѣ же глаза, большіе и глубоко сидящіе во впадинахъ, и не отпѣтшій еще ротъ; только бритыя щеки стали пополнѣе, и въ станѣ онъ пополнѣлъ и слегка гнулся. Ростомъ онъ показался ей ниже... Курчавые волосы глядѣли еще черными. Лицо интересное и живописное, голосъ звучалъ искренне, съ теноровыми нотами.

И это интересное лицо, этотъ грудной, вибрирующий голосъ и благородство тона чему служатъ, какой пошлости? На нихъ ловилось столько женщинъ, поймавшая и она.

Но не онъ первый затанулъ ее въ театральную тину. Вотъ передъ ней — вся ея десятилѣтняя карьера. Черезъ двѣ недѣли ей минетъ тридцать пять лѣтъ; двадцати пяти сбѣжала она отъ мужа и очутилась въ актрисахъ.

Какъ это случилось? Внезапно, послѣ катастрофы, выбывшей ее изъ колеи? Нѣтъ. Еще до выхода замужъ.



барышней, невѣстой съ воспитаніемъ, съ языками, въ довольно строгомъ и почтенномъ дворянскомъ домѣ, — она бредила славой, извѣстностью. Тогда уже ее глодалъ червякъ актерства — „каботинства“, — какъ нынче начали говорить. И тогда она была уже „каботинкой“. Замужество подвернулось само собою — недурная партія, не старый и не глупый человѣкъ, изъ мѣстныхъ дворянъ, занятой, мягкій, скучноватый, любившій почитать хорошую книжку. Дѣтей не было. Она заскучала скоро, порываясь куда-нибудь, гдѣ можно себя *показать*, проявить свои таланты, во что-нибудь помѣстить женскую нервность и суетность. Мужъ не мѣшалъ искать свое призваніе, даже поощрялъ. Началось самымъ обыкновеннымъ образомъ — съ чтенія стиховъ на любительскихъ вечерахъ, на эстрадахъ, подносились букеты и гѣнки. Каботинство росло. Понадобились и болѣе острые сценическіе успѣхи... Весь городъ кричалъ, что у Надежды Степановны Лаптевой — фамилія ея мужа — такая читка стиха, какой нѣтъ и у столичныхъ знаменитостей. Въ первый разъ, все еще съ благотворительной цѣлью, выступила она въ спенсѣ у фонтана, и успѣхъ въ Мариинѣ Мнишекъ затуманилъ голову. Ядъ разлился по всему ея тревожному существу: жажда рукоплесканій, трепетъ передъ выходомъ на сцену, огни рампы, оплывающіе сразу... Черезъ мѣсяцъ она уже играла съ актерами, на афишѣ печаталось въ широкой рамкѣ: „при благосклонномъ участіи Надежды Степановны Лаптевой“...

Пріѣхала новая труппа. Антрепренеръ Дарьяловъ занималъ самъ первое амбула. О немъ уже шла молва: рассказывали, что онъ учился въ одномъ изъ петербургскихъ барскихъ заведеній, служилъ потомъ въ гвардіи, проигралъ состояніе въ рулетку, быстро прогремѣлъ по провинціи, три раза банкротился, какъ содержатель театра. Въ нѣсколькихъ городахъ увлекалъ онъ на сцену даже и дѣвушекъ изъ общества, бросалъ ихъ, доводилъ до самоубійства. Легенда окружала его. Не прошло и двухъ-трехъ недѣль съ его пріѣзда, какъ онъ уже былъ вхожъ въ ихъ домъ, слушалъ ея декламацию, провозглашая ее „готовой артисткой“, устроилъ ей овацію, когда она согласилась играть въ его бенефисъ, — встрѣча градомъ букетовъ и разноцвѣтныхъ бумажекъ съ ея именемъ, стоишь стоялъ отъ криковъ и вызововъ... Голова ея совсѣмъ пошла кругомъ.

Онъ увлекъ ее такъ быстро, что она не спохватилась, между двумя ролями, въ воздухѣ душиной уборной, даже безъ фразъ и страстныхъ увѣреній, а точно такъ и быть слѣдовало. Она жадно впитывала въ себя этотъ особенный напитокъ изъ славолюбія, грѣха, дѣланыхъ чувствъ и театральныхъ фразъ. То, что она играла, переплелось съ жизнью, полной нервнаго возбужденія и уже ненасытной жажды все новыхъ и новыхъ усилковъ... Любительницей она не могла, не желала оставаться... Но она не пошла къ мужу, не сказала ему серьезно и прямо:

— Пусты меня въ актрисы... Я не могу жить безъ сцены...

Она увѣрила себя, что мужъ не отпуститъ ее, что она будетъ вѣчно маяться въ безвкусовой долѣ барыньки губернскаго города.

И она сбѣжала.

Черезъ какую школу провелъ ее этотъ совратитель провинціальныя любительницы! Даже теперь, по прошествіи десяти лѣтъ, краска проступаетъ у ней на щекахъ. Соблазнитель не давалъ себѣ труда хоть немножко прикрыть грязь своей душонки, показалъ себя сразу; а она превратилась въ его вещь, какъ-то совсѣмъ перестала созидать себя личностью, свою страсть къ сценѣ перепесла дѣликомъ на него, готова была на всякую жертву, на всякое униженіе; только бы ей какъ можно больше играть, идти впередъ, видѣть, что онъ доволенъ ею, что она нужна ему, какъ актриса его труппы.

Добровольно дѣлалась она его сообщницей во всемъ, что онъ заставлялъ ее продѣлывать съ мужемъ, отъ котораго она принимала денежную поддержку. Эти деньги онъ проигрывалъ въ карты, отбиралъ все до копейки, отказывалъ въ необходимыхъ туалетахъ... Потомъ пошло еще хуже... Съ жепницей онъ пересталъ церемониться, заводилъ новыхъ любовницъ, и у себя въ труппѣ, и на сторонѣ, заставлялъ ее присутствовать на своихъ оргіяхъ.

Она продолжала быть въ чадѣ... Онъ давалъ ей играть — это было главное. Изъ любительницы она превращалась въ актрису, публика отличала ее... Но и тутъ начались страданія... Чѣмъ она больше развивалась какъ артистка, тѣмъ жестче и несправедливѣе отпосился онъ къ ней, кричалъ на репетиціяхъ, задерживалъ и передавалъ ей роли мелкимъ актрисамъ, попавшимъ въ его ода-лиски... Это всего больше убивало ее...



Вотъ тогда — пошелъ уже третій годъ ихъ сожителства — въ труппу принять былъ начинающій актерикъ, красивый, тихонькій, съ груднымъ голосомъ. Это былъ Свирскій... Про него рассказывали, что извѣстный на югѣ антрепренеръ замѣтилъ его въ какомъ-то ресторанѣ, во фракѣ, съ салфеткой официанта, былъ прельщенъ его профилемъ, жестами, манерой говорить... Черезъ годъ онъ уже игралъ маленькія рольки, а когда сталъ съ ней служить, то на немъ уже лежалъ нѣкоторый лоскъ и прикрывалъ и его малую грамотность, и недавнюю службу по ресторанамъ.

Всѣмъ было извѣстно, какъ сладко ей жилось дома. Свирскій тронулъ ее своимъ глубоко-почтительнымъ тономъ. И тогда уже онъ ушѣлъ сочинять о своемъ прошедшемъ небывалыя исторіи и рассказывать ихъ задушевными и наивными словами. Онъ выдавалъ себя за „сына любви“ большого барина, побывавшаго въ сербскихъ добровольцахъ. Она ему вѣрила. Издѣвательство Дарьялова надъ этой сентиментальной хлестаковщиной только вызывало въ ней особенную жалость къ „бѣдному мальчику“.

Онъ же преклонялся передъ ея талантомъ. Играя съ ней, онъ шепталъ ей восторженные фразы, уже отъ себя, называлъ ее „божествомъ“ и „жертвой“, трепеталъ отъ негодованія, когда она стала полегоньку разоблачать ему свою жизнь съ антрепренеромъ. Пылкое признаніе, захватившее ее врасплохъ, съ истерическими слезами и клятвой убить Дарьялова, даже если она и не броситъ его, только за низкое его поведеніе, подѣйствовало. Въѣстъ съ жалостью къ „бѣдному мальчику“ закралась страсть къ красивому, молодому и даровитому юношѣ. Дарьяловъ овладѣлъ ею какъ циникъ-соблазнитель, властно увлекшій ее на сцену... Свирскаго она впервые полюбила и ушла съ нимъ уже не тайно, а защищая свои права оскорбленной и пострадавшей женщины. „Мальчикъ“ къ концу сезона выдвинулся такъ, что антрепренеръ жалѣлъ о немъ гораздо больше, чѣмъ о своей возлюбленной... Они вмѣстѣ получили выгодный ангажементъ... Въ любви ея къ Свирскому, съ первыхъ же мѣсяцевъ ихъ связи, было беззаветное увлеченіе и мужниной, и артистомъ... Она бредила его успѣхами столько же, сколько и своими. Съ нимъ она почувствовала себя застрахованной на долгіе-долгіе годы отъ всякой актерской невзгоды. Только бы

имъ играть вмѣстѣ. Это чувство перешло скоро въ какой-то суевѣрный культъ. Потерять его значило загубить въ себѣ актрису, пропасть безвѣстно... И она говорила ему это сама, раздувала его и безъ того непохѣрное тщеславіе, перестала замѣчать его хвастовство, его смѣшную рисовку, его неразвитость и малограмотность. Такъ пролетѣло два сезона...

И теперь еще, сидя въ сумеркахъ на кровати, она оплакиваетъ тѣ два сезона не потому, что кается,—нѣтъ. Но никогда уже она не жила такъ на сценѣ. Страсть къ театру, страсть къ красивому актеру, двойное увлеченіе и своей, и его славой!

И ее бросили въ первый разъ. Она возмутилась, не стала гоняться за нимъ, переломила нервную болѣзнь, налетѣвшую на нее, играла больше года одна, совсѣмъ на другомъ концѣ Россіи, — Свирскій—на югѣ, гдѣ онъ выдавалъ за свою жену маленькую опереточную актрису, она — на сѣверѣ. Вотъ въ этотъ перерывъ ихъ связи и служила она въ одной труппѣ съ комикомъ Мишинымъ. Тогда она почувствовала подъ собою другую почву. Публика продолжала „принимать“ ее, но ей самой казалось, что это непрочно, что безъ Свирскаго она не пойдетъ впередъ. Суевѣрно связывала она свою судьбу съ его карьерой и къ концу года затосковала по немъ до припадковъ нервнаго расстройства. Они встрѣтились на гастроляхъ въ одномъ изъ большихъ южныхъ городовъ, лѣтомъ. Онъ протянулъ ей руку на репетиціи и почти-тельно раскланялся. Прощенія онъ не просилъ, да она и не требовала. При немъ не было уже его опереточной актрисы... Она опять сошлась съ нимъ, и на нѣсколько лѣтъ. Но это сожителство протянулось для нея, какъ одна сплошная обида... Свирскій только позволялъ обожать себя. Въ немъ не было цинизма и дерзкаго разврата антрепренера Дарьялова, но онъ весь ушелъ въ мелкое запойное женолюбіе, въ глупую, смѣшную рисовку, въ хлестаковщину самаго послѣдняго сорта. Все это она видѣла и не замѣчала, не хотѣла замѣчать. Ея страсть перешла въ обожаніе матери, въ постыдное баловство, въ преклоненіе передъ талантомъ, не знающее себѣ предѣловъ. А Свирскій становился только развязнѣе въ своихъ пріемахъ; дѣла не любилъ, ролей не училъ, выѣзжалъ всегда на двухъ-трехъ тирадахъ, гдѣ пускалъ свой задушевный голосъ и нервный пылъ. Но успѣхи его въ про-



винція все росли... Жалованье шло въ гору... Около него она была увѣрена въ себѣ, не завидовала ему, играла все, что ей давали, ночи напролетъ учила роли, съ одной репетиціи являлась въ новыхъ пьесахъ, мечтала о большихъ сценахъ.

Умеръ ея мужъ, оставивъ ей, по завѣщанію, маленькій капиталъ. Свои деньги, приданныя, давно были прожиты Дарьяловымъ. Свирскій и не подумалъ предложить ей бракъ. И онъ не хуже антрепренера-обольстителя обошелся съ капиталцемъ, оставленнымъ ей покинутымъ мужемъ. Онъ дѣлалъ долги, похода, заставлялъ ее поручаться за себя, ея жалованье забиралъ впередъ и прокучивалъ, хлестаковщина его росла, обращеніе съ нею дѣлалось невыносимымъ по своей пошлости.

И онъ началъ бить ее... Она не вынесла, серьезно заболѣла, пролежала половину сезона, и очутилась одна, безъ ангажемента. Свирскій поѣхалъ на гастроли, и съ тѣхъ поръ они больше не сходились. Онъ бѣгалъ отъ нея, обращался даже къ властямъ въ двухъ губернскихъ городахъ, чтобы его избавили отъ ея преслѣдованій... Не могла она не гоняться за нимъ... Для нея со Свирскимъ уходила вся ея будущность... Страсть къ мужчине переросла; но актерство держало ее въ своихъ когтяхъ. Какъ только Свирскій окончательно ушелъ отъ нея—она стала спускаться подъ гору.

Два сезона сряду она служила почти даромъ... Антрепренеры банкротились. Сбереженій у ней не было. Къ концу третьяго сезона она схватила плевритъ, оставившій послѣ себя долги слѣды. Послали ее въ Крымъ. Тамъ она, на кое-какія крохи, прожила зиму, пробовала играть съ любителями, опять заболѣвала, жить стало окончательно не на что...

И пошли отказы отъ ангажементовъ... Лицо поблекло. Туалетовъ нѣтъ... Она попадала въ маленькія трупы, въ „сосѣтъ“, только бы играть первыя роли. Еще долгое нездоровье—и подползла голая, нищеская доли. Она не взвѣдѣлась, какъ пришлось въ Москвѣ искать мѣста на выходъ... Актерство все съѣло, какъ жадный клещъ, выпило кровь, бросило на большой дорогѣ, въ капаву—и нѣтъ ни въ душѣ, ни въ тѣлѣ силъ уйти отъ него, искать припитанія другимъ трудомъ, пойти въ горничныя, въ сидѣлки, въ бошны...

Надо издыхать въ воздухѣ крашеного холста.

VI.

Пла репетиція. Въ глубинѣ сцены, позади павильона, двѣ актрисы въ мѣховыхъ тальмахъ и шапочкахъ пили чай за небольшимъ столомъ. Стоя между двумя кулисами, Строева прислушивалась къ тому, что происходило на сценѣ. Ей надо было улучшить минуту и переговорить съ режиссеромъ насчетъ перемѣны фамиліи. Она не хотѣла, если ее поставятъ на выходъ, чтобы имя ея попало въ глаза Свирскому. Ее наполняло какое-то дѣтское чувство, точно будто она собирается играть въ прятки. Какъ можно дольше хотѣлось ей остаться незамѣченной. Въ паружности своей она такъ измѣнилась, что врядъ ли онъ узнаетъ ее сразу. Ей надо будетъ попросить сегодня же комика Мишина ничего не говорить о ихъ знакомствѣ, о томъ, что они когда-то служили вмѣстѣ. Если столкнется она со Свирскимъ и онъ узнаетъ ее — она притворится, что никогда съ нимъ не встрѣчалась, и всѣмъ своимъ поведеніемъ покажетъ ему, что желаетъ совсѣмъ ступать.

Но какъ отвѣчать за такого человѣка? Ея фигура будетъ все-таки же колоть ему глаза. Онъ способенъ выжить ее изъ труппы, даже зная, что она дошла до пищенскаго оклада въ сорокъ пять рублей. Довѣльно и того постоянного приниженнаго чувства, съ какимъ она будетъ оставаться въ этомъ театрѣ, безпрестанно видѣть передъ собою въ лицѣ Свирскаго свою жалкую судьбу какъ женщины и какъ артистки.

И вмѣстѣ съ тѣмъ ее влекло туда, за павильонъ, къ рампѣ... Точно желая ее поддразнить, тамъ репетировали „Ошибки молодости“. Она прислушивалась жадно къ репликамъ героини и героя. Княгиню Рѣзцову играла Милозорова — главный женскій сюжетъ труппы, женщина уже не первой молодости, съ картавыми, дребезжащими голосомъ и съ остатками красоты. Строева, не различая ясно каждаго слова, схватывала каждую фразу и повторяла про себя. Она до сихъ поръ знаетъ роль наизусть. Реплики свои Свирскій давалъ небрежно, чуть слышно, шепотомъ по суфлеру, какъ и всегда.

— Надежда Степановна! — называлъ ее кто-то сзади.

Это былъ Мишинъ, въ бараньей шапкѣ и какомъ-то тулупчикѣ, съ запотѣлыми стеклами очковъ.

Она быстро отвела его въ темноту, къ тому мѣсту, гдѣ помѣшался громъ.

— Ради Бога, Мишинъ, -- начала она шопотомъ, -- не говорите вы никому про меня...

— То-есть въ какихъ смыслахъ?—дурачливо спросилъ онъ и началъ вытирать платкомъ стекла.

— Да просто не называйте меня по фамилии. Я хочу просить режиссера дать мнѣ другую фамилію...

— Да вѣдь это отъ васъ, голубушка, зависитъ. Въ нашемъ званіи можно какую угодно кличку взять. Даже это теперь въ большой модѣ... Непремѣнно двойная фамилія: Астраханцевъ-Незванцевъ, Сергѣевъ-Пронскій, Ларионова-Самарская...

— Пожалуйста, про меня никому не говорите, что вотъ я прежде служила съ вами и на какомъ амплуа была, когда и гдѣ...

— Да что же вамъ скрывать?.. Развѣ вотъ то, что теперь...

Онъ затруднился и не досказалъ, не желая ее обидѣть.

— Ну да, ну да, у каждаго своя амбиція...

— Понятное дѣло. Однако, режиссеру-то вѣдь извѣстно... И вы ему, конечно, говорили про свою прежнюю службу, да и я намеднись...

— Ну, режиссеру уже нельзя было не сказать, а вотъ другимъ...

Она видѣла по его глазамъ, что онъ не догадывается о настоящемъ мотивѣ ея просьбы. Ее даже удивило, что Мишинъ не зналъ ея прошедшаго со Свирскимъ, удивило и очень обрадовало.

— Вы сегодня развѣ заняты?—спросилъ Мишинъ.

— Нѣтъ... Гдѣ же?..

— Дайте срокъ, вотъ бенефисы пойдутъ...

— Я и боюсь... Если понадобится платке какую-нибудь гостью изображать въ свѣтскомъ салонѣ... Лучше уже въ прислугѣ состоять...

— Да, нынче такое франтовство пошло, и Боже мой!.. Вонъ, посмотрите, — Мишинъ указалъ головой на двухъ актрисъ, распивавшихъ чай, — какія ротонды-то!.. Вы знаете, кто та толстуха-то, вонъ та, съ угла сидитъ и булку уписываетъ, съ двойнымъ подбородкомъ. Это морганатическая супруга господина Свирскаго.

Строева сдѣлала движеніе въ сторону кулисъ и быстро оглядѣла полную блондинку въ бархатной шубѣ съ куннымъ

воротникомъ. Та жевала булку и запивала чаемъ съ особннымъ апшетитомъ.

— Въ какихъ супругахъ она состоитъ? — переспросила она.

— Въ морганатическихъ.

— И фамилію его носить?

— Двойное у ней прозвище: Долина-Свирская... Только представляетъ онъ ее всѣмъ какъ законную жену и поговариваютъ, что эта толстуха прибрала его къ рукамъ. Разумѣтся, онъ охулки на руку не положить насчетъ женскаго пола, но съ опаской началъ дѣйствовать... побаивается... А она, говорятъ, въ разѣздѣ съ мужемъ, дворяночка, и свои деньги есть. Талантовъ у ней, кажется, нѣтъ никакихъ; однако, чуть ли не двѣсти рублей получаетъ... Главный же талантъ — ѣсть до чрезвычайности. Вонъ видите какъ уписываетъ булку, а дома ужъ, навѣрно, и чай пила, и кофе, и завтракала. Ёсть-то она ёсть, но своего капиталца не проѣдаетъ. И фиктивному муженьку, — когда онъ профершпилится, забравши жалованье мѣсяца за два впередъ, — карманныхъ денегъ выдаетъ только на папирсы, да на цвѣтные галстуки.

Она слушала Мишина, и ея прошедшее всплывало передъ ней еще ярче и обиднѣе, чѣмъ вчера, когда она сидѣла на кровати и противъ воли перебирала свою жалкую судьбу. На другомъ концѣ сцены, у столика, жирная блондинка продолжала пить чай и доѣдать булку. Ея пухлыя, свѣжія щеки издали такъ смѣшно двигались отъ жеванья. Котиковая шапочка сидѣла на бѣлокурой головѣ вбокъ и придавала всему ея виду что-то очень провинціальное, ухарское, глуповатое...

„И у тебя былъ капиталецъ, — думала Строева, — и ты была образованная барыня, считалась умной, даровитой, изъ ряду вонъ; а вотъ эта толстуха только ёсть и сумѣла прибрать его къ рукамъ... Быть-можетъ, совсѣмъ бездарная, а получаетъ вчетверо больше тебя и считается его женой. А ты дрожишь, какъ бы онъ не узналъ тебя и не выжилъ изъ трупы, не лишилъ оклада въ сорокъ пять рублей...“

— Можетъ-быть, авансикъ хотите попросить? — выговорилъ шопотомъ Мишинъ.

— Авансикъ? — переспросила она, не понявъ хорошенько, о чемъ онъ говорить.

— Малую толику?

Она объ этомъ не смѣла думать, а прожить цѣлый мѣсяцъ не знала какъ...

— Опасно... Сразу могутъ изъ-за одного этого прогнать.

— Это точно...

Мишинъ замолчалъ. Если бы она воспользовалась его словами и попросила у него взаймы рублей десять, двадцать,—онъ, вѣроятно, далъ бы. Но въ ту минуту она отдавалась совсѣмъ другимъ чувствамъ. Ею опять овладѣвала тревога и горечь несноснаго жданья. Лучше ужъ сейчасъ же встрѣтить Свирскаго, самой остановить его, увѣрить въ томъ, что она вычеркнула изъ своего прошлаго ихъ прежнія отношенія и просить его не обращать на нее никакого вниманія, какъ будто бы она не существовала.

— Вонъ режиссеръ,—торопливо сказалъ ей Мишинъ.—Перехватите его, а мнѣ надо въ уборную, взять тетрадку. Насчетъ авансика-то бы все-таки же сдѣлали подходецъ... Всего хорошаго, Надежда Степановна.

Она была почти рада, что онъ ушелъ. Еще двѣ-три минуты,—и она бы не выдержала и стала бы плакаться.

Въ дверяхъ павильона показался режиссеръ и сталъ кричать на плотниковъ:

— Живоглоты вы! Что я вамъ говорилъ вчера! Какъ у васъ каминъ прилаженъ?

Онъ долго бы на нихъ кричалъ, но что-то такое вспомнилъ, махнулъ рукой, круто повернулся и пошелъ въ режиссерскую, какъ разъ мимо Строевой.

— Я къ вамъ...

— Что нужно?

Онъ не сразу узналъ ее.

— Вы меня приняли...

— Знаю, знаю. Вы госпожа Строева?

— Вотъ именно объ этомъ я и хотѣла просить васъ. Я желала бы служить здѣсь подъ другимъ именемъ.

— Сдѣлайте ваше одолженіе... Не все ли это равно? Ха-ха! Мнѣ отъ этого ни тепло, ни холодно: Иванова—вы, Сидорова, Строева или не Строева.

— Конечно, конечно,—лепетала она, чувствуя, что слезы готовы брызнуть у ней изъ глазъ.—Но, вы понимаете, еще такъ недавно я занимала ампула...

— А! Это ваши три афишки, что вы мнѣ показывали намедни?

— Прошу васъ,—почти съ мольбою въ голосъ заговорила она,—забудьте, что я вамъ ихъ показывала... Вы, какъ артистъ, поймете мое чувство...

Режиссеръ усмѣхнулся и отвелъ взглядъ въ сторону.

— Какъ вамъ угодно... Разумѣется, у каждого своя амбиція... Какъ же вы желаете прозываться?

— Ларина.

— Изъ „Евгенія Онѣгина“, значить? Не громко ли? Это вѣдь дѣвическая фамилія Татьяны.

— Поставьте какое угодно имя.

— Нѣтъ, ужъ извините... И это все?

Ей показалось, что онъ ее жалѣетъ, что сквозь его рѣзкій и угловатый тонъ пробивается нѣкоторое сочувствіе.

Мысль объ авансѣ промелькнула въ ея головѣ, но она не рѣшилась.

— Имѣю честь кланяться!—крикнулъ режиссеръ и побѣжалъ въ свою комнатку.

Строева присѣла около лѣсенки. Ей вдругъ сдѣлалось все равно: будетъ на афишѣ стоять фамилія Строевой или нѣтъ, прочтеть эту фамилію Свирскій, столкнется она съ нимъ... Она уже не боялась этой встрѣчи. Ничего ей не нужно. Все, что она сейчасъ говорила, съ чѣмъ пришла,—казалось ей такъ глупо, безцѣльно, бессмысленно... Хуже ничего не можетъ случиться того, что она теперь переживаетъ.

VII.

— Маруся! ты кончила пить чай?

Голосъ заставилъ Строеву встрепенуться. Она подняла голову и быстро встала.

— Сейчасъ, сейчасъ. Надѣвай пальто, я тебя догоню.

Свирскій долженъ былъ пройти мимо нея: пальто его висѣло около лѣсенки, ведущей въ режиссерскую. Она застыла на мѣстѣ.

— Виновать! Позвольте мнѣ пройти.

Онъ остановился, взглянулъ на нее, прищурилъ глаза, откинулъ голову актерскимъ жестомъ назадъ и немного вправо, и развелъ руками.

— Мадамъ Строева? Надежда Степановна? Какими судьбами?

На его бритомъ, уже изношенномъ, но еще красивомъ лицѣ лежало ухмыляющееся выраженіе, и когда она пе-

ресталь жмуриться, та въ глазахъ она прочла не досаду или страхъ, а снисходительное самодовольство.

Она сейчасъ поняла, что онъ все забылъ, кромѣ ея паружности, что онъ даже и не подумалъ о возможности какихъ-нибудь счетовъ между ними.

Надѣвая шляпу, Свирскій выговорилъ небрежнымъ тономъ:

— Если вамъ нужно кого-нибудь здѣсь, то я буду очень радъ...

Она не дала ему досказать.

— Мнѣ ничего не нужно, благодарю васъ. Безпокоить я васъ не буду, повѣрьте... Я не знала, что вы здѣсь служите...

— Ахъ, Боже мой, Надежда Степановна,—перебилъ онъ ее въ свою очередь, — я душевно радъ быть вамъ чѣмъ-нибудь полезнымъ.

Онъ оглянулъ ее, и снисходительная усмѣшка перешла въ мину явного сожалѣнія.

— Гдѣ вы служите? Или оставили спену?.. Послушай,—окрикнулъ онъ плотника,—подай мнѣ пальто, вонъ тамъ, крайнее.

Строева готова была сказать ему:

„Оставьте меня... я васъ не трогаю... Идите своей дорогой...“

Но тонъ Свирскаго на особенный ладъ смутилъ ее. Она не знала, — обрадоваться ли ей или почувствовать себя униженной такимъ обращеніемъ.

Плотникъ подаль ему богатую бекешу на стеганой атласной подкладкѣ, съ дорогимъ бобромъ.

— Я поступила сюда на службу,—выговорила она довольно твердо, и посмотрѣла ему прямо въ глаза.—Только пожалуйста не называйте меня Строевой. Я взяла другую фамилію.

— На какое же вы амплуа, Надежда Степановна?

— Ни на какое. Просто на выходъ...

Она это произнесла съ опущенной головой, но съ такимъ выраженіемъ, которое должно было показать ему, что и въ ней все ихъ прошедшее уже перегорѣло, и она желаетъ одного: оставаться въ тѣни.

— Быть не можетъ! Какъ же вамъ не стыдно было не обратиться ко мнѣ! Вамъ, вѣроятно, говорили, что я буду служить именно здѣсь. Я могъ бы васъ откомендовать. Да и теперь это дѣло еще поправимое...

Онъ застегивалъ свою бекешъ и покачивался, переминаясь съ ноги на ногу.

Она молчала. Что ей было отвѣтить на все это? Сначала она подумала, что онъ играетъ комедію и искусно притворяется... Потомъ все ей стало ясно: хлестаковщина Свирскаго была опять передъ ней налицо, закоренѣлая актерская рисовка. Онъ уже драпировалъ себя въ костюмъ великодушнаго товарища, которому жаль бѣдной женщины, пострадавшей отъ ударовъ судьбы на театральномъ поприщѣ. О своей роли въ этой судьбѣ онъ окончательно забылъ или вспоминалъ какъ объ одномъ изъ своихъ романовъ, промелькнувшихъ въ его прошедшемъ. Вѣроятно даже, что онъ считалъ себя ея избавителемъ, когда-то спасшимъ ее отъ циническаго тиранства антрепренера Дарьялова. Онъ первый началъ лелѣять ея дарованіе. Съ нимъ она познала упоеніе истинной страсти...

— Вотъ я и готова!—раздался голосъ блондинки, докончившей жевать булку.

Она подошла къ нимъ, запахивая свою богатую мѣховую ротонду.

Строева сдѣлала невольный шагъ назадъ и не поднимала глазъ ни на Свирскаго, ни на его сожительницу.

— Маруся! Какая встрѣча! Моя старая сослуживица и добрая знакомая—Надежда Степановна. Мы сейчасъ вотъ столкнулись здѣсь...

И, указывая на блондинку, Свирскій твердо и отчетливо выговорилъ:

— Жена моя!

Та подала ей пухлую руку со множествомъ колецъ и съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ поглядѣла на ея потертое пальто и старомодную шляпку.

— Ты знаешь, Маруся,—продолжалъ Свирскій, застегнувъ послѣднюю пуговицу своей бекешы,—ты помнишь изъ моихъ разсказовъ... Надежда Степановна первая когда-то оцѣнила мое дарованіе.

Маруся поглядѣла на него вопросительно.

Вмѣсто непріятнаго стѣсненія, Строева вдругъ почувствовала нѣчто совсѣмъ другое. Свирскій былъ такъ неожиданно хороши въ своей новой роли, импровизованной имъ тутъ же, что она какъ-то отрѣшилась отъ самой себя и только слушала и глядѣла.

— Да,—продолжалъ онъ и откинулъ голову назадъ,—есть вещи, которыхъ не слѣдуетъ забывать...



— Вы гдѣ же служите?—спросила блондинка.

— Да Надежда Степановна сообщила мнѣ сейчас невѣроятную вещь. Она у насъ въ театрѣ, по совершенно въ неподходящихъ условіяхъ...

Свирскій приподнял плечи и сдѣлалъ выразительный жестъ правой рукой.

Въ глазахъ его подруги Строева ничего не замѣчала, кромѣ желанія идти домой.

— Да что же мы здѣсь стоимъ?—продолжалъ Свирскій. — Идите. Маруся, у тебя нынче, надѣюсь, хорошій обѣдъ?

Маруся раскрыла свой сочный ротъ съ мелкими бѣлыми зубами и вкусно выговорила:

— Будетъ московская селинка на сковородкѣ.

— И еще что?

— Пожарскія котлеты съ бѣлыми грибами.

— Превосходно!

— И оладьи съ яблоками.

— Надежда Степановна, — обратился онъ къ Строевой, — раздѣлите нашу скромную трапезу... Я вамъ скажу, у Маруси особенный талантъ по кухонной части. Будете довольны... Побесѣдуемъ, вспомнимъ старину.

Изумленіе Строевой уже прошло. Свирскій вошелъ въ роль и теперь нельзя уже было сбить его съ тона. Она могла, конечно, прервать такой печально-шутливой разговоръ гораздо раньше, еще до появленія этой толстухи, и сказать ему, что онъ обязанъ падить ея женское достоинство, не напускать на себя тонъ благодушнаго покровителя, что она даетъ ему право не кланяться съ собою, совершенно не замѣчать ея присутствіе въ труппѣ.

А теперь ей казалось, что такъ лучше, какъ выходило по той роли, въ которую вѣдался Свирскій. Разумѣется, лучше. Онъ, конечно, рассказывалъ про нее своей теперешней названной женѣ; но уже, навѣрное, не такъ, чтобы смущать ее, если она, дѣйствительно, держитъ его въ рукахъ; рассказывалъ что-нибудь сочиненное имъ въ одну изъ своихъ импровизаций хвастовства и актерской рисовки, можетъ-быть, выдавалъ за жертву непониманія публики или за несчастную женщину, увлеченную негоде, которой онъ, Свирскій, протянулъ руку и спасъ на краю пропасти, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

„Такъ лучше“, — успѣла она рѣшить про себя. Онъ

• боится своей толстухи и даже отъ лишняго стакана вина въ ея присутствіи не будетъ глупо проговариваться, а съ глазу-на-глазъ съ нею, Строевой, онъ уже показалъ свой тонъ. Будь это плтъ лѣтъ тому назадъ, встрѣтился онъ съ нею, когда она еще считалась и была недурна собою и при туалетахъ, — онъ бы захотѣлъ ее „осчастливить“, а теперь ничего подобнаго даже и ему не придетъ въ голову.

Если онъ будетъ выдерживать свою роль стараго товарища и великодушнаго покровителя „несчастной женщины“, дошедшей до того, что она должна была поступить въ фигурантки, — будетъ ли ей хуже въ трупѣ? Вѣдь онъ для нея жалкій продуктъ актерскаго быта, чело-вѣкъ, обобравшій ее, осквернившій ея первую безза-вѣтную страсть. А здѣсь, въ театрѣ, Свирскій — особа, получаетъ чуть не тысячный окладъ... Строева ничего не отвѣтила на приглашеніе къ обѣду, но поклонилась въ знакъ согласія. Свирскій взялъ свою подругу подъ руку и поправилъ шляпу, отъ которой шелъ лоскъ. Строева пошла за ними по полутемному коридору. На крыльцѣ Свирскій сталъ надѣвать перчатки и оглядывалъ улицу какими-то торжествующими глазами. Онъ очень былъ доволенъ собою, тѣмъ, какъ онъ обошелся съ „несчастной женщиной“, сознавалъ въ эту минуту все свое мужское и артистическое превосходство. Подъ руку держалъ онъ молодую бабенку съ роскошнымъ тѣломъ и при капиталѣ, зпалъ, что она отъ него не уйдетъ, а, напротивъ, будетъ все вицѣпляться въ него, про себя смѣялся надъ нею: онъ ее, когда ему вздумается, проводить и смотреть на свои грѣшки, какъ на необходимую принадлежность своей артистической карьеры, какъ на ту давъ, какую женщины во всѣхъ городахъ приносятъ ему.

Тутъ же стоитъ и та, кто первая распознала его большой талантъ и положила на него всѣ свои душевные силы. Счеты ихъ покончены; онъ ее любилъ, когда она была молода, красива и непритязательна. А теперь судьба позволяеть ему оказать ей покровительство, какъ бѣдной женщи-нѣ, незаслуженно доведенной до крайности. Эта обтрепанная тальяма, эта шляпка показываютъ прямо, что она въ нищетѣ. Онъ готовъ предложить ей временную поддержку. Она всегда была горда и не нужно оскорблять ее подачкой милостыни. Онъ сдѣлаетъ это гораздо ловчѣе... конечно, при случаѣ.



Строева шла по узкому и неровному тротуару, позади нарядной, чисто актерской четы. Все на них блестяло: цилиндрическая шляпа, бекешь съ бобрамъ, шуба, брильянтовыя серьги въ грубоватыхъ, но розовыхъ ушахъ блондинки.

Они что-то такое между собою говорили вполголоса. Онъ наклонялъ къ ней свой актерскій профиль и улыбался точно такой же улыбкой, какую когда-то соорудилъ себѣ, когда въ первый разъ игралъ Армана Дюваля, а Строева—Маргариту Готье. Да, онъ за ней ухаживаетъ, побаивается ея, имѣетъ почтеніе къ ея деньгамъ. Но они—пара. Оба счастливы тѣмъ счастьемъ, какого ей никогда не выпадало на долю.

Свирскій съ своей дамой перешли черезъ улицу и остановились подъ навѣсомъ углового дома съ вывѣской виноторговца.

Онъ обернулся въ полъ-оборота и крикнулъ отставшей немножко Строевой:

— Надежда Степановна, пожалуйста сюда! Вы пойдете съ Марусей, а я забѣгу на минуту. По случаю нашей товарищеской встрѣчи устроимъ маленькій фестиваль. Бутылочку холоденькаго.

— Зачѣмъ же?—вырвалось у нея.

Ей показалось это не то издѣвательствомъ, не то шутовствомъ.

Но опять она себя поправила и мысленно проговорила:

„И пускай!“

Свирскій приподнял шляпу, освободилъ свою руку, улыбнулся имъ обѣмъ съ прищуриваніемъ глазъ, которое у него выходило особенно красивымъ, и вошелъ въ магазинъ.

— Пойдемте,—протянула лѣпивымъ звукомъ блондинка,—немножко поможете мнѣ. Мы еще не совсѣмъ наладились съ кухаркой. Въ Петербургѣ, да и на югѣ, въ Одессѣ, въ Кіевѣ—все гораздо удобнѣе и, по-моему, дешевле. А мужъ мой любить, чтобы все было какъ слѣдуетъ.

Строева промолчала и пошла съ толстухой въ ногу.

VIII.

Былъ въ исходѣ седьмой часъ. По уборнымъ уже начинали гримироваться. Сцена стояла совсѣмъ почти тем-

ная. Бутафоръ съ помощникомъ вносили мебель и, не сѣша, разставляли ее. Глухихъ и сердитыхъ окривъ режиссера не было еще слышно.

По двору театра, держась около стѣны, пробиралась Строева къ боковому входу на сцену. Выпалъ снѣгъ и морозный вѣтеръ рѣзко дулъ въ лицо; она куталась въ свою старенькую драповую тальму и уцѣлѣвшій отъ прежнихъ временъ пуховый оренбургскій платокъ.

Сегодня она не занята; да и всю недѣлю не будетъ занята, но сидѣть дома, въ постыломъ своемъ двѣнадцатирублевомъ номеркѣ, или лежать на постели, чтобы не тратить ничего на осыщеніе,—черезчуръ тяжело. Театръ ее тянетъ и утромъ, и вечеромъ. Она давно помирилась съ закулиснымъ убиваньемъ времени, съ этимъ шляньемъ изъ уборныхъ на сцену и обратно и кочеваньемъ между кулисъ. Прежде, при всей страсти къ театру, она тяготилась бессмысленной потерей времени на репетиціяхъ и на спектакляхъ. Теперь хожденіе въ театръ помогаетъ убивать томительные досуги, а главное—уходить отъ себя, отъ своихъ думъ, отъ перебиранія все тѣхъ же итоговъ актрисы-неудачницы.

Сегодня она побѣжала бы, даже если бъ ей и нездоровилось. Давали „Ошибки молодости“. Княгиня Рѣзцова была когда-то ея коронная роль. И утромъ, на репетиціи, она выстояла въ кулисахъ всѣ дѣйствія, про себя повторила всѣ тирады и реплики главнаго женскаго лица. Актриса, игравшая княгиню Рѣзцову, не нравилась ей. Она находила, что у ней слишкомъ приподнятый тонъ, напышенность въ маперахъ, безпрестанное подчеркиваніе. Собою она была видная и одѣвалась роскошно. Эта пьеса точно дразнила Строеву. Она вспомнила, что и въ режиссерской, когда приходила просить о мѣстѣ, зеленая афиша заставила ее обернуть голову и прочитать заглавіе пьесы. Это были все тѣ же „Ошибки молодости“. Стоя за кулисой, около двери павильона, она закрывала глаза и уносилась мечтой въ прошлое, чувствовала себя героиней пьесы, внутренне играла и находила новые звуки, какіе прежде не давались ей.

Строева повернула отъ боковой дверки влѣво и тихо, держась желѣзныхъ перилъ, стала подниматься въ уборныя. Въ коридорѣ женскихъ уборныхъ она присѣла на окно. Ей пріятно было тутъ, послѣ холода и рѣзкаго вѣтра улицы. Мимо проходили портнихи и актрисы. Она

никто никого еще не знала; но о ней уже шли толки въ труппѣ. Кто-то видѣлъ, какъ съ ней разговаривалъ первый актеръ. Нѣкоторые считали ее впавшей въ бѣдность барыней изъ общества, взятой „на выходъ“. Съ лишними вопросами къ ней никто не обращался; въ общей уборной, гдѣ одѣвались мелкія актрисы, ей еще не привелось сидѣть передъ столикомъ и гримироваться. Режиссеръ ни въ чемъ еще не выпускалъ ее.

Въ коридорѣ Строевой сдѣлалось жарко; она спjala свою тальму и положила тутъ же на окно. Наискосокъ отъ того окна, гдѣ она сидѣла, приходилась дверка въ уборную первой актрисы. Но уборная стояла еще пустая, ярко освѣщенная газовыми лампами около большого трюмо.

— Никакъ Миловзорова-то еще не пріѣхала?—спросилъ кто-то съ лѣстницы.

Строева подумала:

„Пора бы ей начать одѣваться“.

И ей какъ будто бы было пріятно, что Миловзорова еще не пріѣхала, точно будто она смутно хотѣла какой-нибудь исторіи, тревоги, отмычки спектакля.

Свирскій игралъ, разумѣется, главную мужскую роль. Когда-то она сама просила своего сожителя Дарьялова выпустить въ этой роли „симпатичнаго мальчика“—Свирскаго. Она помнитъ, какъ, послѣ спектакля, этотъ симпатичный мальчикъ приниженно, почти благоговѣйно, благодарилъ ее въ восторженно-лиственныхъ выраженіяхъ. Сегодня утромъ онъ репетовалъ роль небрежно и будетъ въ ней гораздо ординарнѣе, *казеннѣе*, чѣмъ семь и восемь лѣтъ тому назадъ.

А свою роль съ нею онъ уже отыгралъ: покормилъ обѣдомъ, сказалъ, что она можетъ всегда найти за нихъ столомъ „лишній приборъ“, но, конечно, режиссеру о ней не говорилъ и при встрѣчахъ съ нею на сценѣ здоровался съ отмычкомъ пріятнаго покровительства.

Для нея такъ лучше. Сытная ѣда толстухи коломъ стояла у ней въ груди цѣлыя сутки послѣ того. Сдѣлаться ихъ прихлебательницей она не была въ состояніи.

Въ коридоръ вбѣжалъ маленькій человѣчекъ—помощникъ режиссера, заглянулъ въ уборную Миловзоровой, повернулся вправо и влево и крикнулъ:

— Портниха! Кто тамъ есть!

Въ одной изъ дверокъ показалась женская голова.

— Марья Сергѣевна развѣ не пріѣзжала еще?—спросилъ помощникъ.

— Нѣтъ, Иванъ Павлычъ... И горничной ихъ нѣтъ. Корзину тоже не присылали.

— Что за оказія!

И помощникъ побѣжалъ къ лѣстницѣ.

„И корзины не присылали“, — повторила про себя Строева, встала и начала ходить тихими, короткими шагами по коридору; ходила и прислушивалась къ голосамъ внизу, на сценѣ.

Раздался возгласъ режиссера:

— Вотъ такъ пакости! Это чортъ знаетъ что такое! За двадцать минутъ до занавѣса сказываться больной!..

„Такъ и есть“, — почти радостно подумала Строева, и начала тихонько спускаться съ крутой лѣстницы.

Внизу она нашла тревогу въ полномъ разгарѣ. Режиссеръ бѣгалъ позади павильона, уже совсѣмъ приготовленнаго къ первому акту, ерошилъ волосы, дѣлалъ своими длинными руками раскидистые жесты и безъ устали кричалъ:

— Вѣдь это живоглотство!—донеслось до нея.—Живоглотство чистѣйшей пробы! Что я теперь буду дѣлать?..

Помощникъ назвалъ, должно-быть, какое-нибудь заглавіе пьесы.

— Вотъ выдумали!—крикнулъ режиссеръ.—Какой она сборъ сдѣлала въ послѣдній разъ? Трехсотъ рублей не дала. За двадцать минутъ! Штрафъ предлагаетъ взять! Что мнѣ въ ея штрафъ? Вчерашній спектакль повторить—нельзя. Мишина нѣтъ. Я его сегодня въ Коломну отпустилъ на какой-то дурацкій благотворительный спектакль.

„Предложу я себя!“—пропеслось въ головѣ Строевой. Она стояла уже внизу, но все еще держалась рукой за желѣзный пруть, служившій перилами.

Режиссеръ продолжалъ браниться и бѣгать по сценѣ, повторяя свое любимое слово:

— Живоглоты!.. живоглоты!..

Точно что ее толкнуло впередъ, и она, смѣлой поступью, пошла къ нему навстрѣчу.

— Что вамъ угодно?—накинулся онъ на нее.

— Семень Захарычъ! Я знаю роль паизусть, играла ее десятки разъ. Угодно вамъ выпустить меня съ анонсомъ?

— Васъ?

Онъ подался всѣмъ корпусомъ назадъ.

— Если вы мнѣ не вѣрите—спросите господина Свирскаго. Онъ меня видалъ въ этой роли.

Она не побоялась назвать Свирскаго. Что-то ей подсказало:

„Онъ поддержитъ тебя, изъ рисовки, или изъ желанія сдѣлать непріятность первой актрисѣ. Съ нею онъ не въ ладахъ...“

— Да помилуйте, — заговорилъ режиссеръ, нѣсколько смягчая тонъ, — гдѣ же у васъ туалетъ?

— Платьевъ у меня нѣтъ... Это уже ваше дѣло, Семенъ Захарычъ...

— Да и Свирскій не согласится играть. Онъ и безъ того ведетъ эту роль черезъ пень-колоду. Онъ будетъ ужасно радъ... Какое всѣмъ имъ дѣло до интересовъ театра? Кто имъ преданъ, кромѣ дурака Прокофьева?

— Спросите его:

Режиссеръ быстро взглянулъ на нее; должно-быть, ему показалось, что она еще по фигурѣ, по лицу и по манерѣ говорить можетъ взяться за роль княгини Рѣзцовой.

— Пойдемте!—крикнулъ онъ ей и запегалъ въ мужскую уборную.

Она шла за нимъ безъ всякихъ колебаній. Она даже не подумала лишній разъ: поддержитъ ли ее Свирскій или сдѣлаетъ гримасу, и можетъ ли вообще это случиться, черезъ какихъ-нибудь двадцать минутъ, чтобы она очутилась въ главной роли въ „Ошибкахъ молодости“. Да еще здѣсь!..

— Вы одѣваетесь? — спросилъ режиссеръ Свирскаго, просунувъ голову за занавѣску, которой было прикрыто отверстіе дверки. — Слышали, какой сюрпризъ поднесла намъ наша Раиса Минишна Сурмилова?

— Слышала!—отвѣтилъ Свирскій изъ уборной.

— Вы, небось, рады?

— Почему же?

— Да вѣдь вы, кажется, не любите этой роли?

— Кто вамъ сказалъ? Напротивъ...

— Ну, на репетиціи...

— Мало ли что? Изъ-за чего же я буду играть въ полную игру?

— Ну, это дѣло десятое; а вотъ въ чемъ штука: господа, — режиссеръ обернулся въ сторону Строевой,

остановившейся въ простѣнкѣ между двумя дверками,— какъ васъ прикажете звать? Вы, вѣдь, меня просили о перемѣнѣ фамиліи...

— Какъ угодно...

— Такъ Строева, что ли?

— Да, Строева.

Ея бодрое возбужденіе не проходило.

— Такъ вотъ... госпожа Строева вызывается спасти нашу ситуацію, говорить, что много разъ играла княгиню Гѣзову, между прочимъ и съ вами.

Свирскій не сразу отвѣтилъ.

„Не посмѣть, — увѣренно подумала она, — будетъ играть“.

— Вызывается?—переспросилъ Свирскій.

— Да, коли вамъ, батюшка, говорить русскимъ языкомъ. Разумѣется, съ анонсомъ... и все такое...

— Надежда Степановна, дѣйствительно, играла эту роль, — началъ отчеканивать Свирскій.

— Говорить, что наизусть знаетъ ее...

— Не сомнѣваюсь, — протянулъ Свирскій. — Что жъ? Судя по тому, что у меня сохранилось въ памяти, — она справится съ ролью не хуже, чѣмъ наша Раиса Минишна.

— Такъ вы, значить, отвѣчаете за нее?

— Руку на отсѣченіе не дамъ, но рискнуть можно...

— Ну, ладно.

Режиссеръ обернулся къ Строевой и крикнулъ:

— Извольте идти въ уборную.

— А туалетъ?—спросила она, чувствуя, что этотъ вопросъ—лишній, что она должна играть и платья откуда-нибудь да возьмутся.

И платья нашлись. Былъ сдѣланъ анонсъ. Пьесу начали десятью минутами позднѣе. Публика не потребовала назадъ денегъ, но сдѣлалась злая. При появленіи Строевой послышалось шиканье. Оно ее не смутило. И въ уборной, за гримировкой и одѣваньемъ, и передъ выходомъ на сцену, и подъ огнемъ раппы она ничего не боялась. Что могла она потерять? Если бъ даже сыграла она и плохо,—а роль она знала наизусть,—и сердитый режиссеръ не сталъ бы мстить ей за это, а въ случаѣ хотя маленькаго успѣха, она сейчасъ же бы заняла другое положеніе.

Свирскій захотѣлъ быть до конца великодушнымъ, шопотомъ говорилъ ей, между репликами, одобрительныя

фразы, игралъ старательно, ей въ тонъ. Минутами ей казалось, что она, тамъ, въ провинціи, играетъ свою коронную роль съ симпатичнымъ мальчикомъ, котораго такъ искренно хотѣла поддержать. Она сама чувствовала, что читаетъ хорошо, совсѣмъ не такъ, какъ Миловзорова—проще, значительнѣе, мѣстами съ настоящими барскими интонаціями. Но публика не сдавалась. Послѣ паденія занавѣса, съ верхней галлерей раздались было вызовы и были прерваны дружнымъ шиканьемъ. Кресла и ложи не мирились съ тѣмъ, какъ она была одѣта, съ ея поблеклымъ лицомъ, которое гримировка не могла уже сдѣлать моложе и эффектнѣе. Какъ она ни старалась, ничего не помогало. Но смѣлость ни на минуту не оставляла ее. Роль довела она до конца увѣренно, въ томъ же тонѣ, съ той же искренной и умной читкой.

И вдругъ, послѣ пятаго акта, ее вызвали безъ протеста. Кресла не хлопали, но и не шипѣли. Свирскій выходилъ съ нею и, держа ее за руку, прошепталъ все тѣмъ же актерски-покровительственнымъ тономъ:

— Поздравляю васъ, мой другъ.

Когда она кланялась и глядѣла въ полутемную зрительную залу, все было забыто, вся пережитая обида, горечь, весь срамъ, доставшійся ей въ удѣлъ отъ этой не умиряющей страсти къ подмосткамъ. Она опять жила, какъ хотѣла бы жить до смерти, и была обизана этимъ самой себѣ, своему таланту.

— Ну, спасибо!—крикнулъ ей режиссеръ вдогонку, когда она поднималась въ уборную.—На четыре съ плюсомъ играли, барынька!

IX.

Въ фойѣ раздавались громкіе голоса. Туда сошла вся почти труппа, кромѣ выходныхъ. На репетиціи вдругъ разнесся слухъ, что спектакля не будетъ. Общество не отпускало больше газа. Вся послѣдняя недѣля прошла въ глухомъ волненіи между вліятельными членами труппы: платежъ жалованья затягивался, сборы падали. Если придется сегодня изъ-за газа отменить спектакль, это убьетъ репутацію театра.

На сходкѣ въ фойѣ говорили всѣ разомъ, горячились, перебывали другъ друга. Режиссеръ предлагалъ составить товарищество, и съ нимъ многіе были согласны; но другіе колебались и хотѣли, прежде всего, добиться получе-

нія жалованья. Въ это время сцена стояла совсѣмъ темная. Газовыхъ рожковъ, освѣщающихъ репетицію, не было видно. Въ коридорѣ бельэтажа, гдѣ горѣла одна керосиновая лампочка, скучилось нѣсколько женскихъ фигуръ. Это были выходныя актрисы, въ томъ числѣ и Строева. Онѣ не шли въ фойѣ, гдѣ кричали и спорили главные сюжеты труппы. Онѣ тревожно ждали только, чѣмъ все это кончится, будетъ ли вечеромъ спектакль, какъ поведется дальше дѣло, есть ли надежда на получение жалованья...

Строева служила уже около мѣсяца, но жалованья еще не получала. Она заняла у Мишина, но эти взятые въ долгъ деньги были уже прожиты.

— Галдятъ, галдятъ, — заговорила шопотомъ одна изъ выходныхъ актрисъ, — а мы все-таки ни при чемъ остаемся...

— Режиссеру да первачамъ хочется захватить все въ свои лапы.

— Слышите, сосѣдъ хотить... по крайней мѣрѣ, на маркахъ будемъ играть...

— Намъ-то какія марки? Первымъ дѣломъ сокращеніе расходовъ, и насъ по шапкѣ!

Эти слова были какъ разъ то, о чемъ думала въ эту минуту Строева.

Разумѣется, выходныхъ уволить. Но вѣдь она теперь не выходная? Режиссеръ говорилъ ей, что будетъ держать ее „про запасъ“. Въ одной одноактной комедіи онъ назначалъ ей новую роль.

А теперь все рухнетъ! Гулъ голосовъ сталъ потише. Долго что-то доказывалъ режиссеръ, потомъ говорилъ Свирскій, и потомъ еще одинъ изъ крупныхъ актеровъ.

Должно-быть, на чемъ-нибудь рѣшили стоять.

— По шапкѣ насъ, по шапкѣ! — прошептала та же выходная актриса. — Что жъ, господа? — обратилась она къ остальнымъ. — Мы, нешто, безсловесныя? Пойдемте и мы спросимъ: заплатятъ ли намъ двадцатаго числа и кто теперь будетъ наибольшій?

И въ этой группѣ женщинъ вдругъ всѣ вполголоса затараторили, охваченныя новымъ наплывомъ тревоги и недовольства...

Строева ничего не говорила.

На нее этотъ переполохъ дѣйствовалъ не такъ, какъ бы слѣдовало. Жалованье она врядъ ли получить, отдать

долгъ Мишину нечѣмъ. Лишній народъ будетъ, конечно, удаленъ, въ томъ числѣ и она, но слезы не подступаютъ къ глазамъ, точно будто даже ей такъ лучше, и какая-то смутная надежда мелькаетъ передъ нею.

Въ широкихъ дверяхъ фойе, откуда свѣтъ падалъ полосой на полъ коридора, показался Мишинъ. Онъ былъ въ мѣховомъ пальто и надѣвалъ шапку; вѣроятно, уходилъ уже совсѣмъ.

— Сергѣй Ардальонычъ! — окликнула она его.

Комикъ оправилъ очки и сталъ разглядывать въ темнотѣ, кто его окликаетъ.

— Уходите?

Онъ узналъ голосъ Строевой.

— Ухожу-съ, Надежда Степановна, ухожу-съ... Для этихъ парламентскихъ препирательствъ я никуда не годенъ. Знаете, такая древняя русская поговорка есть: „отъ міра не прочь, а міру я не челобитчикъ“.

— Уходите совсѣмъ изъ труппы?

— Пока вѣтъ; только я всѣхъ этихъ препирательствъ терпѣть не могу. Уладить они сосѣтъ — я готовъ буду остаться. Наши первачи только о своей утробѣ заботятся, а не о мелкой сошкѣ. Первымъ дѣломъ надо подумать о тѣхъ, кому животы-то совсѣмъ подвело. Я не про себя говорю; безъ мѣста я не останусь, могу сейчасъ настроить лыжи; но я этого не сдѣлаю; какъ міръ, такъ и я.

Къ нимъ подбѣжала та выходная актриса, что говорила громче другихъ.

— Ну, а насъ-то какъ, по шапкѣ?

— Это будетъ большая гнусность!

— Откуда же возьмутъ жалованье?

— Наработаемъ на маркахъ. Это, знаете, универсальное средство. Другихъ не выдумали.

— А сегодня какъ же съ газомъ-то? — спросилъ кто-то изъ женщинъ.

— Делегата пошлютъ; авось уладить. Если не будетъ газа, такъ сальныя свѣчки зажжемъ. Гдѣ-то я читалъ, что и великій Мольеръ съ товарищами такъ игралъ. Выѣсто лампъ-то горѣли сальныя свѣчи и ихъ во время дѣйствія снимали щипцами. Такая и должность была...

— Господи! какъ же намъ быть? Вѣдь это ужасно! — заговорили женщины, всѣ, кромѣ Строевой.

Она отнела Мишина подальше къ лѣстницѣ.

— Сергѣй Ардальонычъ, — шопотомъ начала она, — я

вѣдь вамъ должна... Но теперь, гдѣ же получить жалованье?

— Полноте, Надежда Степановна.

Мишинъ махнулъ рукой.

— А если вы не останетесь здѣсь... когда все распадется... куда вы поѣдете?

— Да меня въ два мѣста приглашаютъ: въ Казань и въ Орелъ.

Она хотѣла было сказать:

„Увезите меня съ собою! Будьте благодѣтелемъ до конца“.

Мишинъ пожалъ ей руку, нахлобучилъ шапку и торопливо сталъ спускаться съ лѣстницы.

— Богъ не выдастъ — свинья не съѣстъ! — крикнулъ онъ, и побѣжалъ внизъ по ступенькамъ.

Тѣмъ временемъ группа выходныхъ актрисъ подошла ко входу въ фойе и остановила режиссера, выглянувшего оттуда въ большой ажитации, съ побурѣлымъ, перекошеннымъ лицомъ.

— Семенъ Захарычъ! Семенъ Захарычъ! — раздались женскіе голоса, — какъ же вы рѣшили? Чего намъ ждать? Скажите, ради Бога. Мы соскучились здѣсь..

— Мишинъ ушелъ? — крикнулъ режиссеръ.

— Ушелъ, ушелъ, — отвѣтили ему.

— Что за пакость! Когда нужно дѣйствовать, — сейчасъ паутекъ.

— Скажите намъ что-нибудь насчетъ жалованья. И какъ нынѣшній спектакль?

— Господа, — остановилъ ихъ режиссеръ, — завтра будетъ собрана вся труппа, до послѣдняго выходного актера. Мы вырабатываемъ проектъ товарищества. Кто войдетъ въ него, тотъ будетъ, разумѣется, нести рискъ...

— А какъ же мы-то останемся?

— И о васъ позаботятся... Надо спасать дѣло...

— А спектакль будетъ сегодня?

— Будетъ или нѣтъ — вы это узнаете, коли явитесь вечеромъ. А затѣмъ имѣю честь влаться. Я долженъ идти туда. Васъ всѣхъ оповѣстятъ.

И онъ убѣжалъ.

Это ихъ мало успокоило. Кто-то изъ нихъ предложилъ пойти въ фойе и тамъ дожидаться конца совѣщанія.

Но Строева не пошла. Она сознавала бесполезность лишняго жданья и лишней тревоги. Тихо спустилась она

съ лестницы и вышла на улицу съ такимъ чувствомъ, точно будто она возвращается съ обыкновенной репетиціи. Если и сладить они тамъ свое сосѣзъ — сущность останется та же. И на „маркахъ“ будетъ тотъ же захватъ первыми сюжетами большихъ окладовъ и та же нищенская доля батраковъ... Они тамъ кричали въ фойэ, возмущались поведеніемъ содержателей театровъ, вопили объ эксплуатаціи и грабежѣ... А всякій изъ нихъ только и думаетъ о томъ, какъ бы хлпнуть кушъ, съ каждымъ сезономъ набиваетъ себѣ жалованье, оклады растутъ, растутъ, антрепренеры перебиваютъ другъ у друга всѣхъ этихъ первыхъ любовниковъ и любовницъ, резонеровъ, наивностей и кокетокъ, платятъ за нихъ неустойки и банкротятся...

А на что идутъ эти оклады? На безпутное транжирство мужчинъ, на непомѣрное франтовство женщинъ. Развѣ какой-нибудь Свирскій стоить семисотъ рублей жалованья въ мѣсяцъ? Эти первачи проигрываютъ по сто рублей въ винтъ, пьютъ семирублевый лафитъ, должаютъ у портныхъ на тысячи рублей, — и никакой великодушной мысли, никакого пониманія общихъ товарищескихъ интересовъ.

„Живоглоты!“ — повторила она про себя любимое слово режиссера.

Вотъ она никогда не думала о кушахъ, брала, что ей предлагали, была жадна только къ одному: къ игрѣ, къ искусству, къ славі! Но и себя она не могла оправдать: и въ ней эта страсть къ сценѣ выѣла настоящую жалость къ батракамъ актерскаго труда... Вотъ и въ эту минуту она не можетъ болѣть душой за цѣлый десятокъ своихъ товарокъ и товарищей, которые рискуютъ остаться до будущаго сезона безъ ангажементъ, а стало-быть и безъ куса хлѣба. Она не можетъ ихъ жалѣть, больше, чѣмъ самое себя, а себя она устала жалѣть — и тамъ, на самой глубинѣ души, есть что-то, заставляющее ее искать и падѣяться...

Въ шестомъ часу Строева шла опять изъ дому въ театръ. Дома она не спрашивала объѣда, напилась только чаю съ хлѣбомъ. Чаю еще оставалось немножко въ четверкѣ, по сахаръ весь вышелъ. Она пила не торопясь, легла потомъ отдохнуть, не раздѣваясь, проспала около часа и, когда въ темнотѣ проснулась, то удивилась даже, какъ въ ней нѣтъ никакой тревоги насчетъ того, будутъ ли сегодня играть или театръ окажется темнымъ и

запертымъ. Она вышла отъ себя все съ тѣмъ же отсутствіемъ тревоги, чувствовала только въ своей осенней тальмѣ, какъ морозъ пробирается ей за спину. Она подумала о Свирскомъ всего одинъ разъ, безъ злорадства, представила себѣ его возлюбленную, вспомнила обѣдъ у нихъ. Они и сегодня такъ же хорошо ѣли и будутъ долго такъ жуировать. Антрепренеры еще лѣтъ десять будутъ перебивать его другъ у друга, платить огромные задатки и такія же неустойки. А она будетъ мерзнуть подъ своей тальмой, пробираясь въ театръ, гдѣ у ней, конечно, пропадетъ ея трехнедѣльный трудъ: и тогда надо или идти просить подавнія, или покончить съ собою какимъ-нибудь дешевымъ способомъ: веревкой, головками фосфорныхъ спичекъ.

Но мысль о самоубійствѣ не проникала ее. За корсажемъ у ней лежала пачка съ тремя афишами. Съ нею, какъ съ какимъ-то талисманомъ, она не разставалась, никогда не оставляла ее у себя въ номерѣ... Она ощущала ее на груди. Мало ли что можетъ быть? Развѣ она думала, что черезъ нѣсколько дней по поступленіи въ труппу на выходъ сыграетъ роль княгини Рѣзцовой? И о ней писалъ одинъ рецензентъ, сталъ рѣшительно на ея сторону, сдѣлалъ рѣзкій выговоръ публикѣ за шиканье, нашелъ талантъ, искренность, большое благородство и даже про наружность сказалъ, что она совсѣмъ еще не такъ стара.

Кто знаетъ?!

Строева повернула за уголъ. Театръ стоялъ неосвѣщеннымъ. Она подошла къ крыльцу и прочла анонсъ подъ фонаремъ: въ немъ говорилось, что спектакль, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, отлагается на послѣзавтра.

Когда она повернулась, на груди своей почувствовала она легкое шуршаніе пачки съ тремя афишами.

Талисманъ напомнилъ о себѣ. Она не хотѣла падать подъ ударами судьбы. Сцена влекла ее. Этотъ или другой театръ, здѣсь или въ провинціи — все равно. Она должна умереть на подмосткахъ.

ГОЛУБОЙ ЛИФЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

Аннушка стояла передъ шкапомъ и вынимала оттуда посуду. Надо приготовить тарелки къ десерту и нести въ кухню салатникъ. Барыня сейчасъ будетъ сама дѣлать салатъ, и если опоздать хоть на одну минуту, она разсердится. Внутренность шкапа косвенно освѣщала лампочка, висѣвшая за угломъ коридора. Свѣтъ падалъ на лицо и профиль горничной, на ея рослую фигуру, на высокія плечи, на ея пышный бюстъ, стянутый голубымъ кашемировымъ лифомъ. Юбка изъ темной шерстяной матеріи падала модными складками. Турниръ усиливалъ выемъ спины, самой по себѣ гибкой.

Щеки Аннушки густо покрыты румянцемъ отъ подаванія блюдъ, частой ходьбы въ кухню изъ столовой и обратно, отъ душнаго воздуха комнатъ, отъ всего ея здороваго молодого тѣла. Ей и въ другое время дня, когда меньше ходьбы, кровь безпрестанно была въ голову и на лицо. Сейчасъ она только что обносила соусъ и слышала, какъ господа говорили про нее по-французски. Всего она не понимала, но нѣкоторыя слова и мины поняла. Обѣдаетъ гость, пріѣзжій изъ Москвы, товарищъ барина, такихъ же лѣтъ, лысый, толстый, очень шумный. Она почувала, что онъ замѣтилъ что-то пасчетъ ея наружности, должно-быть, сказалъ, что франтиха, что-нибудь о ея голубомъ лифѣ, о талии и груди. Барышни скосили свои, и безъ того косые, рты, и что-то каждая проговорила въ носъ. Наверно что-нибудь нехорошее сказали про нее. Пускай ихъ!

— Аннушка! Скорѣй! — раздался изъ столовой высокій, немного надтреснутый голосъ барыни.

Горничная шла уже назадъ изъ кухни съ салатникомъ. Она ускорила шагъ. До сихъ поръ она не можетъ выносить равнодушно оклики и понуканья. Особенно голосъ барыни — не то что запугиваетъ, а раздражаетъ ее. И пальцы у ней начинаютъ вздрагивать, нападаетъ разсѣянность, все валится изъ рукъ. Если господа въ концѣ мѣсяца захотятъ вычитать изъ жалованья за то, что она разбила, — пожалуй, ничего и не останется изъ девяти рублей. Двѣ тарелки, стаканъ, рюмка, цѣлый соусникъ. А фарфоръ и хрусталь дорогіе.

Ее грубо не бранятъ ни барыня, ни барышни, а только пожимаютъ плечами, или которал-нибудь изъ нихъ спроситъ: „О чемъ вы задумались?“ И этотъ насмѣшливый вопросъ — хуже всякаго браннаго окрика. А она, дѣйствительно, думаетъ, когда подаетъ за столомъ, вовсе не о томъ, какъ бы ей половчѣе обнести блюдо. Совсѣмъ о другомъ... Всего чаще о томъ, что не годится она въ услуженіе. Собой она слишкомъ рослая и видная. Брови дугой, коса до колѣнъ, любить нарядно одѣться, талія въ рюмку, бюстъ такой, что обѣ барышни на нее безъ злости глядѣть не могутъ, и походка у ней — особенная; каждый въ правѣ ей сказать: „Да что вы это манежитесь?“ А она не виговата, по-другому ходить не можетъ.

Вотъ почему ей служить — да еще при гостяхъ — чистое мученіе.

Въ столовой, просторной квадратной комнатѣ, оклеенной обоями подъ орѣхъ, съ дорогой дубовой мебелью и массивными шкапами, уставленными серебряной посудой и вазами изъ гранепаго хрусталя, сидѣло за обѣдомъ семь человѣкъ: баринъ съ барыней, двѣ барышни — одна лѣтъ девятнадцати, другая по шестнадцатому году, — мальчикъ-гимназистъ, приходящая учительница музыки и гость. Баринъ подъ пятьдесятъ лѣтъ, съ большими усами, узенькими бакенбардами, курчавый, глаза часто прищуриваетъ, губы толстыя и гнилые зубы, весь холеный, но не толстый, одѣтъ и дома, точно молодой человѣкъ, въ короткомъ пиджакѣ, носитъ свѣтлыя галстуки. У него жемчужина на булавкѣ, а на безымянномъ и четвертомъ пальцахъ правой руки нѣсколько перстней и колечъ, какъ у женщины. Мѣсто хозяйки занимаетъ его жена, когда-то красивая барыня, съ двойнымъ подбородкомъ, толстая,



тяжело дышащая, затянута въ корсетъ. Ея сѣрые глаза съ толстыми складками вѣкъ обводятъ сидящихъ за столомъ вопросительно: она любитъ надзирать, къ мужу до сихъ поръ равнодушна и въ двухъ своихъ барышняхъ не видитъ никакихъ недостатковъ; къ мальчику—построже. Старшая дочь—рыжая, съ чуть замѣтными веспушками и прозрачной кожей. И рѣсницы у ней свѣтло-рыжія, глаза злые, немного раскосые, плоскогруда и узка въ плечахъ, держится прямо и занимается своими волосами. Младшая, такая же сухая, но черноватая, маленькаго роста, старобразнаго лица съ нечистымъ подбородкомъ. Обѣ одѣты въ одинаковыя платья изъ модной клѣтчатою вигоны. Между ними сидитъ учительница музыки—нѣмка, широкая въ кости, сухая, съ мужеподобнымъ лицомъ, въ наколѣ и въ шелковомъ сѣромъ платьѣ. Мальчикъ-гимназистъ въ блузѣ, хорошенькій, черноглазый мальчикъ, выглядываетъ изъ своей салфетки, подвязанной подъ горло, и подъ столомъ стучитъ ногами. Разговоръ ведетъ гость, товарищъ мужа по училищу. Онъ—во фракѣ, и тоже завшнепъ салфеткой.

Когда Аннушка вошла въ столовую съ салатникомъ—гость прервалъ свой шумный разговоръ и тотчасъ же установился на нее свими карими круглыми глазами. Локти его лежали на скатерти. Онъ занималъ мѣсто противъ хозяйки, на другомъ концѣ стола.

— Вотъ опять голубой лифъ!—встрѣтилъ онъ появивше Аннушки и захохоталъ.

Обѣ барышни слегка поморщились. Барыня перевела глаза на горничную и съ не совсѣмъ довольной миной приняла отъ нея салатникъ.

— Судокъ!—приказала она ей, и что-то прибавила вполголоса, по-французски, мужу.

Тотъ взглянулъ на Аннушку не строго, съ пріятнымъ прищуриваніемъ. Она уже больше недѣли замѣчаетъ, что баринъ къ ней ласковъ, зоветъ ее къ себѣ въ кабинетъ мягкимъ голоскомъ... Чувствуетъ она и то, что барыня, съ каждымъ днемъ, все къ ней строже. Должно-быть, ревнуетъ... И безъ того у барыни по этой части не мало терзаній. Кухарка сказывала уже ей, что у барина давно кое-кто на сторонѣ. Много было изъ-за этой разлучницы въ домѣ слезъ, истерикъ, крику. И дѣвицы знаютъ про это. Кажется, только та, на сторонѣ-то, сама отошла, на другого перемѣняла; а не мало тысячъ стояла барину. Онъ,

до поступленія Аннушки, такъ съ мѣсяцъ передъ тѣмъ, сталъ сильно тосковать; барыня съ барышнями просіали: да только не надолго; боялся, что опять заведется кто-нибудь, и опять онъ начнетъ цѣлые дни и ночи проводить у своей „сударушки“ и тысячи въ нее всаживать. Аннушку барыня не хотѣла брать,—это тоже ей кухарка передавала, — да баринъ настоялъ, цѣлый день ворчалъ: „вы, говоритъ, меня въ гробъ уложите, все уродовъ берете въ горничныя“. Мужской прислуги барыня не выносить, и когда куда ѣхать—нанимаютъ лакея, на вечеръ.

Судокъ Аннушка не сразу нашла въ буфетномъ шкапу. Возгласъ гостя, прозвище, которое онъ ей далъ, смутили и не то обидѣли, не то пріятно задѣли ее. Она и безъ того разсѣяна, а тутъ еще этотъ гость... Въмѣсто праваго отдѣленія шкапа, она кинулась къ лѣвому и дождалась окрика:

— Совсѣмъ не тамъ!

Грудь ся пришла въ волненіе. Щеки пылали. Гость переглянулся съ бариномъ и мотнулъ головой. Они поняли другъ друга. Поняли ихъ мимику и обѣ дѣвицы, и мать ихъ. Барышни какъ будто начали краснѣть, но тотчасъ же каждая нагнулась къ учительницѣ и что-то заговорили черезъ нее.

Судокъ трепеталъ въ рукахъ Аннушки, когда она ставила его. Одна изъ хрустальныхъ пробокъ упала на столъ со звономъ.

Всѣ женщины нервно вздрогнули. Аннушка еле успѣла удержать въ рукѣ весь судокъ. Она отъ смущенія даже закрыла глаза.

— Что это такое!..—вырвалось у барыни. — Это ни на что не похоже. Такое ротозѣйство!

Баринъ по-французски успокаивалъ ее.

— Фальшивая тревога!—крикнулъ гость.— Все цѣло и невредимо.

Пробка только задѣла за одну изъ бутылокъ. Ихъ стояло нѣсколько.

Руки продолжали дрожать у Аннушки, и дыханіе можно было слышать.

„Что вы сопите!“ — хотѣла ей кинуть барыня, но воздержалась.

Она знала, что мужъ способенъ прочитать ей нотацію при дѣтяхъ за этотъ „голубой лифъ“: такъ уже всѣ мысленно стали звать горничную.

Аннушка отошла къ двери и немного укрылась портьерой. Но половина ея лица, спущенная на лобъ прядь волосъ орѣховаго цвѣта и густая бровь, и вся ея роскошная грудь, еще поднимающаяся отъ смущенія,—заставили опять барина и гости переглянуться.

II.

Разговоръ въ столовой пошелъ о разныхъ городскихъ новостяхъ, а всего больше о недавнихъ осеннихъ скачкахъ. Аннушка прислушивалась, стоя за портьерой. Барышни держали пари за лошадей и безпрестанно употребляли слово, которое ей передъ тѣмъ никогда не удавалось схватить ухомъ. Это слово было „тотализаторъ“. Она не сразу поняла его значеніе, не вдругъ сообразила, что это—азартная игра. Вотъ бы ей взять на счастье, на какую-нибудь лошадь. Попросить бы одну изъ барышень; но ни старшая, ни меньшая не входятъ съ нею въ разговоры; все только морщатся или односложно приказываютъ. Поддѣлываться къ нимъ она не желаетъ. Подарить ни одна такого билета на тотализаторъ — и не подумаетъ. Обѣ „скупщиці“. Отецъ имъ далъ каждой по красненькой на игру; одна выиграла пятьдесятъ слишкомъ рублей; другая проиграла и такъ разозлилась, что ее рвало даже желчью...

Всякій господскій разговоръ или около игры и денегъ вертится, или около театровъ. Вотъ сейчасъ начнутъ непременно перебирать всякихъ актеровъ и пѣвцовъ. Имена ихъ Аннушка уже знала по афишамъ. Она сама любила театръ, бывала на верхахъ и въ русской оперѣ. У барыни и барышень есть любимцы. Особенно одинъ французскій актеръ; его имя черезъ каждое пятое слово назовутъ. У барина—танцовки. Про выписную итальянку всего больше бываетъ разговора. Обѣ опереткѣ въ Ливадіи, въ Аркадіи разспрашивалъ гость; онъ уже не засталъ загородныхъ театровъ.

Тамъ Аннушка не бывала; она жила у другихъ господъ, по варшавской дорогѣ, въ усадьбѣ, около Сиверской стапціи. Ей тоже хотѣлось бы на острова попасть. Да и всякія господскія забавы она не хуже ихъ оцѣнить. Только имъ деньги легко очень достаются, а у ней жалованья всего 9 рублей, „съ горячимъ“. Но на это жалованье развѣ она могла бы такъ одѣваться? У ней есть малень-

кая поддержка. Два раза въ годъ она получаетъ, на Рождество и на Пасху, свою „пенсію“.

До Рождества еще далеко... Аннушка задумалась.

— Что жъ вы!—вдругъ раздался окрикъ барыни.

Она встрепенулась и опять покраснѣла. Окрикъ показался ей очень обиднымъ. И почему на нее такъ покрикиваютъ? Чѣмъ она хуже ихъ? Особенно вотъ такихъ худосочныхъ и безгрудыхъ дѣвицъ? Сумѣла бы и она одѣться „по послѣднему журналу“, поѣхать на скачки или въ театръ, и тамъ всякій бы изъ мужчинъ устоялъ на нее бинокль.

Надо было бѣжать за пирожнымъ. И пирожное — на этотъ разъ — жидкое. Того и гляди — разольешь. Руки у ней снова начали вздрагивать. Кухарка тоже заворчала на нее: минута перепущена—барыня „забравится“, и виновата все Аннушка своимъ ротоулыбствомъ.

— Пялишься больно, матушка! — послала ей кухарка вдогонку и хлопнула дверью.

И по коридору Аннушка не могла унять своего волненія отъ всѣхъ неизбежныхъ обидъ.

И обѣдъ этотъ, постылый, такъ тянется. Къ десерту надо подать особыя тарелки, изъ китайскаго фарфора. На каждую тарелку дуй, — хрупки точно бисквиты; и такъ ужъ у двухъ изъ-подъ низа оббиты ободки; хорошо еще, барыня не замѣтила. Да корзиночку съ ликерами надо еще вынуть изъ буфетнаго шкапа и не уронить ни одной рюмочки, что привѣшены съ боковъ.

За кофе и ликерами Аннушка слышала все тѣ же разговоры, только теперь начали балетомъ, а кончили тотализаторомъ. Ей такъ хотѣлось, чтобы поскорѣ перешли въ гостиную. Мужчины давно уже курили; барышни что-то мурыжили, учительница музыки—вся красная и потная—допивала кофе маленькими глотками; барыня посоловѣла, какъ всегда съ ней бывало отъ сытнаго обѣда; гимназистъ еще сильнѣе стучалъ ногами подъ столомъ.

Наконецъ-то зашумѣли стульями. Аннушка въ эту минуту была опять въ коридорѣ, ставила на столикъ посуду. Господа перейдутъ скоро изъ гостиной—баринъ съ гостемъ въ кабинетъ; барышни — или сядутъ играть въ четыре руки на роялѣ, или къ себѣ уйдутъ—валиться по диванамъ съ книжками. А ей надо опять все убрать со стола, встряхнуть и сложить скатерть и салфетки, вынес-

сти всю посуду въ кухню и сдать судомойкѣ, потомъ сдвинуть столъ и прибрать въ столовой.

Къ этой половинѣ обыденной работы Аннушка каждый почти день чувствовала особенную истому. Она старалась докончить все какъ можно скорѣе, и тутъ опять могъ случиться „бой посуды“. И ѣсть ей всегда хотѣлось объ эту пору. „Люди“ закусывали послѣ господъ. Настоящій обѣдъ полагался послѣ господскаго завтрака, но тогда у ней не было никакого аппетита, да и то, что готовила кухарка—для себя и для нея—она часто не могла ѣсть. У кухарки вкусъ грубый, она любитъ селянки, да тюри, да студиень, да жаренныя кровяныя колбасы, въ скоромные дни. И соблюдаетъ всѣ посты, ѣсть постное и по средамъ, и по пятницамъ. У Аннушки желудокъ—деликатный, хотя и кажется, что здоровье такъ и пышетъ у ней изъ всѣхъ поръ. Многого она не могла ѣсть, а отъ постнаго масла ее всегда мутить. Изъ-за этого у ней съ кухаркой постоянныя стычки. Кухарка безпрестанно коритъ ее тѣмъ, что она и того не терпитъ, и этого въ ротъ не беретъ, и третьяго „на духъ не пускаетъ“. Отъ барыни полагалось на ѣду ихъ обѣихъ и третьей, швеи, — уходившей послѣ господскаго обѣда,—всего семьдесятъ копеекъ. Хорошо еще, что швея тоже плохо переносила постное, студиень и селянки, и кухарка должна была уступать большинству голосовъ.

Аннушка настоящимъ образомъ закусывала только остатками отъ господскаго стола. Когда гостей не было — эти остатки скудны: барышня, барыня, гимназистъ много ѣли. Да и когда гости были, очень-то не оставалось, и то надо прямо все кухаркѣ нести, отъ нея „клянчить“. Она сваливала на барыню, которая требовала, чтобы изъ оставшагося мяса или телятины, или жареной живности дѣлать на другой день, къ завтраку, „рагу“. На эти „рагу“ Аннушка въ правѣ была смотрѣть, какъ на своихъ личныхъ враговъ.

Только что она прибрала столовую и хотѣла идти въ кухню закусить, какъ ее окликнулъ голосъ барина, растворившаго дверь изъ кабинета, гдѣ онъ уже сидѣлъ съ гостемъ.

— Подайте чистое полотенце, — ласково сказалъ онъ ей, — и умыться Ивану Павлычу.

Иваномъ Павлычемъ звали пріѣзжаго пріятеля. Умывальный мраморный столъ помѣщался въ темной уборной,

въ закоулкѣ коридора. Аннушка достала полотенце, освѣтила уборную и приготовилась подать гостю умыться: держала въ правой рукѣ огромный умывальникъ изъ тяжелаго англійскаго фаянса, мохнатое полотенце—въ лѣвой рукѣ.

Гость вкатился въ уборную точно шаръ, снялъ съ себя сначала фракъ, засучилъ рукава, подмигнувъ дѣвушкѣ, щелкнулъ себя по лысинѣ ладонью и нагнулъ голову надъ лоханью:

— Вы, душечка, полейте мнѣ на самую маковку.

— Хорошо-съ,—почти съ неудовольствіемъ сказала она.

— Васъ какъ звать... Аннушка?—спросилъ онъ.

— Аннушка.

— А напеньку вашего какъ величали?

Вопросъ этотъ онъ задалъ изъ простого балагурства и жеполюбія: горничная настраивала его въ игривомъ духѣ.

Рука Аннушки слегка дрогнула: она уже поливала водой лысину гостя. Когда онъ поднялъ голову и мокрымъ лицомъ, съ полузакрытыми глазами, обернулся въ ея сторону, она выговорила:

— Я—питомка.

— А-а! — протянулъ гость, и глаза его стали еще игривѣе.

Это „а-а“ отзывалось у дѣвушки внутри, и уже не въ первый разъ. Всегда почти ей, послѣ ея словъ „я—питомка“, приводилось выслушать такое: „а-а“, или болѣе безцеремонное: „вотъ что“, и съ ней тотчасъ послѣ того начинали говорить совсѣмъ другимъ тономъ. Даже и такіе господа, кто поделикатнѣе и подобрѣе, кто точно жалѣлъ ее, глазами или звукомъ голоса все-таки выказывали ей, какъ будто, что на ней есть особенное пятно, что она не такая, какъ всѣ другія.

Гость громко фыркнулъ и потеръ себя обѣими ладонями по лысинѣ; она блестяла отъ свѣчи, стоявшей тутъ же, около умывальнаго стола.

Онъ опять обернулъ свое красное лицо къ горничной.

— Соболаговолите-ка на руки,—сказалъ онъ еще игривѣе и взялъ кусокъ мыла.—Стало, изъ воспитательнаго? Небось, въ деревнѣ воспитывались, на лонѣ природы?

Эти выраженія продолжали волновать Аннушку. Если бы отъ волненія и усталости службы за обѣдомъ щеки ея такъ не рдѣли—она бы покраснѣла сразу.

— Въ деревнѣ жила,—выговорила она и отвернула голову къ двери.

Гость могъ полюбоваться ея профилемъ, шеей, выходящей изъ стоячаго воротника ея голубого лифа, контуромъ ея головы съ высокой прической и всѣмъ ея бюстомъ.

— Плохо, небось, кормили?—спросилъ онъ, когда принималъ изъ рукъ ея мохнатое полотенце.

— Теперь ужъ забыла, сударь,—сказала она совсѣмъ не своимъ обыкновеннымъ голосомъ. И слово „сударь“ она почти никогда не употребляла.

— А родители-то у васъ, должно-быть, не изъ простыхъ были?—съ подмигиваніемъ замѣтилъ гость, утирая себѣ щеки.

Если бъ его глаза не были закрыты полотенцемъ, онъ могъ бы схватить въ измѣнившихся чертахъ горничной выраженіе нервной горечи. Ея ротъ передернуло на особый ладъ. Она поставила на мраморную доску умывальникъ и отошла къ двери.

— Полотенце... вотъ тутъ вѣшается.

Она указала на деревянные пальцы для развѣшиванія полотенцевъ.

Тонъ ея словъ показалъ, что балагурить она не желаетъ. Но гость, должно-быть, не обратилъ на это вниманія. Онъ продолжалъ вытирать себѣ голову за ушами и подъ подбородкомъ и самъ мелкими шажками подошелъ къ горничной.

— Хорошо-съ, милая, хорошо,—говорилъ онъ и поглядывалъ на нее своими глазками, гдѣ, послѣ того, какъ она назвала себя „питомкой“, явились искорки въ зрачкахъ.

Вѣроятно, ему уже представилась возможность особенно легко и удобно „пріударить“ за этой петербургской субреткой изъ „питомокъ“, у которой такая роскошная фигура и что-то въ лицѣ есть „несомнѣнно породистое“.

— Отлучаетесь рѣдко?—сказалъ онъ потише.

— Куда?—спросила Анпушка разсѣянно и небрежно.

— Господа отпускають?

Этотъ вопросъ она поняла въ такомъ именно смыслѣ, въ какомъ задать его гость. Она даже ничего ему не отвѣтила, а, принужденно улыбнувшись, понятилась къ дверкѣ и скрылась.

Черезъ коридоръ она скорыми шагами прошла мимо

кухни въ свою комнату—такую же узкую, какъ уборная, только съ окномъ. Ей такъ стало гадко отъ этого гостя и его разспросовъ, что она забыла о своемъ голодѣ, объ остаткахъ обѣда. Ей захотѣлось поскорѣе остаться одной, у себя, до того часа, когда надо опять накрывать на столъ, тащить самоваръ, готовить чайную посуду, доставать сухари и печенье, варенье и лимонъ. Да и до того еще разъ пять-десять зазвенять въ электрической звонокъ, особенно если господа сидятъ играть въ карты.

III.

Въ своей комнатѣ Аннушка прилегла на кровать. Тамъ горѣла и немного чадила низенькая стеклянная лампочка. Кромѣ кровати, стоялъ комодъ съ зеркаломъ, покрытый цвѣтной салфеткой. Платья и пальто висѣли въ углу, подъ ситцевой простыней. Она держала комнатку чисто и жаловалась только на темноту: окно упиралось прямо въ стѣну. Когда она поступила къ новымъ господамъ, барыня поставила ей на видъ, что вотъ у ней будетъ „особенная комната“. Тутъ же шила и суточная мастерица, уходившая къ обѣду господъ, что начинало очень стѣснять Аннушку.

Шелъ уже двѣнадцатый часъ. Никого не было дома, кромѣ мальчика-гимназиста и кухарки. Баринъ уѣхалъ въ клубъ, барыня съ барышнями къ роднымъ, запросто... Гимназистъ, послѣ чая,—онъ пилъ одинъ,—поготовилъ часа два уроки и легъ спать. Кухарка тоже спитъ. Но Аннушка не раздѣвается. Надо ждать господъ. Сначала вернутся барыня съ барышнями; поздное, часамъ къ тремъ—баринъ. Раздѣваться нельзя до трехъ.

Работать ей не хочется, надоѣло при лампѣ. Она боится, что у ней будутъ болѣть глаза. Да и не можетъ она, какъ другія, разгонять мысли работой. Машинка тутъ стоитъ у окна. Она еще плохо съ ней умѣетъ обращаться... А мысли уже такъ и рѣютъ въ головѣ.

Тотъ, пріѣзжій баринъ, сегодняшній гость, разстроилъ ее своими вопросами. Каждый разъ, какъ она выпущена выговорить: „я—питомка“, въ груди у нея заноетъ, и на весь вечеръ она уже не можетъ стряхнуть съ себя особеннаго душевнаго настроенія.

Вопросъ этого гостя,—какъ звали „ея пашеньку“,—всколыхнулъ въ ней то самое, отъ чего она не въ силахъ отдѣлаться—ся вѣчную обиду.

Отчего она „питомка“? Она знаетъ, что у ней отецъ—баринъ, и большой баринъ, богатый, титулованный. Будь она простого рода, подкидывъ какой-нибудь кухарки, судомойки или уличной потаскушки, ее не взяли бы изъ воспитательнаго, не отдали бы въ пріютъ, и не стала бы она получать, по два раза въ годъ, родъ пенсіи. Но кто ея отецъ? Тотъ ли баринъ, къ которому ее водили послѣ того, какъ она изъ пріюта вышла, или другой какой? У того она два раза была. Онъ, по лѣтамъ, можетъ быть ей отцомъ, ему не больше пятидесяти, рослый и румяный; въ глазахъ у него что-то есть похожее на ея глаза; ей сдавалось, въ послѣдній разъ, какъ она его видѣла, что и голоса у нихъ схожи. Она подходила къ нему, къ ручкѣ, онъ ее трепалъ по плечу и за подбородокъ бралъ. Глаза у него ласково глядѣли на нее.

Но если этотъ князь, въ самомъ дѣлѣ, ея отецъ, то какъ же могъ онъ оставить ее въ горничныхъ, когда она „его кровь“?!... Этого она никогда не могла ему простить, да и теперь не прощаетъ. Съ тѣхъ поръ не извѣстно, гдѣ этотъ князь, принимавшій участіе въ ея судьбѣ. Кажется, за границей живетъ; ей пенсію—по пятидесяти рублей въ полгода—выдаютъ изъ домовой конторы. Разъ навсегда это положено. И никогда она не слыхала ни отъ кого, кто могла быть ея мать... Изъ простого званія или барышня? Аннушка давно ужъ убѣдилась въ томъ, что и мать ея была дворянка, красавица, или дѣвица, согрѣшившая тайно, или молодая вдова—и непременно красавица... Почему вдова не воспитала ее, хоть и тайно, а отослала въ воспитательный—на такой вопросъ Аннушка не находила пужнымъ отвѣчать. Чаще всего она считала себя дочерью барышни, знатной, которая должна была скрыть свой грѣхъ. Потомъ эта барышня умерла. Живи она—ей бы не бывать въ пріютѣ, а отдали бы ее въ пансіонъ. Въ пріютѣ надзирательница не любила ее, бранила лѣптяйкой и безпрестанно тыкала ей въ глаза то, что она должна быть смиренѣ всѣхъ остальныхъ дѣвочекъ. И она понимала—почему. Отъ женщинъ вообще она не знала ласки. И та солдатка, что держала ее въ деревнѣ, на прокормленіи, часто вмѣсто груди давала ей скверную соску, а то такъ просто жеваныхъ пряниковъ или толочна. Но та, по крайней мѣрѣ, по-своему любила ее, сокрушалась, когда у „Анютки“ была корь, плакала, когда должна была сдавать ее на другія руки. Объ этой глуп-

поватой и рябой Матренѣ Аннушка долго помнила, знала, что у ней есть и молочный братъ въ солдатахъ; не отыскивала его, и если бѣ онъ пришелъ, быть-можетъ, почувствовала бы еще сильнѣе обиду своего происхожденія.

Сегодня у барышень, когда онѣ позвали ее къ себѣ, помочь имъ одѣться, она, глядя на ихъ плоскія груди и востлывшія спины, съ особенной горечью чувствовала свое превосходство. Чтѣ въ нихъ есть такого, господскаго? Съ какого права онѣ важничаютъ и „ехидничаютъ“? Не будь у нихъ законнаго отца-афериста, съ порядочнымъ чиномъ, какая имъ дѣла? Не обучи ихъ языкамъ да музыкѣ, онѣ себѣ и мѣста на пять рублей не нашли бы.

И только одно утѣшало Аннушку и злобно радовало ее: никто ихъ никогда не полюбитъ и не присватается по доброй волѣ; ни одинъ мужчина. А она—будь она на мѣстѣ старшей, давно бы стояла уже подѣ вѣнцомъ.

Подѣ вѣнецъ и ее типеть. И у ней есть предметъ. Разумѣется не офицеръ, и не крупный чиновникъ, и даже не купецъ. Что жѣ за нужда, что онъ унтеръ-офицерскую форму носить?! Ныпче всѣ должны быть солдатами, будь ты хоть княжій сынъ—вольноопредѣляющимся зовешься, а все такой же солдатъ.

Аннушка зажмурила глаза нарочно, чтобъ ей яснѣе представился ея Алеша: его смуглый овалъ съ пышными губами и усами, закрученными по-офиперски, и низко лежащей на лбу кудрявой „чолкой“. И глаза его ей сейчас же представятся „какъ живые“—глаза съ крапинками въ зрачкѣ, то совсѣмъ темные, то освѣтлѣе, такъ что она до сихъ поръ не знаетъ—какіе они у него: темпосѣрые или синіе. Мундиръ гвардейскаго сапера, даже и солдатская шинель сидятъ на немъ точно онъ изъ благородныхъ. Да и долженъ онъ быть не простаго званія. И онъ изъ незаконныхъ дѣтей. Только въ воспитательный его не сунули, а такъ держали въ чужихъ людяхъ; хорошо еще, что кое-чему выучили, и онъ, еще до службы, мѣсто получилъ.

Въ тотъ день, когда она поступила къ этимъ господамъ, Аннушка услышала отъ барыни:

— Первое условіе—никакихъ мужчинъ къ себѣ не приниматьъ.

— И родныхъ?—заикнулась было Аннушка.

— У васъ родныхъ быть не можетъ. Если вы хоть

разъ не исполните моего запрещенія, то будете сейчас же разсчитаны.

Тогда она согласилась. Алеша еще не былъ для нея тѣмъ, чѣмъ теперь сталъ. Въ какихъ-нибудь три недѣли—и можетъ совсѣмъ чужой мужчина такъ притянуть къ себѣ!.. Еще недавно она отыгрывалась отъ мужчинъ—и пожилыхъ господъ, и подростковъ-барчуковъ, и офицеровъ, и лакеевъ:—кто только не дѣлалъ ей глазокъ и не порывался взять за талію!.. Она всѣхъ одинаково „отваживала“—одного шуткой, другого окрикомъ, третьяго полнымъ пренебреженіемъ... А тутъ что-то совсѣмъ иное захватило. Вѣрно судьбы своей не миновать...

Барынинъ запретъ сдерживалъ ее первыя двѣ недѣли. Она уходила раза два со двора, поблизости, на скверъ Пушкинской улицы, безъ спросу; да одинъ разъ отпрашивалась послѣ обѣда до вечерняго чая; выбѣгала подъ ворота раза два. Алеша требуетъ ночнаго свиданія, или, по крайней мѣрѣ, хоть разговора „какъ слѣдуетъ“, если нельзя на сторонѣ, то у ней въ комнатѣ.

Ей надо ладить съ кухаркой. Она ей подарила платокъ и фунтъ кофею. Та стала помягче; но съ ея сварливымъ правомъ трудно разсчитывать на что-нибудь вѣрное. Кухарка какая-то точно порченая—сейчасъ обидится и донесетъ, а то такъ и просто не пуститъ черезъ кухню посторонняго мужчину, да еще молодого унтеръ-офицера. Въ кухнѣ принимать его Аннушкѣ самой не хочется; у себя въ комнатѣ можно только или утромъ, до господскаго завтрака, или послѣ обѣда, когда швея уйдетъ: правда, она ипой день и не приходитъ; но разсчитать вѣрно нельзя. Алеша на службѣ, и отпускъ у него не каждый день.

Съ закрытыми глазами Аннушка лежитъ и на губахъ ея—поцѣлуй Алеши. Онъ поцѣловалъ ее такъ быстро, что она и не взвѣдѣлась, когда они сидѣли на скамейкѣ сквера и только что стало смеркаться. Нѣтъ, принять почью—нечего и думать! Даже если бѣ подкупить кухарку—все-таки опасно. Опасно для нея... Она—дѣвушка, она хочетъ быть его женой и жить съ нимъ въ законномъ бракѣ. Но отчего же не принять его въ дообѣденный часъ, заручившись тѣмъ, что швея въ этотъ день работать не будетъ или попроситъ ее уйти въ комнату барышень? Только бы господъ никого не было... Чтобы она этого не добилась—быть не можетъ!

Аннушка задремала, улыбаясь. Трескъ звонка заставил ее вскочить: господа вернулись.

IV.

Въ домѣ опять никого нѣтъ изъ господъ. Всѣ уѣхали въ театръ. Въ комнаткѣ Аннушки за столикомъ, съ котораго спята и поставлена на полъ ручная швейная машина, сидитъ она и ея женихъ. Она такъ уже зоветъ своего Алешу, но только про себя, или развѣ въ разговорахъ съ кухаркой.

Этотъ „женихъ“ — красивый брюнетъ смуглаго лица, нѣсколько худощаваго въ щекахъ. Хрищеватый тонкій носъ и закрученные вверхъ усы его выставляются изъ полутемноты. Онъ сидитъ между столикомъ и комодомъ, курить папиросу, небрежно пьетъ чай. Аннушка должна была подкупить кухарку, сдѣлать ей подарокъ дорожке того, какъ рассчитывала, чтобы пригласить Алешу къ себѣ, не днемъ, а вечеромъ, хоть и не очень поздно. Она могла бы уйти со двора и до приѣзда господъ быть дома, но побоялась назначать свиданіе Алешѣ на сторонѣ, гдѣ-нибудь въ гостиницѣ.

Онъ ей сильно нравится. Что-то въ немъ влечетъ къ нему—общее, точно родственное, и только еще больше волнуетъ ея кровь. Кромѣ наружности, и разговоръ его ей чрезвычайно нравится: ее не обижаетъ то, что онъ умѣе ея, учился „почти какъ въ гимназін“—и по манерамъ ей не уступаетъ. Вотъ онъ и теперь сидитъ, въ своемъ унтеръ-офицерскомъ кафтанѣ съ галуномъ на воротникѣ, изъ-подъ котораго выставляется бѣлый ободокъ воротничка крахмальной рубашки. Такую голову не стыдно имѣть и офицеру въ самомъ первомъ полку. Аннушка гордится имъ, и ей горько, что такой красавецъ и такая умница—долженъ быть „въ низкомъ званіи“ оттого только, что онъ родился незаконнымъ сыномъ.

У себя она его не такъ сильно боится. Ей даже пріятно, что кухарка дома и что-то чинить за перегородкой кухни: наискосокъ дверь къ ней притворена. Такъ гораздо безопаснѣе.

Они—на „ты“ уже вторую педѣлю. Это „ты“ немного успокоило Аннушку. У ней уже не бьется сердце каждый разъ, какъ онъ взглянетъ на нее и улыбнется своими красными, точно вишни, пухловатыми губами и немножко поведетъ правымъ крыломъ носа. Ей съ нимъ легче, ми-



нутами совѣтъ легко, и она давно бы подошла, схватила его за курчавую голову, расцѣловала, если бъ не боялась, что онъ этимъ воспользуется, или скажетъ что-нибудь не такое... не въ отвѣтъ на ея чувство. Опъ уже подговаривался, чтобъ она его пустила къ себѣ попозднѣе; но у Аннушки достало духу сказать:

— Ну, ужъ это, Алексѣй Петровичъ,—однѣ глупости!

Когда онъ пришелъ сегодня, черезъ кухню, она сначала посидѣла съ нимъ тамъ и кухаркѣ назвала его еще разъ женихомъ и минутъ черезъ десять, когда самоваръ былъ готовъ, перешла съ нимъ къ себѣ. Сдѣлала она это очень просто, точно онъ ея братъ, даже не очень краснѣла. На ней былъ все тотъ же голубой лифъ, но съ другой юбкой; кушакъ она надѣла, подаренный ей лѣтомъ, изъ темно-малиновой, матовой кожи, заграничный. Онъ удачно пришелся, по цвѣту, къ голубому лифу. Въ волосы она воткнула бронзовую шпильку. Больше ей не хотѣлось рядиться, да и господа замѣтили бы.

Одно ее немножко мозжитъ: они въ зависимости отъ этой вздорной женщины—кухарки. Та ежеминутно можетъ выдать ея тайну.

— Еще не хочешь стаканчикъ?—спросила Аннушка и взглянула на сапера черезъ самоваръ.

— Не суть важно. Выпью и еще.

Онъ закурилъ новую папиросу и быстро сплюнулъ въ уголь. Такой привычки она не могла бы одобрить ни въ комъ другомъ; но Алеша даже и это дѣлалъ изящно и почти незамѣтно.

Аннушкѣ ужасно хотѣлось заговорить о своемъ чувствѣ и навести Алешу на то: думаетъ ли онъ серьезно о вѣнцѣ.

Онъ всталъ, подсѣлъ къ ней ближе, на постель, и вдругъ спросилъ:

— А Саринъ-то къ тебѣ приволакивается?

— Глупости какія!

— Однако?

— Ты что же, Алеша, ревновать что ли хочешь?

Глаза ея ласкали его и весело улыбались.

— Вѣдь ты сказывала,—продолжалъ Алеша,—барина-то теперь тужурка его бросила.

— Какъ ты назвала?—переспросила Аннушка.

— Тужурка... значить, которую на содержаніи имѣлъ.

— Бросила.

— Вот онъ и сталъ на тебя облизываться... И какая это сволочь, эти разжирѣлые жуиры изъ благородныхъ господъ,—выговорилъ онъ съ силой и опять быстро сплюнулъ. — Можно ли къ нимъ чувства имѣть какія-нибудь человѣческія?

— Да, нечего сказать!

Онъ попадалъ прямо на то, что въ ней каждый день поднималось внутри. И поблѣднѣвшее лицо, острый взглядъ его красивыхъ глазъ получаютъ совсѣмъ особое выраженіе. Ей сначала становится жутко и тотчасъ же пріятно. Недаромъ онъ такъ привлекъ ее къ себѣ: никто лучше не понимаетъ, какъ они съ нимъ обижены передъ богатыми, передъ тѣми, что „съ жиру бѣсятся“.

— Сволочь!—повторилъ Алеша.

Ругательное слово звучало для нея и красиво, и сильно, и злобно.

Онъ уже не въ первый разъ говоритъ о „господахъ“. Аннушка отъ него только слышала эти, по ея мнѣнію, умнѣйшія слова. Саперъ уже доказывалъ, что имъ съ ней никакъ нельзя смотрѣть на всѣхъ этихъ „аспидовъ“ и „пакостниковъ“ по-христіански. Надо держать камень за пазухой, надо всякими средствами карабкаться, чтобы сѣсть на ихъ мѣсто. А если этого никакъ добиться нельзя, то себя всячески ограждать, „зубъ за зубъ“ съ ними быть.

Аннушка слушаетъ его и думаетъ:

„Съ такимъ мужемъ проживешь не хуже, чѣмъ барыней. Ужъ онъ выйдетъ въ люди, пробьется, изъ нея сдѣлаетъ что-нибудь, заведеніе ей откроетъ: она же вкусъ имѣетъ и въ мадамахъ расцвѣла бы, какъ пава“.

Но не изъ интереса мечтаетъ она о „вѣнцѣ“ съ Алейшей. Все въ немъ влечетъ ее, и бросаетъ въ краску, и на сердцѣ вызываетъ сладкую истому.

Она взяла его за руку и хотѣла приложить къ своей груди, противъ сердца, да застыдилась.

Она не сумѣла бы выразить такъ значительно то, что сейчасъ говорилъ онъ, да и кому же бы она стала говорить—кухаркѣ? Та только глазами хлопаетъ да зѣваетъ, если не дуется на нее. Господами и кухарка часто недовольна, даже плюется и ворчитъ вслухъ; но для нея есть „хорошіе“ господа и „сквалыги“, то-есть такіе, что не требуютъ отчета въ каждой копейкѣ и позволяютъ воровать, или тѣ, что „суютъ носъ во всякую дрянъ, прости

Господи". Но она не способна была всѣхъ господъ, огуломъ, считать „сволочью“, потому только, что они „разжирѣлые жуиры“, какъ сейчасъ вотъ такъ „шикарно“, по ея мнѣнью, выразился Алеша.

Саперъ, видимо, попалъ на свою зарубку. Онъ сталъ говорить все въ томъ же духѣ, голосъ его дѣлался глуше, ротъ поводила презрительная усмѣшка. Аннушка слушала его съ низко опущенной головой. Ея лицо становилось напряженнымъ и глаза потемнѣли. Она перебирала, внутри себя, всѣ свои обиды, заброшенность питомки, плохое житіе у кормилицы, пріютъ, князя, не пожелавшаго признать ее „своей дочерью“. И въ эту минуту она еще сильнѣе была убѣждена въ томъ, что она его дочь. Онъ могъ бы признать ее, усыновить, сдѣлать княжной... Развѣ она бы выносила лаханки послѣ такихъ „паршивокъ“, какъ ея теперешніи барышни?

— И вотъ хоть бы меня взять, — слышался ей голосъ Алеши, — нешто мои родители захотѣли вникнуть въ то, каково мнѣ будетъ весь свой вѣкъ попрыгивать? Точно съ клеймомъ на лбу! Прежде, когда въ рекруты брали — такъ сейчасъ: лобъ! И на насъ съ тобой, Анюта, такое же лежитъ отличіе. И всю-то жизнь надо его носить. И никакого дѣла, никакого себѣ счастья нельзя устроить, самого такого, что мужику сиволапому, и то сподручнѣе.

Она подняла голову, поняла, что тутъ есть какой-то намекъ. Не на ихъ ли любовь и свадьбу?

— Алеша, — чуть слышно выговорила она, — много ли намъ съ тобой нужно?.. Проживемъ — была бы только любовь. Ты скоро изъ службы выйдешь... Можно заведенъице открыть, у меня пенсія есть... А?

Съ тревогой въ глазахъ поглядѣла она на него, опять черезъ самоваръ, и протянула руку.

Онъ всталъ, весь выпрямился, крикнулъ и бросилъ на полъ окурокъ.

— Въ томъ-то и дѣло, что намъ съ тобой и этого дѣлать не слѣдуетъ... нельзя. Мы — пролетаріи.

Это слово онъ при ней выговорилъ впервые. Она не совсѣмъ понимала его смыслъ, но почувствовала, что это что-нибудь самое унижительное для людей ихъ положенія.

— Почему нельзя? — съ дрожью въ голосѣ спросила она и тоже встала.

— Видимое дѣло! Какая у насъ гарантія?

„Гарантия“ Аннушка поняла, только не увидела тотчас же, почему нужно было употребить именно это слово.

— Нищихъ разводить? Надѣвать на себя ярмо?

Ей не хотѣлось съ нимъ соглашаться. Какое же „ярмо“? Могли бы и дѣтокъ воспитать. Много не надо, а двоихъ бы очень и очень вытянули и поставили на ноги.

Саперъ трихнулъ головой, повернулся на каблукъ, присѣлъ снова на кровать, нагнулся всѣмъ корпусомъ и обнялъ ее за талию.

— Ты, чай, не за одно то меня полюбила,—шопотомъ заговорилъ онъ,—что замужъ мечтаешь выйти... Такъ-то, Анюта?

Его губы потянулись къ ней. Она начала блѣднѣть отъ волненія и прильнула къ нему щекой.

Въ тихой комнатѣ раздался звукъ поцѣлуя. Изъ кухни доходило тиканье маленькихъ стѣнныхъ часовъ. Кухарка задремала-было, вдругъ проснулась и стала прислушиваться.

„Шепчутся,“—про себя сказала она.

Новый звукъ поцѣлуя заставилъ кухарку брезгливо повести ртомъ. Она потушила свѣчку и залегла спать, не раздѣваясь. Ей какое дѣло! Подарокъ Аннушка сдѣлала „не Богъ знаетъ какой“. А если барыня „спаетъ“—ей какая печаль. Всегда можно отговориться... „провела, молъ, тайкомъ, когда я заснула за перегородкой“.

Но ей и теперь казалось, что это—неладно, часъ уже поздній. Аннушка говорила, что ея „женихъ“ посидитъ всего „съ часокъ“, а они тамъ шушукуются уже больше двухъ часовъ. Вонъ—цѣлуются...

Кухарка гадливо потянулась въ темнотѣ. Она была пожилая дѣвушка, и если имѣла въ молодости любовныя связи, то ужъ очень давно. Теперь у ней сразу и сонъ отрѣзало. Ворочается и не можетъ заснуть. И разжигаетъ ее внутри все сильнѣе и сильнѣе. Она не вытерпѣла, встала, зажгла опять свѣчу, потому подошла къ двери въ коридоръ и вполголоса окликнула:

— Анна!

Въ комнатѣ продолжали цѣловаться.

— Анна!—повторила кухарка раздраженнѣе.—Пора вашему гостю и домой. Господа скоро будутъ.

Поцѣлуи смолкли.

— Хорошо!—откликнулась нехотя Аннушка.

И сейчасъ же они довольно громко заговорили съ Алешей.

„Нечего! — ворчливо подумала кухарка и зашлепала стоптанными туфлями по коридору.

Минуть черезъ десять саперъ, уже въ шинели и шапкѣ, поскрипываль сапогами, пробираясь за Аннушкой черезъ кухню. Она ему свѣтила лампочкой. Оба они молчали до самой выходной двери. Тамъ они подержали другъ друга за руки; но поцѣлуя не было.

— Когда придешь? — шепнула она.

Онъ ей что-то сказалъ на ухо. Аннушка покачала головой.

— Нѣтъ, нѣтъ, милый... Лучше сюда.

Онъ кивнулъ на перегородку.

— Ничего, — успокоила она его, — какое ей дѣло?

Послѣднія три слова были сказаны чуть слышно; однако кухарка ихъ схватила, и ее всю передернуло.

„Ладно! — думала она. — Я тебѣ, матушка, покажу, какое мнѣ дѣло, коли на то пошло!“

Дверь за саперомъ заперла Аннушка на крюкъ и торопливой походкой пошла обратно черезъ кухню.

— Анна! — раздался глухой и хмурый голосъ кухарки. — Ты ужъ лучше бы на волѣ своими шахеръ-махерами занималась.

— Что такое? — спросила звонко Аннушка и вся вспыхнула.

— Да то! Ровно я безъ ушей! Слышала, матушка!

Нестерпимо обидно сдѣлалось Аннушкѣ. Какъ смѣетъ эта „гарсія“ дѣлать такіе грязные намеки? Ну, поцѣловалъ ее Алеша, и она его — это правда; но и только! Она затѣмъ его и пригласила къ себѣ, чтобъ все было „честно-благородно“.

— Съ какой это стати вы такіа мерзости мнѣ говорите? — вспылила она.

— Ла-а-дно, — въ носъ протянула кухарка. — Я тебѣ не надзирательница досталась; только падо и честь знать; изъ-за тебя я, сударушка, въ отвѣтъ передъ господами не намѣрена попадать.

Кухарка окончательно задумала свѣчу и стала раздѣваться въпотмахъ.

— Совсѣмъ напрасно! — кинула ей Аннушка, сдерживая свое сердце, и немного хлопнула дверью.

„Выдастъ!“ — мелькнуло в ней въ головѣ, когда она заперлась.

V.

Барыня рѣшила, про себя, не держать Аннушку дольше слѣдующаго мѣсяца. Она разочла бы ее и теперь; но до конца мѣсяца остается всего девять дней. Надо было предупредить за недѣлю, — такъ дѣлается за границей; такъ и она поступила — не изъ доброты, а чтобы „не было никакихъ глупыхъ сценъ“.

Разсѣянность горничной, ея запаздыванія въ услугахъ, битье посуды усилились. Раза два на нее давали рѣзкіе окрики — она „губила“, по выраженію барыни и барышень, т. е. отвѣчала на каждый окрикъ въ обиженномъ тонѣ.

— Она невыносима!—говорили всѣ три.

И баринѣ очень было непріятно, что ея мужъ постоянно защищаетъ Аннушку, даже при дѣтяхъ, въ особенности за столомъ. Въ послѣдній разъ, дѣло дошло до того, что она должна была сказать при дѣтяхъ же:

— *Cette fille est tout bonnement scandaleuse!*

И при этомъ такъ поглядѣла на него, что онъ началъ краснѣть. Наканунѣ, проходя по коридору, мимо двери въ кабинетъ, она увидѣла, въ полуотворенную дверь, голубой лифъ (отъ этого голубого лифа просто поводило ее всю); Аннушка стояла передъ кушеткой, на которой лежалъ баринъ и бралъ съ подноса стаканъ. Показалось баринѣ, что мужъ ея поднялъ голову къ бюсту горничной и рукой управлялъ кружевца.

Оно дѣйствительно такъ и было. И Аннушка снисходительно улыбалась, когда баринъ пошалилъ съ ней. На нее послѣднее свиданіе съ Алешей, его разговоръ о „пролетаріяхъ“, о невозможности порядочнаго брака между такими „клеймѣнными“, какъ онъ да она, навели особый „стихъ“—такъ она назвала свое настроеніе. Она и раньше замѣчала, что баринъ къ ней льнетъ; теперь его заигрыванія — правда, довольно деликатныя, но уже совсѣмъ прозрачныя—не возмущали ее, какъ прежде.

„Ну и пускай,—думала она, когда пухлая рука барина въ перстняхъ „пошутила“ съ кружевцами ея лифа,—и пускай влюбляется въ меня... Такъ и надо!“

Въ этомъ „такъ и надо“ было желаніе насолить баринѣ и ея „криворотымъ“, сознаніе того, что она красивѣе и привлекательнѣе ихъ, и если бъ хотѣла, сдѣла-

лась бы „тужуркой“ барина; но она честная, и этого не будетъ.

Каждый день баринъ находилъ предлогъ остаться съ ней съ-глазу-на-глазъ, позвать ее въ кабинетъ или остановить въ коридорѣ.

„Пускай его“, — продолжала думать Аннушка, и когда баринъ наткнулся на нихъ — и не просто — въ передней, гдѣ баринъ съ ней балагурилъ, ей доставило большое удовольствіе кисло-недоумѣвающее вытягиваніе губъ этой покинутой жены.

Она стала догадываться, что ее скоро „протурятъ“. Можно было бы пожаловаться барину, но ей самой не хотѣлось оставаться тутъ; только обидно будетъ, если ее разочтутъ такъ, „здорово-живешь“. Намекнула она объ этомъ въ одно изъ дообѣденныхъ балагурствъ барина, въ видѣ вопроса: „Доволенъ ли онъ ей?“ Онъ сказалъ: „Очень доволенъ“, и поглядѣлъ на нее пристально: „во мнѣ, дескать, вы всегда найдете поддержку“.

Посоветовалась она съ Алешей. Они видѣлись съ нимъ на улицѣ. Никуда она съ нимъ заходить не хотѣла: въ эти дни она всего сильнѣе боялась его. Алеша ей сказалъ, что онъ ее къ барину не ревнуетъ, что „къ этой сволочи“ надо совсѣмъ по-другому относиться и ихъ „эксплуатировать“. Слово эксплуатировать ей очень понравилось.

— А если онъ мнѣ что-нибудь посулитъ, — спросила Аннушка, — подарочекъ какой или что?

Ей было совсѣмъ будто и не стыдно дѣлать такой вопросъ. Они разговаривали, какъ два пріятеля, дѣйствующихъ сообща противъ враговъ своихъ.

— Возьми, разумѣется! — сказалъ Алеша и презрительно сплюнулъ.

Они стояли на углу противъ Пушкинскаго сквера, въ сумерки, и статуя виднѣлась имъ сбоку и немного какъ бы пугала Аннушку.

— Взять? — переспросила она.

— Обязательно!

— Да вѣдь онъ потомъ приставать будетъ? — выговорила она и повернула вбокъ голову.

— Велика важность!

Но ей все-таки показалось, что Алеша разсуждаетъ „правильно“, хотя и не слѣдовало ему говорить послѣднихъ словъ: „велика важность“.

Она вернулась домой не съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ пошла на свиданіе. Противъ господъ — „вообще“ — она была настроена уже безъ всякаго снисхожденія... Алеша правъ — они эксплуатируютъ, они сволочь, — употребляла она мысленно его бранное слово. По дорогѣ она даже начала мечтать о томъ, какъ выйдетъ замужъ за Алешу, а барина заставить достать ему хорошее мѣсто, хотя бы артельщика въ какой-нибудь конторѣ, и залогъ за него внести.

И ей казалось тогда, что все это обойдется „честно-благородно“, что дѣло не пойдетъ дальше балагурства или маленькихъ прикосновеній.

„Велика важность! — повторила она тѣ самыя слова Алеши, которые ее покоробили сначала, когда начала она подниматься по черной лѣстницѣ. — Ну, поцѣлуетъ, ну, прижметъ, отъ этого меня не убудетъ!“

Бѣгала она въ надеждѣ, что барыня ея не хватится. Она просила кухарку „сказать — на случай чего“, что Аннушка пошла за нитками въ суровскую лавочку.

Дверь была заперта изнутри. Это ей показалось нехорошимъ признакомъ. Она позвонила. Ей не сразу отперли. Кухарка встрѣтила ее съ краснымъ и сердитымъ лицомъ. Въ рукахъ держала она деревянную ложку.

— Барыня спрашивала.

— Хватилась?

— А то какъ же? — рѣзко отвѣтила кухарка и стала тотчасъ же мѣшать въ кастрюлѣ.

— Ты что же сказала?

Кухарка не отвѣчала на этотъ вопросъ.

— Въ лавочку, молъ, пошла, — подсказала ей Аннушка, порывисто дыша и останавливаясь у дверей въ коридоръ.

На ней была шубка „по талѣ“ и шляпка съ бантомъ въ видѣ большой бабочки. Щеки рдѣли отъ легкаго октябрьскаго мороза.

— Миѣ какое дѣло тебя выгораживать! — огрызнулась кухарка.

„Выдала, ехидна!“ — хотѣла-было крикнуть Аннушка. Но ей стало „низко“ перекояться съ этой „гадиной“ — и она, даже не хлопнувъ дверью, прошла къ себѣ тихо, сняла шляпку и шубку, неторопливо, и начала передъ зеркаломъ поправлять прическу.

„Ну, и ладно, велика важность!“ — повторяла она про

себя, краснѣя еще больше отъ волненія и отъ душнаго воздуха своей комнатки. Она ждала, что вотъ зазвонятъ, а сама не хотѣла „предъявляться“. Лучше сразу оборвать и самой попросить расчета. Безъ мѣста она не останется. Только надо ей сначала повидаться съ бариномъ. Ничего ей не стѣитъ такъ къ нему подладиться, что онъ ни за что не позволитъ прогнать ее. Да она этого не хочетъ. Опостылѣло ей быть въ услуженіи. Никогда она еще такъ не возмущалась положеніемъ „холопки“.

Волосы она поправила и вышла въ коридоръ, прислушиваясь по направленію кабинета — не дома ли баринъ; хотѣла пройти въ переднюю: поглядѣть — виситъ его пальто съ бобровымъ воротникомъ.

Изъ-за угла ее окликнули. Это была барыня.

По одному взгляду на ея лицо, Аннушка поняла, что кухарка не просто ее выдала, а рассказала про посѣщеніе Алеши.

— Гдѣ вы были?—спросила глухо барыня.

По щекамъ ея пошли красныя пятна.

— Ходила по своей надобности.

— Къ любовнику!—отрѣзала такъ же глухо барыня.

Дочери ее могли слышать; но это ее не останавливало. Теперь она знаетъ черезъ кухарку, что „эта негодница“ принимаетъ къ себѣ, „ночью“, своего возлюбленнаго — солдата! Кухарка рассказала ей также, что сама она спала и только тогда спохватилась, когда солдатъ проходилъ черезъ кухню, домой. Такъ вотъ какова эта „дѣвица“ въ голубомъ лифѣ, за которую горой стоитъ ея мужъ!.. Солдата принимаетъ у себя въ комнатѣ! Надо сейчасъ бы ее выгнать вонъ, и со скандаломъ; но есть барышни, вмѣшается мужъ—непремѣнно; да и эта „мерзкая“ нагрубить, надо будетъ ставить ихъ съ кухаркой на очную ставку; она, конечно, запрется.

Вотъ что было на душѣ у барыни, когда Аннушка догадалась объ измѣнѣ кухарки.

На окрикъ: „къ любовнику!“—она ничего не отвѣтила, только стала замѣтно блѣднѣть, и глаза сверкнули такъ, что барыня немного попятилась къ передней.

— Вы у меня больше не живете, — выговорила она и поглядѣла ей прямо въ глаза, сдѣлавъ надъ собой усиліе.—Послѣ двадцатаго,—прибавила она, спохватившись.

Отдать за недѣлю жалованье она все-таки не хотѣла.

Тутъ на Аннушку налетѣло почти неудержимое жела-

ніе „выложить“ ей, что она сама уходитъ сейчасъ же. Но и она подумала:

„А съ бариномъ повидаться?..“

— Очень хорошо, — небрежно отвѣтила она и повернула назадъ.

— Стойте!.. Выглажены у васъ кружева?

— Какія?—сурово спросила Аннушка.

— Какъ какія!.. Этому имени нѣтъ!

И пошелъ разнось. Барыня уже не считала нужнымъ сдерживать себя и начала браниться, въ первый разъ такъ сильно и разнообразно. Была тутъ „дура“, „дрянь“, „постаскушка“.

Аннушка вдругъ подошла къ ней — носъ къ носу—и, громко переводя дыханіе, почти крикнула:

— Не извольте ругаться!

Барыня не унималась.

— Не извольте ругаться! Я уйду сейчасъ и жаловаться буду.

— Кому?—успѣла спросить барыня.

— Извѣстно кому—мировому.

— Жалуйтесь!

Больше, однако, никакихъ ругательствъ барыня не произносила. Она почти бѣгомъ отправилась въ комнату дѣвицъ, показавшихся—было въ дверяхъ, заперлась съ ними, и пѣлый часъ раздавались негодующіе разговоры, по-французски. Кажется, они требовали, чтобы горничную прогнать сегодня же и даже послать за полиціей; но мать поставила имъ на видъ то, что не могутъ же онѣ остаться безъ прислуги, хотя бы и одинъ день; а тетка обѣщала прислать прекрасную горничную изъ лютеранской конторы.

Аннушка прошла въ свою комнатку, вся блѣдная отъ злобнаго чувства. Если бы она знала—гдѣ найти теперь Алешу, она сейчасъ же бы убѣжала. Что-то такое въ ней точно оборвалось. Она уже не мечтала о замужествѣ, о чистой любви—ее душило, ей надо было сорвать на чемъ-нибудь свою обиду.

VI.

Недѣля, оставшаяся до срока службы Аннушки, доходила.

Опять въ квартирѣ никого. Ушла и кухарка, отпра-силась на свадьбу къ племянницѣ, попросила позволенія

у барыни, коли засидится, переночевать тамъ, гдѣ-то въ Чокушахъ. Барышни уѣхали съ отцомъ въ театръ. Барыня — особенно, къ роднымъ. Мальчика она съ собой взяла.

Въ комнатѣ горничной слышались голоса — тотъ же глуховатый и отрывистый мужской голосъ попеременно со звонкимъ полушопотомъ дѣвушки.

У ней сидѣлъ Алеша.

Въ послѣдніе дни на нее „отчаянность“ напала. Она задумала пустить къ себѣ Алешу, какъ только кухарка отлучится. Ей точно хотѣлось исторіи. И на Алешу она стала совсѣмъ иначе смотрѣть. Въ его любовь она какъ будто перестала вѣрить; только самъ онъ ей все больше и больше нравился. Она была уже почти увѣрена въ томъ, что онъ на ней не женится, что онъ не можетъ на ней жениться, что для такихъ, какъ „онъ да она“, законный бракъ — „ерунда“, — тоже его любимое слово. И все это сваливала она на свое „каторжное“ званіе, во всемъ этомъ видѣла она дѣло все той же „сволочи“, все тѣхъ же господъ, которые больше ничѣмъ не занимаются, какъ пьютъ да ѣдятъ, да по диванамъ валяются, да въ карты играютъ, да по театрамъ ѣздятъ, да „тужурокъ“ имѣютъ.

Съ бариномъ у ней уже было разъ объясненіе, обиняками, однако, довольно-таки понятное. Онъ ее по головѣ погладилъ и за талію взялъ. Если бъ она хотѣла, она довела бы его до болѣе ясныхъ предложеній. Что-то ей говорило: онъ только и ждетъ того дня, когда барыня прогонитъ ее. „Посуловъ“ онъ ей еще не дѣлалъ; но она по его глазамъ видѣла, что онъ готовъ подарить ей сейчасъ же всякую цѣнную вещь.

Еще такъ недавно она боялась остаться одной съ Алешей въ пустой квартирѣ, а теперь поѣхала бы съ нимъ куда угодно, и если пригласила къ себѣ, такъ сдѣлала это нарочно.

Лампочка горѣла на столѣ въ коридорѣ и свѣтъ ея заходилъ чуть-чуть въ комнату.

— Ахъ, Алеша... не о томъ я мечтала. Не любишь ты меня... не любишь!

Шопотъ перешелъ въ поцѣлуй. Изъ темноты глаза молодого, властнаго мужчины жгли ее...

Въ кухнѣ пробило одиннадцать. На постели, недвижно, лежала Аннушка съ закрытыми глазами. По щекамъ ея

текли тихія слезы. Она не хотѣла, ей совѣстно было бы плакать громко. Алеша сталъ бы стыдить ее.

Онъ—тутъ, развалился на стулѣ и курить. На пышныхъ, но злыхъ губахъ блуждаетъ усмѣшка.

„Чего, чего я разрюмилась,—стыдила себя дѣвушка,—онъ мой душенька, я ему не противна, чего же мнѣ еще?.. Насильно на себѣ не женишь... Нешто у меня приданое? Сто-то рублей въ годъ... да жалованьишко. Нечего сказать, большая сласть на горничной жениться. Надо ему мѣсто достать. А гдѣ его достанешь, если честно жить?.. Да и чего мнѣ бояться? Что я, барышня что ли? Грѣхъ хоронить отъ жениховъ!..“

Дальше она не смогла разсуждать. Ей стало очень ужъ горько и обидно. Она должна сейчасъ зарыдать.

— Алеша,—съ усиленіемъ начала она звать его,—поди сюда, поди, милый!

Онъ подошелъ, лѣнливо, чуть переводя ноги...

— Ахъ, Алеша!

Аннушка приподнялась. Рука ея обхватила шею любимого человѣка.

Въ кухнѣ затрещалъ воздушный звонокъ.

Руки Аннушка опустила мгновенно.

— Эхъ! Каторжная жизнь!

Алеша прыснулъ: ему, должно-быть, слишкомъ смѣшонъъ показался такой конецъ страстной сцены.

— Удирать, что ли, прикажете? — спросилъ онъ, приподнимаясь.

— Зачѣмъ, оставайся!

— Да вѣдь спапаютъ.

— Я выпущу... позднѣе.

Звонокъ повторился.

— Навѣрно сама!

Аннушка быстро встала, пошла къ двери и приостановилась.

— Знаешь что, Алеша: лягъ на кровать. Такъ лучше не замѣтять.

Онъ легъ, вытянулъ ноги и засмѣялся.

Лампочку Аннушка взяла съ собой въ переднюю.

Звонила, дѣйствительно, барыня. Она вернулась изъ гостей съ мальчикомъ.

— Вы вѣчно спите! Не дозвонишься!..

Окрикъ былъ умѣренный. Барыня не хотѣла себя „унижать“. Новая горничная была припасена на чет-

вергъ: оставалось всего два дня. Надо было терпѣть эту „грубіянку“ и „развратницу“.

— Чай готовъ?

— Никакъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ! Вѣдь вы знали, что господа поѣхали въ театръ?

— Вы ничего не приказывали.

— Чтобъ сейчасъ былъ самоваръ!

— Кухарки нѣтъ.

— А сами вы не можете?!

Аннушка сообразила, что ей удобнѣе будетъ возиться въ кухнѣ съ самоваромъ и выпустить Алешу въ это время.

— Слушаю, — отвѣтила она кротко, повѣсила шубку барыни, пальто гимназиста, зажгла въ столовой канделябръ и пронесла его въ спальню барыни.

То, что у ней спрятанъ мужчина, — ее нисколько не волновало... Да и къ чему? Вся-то жизнь, видно, такъ же пройдетъ. Въ такія минуты — и надо бросаться на звонокъ, точно ученая собака...

Она чуть не расхохоталась истерически. Но надо самоваръ ставить, огонь разводить, углей насыпать. Вся еще перепачкается...

Проходя по коридору, она приперла дверь къ себѣ и шепнула:

— Лежи смирно, Алеша!

Въ кухнѣ она надѣла на себя фартукъ, засучила рукава и начала доставать изъ печки угольковъ для самовара.

Сначала она возилась около самовара усиленно и шумно, хотѣла и сама перебороть свою горечь. Но не выдержала. Новый наплывъ нестерпимой обиды захватилъ ее. Она сѣла на скамейку у плиты, опустила голову въ руки и зарыдала. Ни о чемъ она уже больше не думала, никого не обвиняла, ни на кого не сердилась, только повторяла одно слово: „питомка!“

Кое-какъ набила она углями трубу самовара и вынесла его на площадку задняго крыльца. Потянуло ее къ себѣ — туда, гдѣ Алеша... Броситься къ нему на шею, забыть все на его груди, цѣловать его до полного забвенія... тутъ же, подъ носомъ этой „толстой ругательницы“.

Она не устояла противъ этого желанія: скинула съ себя фартукъ, бросила на лавку съ сердцемъ и вышла на цыпочкахъ изъ кухни

У дверей въ свою комнатку она остановилась и приложила ухо.

Алеша всхрапывалъ. Этотъ храпъ кольнулъ ее больно въ сердце. Она испугалась за него—не за себя; вошла, растолкала его и шопотомъ пожурила. Онъ, въ-просонкахъ, обнялъ ее.

Она осталась.

Барыня, въ пеньюарѣ, — она раздѣвалась сама, — проходила по коридору, минутъ десять спустя, со свѣчей въ рукахъ. Ея шаговъ не было слышно. Она плыла по половику, лежавшему вдоль коридора.

Вдругъ она остановилась и начала прислушиваться. Да, въ комнатѣ горничной шепчутся. Мужской голосъ...

Барыня шмыгнула въ чуланчикъ и притаилась. Разговоръ продолжался шопотомъ, и все чаще проскользали мужскіе, хриповатые звуки.

У Аннушки спрятанъ любовникъ. Иначе быть не можетъ! Только надо поймать съ поличнымъ. Барыня почувствовала пріятное щекотанье во всемъ тѣлѣ. Вотъ сейчасъ негодница получить, что она заслужила. Позвать швейцара съ парадной лѣстницы, приказать послать за полиціей... Нѣтъ, полиціи не надо, довольно дворника.

Пока она колебалась мысленно между дворникомъ и полиціей, въ передней затрещалъ сильный и продолжительный звонокъ. Вернулись барышни съ отцомъ. Не успѣла барыня выйти изъ своей засады, какъ Аннушка, шумя юбками, проскользнула мимо нея къ передней. Барыня вышла, набралась духу, растворила дверь въ комнатку и, держа свѣчу, крикнула:

— Кто вы? Какъ вы смѣли! Вонъ!.. вонъ!

Саперъ хотѣлъ-было укрыться за дверью; но это ему не удалось: сапоги торчали и выдали его.

— Извините, — довольно робко пробормоталъ онъ.

— Вонъ! — крикнула барыня и убѣжала.

Она сообразила, что мужъ ея вернулся не одинъ, что надо сдѣлать все прилично. Какъ только барышни прошли въ спальню, а баринъ — въ кабинетъ, она догнала его и, по-французски, порывисто доложила, какая гадость у нихъ въ эту минуту, требуя, чтобы онъ „распорядился“.

— Ахъ, матушка, — выговорилъ онъ съ гримасой, — какое мнѣ дѣло до всего этого...

— Шашни!.. Въ нашей квартирѣ!..

И это на него не подѣйствовало.

Она настояла на томъ, чтобы Аннушка сейчасъ же была призвана, сюда, въ кабинетъ.

Ее призвали. Барыня, все еще колеблясь между швейцаромъ, дворникомъ или городовымъ, начала на нее кричать. Баринъ сейчасъ же остановилъ ее.

— Кто у васъ? — спросилъ онъ ее тихо, и въ этомъ вопросѣ слышалась скорѣ легкая обида на то, что у ней—любовникъ.

— Молочный братъ мой, — отвѣтила она и поглядѣла на него, тутъ же на глазахъ барыни, такъ, что онъ захотѣлъ повѣрить ей.

— Она лжетъ!—крикнула барыня.—У ней не можетъ быть брата.

— Молочный-то навѣрное есть, — не согласился баринъ.

Сцена кончилась истерикой барыни. Прибѣжали барышни. Аннушка обратилась къ барину, среди слезъ и оханья, и сказала:

— Позвольте мнѣ, сударь, завтра утромъ съѣхать. Я себя на службѣ у вашей супруги не считаю.

— Идите, идите!—отправилъ ее баринъ и даже не потребовалъ, чтобы горничная помогла дѣвицамъ уложить больную.

VII.

Семейство опять въ сборѣ, за обѣдомъ. И пріѣзжій пріятель приглашенъ. Всѣ съ большимъ аппетитомъ ѣдятъ паштетъ изъ перепеловъ. Кухарка превзошла себя.

Служить новая горничная, маленькая, черноватая, сухая въ лицѣ и фигурѣ, одѣтая въ форменное темное платье, съ бѣлымъ высокимъ фартукомъ и даже въ маленькомъ чепчикѣ, на заграничный ладъ.

Ея службой барыня довольна и особенно мягкимъ голосомъ зоветъ ее:

— Оля!

Гость, ничего не зная, спросилъ въ срединѣ обѣда:

— А гдѣ же голубой лифъ?

Гимназистикъ первый бросилъ взглядъ на мать. Барышни сдѣлали такую мину, точно гость сказалъ какую-нибудь неприличность. Барыня опустила рѣсницы и не сразу отвѣтила. Баринъ дожевывалъ кусокъ и даже головы не поднялъ.

— Вы спрашиваете про ту... горничную?—выговорила, наконецъ, барыня.

— Да... Эффектная была особа!

Гость сдѣлалъ жестъ кистью правой руки, показывая какой у Аннушки роскошный бюстъ.

Барышни переглянулись, и обѣ разомъ закусили губы.

— Ее прогнали!

Эти два слова барыня произнесла съ такимъ презирающимъ выраженіемъ, что гость, при всей своей провинціальной безцеремонности, не сталъ дальше разспрашивать.

— Дайте мнѣ еще соусу!—крикнулъ баринъ новой горничной и вбокъ поглядѣлъ на пріятеля.

„Какъ, молъ, тебѣ не стыдно такъ безтактно вести себя? Ты видишь, небось, за что все это бабѣ возненавидѣло Аннушку...“

Гость, наконецъ, понялъ. Но это подзадорило его. Послѣ обѣда они пошли съ бариномъ въ кабинетъ, курить и пить кофей. Новая горничная подала ящикъ съ сигарами и подставила маленькій столикъ къ турецкому дивану, куда оба улеглись съ ногами.

— Что такое вышло?—спросилъ гость барина, когда они остались одни.

— Насчетъ чего?—лѣжливо откликнулся тотъ, но уже понимая, о чемъ его спрашиваютъ.

— Голубой-то лифъ?.. Неужели... супруга накрыла?..

Это ему показалось такъ смѣшно, что онъ прыснулъ.

— Вздоръ какой!.. Ничего подобнаго.

Баринъ мамлилъ и жевалъ сигару, лежа съ низко опущенной головой.

— Однако!.. Дѣло житейское. И я бы на твоемъ мѣстѣ охулки на руку не положилъ.

— Да вздоръ же, говорю тебѣ... Мари съ первыхъ же дней ее не возлюбила. И въ самомъ дѣлѣ, какъ горничная, она... какъ бы это сказать...

Онъ все больше и больше мамлилъ.

— Оставляя желать многого,—подсказалъ гость.

— Именно. Но Мари выгнала ее... Какой-то тамъ молочный братъ пришелъ къ ней на той недѣлѣ. Вотъ и вышелъ...

— Скандаль въ благородномъ семействѣ,—подсказалъ опять гость и щелкнулъ пальцами.

Гостя своего баринъ находилъ „ужасной провинціей“;

но ему было довольно приятно говорить про „голубой лифъ“. Окруженный дымомъ дорогихъ сигаръ, со вкусомъ крѣпкаго кофею и любимаго ликера во рту, онъ переваривалъ свой обѣдъ съ тихой усмѣшкой петербуржца, въ которомъ не можетъ, до самой смерти, замереть охота къ сладкой жизни, и непремѣнно съ чѣмъ-нибудь запретнымъ; у него—онъ не былъ игрокомъ—къ женщинамъ.

Его недавняя связь внѣ дома оборвалась внезапно и обидно для него. Потосковалъ онъ недѣлю-другую, и наполнить пустоту надо было какъ можно скорѣе. Безъ этого онъ не признавалъ жизни. Ему, въ ту минуту, подъ звуки рояля изъ гостиной, хотѣлось даже рассказать кое-что про „голубой лифъ“, да отъ пріятеля ужъ очень отшибало пошловатостью.

Все-таки пересилило желаніе начать холостой разговоръ.

— Ты развѣ не знаешь нашихъ барынь... съ ихъ нервами!

— Знаю, братъ. Самъ дотягиваю первое десятилѣтіе. А этотъ кавалеръ-то, что Марья Кирилловна у дѣвицы нашла, ты вѣришь въ то, что онъ ей родственникъ? Вѣдь она, кажется, питомка? Такъ какое же родство?

— Молочный братъ!

— Вотъ она какая статья...

И гость свистнулъ.

Барину хотѣлось вѣрить, что саперъ, найденный у Аянушки, былъ дѣйствительно молочный братъ. Да и какая охота ему входить въ разбирательство? Не будь его пріятель такъ пошловатъ, онъ разсказалъ бы ему про то, какъ теперь думаетъ объ устройствѣ „голубого лифа“ на „квартиркѣ“.

Вотъ они оба выйдутъ вмѣстѣ. На Невскомъ было бы еще удобнѣе продолжать этотъ разговоръ... Но тотъ, пожалуй, еще привяжется.

Баринъ, на вопросъ гостя:

— Куда же эта птичка спорхнула? — отвѣтилъ, обернувшись къ печкѣ:

— Такая не будетъ сидѣть безъ мѣста.

И пріятель повѣрилъ. Онъ зналъ, что его вкусы—догорія барыни при удобныхъ мужьяхъ или французенки...

Больше объ Аянушкѣ и рѣчи не было. Они вмѣстѣ вышли на улицу. Гость спѣшилъ въ русскую оперу и взялъ извозчика на углу Троицкаго переулка. Баринъ, все еще

съ сигарой въ зубахъ, повернулъ назадъ и пошелъ шагомъ человѣка, которому особенно спѣшить нечего, но пріятно думать о томъ, куда онъ идетъ.

Онъ повернулъ въ Пушкинскую улицу и въ концѣ ея вошелъ въ обширный подъездъ дома, полнаго меблированныхъ комнатъ.

Тамъ жила Аннушка.

Въ самый тотъ день, когда она съ гордымъ и возбужденнымъ лицомъ пришла къ нему проститься, онъ облагалъ ее, разспросилъ обо всемъ, общалъ ей найти мѣсто бонны, сунулъ ей въ руку порядочную пачку и сказалъ:

— Возьмите, милая, приличную комнату.

Она поняла, но ручку у него не поцѣловала, и это ему больше всего понравилось. Комнатка была нанята; онъ туда ходить—не каждый день, но очень часто. Ему не хочется ничего грубаго, никакого вымогательства. Онъ ждетъ, чтобы она сама къ нему привязалась, и въ то же время сознаетъ, что если бъ онъ и захотѣлъ добиться всего сразу—этого не будетъ.

Ему это ново и затягиваетъ его чрезвычайно. Онъ чувствуетъ въ бывшей горничной „породу“.

VIII.

На дачѣ терраса, выходившая въ садикъ, на шоссе, огласилась восклицаніями барышень. Онѣ вбѣжали разомъ. Ихъ мать сидѣла надъ столомъ и чистила ягоды.

— Мамаша! Это Богъ знаетъ что такое...

— Нѣтъ, ты не знаешь!..

— Это невообразимо!..

Онѣ перебивали одна другую и задыхались отъ порывистой рѣчи.

— Да что такое?—перебила ихъ мать.

— Figure-toi,—заговорила еще стремительнѣе старшая дочь, и по-французски докончила свой рассказъ. Она не хотѣла, чтобы слышала ихъ горничная Оля, промывавшая поодаль очищенные ягоды.

Онѣ сейчасъ обѣ видѣли Аннушку, „en fin notre Аннушка“, и точно нарочно—въ голубомъ лифѣ, но только въ прелестномъ туалетѣ, на подъездѣ дачи, въ ста саженяхъ отъ ихъ домика, ближе къ парку. И у подъезда стояла коляска съ парой сѣрыхъ... И Аннушка—„cette

créature" — надѣвала перчатку, и на ступеняхъ крыльца онѣ прекрасно разглядѣли—кого?.. Отца!

— Taisez-vous! — крикнула барыня, хотя и фраза объ „отцѣ“ была сказана по-французски.

Барышни были въ такомъ волненіи, что щеки ихъ пошли пятнами. Онѣ рассказывали по террасѣ, сильно поводили руками, безпрестанно останавливаясь передъ матерью, и то одна, то другая кидали ей все одинъ и тотъ же вопросъ:

— Qu'en-dis-tu, maman?

Для нея это извѣстіе было ударомъ. Она сейчасъ вышла Олю съ террасы. Дочеримъ она не дала никакихъ объясненій, сказала только, что онѣ, вѣроятно, ошиблись насчетъ отца, а до коляски, и туалетовъ, и дачи той „негодницы“ ей нѣтъ никакого дѣла. Но барыня сдерживала себя и соблюдала декорумъ. Ей большихъ усилій стоило, чтобы не придти въ ярость и не выложить наружу передъ дочерьми, на какія дѣла способенъ ихъ отецъ.

Такъ протянула она до обѣда. Къ обѣду мужъ ея не вернулся. Онъ съ утра уѣхалъ—якобы въ городъ... Всѣ уже спали, когда извозничья пролетка подвезла его къ крыльцу; но барыня не спала... Она даже сама открыла парадную дверь, впустила его, проводила въ кабинетъ, гдѣ ему стлали постель на диванѣ,—и тутъ вышла продолжительная сцена. Кончилось припадкомъ, разбудили прислугу, вскочили и дѣвицы, послали за докторомъ, пошли припарки, компрессы... Никто въ домѣ не спалъ до полного разсвѣта. Баринъ къ утру заперся у себя въ кабинетѣ и не выходилъ до полудня.

Въ густой бесѣдкѣ садика Аннушка сидѣла въ пеньюарѣ и курила папиросу. Она только что позавтракала. Отъ июльскаго жара она вся разомлѣла. Пышная грудь ея чуть замѣтно колыхнется. Обнаженные руки выплываютъ изъ разрѣзныхъ рукавовъ голубого пеньюара. Голубой цвѣтъ остался ея любимымъ. Она въ него вѣритъ. Этотъ цвѣтъ принесетъ ей счастье.

„Счастье“ пришло вмѣстѣ съ потерей того, что она такъ берегла... Была честная, любила, и теперь любить, еще, быть-можетъ, пуще прежняго, мечтаетъ о „законѣ“, а живетъ, какъ ей подсказываетъ милый другъ. Съ его совѣтами и пошла удача. Баринъ прилѣнился къ ней сильнѣе, поди, чѣмъ ко всѣмъ своимъ прежнимъ „тужур-

камъ“, и къ нему нѣтъ у ней никакой жалости. Добрь къ ней, руки у ней цѣлуетъ, ни въ чемъ не стѣсняетъ, къ Алешѣ даже не ревнуетъ, на колѣняхъ стоитъ по цѣлымъ часамъ,—а у ней внутри такъ и клокочетъ...

Она потребовала отъ него, чтобы была у ней дача дороже, чѣмъ у барыни съ барышнями, и непременно чтобы въ томъ же мѣстѣ, чтобы она могла мимо нихъ кататься, и въ голубомъ лифѣ. „Помните, молъ, и знайте: я—ваша бывшая служанка, и вотъ какъ я живу на деньги вашего папá!“ Такъ оно и случилось, хотъ онъ и упрасивалъ, представлялъ всякіе резоны,—ничего не подѣйствовало. Барыня давно пронюхала про все; но какое ей, Аннушкѣ, дѣло до его „фамиліи“? Исполняй ея капризъ. Алеша одобряетъ ее, говоритъ, что такъ и надо. Иногда ей какъ будто станеть жалко „сѣдѣшку“,—такъ она зоветъ бывшего своего барина; но Алеша сейчасъ же ее пристыдить. Онъ умный, онъ свою линію ведетъ аккуратно. Теперь онъ артельщикъ въ банкирской конторѣ, при кассѣ состоитъ. Еще годикъ-другой—и свою контору откроетъ. И „сѣдѣшка“ ему еще на обзаведеніе отвалить кушъ: она такъ устроить... А тамъ, а тамъ... „Нешто не доведу до вѣнца?“—спрашиваетъ она въ который разъ. И глаза ея уходятъ вдаль и губы оттягиваются болѣзненно, точно она собирается плакать.

Вотъ кто-то идетъ по дорожкѣ. Это—„сѣдѣшка“—„баринъ“, какъ она еще иногда зоветъ его, когда думаетъ или совѣтуется съ Алешей. Тотъ тоже не ревнуетъ, говоритъ: „это все равно, что законный бракъ; мы съ тобой стараго мужа надуваемъ“, и смѣется своими пышными губами и сплевываетъ попрежнему; но курить онъ уже хорошія сигары и одѣвается франтомъ.

„Баринъ“ подошелъ поспѣшно, оглянулся, поцѣловалъ ее въ темя,—она слегка поморщилась,—сѣлъ рядомъ и сразу началъ хныкать, просить, чтобы какъ-нибудь она не показывалась днемъ, если не хочеть сѣзжать съ дачи. Ему просто „мочи нѣтъ“.

Аппушка заставила его представить ей въ лицахъ, какъ его приняли „въ три жгута“ вчера ночью, и прерывала его рассказъ взрывами смѣха. Онъ кончилъ и сталъ еще умильнѣе упрасивать ее „пожалѣть его“, не дразнить его семейства, „подумать о приличіяхъ“!..

Тутъ она уже злобно разсмѣялась и начала ему отчитывать. Чтобы она стала скрываться отъ его барыни и ба-

рышень?—Да никогда! Дался имъ ея голубой лифъ! И она другого цвѣта больше и носить не будетъ! Вотъ и пенюаръ себѣ голубой сдѣлала. Никогда еще ей не хотѣлось такъ выместить на его „фамиліи“ все, чего она натерпѣлась, какъ „питомка“, принужденная жить по господамъ, выносить всякую гадость, подмывать и подчищать, подавать имъ умыться и одѣваться, выслушивать ихъ окрики и понуканья.

Ну, да, она теперь госпожа, настоящая госпожа, и если захочетъ—заставитъ его сейчасъ написать себѣ вексель въ тридцать тысячъ, и дачу не то что нанять, а купить, какъ онъ ей купилъ и коляску, и лошадей, и мебель, и пестовую шубу, и брильянтовыхъ вещей сколько!

Онъ слушалъ, опустья голову, и ея голосъ щекоталъ его нервы. Она его привлекала больше всѣхъ прежнихъ—нужды нѣтъ, что не прошло года, какъ она снимала ему сапоги. Въ ея озлобленности было что-то дѣйствующее на него особенно, лишающее его воли.

— Я прошу тебя,—шепталъ онъ,—Аня, прошу честию—для нашего спокойствія!

— Спокойствіе!—крикнула она, встала и вся потянулась своимъ гибкимъ и уже холенымъ тѣломъ. — Есть оказія... Пускай онъ тебя бросать и живутъ одпѣ. Мало ли теперь такихъ разводовъ? Давай имъ пенсію. Ты семейнымъ-то человѣкомъ, какъ быть слѣдуетъ, никогда и не бывалъ. Никто меня не принудитъ жить такъ, какъ я не хочу!

И она повернулась на каблукъ туфли, съ голубымъ же бантомъ, и медленно пошла къ террасѣ. Она знала, что будетъ по ея, — и сейчасъ вотъ прикажетъ она заложить коляску, надѣнетъ опять вчерашнее платье и проѣдетъ мимо ихъ дачи. Пускай любуются!

Нѣтъ у ней жалости. Алеша правъ. Надо съ ними, съ „законными“, поступать безъ пощады и выжимать изъ нихъ все, до послѣдней копейки.

У П Л И Т ы.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

Въ довольно просторной, но низкой кухнѣ — жарко и полно всякихъ испареній. На плитѣ нѣсколько кастрюль и „балафоновъ“. Въ духовомъ шкапу „доходятъ“ пирожки. Борщѣкъ черезъ полчаса будетъ совсѣмъ „во вкусъ“. Цыплята въ кастрюлькѣ шипятъ. Отъ нихъ идетъ самый сильный запахъ — сухарями, жареными въ сливочномъ маслѣ. На чистомъ столѣ приготовлено блюдо съ затѣйливымъ переборомъ изъ тѣста, для овощей. Ихъ четыре сорта: горошекъ, цвѣтная капуста, фасоль, каштаны. Господа любятъ, чтобы подавалось по-старинному, покрасивѣе, съ укладкой.

Часу съ третьяго Устинья безъ перерыва переходитъ отъ стола къ плитѣ, отъ плиты къ крану, отъ крана къ духовому шкапу. Чадъ и пылъ отъ плиты все сильнѣе распираютъ ей голову. Краснота щекъ почти багровая. Потъ лоснится по всему лицу и стоитъ крупными каплями на лбу. Она поситъ чепчикъ — приучили ее нѣмцы, гдѣ она долго жила „на Острову“. Въ просторной ситцевой кофтѣ, подпоясанная фартукомъ, съ засученными бѣлыми, пухлыми руками — она двигается быстро, несмотря на свою полноту. Да и лѣтъ ей довольно: съ осени пошелъ сорокъ четвертый. Изъ-подъ чепчика выбиваются, немного уже сѣдѣющіе, курчавые темно-каштановые волосы. На одинъ глазъ — глаза у нея свѣтло-сѣрые — Устинья слегка косить. Вслѣдствіе постоянного отворачиванія головы и лица отъ раскаленной плиты у нея за-

прищипаны всѣ мышцы, брови сердито сдвинуты, у псовыхъ крыльевъ складки толстой кожи пошли буграми. На правой щекѣ большая родинка съ тремя волосками—то опустится, то поднимется. Устинья часто, при усилии, когда снимаетъ тяжелую кастрюлю или что-нибудь толчетъ, раскрываетъ ротъ съ одного бока и показываетъ два бѣлыхъ зуба.

То и дѣло обтирается она фартукомъ, хотя и знаетъ, что это не очень чисто. Къ жару она до сихъ поръ, вотъ уже больше двадцати лѣтъ, не можетъ привыкнуть настолько, чтобы совсѣмъ его не чувствовать, какъ другія кухарки. Она—„сырая“; зато головѣ ея легче бываетъ отъ постоянной испарины.

Устинья заглянула еще разъ въ глиняную кастрюлю, гдѣ пузырился борщѣкъ, и въ эмалированную, гдѣ шипѣли щиплята. И то, и другое почти что „въ доходъ“, а господа навѣрно не сядутъ во-время, непременно опоздаютъ, потомъ будутъ недовольны. Она все у нѣмцевъ же, на Острову, приучилась готовить по часамъ. Вотъ и теперь посмотрѣла она на стѣнные часики съ розаномъ на циферблатѣ и бережно поставила блюдо подъ овощи въ шкапъ, чтобы переборка изъ тѣста пропеклась и зарумянилась. Ее господа не ѣдятъ, но Устинья дѣлаетъ тѣсто какъ слѣдуетъ, и послѣ сама его ѣстъ съ остатками овощей, если день скоромный. Постовъ она довольно строго держится; но въ среды и пятницы разрѣшаетъ и на скоромное, да иначе и нельзя изъ-за остальной прислуги. Горничныя—модницы, и даже въ Великій постъ, со второй недѣли, „жрутъ мясище“.

Нѣмцамъ на Острову Устинья многимъ обязана, и помнить это до сихъ поръ—кое-когда навѣщаетъ ихъ, въ большіе праздники. Первымъ дѣломъ они ее грамотѣ учили. Она было упиралась, да сама скоро сообразила, что грамота и счетъ, хоть сложеніе и вычитаніе,—куда не бесполезны. И самое не обочтутъ, да удобнѣе и концы съ концами хоронить на провизіи. Въ первое время нѣмка-барыня сама часто ходила поблизости на рынокъ, къ Андреевскому собору, а потомъ перестала, начала прихварывать. Устинья безъ стыда и совѣсти никогда не воровала, но въ лавкахъ процентъ ей платили, да на мелочахъ урывала, такъ коечекъ по пяти съ рубля. Она на это смотрѣла какъ на законную статью дохода. Кухарочное ремесло считала она самымъ тяжелымъ, не столько

отъ ходьбы и усталости работы, сколько отъ плиты. Безъ головныхъ болей она не бывала ни одной недѣли, и весь ея характеръ портился единственно отъ жара и чада. Въ дѣвкахъ, дома, въ деревнѣ, она была мягкая, какъ тѣсто, ласковая, тихая и словоохотливая; съ тѣхъ поръ, какъ въ кухарки попала, стала хмуриться, больше все молчать, а внутри у нея, къ тому часу, когда плита въ полномъ разгарѣ, такъ и сверлитъ, такъ и сверлитъ. Тутъ не подвертывайся ей: пожалуй, изъ чумички и кипяткомъ ошпарить.

Къ нѣмцамъ Устинья поступила еще полумужичкой, кое-что умѣла стряпать, что умѣла подсмотрѣть у настоящего повара, когда жила въ судомойкахъ въ русскомъ трактирѣ, куда и чиновники ходили ѣсть шестигривенные обѣды. Заглавія она легко запоминала и „препорцію“. Но все-таки была она такъ себѣ, „кухарецъ“, какъ называлъ ее одинъ сидѣлецъ овощной, рублей на пяти жалованья. Барыня-нѣмка по-русски чисто говорила; любила зайти въ кухню и даже подолгу въ ней побыть, стала, выѣсть съ грамотой, показывать Устиньѣ, какъ готовить разныя нѣмецкія закуски, форшмаки, картофельные салаты съ селедкой и всякаго рода „хлѣбное“, къ чему Устинья, еще въ деревнѣ, имѣла пристрастіе, когда пекла тамъ пироги, вотрушки, „кокурки“. На Острову она научилась даже дѣлать „штрудель“ изъ раскатаннаго тѣста съ сухарями, корицей и яблоками, какого ни одинъ и дорогой поваръ не умѣетъ.

Грамотность повела и къ чтенію поваренныхъ книгъ. Сначала она плохо схватывала самый языкъ этихъ книгъ и туго запоминала вѣсъ и количество „по печатному“. У нѣмки было нѣсколько книгъ: Авдѣева, Малаховецъ и еще тоненькая книжечка, гдѣ все больше польскія блюда. Барыня ѣла мало, но семейство было большое и хлѣбосольное, совершенно на русскій ладъ. Доходы начались порядочные, какъ только барыня перестала сама ходить на рынокъ; практика для Устиньи разнообразная, и привычку она себѣ выработала готовить по часамъ. Потомъ, когда барыня сдѣлалась совсѣмъ болѣзненной, расходы по столу уменьшились; зато надо было готовить и легкія вещи для слабаго желудка, дѣтямъ, старухъ-тещѣ особенно, а барину съ пріятелями — непременно такія же сытныя и пріяныя блюда.

Незамѣтно, въ три-четыре года, изъ „Устиньи Наумов-

вышла кухарка „за повара“. Она видѣла, что ей цѣна — не пять и даже не семь рублей. А дѣла было все-таки много. Устинья этимъ воспользовалась безъ историй, прямо подыскала мѣсто на двѣнадцать рублей, объявила это господамъ; они такой цѣны не дали, и она отошла, но сохранила съ этимъ семействомъ связь; не иначе поминала, какъ добрымъ словомъ; нѣмку-барыню.

Послѣ того, ни къ однимъ господамъ не чувствовала она ничего подобнаго. Плита держала ее въ постоянномъ глухомъ раздраженіи. Она себя „сокращала“, рѣдко когда грубила, водки не пила; иногда бутылку пива. Ходьба на рынокъ только и освѣжала ее по утрамъ. Безъ рынка она бы совсѣмъ задохнулась. Рынокъ же доставлялъ ей доходъ, на который она теперь смотрѣла уже какъ на главную статью, а на жалованье — какъ на придатокъ. Не могла она подолгу оставаться на одномъ мѣстѣ. Кухня, какая бы она ни была, начинала давить ее тѣснотой, однообразіемъ своей обстановки, чадомъ, жарой и запахомъ. Къ дѣлу она не имѣла настоящей любви, и готовила хорошо, дѣйствительно „за повара“, потому что это ей далось и вошло въ ея достоинство, въ амбицію. Всякимъ замѣчаніемъ она внутренне оскорблялась, и на русскихъ барынь смотрѣла какъ на капризныхъ дѣтей, ничего не смыслящихъ, неспособныхъ даже рассказать толковымъ языкомъ, какъ изжарить бифштексъ.

При поступленіи къ новымъ господамъ, Устинья прямо спрашивала: есть ли пріемъ гостей и какъ велико семейство, и не скрывала того, что процентъ съ зеленщиковъ и мясниковъ для нея „первая статья“. Если семейство маленькое и пріема нѣтъ — она не соглашалась идти и на пятнадцать рублей, даже и на двадцать съ кофеемъ, чаемъ, сахаромъ и разными другими „пустыми приманками“, по ея выраженію.

И ее брали: она не воровала безъ мѣры, не пила, была довольно чиста „вокругъ себя“, чрезвычайно аккуратна насчетъ часовъ и умѣла готовить рѣшительно все, что входитъ и въ домашній, и въ званный обѣдъ, съ придачей разныхъ нѣмецкихъ, польскихъ и даже коренныхъ итальянскихъ блюдъ; она имъ выучилась, живя у стараго профессора пѣнія, родомъ изъ Милана.

II.

Безъ судомойки или „мужика“ Устинья, въ послѣдніи пять-шесть лѣтъ, не желала нигдѣ жить. Она сурово отстаивала свое поварское достоинство, ни подѣ какимъ предлогомъ не соглашалась чистить печи и мыть посуду. Въ иныхъ мѣстахъ ходили дневальныя бабы, въ другихъ нанимались младшіе дворники или держали особенныхъ „кухонныхъ“ мужиковъ.

Судомойку недавно разочли. Сама Устинья просила объ этомъ. Выдалась „несуразная“, да вдобавокъ еще неопрятная бабенка и начала пошаливать: то форма пропадетъ, то фунта масла не досчитается. Да и работы нѣтъ такой, какъ у мужины: копаются, нечистоплотны, съ посудой обращаться непривычны, надъ пожарами только потѣютъ, а чистка — „горе“.

Вчера старшій дворникъ докладывалъ барынѣ, что у него есть на примѣтѣ парень, самый подходящий. Устинья еще не видѣла его; онъ долженъ былъ явиться передъ обѣдомъ. Барыня сказала ей сегодня утромъ:

— Я въ это входить не буду. Вамъ съ нимъ имѣть дѣло... Заставьте его поработать. И если онъ годится — переговорите насчетъ цѣны. Мы больше восьми рублей не дадимъ, съ нашей ѣдой, и за уголь будемъ платить — въ дворницкой; а въ квартирѣ ему почевать мѣста, вы сами знаете, нѣтъ.

Устинью барыня вообще „уважаетъ“. До сихъ поръ не было еще между ними никакихъ исторій, а живетъ она у этихъ господъ уже около года. Въ первое время барыня, просматривая счета, находила не разъ, что на провизию идетъ больше, чѣмъ шло прежде. Устинья слегка обидѣлась и предложила платить ей по столько-то на день, по числу „персонъ“, и на гостей полагать особенно. Господа на это не пошли — и дѣло обмялось. Выборъ судомоевъ и кухонныхъ мужиковъ вездѣ предоставляли ей.

Обѣдъ совсѣмъ готовъ, кромѣ соуса къ рыбѣ. Судакъ уже достаточно проварился въ длинной жестяной кастрюлѣ. За него Устинья поставитъ рубль семьдесятъ копеекъ; но заплатила она за него полтора цѣлковыхъ. Она съ рыбы сама принимаетъ процентъ, потому что не въ ладахъ съ содержателемъ того садка, гдѣ до сихъ поръ брала рыбу, а временно покупаетъ — гдѣ придется; стало, и настоящего процента еще не имѣетъ. Рыбу, чтобы она не

переварилась, Устинья отставила; но еще надо приготовить соусъ.

Съ этимъ соусомъ слѣдуетъ отличиться—и съ перваго же раза. Барыня сама въ кухнѣ почти-что ничего не смыслить; но баринъ любитъ тонко поѣсть, и кое-когда, вдругъ, что-нибудь такое выдумаетъ, позволяетъ ее и начать растолковывать на свой ладъ, какъ составить особенную приправу къ рыбѣ или къ зелени. Получаетъ онъ французскую газету, и тамъ печатаютъ, изо-дня-въ-день, обѣденное меню; а что помудреннѣе—тамъ же объясняется.

Вотъ онъ третьяго-дня и передалъ Устиньѣ, уже черезъ барыню, соусъ дѣлать къ разварной рыбѣ въ родѣ того, какъ къ мотлѣту полагается: на красномъ винѣ и бульонѣ, съ лучкомъ и варенымъ, мелко накрошеннымъ картофелемъ. Барыня принесла газету, по-русски перевела Устиньѣ, да мало вразумительно; однако, онѣ столковались. Мудренаго тутъ нѣтъ ничего; только пропорція показана маленькая—человѣка на три; а здѣсь садится каждый день, безъ гостей, семь человѣкъ. Устинья должна была сообразить. Случилось слово „литръ“,—насчетъ пропорціи краснаго вина. Барыня не сумѣла ей объяснить, больше ли это бутылки, или меньше, — справиться не у кого было—баринъ уѣхалъ со двора. Сообразила она и тутъ, что больше полутора стакана не слѣдуетъ вина, коли человѣкъ на семь, на восемь.

Только что Устинья стала готовить все, что нужно для этой новой поливки изъ французской газеты, какъ кухонную дверь съ задней лѣстницы тихонько пріотворили и просунулась бѣлокурая мужская голова.

— Чего надо?—окликнула она строгимъ голосомъ.

— Это я, матушка, мужикъ кухольный.

Вошелъ несмѣло и дверь оставилъ пріотворенной мужичокъ лѣтъ двадцати пяти-шести, въ синей сибиркѣ, чисто одѣтый, въ большихъ сапогахъ и на шеѣ желтый платокъ; росту средняго, пемного сутуло держится, съ узкими плечами, лица пріятнаго, волосы свѣтло-русые, тонкій носъ и сѣрые большіе глаза; борода маленькая, клинышкомъ.

Устинья быстро его оглядѣла. Онъ ей показался подходящимъ. Лицо его ей понравилось.

— Въ кухольные?—переспросила она.

— Точно такъ, матушка.

— Положеніе знаешь?

И этот вопросъ былъ заданъ такимъ тономъ, чтобы онъ сразу почувствовалъ, что она въ кухнѣ командиръ, и отъ нея онъ будетъ зависѣть вполне.

— Знаю, матушка.

Произносилъ онъ высокимъ теноромъ, и выговоръ его она сейчасъ же признала за свой, природный, волжскій „верховой“, отъ котораго она въ Петербургѣ почти-что отучилась. Онъ говорилъ на „онъ“—и очень мягко.

— Положеніе такое,—повторила она,—жалованья семь рублей.

— Власъ Ивановичъ...—закнулся парень,—сказывали: на восемь рублёвъ.

— Семь,—повторила Устинья.

Лучше выторговать рубль, и вѣдь, если окажется старателевъ, прибавить еще рубль, какъ будто въ награду за усердіе и по своей протекціи.

— Маловато... поштенная.

И слово „поштенная“ напомнило ей деревню.

— Больше не дадутъ; харчи хорошія; чай будешь пить, за уголь—въ дворницкой—плата хозяйская. Чего тебѣ еще?—спросила она уже помягче.

Парень почесалъ въ затылкѣ, но тотчасъ же наклонилъ голову и, глынувъ на нее вбокъ своими выразительными сѣрыми глазами, выговорилъ:

— Пуцай-иня такъ будетъ, матушка.

Это слово „матушка“ онъ произносилъ особенно мягко, точно онъ съ барыней разговариваетъ.

— Да ты гдѣ живешь-то?

— Я-то? Здѣсь, поблизости, въ Спасскомъ переулкѣ, на Сѣнной.

— Мнѣ вѣдь сѣдни нужно къ обѣду.

Устинья изъ своихъ прежнихъ, крестьянскихъ словъ удержала „сѣдни“, хотя при господахъ его не употребляла.

— Мы съ полнымъ удовольствіемъ. Я останусь. А переберусь къ вечеру—если такъ.

— Вотъ я еще посмотрю,—сказала Устинья, разводя въ горшечкѣ дичинный бульонъ,—какъ ты со службой своей справляться будешь.

— Известное дѣло, матушка.

Парень былъ подпоясанъ пестрымъ кушакомъ такъ, какъ подпоясываются разносчики. Онъ шапку положилъ на лавку и сталъ распоясываться. Подъ сибиркой у него оказались: жилетъ и розовая рубаха, на-выпускъ. Устинья

и на одѣжу его поглядѣла вбокъ, продолжая мастерить соусъ.

— Сейчас-то еще пѣтъ настоящей работы; а вотъ вынеси-ко тамъ корзинку съ мусоромъ да подмети здѣсь.

— Слушаю.

Онъ снялъ сибирку, засучилъ рукава и собрался брать корзину.

— Тебя какъ звать?

— Елифаномъ.

— Откуда ты? Паспортъ, небось, при тебѣ?

— При мнѣ, матушка. Я—мижегородской, по казанскому тракту.

Елифаново „мижегородской“—съ буквой „м“—пришлюсь по душѣ Устинѣ.

— Такъ мы земляки?—откликнулась она. — Про Горки село слыхалъ?

— Какъ не слыхать, матушка!.. Я—гробиловскій. Шелеметевская вотчина была до воли.

Онъ даже и фамилію Шереметевыхъ произносилъ съ буквой „л“, какъ истый нижегородецъ.

— А я изъ Горокъ, — сказала Устинья, и въ первый разъ улыбнулась.

III.

Около мѣсяца живетъ Елифанъ въ кухонныхъ мужикахъ. Съ Устиньей онъ ладилъ съ каждымъ днемъ все больше и больше. Держалъ онъ себя все такъ же смиренно, истово, головы никогда высоко не поднималъ, говорилъ мягко и тихо, такъ что горничныя — ихъ двѣ — первые дни и голоса его не слыхали; начали даже подшучивать надъ нимъ по этому поводу.

Устинья взяла его подъ защиту и все повторяла имъ:

— Нешто всѣ такіа халды, какъ вы — охтенская команда?

Изъ нихъ только Варя была дѣйствительно съ Малой Охты; да Устинья уже заодно дала имъ такое прозвище.

Варя—ужасная франтиха, и что ни праздникъ—сейчасъ же отпросится въ театръ, и послѣ, въ кухнѣ, за перегородкой, утѣжить мелкія барынины вещи и мурлычить безъ перерыву. Даже Устинья вчужѣ выучила, слушая ее:

Какой обѣдъ намъ подавали!

Какимъ виномъ насъ угощали!..

И Варя, и Оля, за обѣдомъ, продолжали подзадоривать

Епифана. Онъ ѣсть медленно, по-крестьянски, часто кла-
детъ ложку на столъ и степенно прожевываетъ хлѣбъ.
Варя ему непремѣнно скажетъ:

— На долгихъ отправились, Епифанъ Сидорычъ...

И обѣ вразъ прыснутъ.

И тутъ опять Устинья должна ихъ вразумить. Онѣ ни-
когда не ѣли по-божески, какъ добрые люди ѣдятъ, въ
строгихъ семьяхъ, а такъ, урывками, „по-собачьи“. Одно слово — питерскія мѣщанки, съ дѣтства отбившіяся
отъ дому.

Епифанъ никогда не начиналъ ѣсть мяса изъ чашки, и
дождался, чтобы сказали:

— Можно таскать!

Спросилъ онъ чуть слышно пасчетъ „тасканья“ — и
опять обѣ горничныя подняли его на смѣхъ за это „му-
жичье слово“.

— Таскать! Таскать!..—повторяли онѣ. — Что таскать?
Платки носовые изъ кармановъ? Ха-ха-ха!..

Онъ даже покраснѣлъ и посмотрѣлъ на свою защит-
ницу. Устинья на этотъ разъ не въ шутку разсердилась
на „охтенскихъ халдѣ“, и отдѣлала ихъ такъ, что онѣ
прикусили языки; но, на особый ладъ, переглянулись
между собой.

И это замѣтила Устинья. Переглянулись онѣ: „кухарка,
моль, подыскала себѣ тихонькаго дружка и держитъ его
у себя подъ юбкой“.

Такое подозрѣніе сильно ее взорвало; она вся побурѣла,
но браниться съ ними больше не стала; только цѣлую
недѣлю плохо кормила и барскихъ остатковъ не давала
ни той, ни другой.

Какъ могли онѣ—„халды!“—думать срамно о ней и о
Епифанѣ, когда у нея даже и въ помышленіи ничего не
было?! Она, если не совсѣмъ старуха, такъ ужъ въ лѣ-
тахъ женщина, а онъ молодой паренёкъ, и въ сыновья
ей годится.

Послѣ этой выходки дѣвушекъ за обѣдомъ, Устинья
часто что-то возвращалась мыслью къ кухонному мужику.
Точно будто онѣ, своимъ переглядываніемъ и смѣхомъ,
что-то такое у нея на душѣ разбудили.

Въ первые еще дни послѣ того, какъ Епифанъ посту-
пилъ къ пей, Устинья, угощая его чайкомъ въ кухнѣ
(никого врозь нихъ не было), въ сумерки, полетоньку,
между передышками питья въ прикуску, освѣдомилась о

его семьѣ, женатъ или холостъ, велика ли родня, и какъ ему насчетъ солдатчины предстоитъ?

На все это Епифанъ толково, почти шопотомъ и съ еще большими разстановками въ похлебываніи чая съ блюдечка, отвѣчалъ ей, сидя на лавкѣ, у стола, въ одной уже рубахѣ. И онъ, и она выпили по четыре чашки.

Онъ былъ младшій сынъ солдати, вдовы, жребій взялъ хорошій и въ солдаты угодить разнѣ только въ ополченіе, да и льготу имѣеть, какъ грамотей — онъ прошелъ всѣ классы училища. Семья — бѣдная; братья раздѣлились — ихъ трое; онъ женатъ.

Извѣстіе, что Епифанъ женатъ, какъ-то ей не показалось. Однако, она не пустилась его разспрашивать: какова жена, собой красива ли, изъ какой семьи, есть ли дѣти, женился по согласію съ нею или такъ, изъ расчета, по крестьянской необходимости взять бабу, для работы и хозяйственнаго обихода.

Но Епифанъ ничего, повидимому, не утаилъ. Женили его по девятнадцатому году, когда только одинъ старшій братъ жилъ отдѣльно. Земли, по уставной грамотѣ, приходилось, пожалуй, по три десятины, да земля — тощая; а деревня, хоть и близко къ городу, но доходнымъ промысломъ не „займается“, была прежде всегда оброчной при господахъ и промышляли кое-чѣмъ, извозомъ и бурлачествомъ и на ярмаркѣ всякой работой; которые и огородишкомъ кормились; бабы въ городъ все тащили, по воскресеньямъ, пряжу, грибы, ягоды, а теперь и носить-то нечего. Мать ослабла совсѣмъ, и послѣ выдѣла двоихъ старшихъ братьевъ — второй въ солдаты попалъ — еле перебивалась. Онъ при ней остался, въ старой избѣ. Королевка одна, пара овецъ — и то, по нынѣшнему времени, въ рѣдкость.

Жениться ему не хотѣлось. Мать упросила. Въ сосѣдней деревнѣ, Утечино, посватали дѣвку, старше его года на четыре, старообразную съ лица, не очень бойкую ни на разговоръ, ни въ работѣ; только они съ матерью повѣрили слуху, что за ней денегъ „отвалить“, и приданое — четыре большихъ короба. Ходили слухи, что она „согрѣшила“, оттого и за безчестье можно получить прибавку. Однако, никакого „богачества“ не оказалось. Коробъ одинъ всего приданнаго далъ кое-съ-чѣмъ, да свадьбу сыграли на шестьдесятъ рублей, да сорокъ рублей въ домъ она принесла — вотъ и все.

Устинья слушала рассказ Епифана и про себя хвалила его истовость, то, что онъ не жаловался, не срамилъ жены насчетъ ея грѣха, и не началъ ей расписывать про постылую женатую жизнь; онъ далъ только понять, что съ первыхъ же недѣль жена ему стала неподходяща. Она забеременѣла, родила дѣвочку—должно-быть, „зимо-рыша“—и послѣ родовъ здоровьемъ начала перепадать; дѣвочка не дожила и до году. Ему въ семьѣ дѣлалось „не по себѣ“—такъ онъ и выразился. Онъ и взялъ паспортъ, сначала у Макарья на ярмаркѣ служилъ, тоже кухоннымъ мужикомъ въ армянской харчевнѣ. Случай вышелъ ему съ купцами ѣхать въ Москву и до Цитера добраться.

Такъ правдиво и обстоятельно поговорилъ о себѣ Епифанъ, что и Устинья ему кое-что рассказала про свое деревенское житье-бытье. Сначала такъ, вкратцѣ, а потомъ и вспоминать полюбила про разныя разности изъ дѣвичьей своей жизни. Она изъ той же почти „округи“, только на арзамасскомъ трактѣ. И они были крѣпостные, она еще помнила все отлично, ее тогда уже замужъ отдавали. И она, какъ Епифанъ же, шла по-старинному, попала за хорошаго парня; но лобъ ему въ скоромъ времени забрили, передъ самымъ объявленіемъ воли. Солдаткой она рано изъ деревни ушла и рано овдовѣла: мужъ на службѣ, въ горахъ, померъ, гдѣ-то на китайской границѣ, она никогда не могла выговорить, въ какомъ мѣстѣ.

Епифанъ слушалъ Устинью, за такимъ вечернимъ питьемъ чая, съ особеннымъ выраженіемъ лица и поклонами головы, какъ почтительный сынъ слушаетъ родную мать; это ей очень льстило. Она бы ему охотно рассказала про разныя соблазны, черезъ какіе прошла въ Питерѣ солдаткой, да еще вдовой и пріятнаго вида; но сразу она не хотѣла очень-то его баловать—того гляди, зазнается и начнетъ запанибратствовать. Онъ парень неглухой, и могъ легко понять изъ ея словъ, что она себя — „не въ примѣръ прочимъ“—соблюдала довольно строго. Сходилась ли она, нѣтъ ли, съ кѣмъ-нибудь, когда еще была молодой бабенкой—на это Устинья никакого намека не сдѣлала; но всѣми своими рѣчами давала ему почувствовать, что съ нею и слѣдуетъ ему обходиться почтительно.

IV.

Точно „шайтанъ“, вселился потихоньку Епифанъ въ сердце Устиньи. Такъ и она называла его по-деревенски „шайтаномъ“, уже послѣ того, какъ онъ ее всю къ себѣ притянулъ...

Снаружи все было попрежнему, даже горничныя-задиры,—и тѣ ничего особеннаго не замѣчали; кухоннаго мужика онѣ оставили въ покоѣ, за обѣдомъ надъ нимъ не смѣялись, совсѣмъ какъ будто и нѣтъ его тутъ. А онъ все такой же, какимъ былъ и при поступленіи: больше помалчиваетъ, ѣстъ медленно и первый ни къ какой ѣдѣ не приступаетъ; всегда ждетъ, чтобы другіе начали.

Да и приблизивъ его къ себѣ, Устинья, въ первые дни, смотрѣла на него, какъ на сироту. Что-то материнское къ нему чувствовала. Ей дѣлалось совѣстно самой себя за то, что она, „старуха“, и вдругъ пользуется такимъ молодымъ челоувѣкомъ; а его она жалѣла и не ставила ему въ вину того, что онъ ее подбилъ на грѣхъ, на за-поздальую страсть.

Винить его она не могла. Нельзя ей было говорить, что онъ ее подбилъ, одурачилъ, опоилъ какимъ-нибудь дурманомъ. Это случилось — она и сама не понимаетъ, какъ. Жалко ей стало его чрезвычайно, — она его, какъ паренька по двѣнадцатому году, приласкала... И только позднѣе она стала испытывать на себѣ его силу. Говорить онъ ей тихо, полушопотомъ, смиренно; но каждое его слово входитъ ей внутрь, и взглядъ его сѣрыхъ глазъ, немножко исподлбья, пронизываетъ ее. Видъ у нея такой, точно будто она хозяйка, а онъ — ся батракъ; на дѣлѣ же совсѣмъ по-другому становилось. Она еще дивилась тому, какъ онъ не догадывается о своей власти надъ нею, не начинаетъ мудрить, не вытягиваетъ изъ нея всѣхъ жилъ...

Не можетъ онъ не смекать, что у такой кухарки, какъ она, должны быть деньги. По его тихимъ, провидательнымъ взглядамъ она замѣчала, что онъ отлично соображаетъ, какой доходъ приносить ей, каждую недѣлю, одна провизія. Онъ грамотный и видитъ, что она за цѣны ставитъ въ записной книжкѣ, которую показываетъ баринѣ. Цѣны ему отлично известны. Живя по трактирамъ, онъ запоминалъ ихъ, да и теперь не пропуститъ случая

освѣдомиться. Устинья не скрыла отъ него, что она „благородно“ пользуется процентами въ лавкахъ. Считать онъ умѣлъ скорѣе ея, и давно привелъ въ извѣстность, какой можетъ быть ея мѣсячный доходъ. Но вотъ они уже больше мѣсяца въ связи, а Елифанъ ни разу не заикнулся даже насчетъ ея сбереженій, ничего не попросилъ, на выпивку или въ деревню послать лишній рубль. Къ вину онъ склонности не имѣетъ, и его трезвость была не наружная только, а настоящая.

Устинья въ двадцать лѣтъ житья на мѣстахъ отложила нѣсколько сотъ рублей. Сначала она носила по мелочамъ въ сберегательную кассу, потомъ купили билетъ съ выигрышемъ, другой, третій... Два раза въ годъ она ихъ страховала, мечтала о кушахъ въ десять тысячъ—дальше она не шла въ своемъ воображеніи,—упорно продолжала вѣрить, что не перваго марта, такъ перваго сентября она непременно выиграетъ. Кромѣ билетовъ, были у нея и наличными, въ разныхъ мѣшочкахъ, затыканныхъ въ бѣлѣ и платѣ ея кованаго сундука, стоявшаго подъ кроватью. Билеты она держала у себя, хоть и сильно боялась пожаровъ. Слышала она про то, что всего лучше положить билеты въ банкъ на храненіе; но она на это не рѣшалась... Надо было исписывать много листовъ, да и узнается, да и какъ бы не вышло затрудненіи при обратномъ полученіи денегъ. Купоновъ она не отрѣзала; знала, что выигрышные билеты даютъ проценты очень малые, но все-таки держалась ихъ исключительно.

Не одинъ уже разъ, глядя со слезами нѣжности въ глазахъ на своего Елифашу, она готова была ввести его въ денежныя тайны, даже похвалиться немного своимъ капиталомъ, посулить ему что-нибудь на разживу... Но она все ждала, что онъ первый начнетъ говорить ей про свои нужды.

Но Елифанъ не просилъ у нея денегъ. Про деревню ему приводилось говорить, про то, что оттуда все требуютъ помощи, что онъ „по силѣ возможности“ посылаетъ; но жалованье его извѣстно, а доходы—какіе же?..

Вотъ эти „доходы“ и повели къ объясненію. И тутъ онъ поступилъ такъ, что она его, про себя, великой умницей назвала.

Сидятъ они вдвоемъ, за чаемъ, разговоръ идетъ о кухаркахъ, о жизни у господъ, о тягостяхъ кухонной службы, о плитѣ, о частыхъ головныхъ боляхъ Устиньи. Ея ме-

довый мѣсяцъ съ другомъ дѣлалъ ей кухню и плиту еще постылѣе. Бросила бы она все это и обзавелась бы своимъ домомъ, да еще при такой умницѣ, какъ ея любезный.

Епифанъ, какъ бы про себя, выговорилъ:

— Жалованья своего вы, чай, не проживете!

Онъ все еще продолжалъ говорить ей „вы“, Устинья Наумовна.

— Извѣстное дѣло,—отвѣтила она и поглядѣла на него вкось.

— А процентъ (онъ произносилъ съ удареніемъ на „про“) превосходитъ жалованье.

И это онъ сказалъ не тономъ вопроса, а какъ вещь несомнѣнную.

— Ты спрашиваешь, больше ли процентъ супротивъ жалованья?

Вопросъ Устиньи звучалъ уже совсѣмъ задушевно. Тайны она передъ Епифаномъ не хотѣла имѣть.

— Такъ точно,—чуть слышно вымолвилъ онъ и посмотрѣлъ на нее продолжительно.

Въ его взглядѣ Устинья увидѣла, до чего онъ ее довести желалъ.

„Ты, молъ, доходомъ пользуешься безвозбранно; но все-таки ты изъ господскаго кармана не одну сотню въ годъ вынешь такимъ манеромъ. Я—твой помощникъ по кухнѣ, несу на своихъ плечахъ всю черную работу, знаю очень хорошо, чѣмъ ты пользуешься, и молчу... Такъ не лучше ли будетъ намъ дѣлиться, по-честному, безъ всякихъ лишнихъ разговоровъ?“

Все это она нашла во взглядѣ его сѣрыхъ, тихо призывающихъ глазъ, и на другой же день сама первая объявила ему, что онъ отъ нея каждый мѣсяцъ будетъ получать то, „что ему слѣдуетъ“.

— У меня жалованье, у тебя—другое,—вразумительно говорила она.—Ты не меньше моего трудишься. Съ моего доходу и тебѣ должна идти доля.

Доля эта была третья, и онъ сталъ ее получать на руки. И такъ онъ былъ растроганъ этимъ „неоставленіемъ“ Устиньи, что только, безъ всякихъ словъ, много разъ на дню прижиметъ ее тихонько къ своей груди и глазами обласкаетъ.

Никакихъ у нихъ исторій изъ-за денегъ, ни попрошайства, ни вытягиванья. И ничего она для него изъ про-

визии не утаиваетъ. Онъ не лакомка. Когда-когда оставить ему кусокъ послаще, и не спрашиваетъ его, куда у него идутъ ея деньги, домой ли отсылаетъ, или на что тратить. Подозрѣній насчетъ гулянокъ съ женскимъ поломъ, на сторонѣ, у нея нѣтъ. Епифанъ любитъ хорошую одежду и купилъ себѣ пиджакъ и шелковую жилетку; но видитъ она, что у него къ транжирству никакой нѣтъ склонности. Хмельнымъ ни разу не приходилъ. Всѣ имъ въ домѣ довольны—и старшій, и остальные дворники. Устинья сообразила, что онъ ихъ чѣмъ-нибудь ублажаетъ.

„Халды“ - горничныя тоже стали съ нимъ заговаривать, и „Варька“ куда не прочь была бы „хвостомъ вильнуть“, да онъ съ ними все такъ же себя держитъ, какъ и вноутѣ. Полегоньку и онъ передъ нимъ спасовали, да-ромъ что онъ кухонный мужикъ.

И сама не можетъ уже распознать Устинья, какъ она любить своего Епифашу... Всячески любить: и жалѣетъ его, и боится его, и льнетъ къ нему...

И все тошнѣ ей дѣлается стряпня,—цѣлый день возиться и сдерживать себя на людяхъ. Точно она прикована къ этой плитѣ, а ея возлюбленный—вольный человекъ: сегодня тутъ,—завтра взялъ паспортъ, да и утекъ. Не вѣкъ же онъ будетъ оставаться кухоннымъ мужикомъ. А года-то идутъ... Она черезъ пять лѣтъ совсѣмъ старуха; онъ—еще кровь съ молокомъ, только въ возрастъ вступить настоящій, къ тридцати годамъ подойдетъ.

И жаръ кидался ей въ голову отъ всѣхъ этихъ думъ, не меньше чѣмъ отъ плиты.

V.

О томъ, что у Епифана есть жена, Устинья одно время точно забывала... Вѣдь онъ ей сказывалъ, что жена старше его, женился онъ на ней, не любя ея, считаетъ „ледащей“ бабенкой, къ ней его нисколько не тянетъ. Будетъ ей посылать отсюда когда—денегъ, когда—неумудрый гостинецъ, съ „аказіей“.

Но чѣмъ глубже забиралась въ душу Устиньи страсть къ Епифану, тѣмъ ей ненавистнѣе дѣлалась самая мысль, что, какъ ни какъ, онъ все-таки женатъ, у него баба есть, и эта баба—его законная „супруга“. Можетъ вѣдь и сюда пожаловать, особливо, когда старуха помретъ. Дѣтей у нихъ нѣтъ. Что жъ она тамъ одна будетъ оста-

ваться?.. Земли малость, пахать некому... Она возьметъ да и явится.

И потомъ, какова бы она тамъ ни была, все-таки она молодая баба. Вѣдь онъ никогда не говорилъ, что она уродина, а только старообразна. Кто ее знаетъ, можетъ, теперь раздобрѣла. Ей житье не плохое: Епифанъ помогаетъ семьѣ.

Ходить Устинья вокругъ плиты и точно подъ ложечкой у нея что сверлитъ. Надо ей дѣлать бешамель къ телятинѣ, а она никакъ тревоги изъ себя не можетъ вытравить. Вотъ сейчасъ совсѣмъ забыла прибавить къ заправкѣ сахару, какъ баринъ любить. Прежде у нея всякій соусъ или подливка въ головѣ такъ и выскочить: все, до послѣдней малости, и что послѣ чего положить, и сколько минутъ подержать на огнѣ, и въ какой пропорціи; а тутъ, на такомъ пустякѣ, какъ бешамель, и чуть не сбилась!

Постоянное присутствіе Епифана волнуетъ ее. Онъ нигде почти не отлучается и такъ ловко и скоро справляетъ свою черную работу, что успѣваетъ и ей, по поварской части, помогать. Кое-что онъ зналъ и прежде, а теперь могъ бы уже простой, незатѣйливый обѣдъ и весь сготовить. Если бъ ему подручнымъ въ большую кухню, къ хорошему, ученому повару, изъ него бы и теперь еще вышелъ не плохой кухарь. Но въ немъ нѣтъ настоящей охоты къ этому дѣлу, какъ и въ самой Устинѣ. Онъ также не любитъ плиты, постоянного жара и чада... И онъ такъ разсуждаетъ, что за поварскую и кухарочную службу—„всякія деньги депевы“. Слыхалъ онъ, что въ отеляхъ и ресторанахъ французамъ, а случается и русскимъ, главнымъ поварамъ, до трехъ тысячъ платять. Врядъ ли бы онъ польстился и на такое жалованье!

Епифана совсѣмъ не туда тянетъ. У него склонность къ промыслу, къ торговлѣ, къ толковому обхожденію съ деньгами. И не такъ, что въ „ламбаръ“ положилъ, да и отрѣзываетъ „купончики“, а такъ, чтобъ своей собственной головой изъ одной конейки сдѣлать пять и десять въ одинъ годъ.

Устинья, при всей его сдержанности, поняла это, и въ ей головѣ стали роняться мысли все вокругъ того, какъ бы Епифана привязать къ городу окончательно. Деревенскіе порядки ей были довольно извѣстны. До тѣхъ поръ, пока ты въ крестьянскомъ обществѣ числишься,—ты за-

крѣпощенъ. Захочетъ общество, и откажетъ тебѣ въ высылкѣ вида, и могутъ тебя туда по этапу прогнать. Надо Елифана совсѣмъ освободить, чтобъ ни староста, ни волостной писарь, ни старшина, ни мать, ни, главное, жена не могли держать его въ зависимости отъ деревни.

Спрашиваетъ она его въ тотъ самый день, когда она на бешамелѣ чуть было не запнулась:

— Епифаша, а коли бы у тебя теперь въ карманѣ до тысячи рублей было, ты нешто остался бы въ крестьянствѣ?

Онъ на нее сначала поглядѣлъ, по-своему, снизу, изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ.

— И въ деревнѣ можно. по нынѣшнему времени, многимъ займаться,—уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Однако, ты городской, по всему. Ежели бѣ, напримѣръ, къ мѣщанскому сословію приписаться?

— Даромъ никто не выпустить. Что жъ о пустомъ говорить!

Слово: „пустое“ ее даже обидѣло. Епифанъ какъ будто не могъ сдержатъ досады: „и зачѣмъ, молъ, ты меня только дразнишь, а серьезнаго ничего въ моемъ положеніи не измѣнишь!“

Это задѣло ее. И захотѣлось ей сейчасъ же доказать ему, что она не на вѣтеръ говоритъ, а если бѣ онъ не ѣжилъ и прямо ей свои всѣ сокровенныя желанія выложилъ, она бы освободила его отъ деревни, отъ міра, отъ жены постылой.

Съ жены Устинья и начала.

— Вѣдь я до сихъ поръ не знаю, Епифанъ,—заговорила она степеннымъ, почти суровымъ голосомъ,—въ какихъ ты чувствахъ къ своей фамиліи? Можетъ, ты такъ только говоришь, а между прочимъ для тебя твоя баба—большая привязка, и ты отъ нея и по доброй волѣ не отойдешь.

— Куда же я отойду? Да и зачѣмъ? Пока по городамъ буду жить, кто же меня станетъ тревожить?.. Тамъ вѣдь тоже деньга-то нужна, а отъ меня идетъ хорошая благостыня.

— Однако, баба твоя—на ногахъ. Дѣтей у васъ нѣтъ. Мать умереть, она и пожалуется самолично, подъ тѣмъ предлогомъ, что ей хозяйничать не надъ чѣмъ, а здѣсь она хоша въ стряпухи на извозчикій дворъ пойдетъ.

— Безъ моего разрѣшенія этого не будетъ,—спокойно замѣтилъ Елифанъ.

— Все-таки! Вотъ видишь, Елифаша,—она продолжала уже гораздо мягче,—твою судьбу я бы съ великой радостью устроила. Только надо, чтобъ ужъ никто тебя изъ деревни не беспокоилъ.

И они начали разговаривать по-душѣ, тихо-тихо. Кстати и въ домѣ-то никого не было, кромѣ дѣтей съ гувернанткой, да больной ихъ тетки, а горничныя шили въ комнатѣ, около передней. Устинья прямо его допросила, сколько это будетъ стоить, если бѣ, въ самомъ дѣлѣ, выйти изъ крестьянскаго сословія. Онъ началъ соображать и сказалъ ей приблизительно сумму. Надо будетъ землицей своей почти-что совсѣмъ пожертвовать. Это бы еще не Богъ вѣсть какая потеря, но, по его разсужденію, выходило, что не стоить это дѣлать. Были бы только „настоящія“ деньги—кто ему мѣшаетъ, чѣмъ хочетъ, заниматься въ Питерѣ: въ артель поступить, торговлю открыть, даже и въ гильдію записаться?

Устинья опять упомянула о женѣ.

— Это даже смѣху подобно!—возразилъ Елифанъ и засмѣялся немного въ носъ.—Чего же ея бояться? Окажусь я исправенъ насчетъ денежныхъ пособій—и она будетъ сидѣть тамъ, въ Грабировѣ. Совсѣмъ она не такого характера, чтобъ ее въ столицу тянуло... Какъ есть самая простая баба, права угрюмаго, и опять же привычна къ своему хозяйству, и въ услуженіе, безъ крайней надобности, не пойдетъ.

Такіе доводы все еще не вполне успокоили Устинью.

— Опять же и то взять,—болѣе спокойно говорилъ ей Елифанъ,—если и къ мѣщанству припишусь, она должна, по мнѣ, къ тому же сословію отойти. Такимъ манеромъ она скорѣе теперешняго угодитъ въ Питеръ. Въ тѣ поры у нея не будетъ уже никакой задержки: избы, хозяйства или землицы. Ко всему этому она приставлена и отчетомъ передо мною обязана. Тогда она за мной, какъ разъ, увяжется. Въ крестьянствѣ ли, въ мѣщанствѣ ли—отъ нея окончательно не отвяжешься; она не сапогъ!—добавилъ онъ, и такъ улыбнулся, что Устинья, въ первый разъ, сдѣлалось не по себѣ—столько было въ усмѣшкѣ его нѣсколько блѣднаго рта тихой „язвы“.

Она примолкла и точно побоялась продолжать дальше этотъ задушевный разговоръ, который сама же вызвала.

Но ей не было уже ходу назадъ. Съ ея амбиціей нельзя, какъ пустой болтунѣ, только раздражить челоуѣка, а ничего ему не указать существеннаго.

Она должна была это сдѣлать. Разговоръ возобновился и шелъ каждый вечеръ, за чаемъ; она сама возвращалась къ нему. Епифанъ уже въ подробностяхъ узналъ, сколько у нея накоплено экономіи. И онъ самъ сталъ сообщительнѣе пascетъ своихъ желаній и расчетовъ. Да и чего ему было скрывать то, что онъ хотъ при небольшомъ капитальцѣ, на первыхъ порахъ, могъ бы приняться за такое дѣло, которое сулитъ больше пользы? И онъ такъ при этомъ улыбнулся глазами, что Устинья прочно увѣровала въ то, какъ быстро хотѣлъ разжиться ея „сердешный другъ“

VI.

До весны они толковали промежъ собой только о своихъ дѣлахъ, расчетахъ и мечтаніяхъ. Полегоньку Епифанъ сталъ разспрашивать Устинью про господъ. Въ барскія комнаты онъ почти-что не былъ вхожъ. Кухонному мужику не полагалось входить туда; развѣ барыня позываетъ, чтобы послать куда-нибудь; въ такихъ случаяхъ она вызываетъ его на темную площадку передъ столовой. Самоваръ вносили и уносили горничныя. Онъ могъ бы это дѣлать, но барыня не терпѣла запаха смазныхъ сапогъ. Она и полотеровъ съ трудомъ терпѣла, и въ нхъ дни сама уѣзжала всегда со двора. Въ эти дни и Епифанъ иногда призывался помочь въ перетряхиваніи ковровъ или въ установкѣ болѣе грузной мебели. Барину онъ началъ чистить сапоги, калоши, а потомъ и платье; но до себя его баринъ тоже не допускать, развѣ когда поблизости пошлетъ, такъ какъ онъ грамотный и адреса не перепутаетъ.

Но все-таки онъ хорошо ознакомился съ квартирой, расположеніемъ компаты и даже, черезъ Устинью и своими наблюденіями, составилъ себѣ вѣрную картину семейства и вообще всей жизни, и отдѣльно о каждомъ челоуѣкѣ.

Дѣти были какъ дѣти... Одинъ мальчикъ, лѣтъ десяти, и три дочери, тоже все малолѣтки, учатся въ заведеніяхъ, но живутъ дома. Мальчика одного пускаютъ, дѣвочекъ возятъ въ дурную погоду, а въ хорошую посылаютъ съ одной изъ горничныхъ, съ Олей.

При дѣвочкахъ—гувернантка, мамзель, швейцарка, молоденькая, изъ себя некрасивая и тихая. Отъ нея людямъ никакой обиды нѣтъ, да она и плохо еще понимаетъ по-русски. Родители—мать съ отцомъ—дѣтей любятъ, много тратятъ на ихъ ученье, и на одежду, и на книжки, игры всякія; дѣтская комната, гдѣ они занимаются, больше гостиной и полна всякой всячины. Епифанъ разсматривалъ не разъ, что тамъ стоитъ и виситъ по стѣнамъ. Мальчикъ, Петенька, полюбилъ его и кое-чемъ ему рассказывалъ, даже маленькую электрическую машину ему заводилъ. Ходить къ нему на домъ студентъ, почти каждый день, а къ дѣвочкамъ—русская мамзель и музыкантъ, еще молодой человекъ, съ длинными до плечъ волосами. Баринъ—среднихъ лѣтъ, въ обхожденіи строговатъ, но его въ домѣ совсѣмъ не слышно, занятъ цѣлый день, и дома, и въ должности своей, въ какомъ-то „Обществѣ“. Знаетъ Епифанъ, черезъ швейцара, что каждый день, въ пятомъ часу, баринъ ѣздитъ на Островъ, на биржу. Стало, денежныя дѣла дѣлаетъ, да и кабинетъ у него такой, какіе у денежныхъ людей должны быть,—съ конторкой, этажерками и съ желѣзнымъ шкапомъ, приинченнымъ къ полу. Такого шкапа Епифанъ до того еще никогда не видалъ. Съ полотерами онъ раза два возился въ кабинетѣ и хорошо этотъ шкафъ осматрѣлъ. Штука—дорого стоить, и они еще тогда, съ однимъ изъ полотеровъ, побалагурили: „что есть-де искусники, и въ такую посудину могутъ проникнуть“.

Насчетъ барыни Епифанъ держался мнѣнія Устиньи: рыхлая, съ болѣзнями, привередлива; въ сущности—ни во что не входитъ; выѣзжать не любитъ, а къ ней—милости просимъ, пообѣдать и въ карточки—картежница завзятая, а то—по цѣлымъ днямъ лежитъ на кушеткѣ и книжки читаетъ, кое-когда въ классную заглянетъ и дѣтей больше барина балуетъ.

Въ домѣ много значить сестра барина, пожилая дѣвушка, вся скорченная отъ „болѣстей“, святоша, Евгенія Сильвестровна; у нея своя большая комната съ уборной. Устинья сильно не долюбивала ее и не мало „покумила“ насчетъ ея съ Епифаномъ. Кажется снаружи, что эта ханжа ни во что не вмѣшивается, а на дѣлѣ-то она на господъ большое имѣетъ вліяніе, особливо на брата; онъ съ ней обо всемъ совѣтуется, и даже въ выборѣ прислуги ея мнѣнія спрашиваютъ всякій разъ. Она и горничнымъ

наставленія читаетъ, чуть что-нибудь ей покажется подозрительнымъ, насчетъ ихъ поведенія. Она же была противъ того, чтобы брать на кухню мужа, и настаивала на судомойкѣ. И хотя изловить ей не удастся Устинью съ Епифаномъ, но она навѣрное пронюхала, потому что начала какія-то душеспасительныя слова говорить кухаркѣ, когда та съ ней въ коридорѣ встрѣтится. Сама она въ кухню не заходитъ. Случается, что Устинья понесетъ ей въ комнату котлетку или куриного бульону: она частенько съ господами не обѣдаетъ, по болѣзни.

Епифанъ и въ ея комнату попалъ съ полотерами. И тамъ онъ разглядѣлъ, въ альковѣ, около самой кровати, въ стѣнѣ, вымазанной свѣтло-зеленоватою краскою, замочную скважину и ободокъ двери. Онъ сообразилъ, что и это—шкапчикъ для храненія денегъ и цѣнностей, только вдѣланный въ стѣну, а не такъ, какъ въ кабинетѣ барина, въ видѣ настоящаго шкапа, подъ лакъ.

И онъ ее, изъ всего семейства, не жаловалъ. Разъ какъ-то она на него особенно поглядѣла и спросила мягкимъ голоскомъ:

— А ты, милый, женатъ?

— Женатъ,—отвѣтилъ Епифанъ и опустил рѣсницы.

— И хорошо живешь съ женой?

— Хорошо, матушка,—отвѣтилъ онъ своимъ совсѣмъ сладкимъ тономъ.

Но старая барышня опять его спросила:

— Давно не былъ въ деревнѣ?

— Третій годъ.

— Ай-ай!..

Больше ничего не сказала, только покачала головой.

Пришла весна. Господа рано собрались на дачу по финляндской дорогѣ. Дѣвочекъ отпустили изъ заведенія, а мальчику надо было еще доучиться. Тетка, Евгенія Сильвестровна, расхворалась, не опасно, а такъ все-таки, что ей переѣзжать еще нельзя было: въ ногахъ ломота сдѣлалась, и раньше начала іюня докторъ ей не позволялъ перебираться на дачу. При ней и мальчикъ долженъ былъ остаться до конца мая.

Много было толковъ, какъ уладить насчетъ кухарки. Устинья дачу вообще не любила—тамъ работы не меньше, а доходъ совсѣмъ не такой. Разносчики прямо все таскаютъ на барское крыльцо: рыбу, живность, ягоды, масло... Но она утѣшалась тѣмъ, что и Епифанъ пере-

Идетъ съ ней; онъ тамъ даже пужибе, чѣмъ въ городѣ. На подтора мѣсяца подговорили поваренка, за двадцать рублей, а Устинья должна была оставаться при старой барышнѣ прислуживать, и готовить ей и мальчику, да и баринъ будетъ въ первыя недѣли маѣзжать въ городъ, по дѣламъ, а тамъ ужъ совсѣмъ переберутся.

Елифана хотѣли было брать тотчасъ же, но Устинья поговорила съ бариномъ—онъ къ ней благовоилъ за ея мастерство — и представила ему резопъ, что старая барышня нездорова, надо при ней быть неотлучно; кого же послать? Не бѣгать же все за дворниками? Съ ея резопомъ баринъ согласился. Такъ и было сдѣлано.

Переѣздъ назначили на пятое мая. При этихъ хлопотахъ Елифанъ сильно дѣйствовалъ, и барыня дала ему цѣлковый на чай. Можетъ-быть, ей „святоса“ — Евгения Сильвестровна—и шепнула что-нибудь про связь кухарки съ кухоннымъ мужикомъ, но она никакихъ придирокъ не дѣлала и не поглядывала на Елифана такъ, какъ та „колченогая“, по выраженію Устиньи.

Остаться одной, на цѣлый мѣсяцъ, полной хозяйкой кухни, провизіи и съ „Елифашей“, все это Устинью радовало на особенный ладъ: ей хотѣлось и на „колченогой“ выместить немножко ся „сованье носа“ въ то, что до нея не касается. Усчитывать себя она не дастъ; ей барыня оставила карманные деньги, а остальное—на книжку у поставщиковъ. Кормить она будетъ ту „колченогую“ какъ слѣдуетъ, но за себя, свое достоинство и сердечныя дѣла—постоятъ!.. Одночество „дѣтняго положенія“ особенно ей придется по душѣ. Съ Елифаномъ ей еще удобнѣе все обсудить — къ осени надо его устраивать по-новому, и ей пора бросать тошную плитую!..

VII.

Когда Устинья съ Елифаномъ остались вдвоемъ, точно хозяева квартиры, имъ уже не передъ кѣмъ было хорошиться. „Колченогая“ лежала или сидѣла у окна, въ своей спальнѣ, мальчикъ ходилъ въ гимназію, да и по вечерамъ сидѣлъ больше у одного товарища, готовился къ переходному экзамену. Своего дружка Устинья не иначе и вслухъ звала, какъ „Елифаша“ или „Сидорычъ“, въ видѣ шутки. Привесетъ младшій дворникъ дровъ, они его сейчасъ чайкомъ попоить; онъ, разумеется, смекаетъ, что у кухарки съ Елифаномъ большіе лады: и старшій дворникъ

объ этомъ „извѣстенъ“, но какая же ему о томъ забота: дѣло самое обыкновенное, держать себя оба благородно, не напиваются, не бузнятъ, не ссорятся и никакихъ „охлаждений“ между собою не творятъ. Дворникъ вообще дружить съ Устиньей, и отъ нея ему иногда кое-что перепадетъ изъ провизіи или дешевле ему уступали въ зеленой и въ овощной лавкѣ.

Такъ имъ хорошо стало на просторѣ, что Устинья кажется, ровно она у себя, въ собственной квартирѣ живетъ съ Епифаномъ, полными хозяевами. Въ кухнѣ они мало сидѣли—она имъ обоимъ пріѣлась, а больше все въ горницѣ дѣвушкѣ, просторной, въ два окна, гдѣ стояли и господскіе пивапы съ лишнимъ платьемъ.

Въ тотъ самый день, когда господа перѣехали на дачу, Устинья объявила Епифану, что онъ можетъ перебираться ночевать въ квартиру. На это изъявили согласіе баринъ съ барыней. О такомъ распоряженіи она, первымъ дѣломъ, доложила Евгениі Сильвестровнѣ. Та поглядѣла на нее съ кислой улыбкой и выговорила, поморщившись, тотчасъ же затѣмъ:

— Вѣдь внизу швейцаръ. Затѣмъ еще мужчину?.. Отъ нихъ такой дурной запахъ.

Устинья уперлась глазами въ полъ и отвѣтила:

— Такое ихъ было распоряженіе.

Но она все-таки замѣтила у старой дѣвушки особенное движеніе губъ, тонкихъ и синеватыхъ. Ее передернуло.

„Верти—пе верти носомъ, — зло промолвила про себя Устинья, — а будетъ по-моему, и тебѣ, матушка, до этого дѣла нѣтъ!“

Епифану она передала свой разговоръ съ „колченогой“, и они, за чаемъ, промыли ей косточки; больше, впрочемъ, Устинья, а Епифанъ сначала только усмѣхался на ея ядовитыя выходки и, помолчавъ, вдругъ спросилъ ее:

— А что, Устюша, у этой самой барышни должны быть свои собственныя деньги?

— Безпремѣнно!

Устинья отвѣтила такъ не наобумъ. Когда она поступила къ этимъ господамъ, вмѣсто Оли жила другая дѣвушка, скромная, лѣтъ за тридцать. Она угодила замужъ и отошла. И въ тѣ три-четыре недѣли, какъ онѣ были еще вмѣстѣ, Катерина ей многое про господъ рассказала, какъ и всегда бываетъ между степенной прислугой, когда одна другую хочетъ обо всемъ вразумить. Старая барышня



совсѣмъ не бѣдная. Ея доля немного поменьше досталась, чѣмъ брату. Она была, слышно, въ молодости не дурна собой и музыкантша, и въ какого-то тамъ музыканта „врѣзалась“ до сумасшествія, такъ что ее чуть ли не въ лѣчебницѣ держали, никакъ съ годъ. Музыкантъ этотъ былъ женатый, да и померъ, къ тому же, въ скоромъ времени. Тутъ она опять впала въ сильное разстройство; ноги у нея отнялись вдругъ и даже языкъ, и съ тѣхъ поръ она уже поправиться не могла,—состарѣлась и вся согнулась „въ четыре погибели“,—прибавила Устинья отъ себя. Имѣнье она наполовину удержала, проживала у брата, на харчахъ, за себя платила; но не больше, какъ рублей семьсотъ въ годъ. Поэтому-то къ ней и уваженіе такое, ровно она бабушка, что наследниками послѣ нея будутъ и баринъ, и прямо—дѣти. Она свободную-то отъ надѣла землю, въ одной деревнѣ, давно продала, да и выкупныя еще получила. Вотъ больше двадцати лѣтъ какъ она копитъ. Должно-быть, черезъ брата она и деньги въ оборотъ пускала, на биржѣ; можетъ, и подъ закладныя давала. Изъ дѣтей она „обожаетъ“ мальчика, Петеньку, и нужно полагать, что ему, по крайности, двѣ трети капитала достанутся, а барышнямъ—остальное, барину—по закону, та земля, что у нея осталась непроданной, родовая, отъ матери.

Все это выслушивалъ Епифанъ въ глубокомъ молчаніи, и только обтиралъ себѣ, отъ времени до времени, лобъ клѣтчатыхъ платкомъ.

— А вѣдь у нея въ стѣну вдѣланъ шкапчикъ несгораемый,—вдругъ сказалъ онъ глухимъ голосомъ, точно у него что въ горлѣ перехватило.

— Ишь ты!—отозвалась Устинья.

Она объ этомъ шкапчикѣ не знала.

— Самъ видѣлъ.

— Шкапчикъ, ты говоришь? Стало, маленькій?

— Однако, билетовъ можно туда до сотни тысячъ уложить.

Глухой тонъ Епифанова голоса не пропадалъ.

— Коли такъ,—продолжала Устинья, и вкусно вытянула остатокъ чая съ блюдечка,—она у себя главный капиталъ, въ этомъ самомъ шкапчикѣ, держитъ.

— Врядъ ли,—откликнулся Епифанъ, какъ бы разсуждал самъ съ собой; глаза его были полузакрыты и обращены въ сторону.—Господа цѣнныя бумаги кладутъ въ банкъ...

въ государственный, — прибавилъ онъ увѣренно, и тутъ только взглянулъ на Устинью.

Отъ этого взгляда ей во второй уже разъ стало жутко.

— Ты нашей сестры не знаешь, — начала она возражать ему. — Что меня, кухарку, взять, что барышню такую, да еще старую, колченогую, мы ни въ жисть не положимъ въ банкъ, хоть развѣрнѣйшій онъ будь.

— Сохраннѣе быть не можетъ, — возражалъ, въ свою очередь, Епифанъ, — квитанціи тамъ выдають, а бумаги въ жестяныхъ ящикахъ въ подвалахъ со сводами хранятся. Мнѣ, въ трактирѣ, одинъ солдатъ сказывалъ. Онъ на часахъ тамъ ставалъ, не одинъ разъ, при самой этой кладовой.

Но Устинья не могла уступить ему. Она напирала на то, что „ихъ сестра въ какой ни на есть банкъ“ не отдастъ всѣхъ своихъ денегъ. Она одумалась немного, сообразила что-то и добавила, вся красная отъ чая и овладѣвшаго ею страннаго волненія:

— Вотъ что я тебѣ скажу, Епифаша... Повѣрь ты мнѣ. Ежели эта дѣвуля дастъ деньги подъ залогъ или черезъ барина на биржѣ афѣрами занимается, то малую часть она ему отдала на храненіе.

— Сундукъ у барина въ кабинетѣ здоровый! — выговорилъ Епифанъ. — Не сдвинуть и двумъ дворникамъ.

— Много тамъ тоже не лежитъ! Барину надобны всегда деньги. Мнѣ швейцаръ пояснялъ, какъ это они тамъ на биржѣ „играють“. А остальное, — продолжала Устинья съ увѣренностью, — у нея, въ этомъ шкапчикѣ, — и бумаги какія по деревнѣ, и закладныя, и все, все.

— Билеты-то именныя бывають, — еще глуше вымолвилъ Епифанъ и отвелъ глаза въ сторону.

— Такъ что жъ, что именныя?

Она не совсѣмъ ясно разумѣла про то, что онъ ей говорить.

— Вотъ у тебя просто билеты, — объяснялъ Епифанъ чуть слышно, и голосъ его вздрагивалъ. — Потеряй ты ихъ сейчасъ или украдъ у тебя кто-нибудь, и ежели номера не записаны, и ты, въ ту жъ минуту, не дашь знать по начальству — и пиши пропало! Это все едино, что товаръ или бумажка радужная: вошелъ, значитъ, къ первому мѣнялѣ, по Банковской линіи или на Невскомъ, — и продалъ.

— Быть не можетъ! — вырвалось у нея.

Устинья даже и не подумала никогда о такой близкой опасности—лишиться навсегда своих сбережений.

— Я же тебѣ и говорилъ, — добавилъ Епифанъ, — въ банкѣ надо снести на храненіе.

Она промолчала, колеблясь между страхомъ и сомнѣніемъ, а онъ все тѣмъ же, чуть слышнымъ еще голосомъ объяснялъ ей, что есть именныя билеты, гдѣ стоитъ, кто сдѣлалъ вкладъ въ банкъ и на сколько годовъ, и на какіе проценты. У старой барышни всѣ капиталы могли быть въ такихъ именныхъ билетахъ.

Но когда Епифанъ сообщилъ ей, что на такіе вклады въ конторахъ даютъ больше процентовъ, чѣмъ за простые билеты, Устинья опять стала доказывать свое:

— Не знаешь ты нашей сестры! Больше даютъ, слѣдственно и риску больше потерять. Контора лопнетъ. Я, вонъ, малость получаю со своихъ, зато выигрышь! Безпремѣнно и у барышни не одинъ десятокъ есть такихъ же. Она Петеньку своего обогатить желаетъ.

Съ этимъ доводомъ Епифанъ согласился.

И вдругъ разговоръ у нихъ точно обрѣзало. Они замолчали и поглядѣли другъ на друга.

„Вонъ ты какой дошлый у меня!“ — подумала Устинья, и жуткое чувство долго еще не проходило у нея.

VIII.

Старая барышня посиживала себѣ и полеживала въ своей спальнѣ. По другимъ комнатамъ она совѣмъ и не ходила; слухъ у нея былъ „анзеемскій“ — все слышала, днемъ ли, ночью ли.

Епифанъ долженъ былъ спать въ передней. Онъ такъ и дѣлалъ, съ вечера; но послѣ полуночи перебирался въ другую половину квартиры.

Не укрылось это отъ „колченогой“. Устинья подавала ей бульонъ съ яйцомъ—любимое ея кушанье; она по-своему перевела губами и сказала ей съ удареніемъ:

— Шаги я мужскіе слышу поздно ночью черезъ коридоръ. Пожалуйста, чтобы этого впередъ не было!

Устинья промолчала, только ее въ краску ударило.

Вечеромъ, за чаемъ, она пожаловалась на барышню, передала Епифану ея запретъ.

— По-другому дѣлать будемъ, — сказалъ онъ спокойно; по въ глазахъ у него блеснуло.

Они стали разговаривать еще тише, такъ что ихъ черезъ перегородку, и то врядъ ли бы кто услыхалъ.

— Да,—говорилъ Епифанъ, и каждое его слово точно отдавалось у нея въ груди,—вотъ такая старушенція— всю ее скрючило, ни на какое она дѣло не годна, только себѣ и людямъ въ тягость—и всѣ передъ ней прыгаютъ изъ-за ея капшталъ.

— И не подохнетъ въ скорости!—уже съ положительной злостью отозвалась Устинья.—Этакія-то живучи!

— А деньжища-то куда пойдутъ? Мальчику... Кто еще знаетъ, что изъ него прокъ выйдетъ? Хоша бы и не злой человѣкъ оказался, не распутный, а все же барчонокъ, балованный, станетъ себѣ купончики отрѣзывать да въ утробу свою, въ сладкое житье всаживать.

— Извѣстное дѣло,—подтвердила Устинья, и такъ нестерпимо ей сдѣлалось досадно на эту старую „дѣвку“, которая отъ безсонницъ вздумала наблюдать за тѣмъ: всю ли Епифанъ ночь спитъ въ передней... Всякую гадость она способна ей сдѣлать. Только съ господами, до поры до времени, не хотѣла она ссориться, а то бы она ей отравила житье до переѣзда на дачу одной фдой.

— А какъ вы, Устинья Наумовна,—полуплутииво началъ Епифанъ,—полагаете: большой грѣхъ былъ бы вотъ такую колченогую достоянія ея рѣшить, хоша бы и совершенно противъ ея желанія?..

Устинья громко разсмѣялась: вопросъ свой Епифанъ задалъ съ тихой, язвительной усмѣшкой, и глаза его до-сказывали то, что она и сама способна была устроить этой Евгениі Сильвестровнѣ.

— Рѣшишь!—выговорила она и весело тряхнула головой.—Послѣ дождичка въ четвергъ!

— Все дѣло рукъ человѣческихъ,—проронилъ онъ и началъ дуть на блюдечко; кусочекъ сахара звонко щелкнулъ у него на крѣпкихъ и бѣлыхъ зубахъ.

Такому обороту разговора Устинья, въ этотъ вечеръ, вполне сочувствовала. Да и что за грѣхъ поболтать о томъ, какъ бы слѣдовало дѣвулю обчистить „что твою луковку“ и раздѣлить ея деньжища тѣмъ, кто настоящую цѣну имъ знаетъ?

— Вѣдь ты подумай, Епифаша, — мечтала вслухъ Устинья,—на худой конецъ, у нея такихъ билетовъ, какъ у меня, двадцать штукъ найдется... А то и больше.

— Двадцать штукъ—не больно еще какая уйма де-

негъ,—остановилъ ее Епифанъ, слегка поморщилъ переносицу и въ умѣ сосчиталъ, сколько это будетъ.—Хоча бы и всѣ перваго выпуска—такъ это пять съ чѣмъ-то тысячъ...

— То-то и есть!—разгоралась Устинья.—Кладемъ-инъ, двадцать штукъ... Подержи ихъ въ однѣхъ рукахъ десять лѣтъ, а то и больше—безпрѣмѣнно выигрыши будутъ... Сколько облагодѣтельствовать можно стоящаго народу!

— Въ умѣхъ-ихъ рукахъ,—тягуче выговаривалъ Епифанъ,—какихъ-какихъ аферъ, какихъ оборотовъ!..

Слово „афера“ и онъ сталъ употреблять. Но въ пустыхъ мечтаніяхъ у него не было охоты вдаваться. Въ ту же ночь, когда и „дѣвуля“ заснула, онъ босикомъ пробрался по коридорчику, мимо двери ея спальни, побесѣдовать съ Устиньей.

Ему не спалось, и онъ сталъ шопотомъ настраивать Устинью уже въ другомъ духѣ.

И съ нею сонъ быстро слетѣлъ, когда она слышала въ его шопотѣ звуки, совсѣмъ уже не похожіе на тѣ, какими они, полущтя, полусерьезно, перебирали вопросъ о „кубышкѣ“ старой барышни.

Онъ точно гвоздемъ вбивалъ ей въ голову свои соображенія и не просилъ, а всякіе давалъ ей „резоны“. Ни одного слова не обронилъ онъ зря, на вѣтеръ. Сотни разъ перебралъ онъ въ умной „башкѣ“ и перекидывалъ такъ и этакъ подробности своего плана.

И планъ всталъ передъ Устиньей во всей своей исполнимости. До переѣзда барышни съ мальчикомъ на дачу оставалось уже всего дней десять-двѣнадцать. Въ этотъ промежутокъ и надо было все „произвести“.

У нея ни разу, слушая его, не соскочилъ съ губъ возгласъ: „Епифанъ! Да ты и вправду?“—Она прекрасно понимала, что все это „вправду“.

Чего же имъ ждать лучшей оказіи? Сразу судьба ихъ вознесется до самаго верхняго края. Какія у нихъ деньги, если бы они стали и вмѣстѣ проживать, здѣсь ли, въ Москвѣ, или въ губерніи? „Паршивенькая“ тысячка рублей!.. И все-таки онъ, Епифанъ, не уйдетъ отъ своего крестьянства. И жена, и все прочее. На казну они, что ли, посягаютъ, или вотъ какъ кассиры всякіе, заправители банковъ, общественное достояніе расхищать будутъ? Колченогая старая дѣвка собирается обогатить барчагъ,

а. они и отъ родителей будутъ достаточно надѣлены. Можно ли приравнять этихъ барчатъ къ нимъ обоимъ, трудовымъ людямъ? Даже и разговаривать-то объ этомъ стыдно! А потомъ не слѣдъ и жаловаться, коли такую оказію пропустить изъ-за одного своего малодушія.

Все рѣже переводила духъ Устинья. Въ головѣ ея поднимался одинъ вопросъ за другимъ: какъ же „произвести“? А шопоть Епифана продолжался, ровный, безъ учащенія, показывающій, какъ онъ владѣлъ собою, какъ онъ приготовленъ—хоть сію минуту приступай къ дѣлу.

Барышнѣ надо выказать покорность, поласковѣ съ ней заговаривать, а къ тому дню, какой онъ назначить, она должна, въ чемъ тамъ удобнѣе найдетъ, въ жидкой ли, въ твердой ли пищѣ, подсудобить и колченогой, и барчуку свотворнаго снадобья. Оно у него готово. А за остальное онъ беретъ. Шкапчикъ въ стѣнѣ, положимъ, желѣзный; но дверка не можетъ быть черезъ мѣру толста: онъ, извѣстно, справится одинъ, безъ товарища. Въ такихъ дѣлахъ всякій лишній участникъ—пагуба. Хотя бы пришлось проработать и всю ночь, до разсвѣта—все-таки онъ вскроетъ шкапчикъ.

— Совершенно простая штука!—слышитъ Устинья заключительныя слова Епифана.

„А потомъ-то куда?“—съ замираніемъ сердца спрашиваетъ она мысленно.

И на это есть у него резоны.

Съ большимъ-то капиталомъ, въ случаѣ нужды, черезъ границу перемахнуть моремъ. Ему сказывали добрые люди—въ Турцію ничего не стоитъ перевалить. Тамъ есть русскіе люди. И въ Австріи тоже—къ „столовѣрамъ“; за „липованъ“ себя выдать, обидѣться, гдѣ Богъ пошлетъ, годокъ - другой. Промыселъ начать полегоньку: бахчи, сады фруктовые, рыба, извозъ, судоходство. Нешто одни господа умѣютъ бѣгать съ чужой мошной? И лапотники уходятъ, да не то что съ воли, а съ каторги, до пяти разъ.

Устинья ничего не выговорила во всю ночь.

IX.

Плита издаетъ тяжелый, все возрастающій жаръ. Голова Устиньи такъ и трещить. Она даже опустила на лавку, взяла голову въ обѣ руки и держала ее, нагнувшись, нѣсколько минутъ.



Бьетъ ей въ виски, колотить въ темя, тошнота подступаетъ подъ ложечку.

Второй день у нея въ сундукѣ запрятана склянка со снадобьемъ. Епифанъ молча отдалъ, и только вечеромъ того же дня сказалъ:

— Не зѣвай! Когда скажу—дѣйствуй!..

Какъ же дѣйствовать? Въ чай влить—рискованно. Барышня привередлива и чутка до послѣдней возможности: чуть, не то что въ чаѣ, а и въ кофе, вкусъ не тотъ—она сейчасъ замѣтитъ и требуетъ все выплеснуть и заново заварить. Мальчикъ еще глотнулъ бы въ чашу повкуснѣе, въ сливкахъ или въ вареньѣ; такъ вѣдь главное-то дѣло не въ немъ, а въ „колченогой!“ И опять же нельзя ихъ опоить или окормить съ утра. Съ ними дурнота можетъ сдѣлаться, они тревогу подымутъ, мальчикъ къ швейцару побѣжить—и все будетъ изгажено. Вечеромъ пьютъ только чай. Не иначе, какъ въ обѣдѣ. И вотъ она съ утра до ночи ломаетъ себѣ голову: въ какое кушанье всего способнѣе подпустить и въ какой пропорціи. Епифанъ передъ тѣмъ, какъ отдавать ей склянку, говорилъ:

— Всего не вливай, а такъ, съ полсклянки...

А кто доподлинно смѣрилъ? Вдругъ какъ это ядъ, и оба они больше ужъ не проснутся? Она не рѣшалась предложить такой вопросъ Епифану. Съ той ночи, когда онъ ей открылся, она потеряла всякую волю надъ собой, ничего не смѣетъ ему сказать, даже самое простое.

Ядъ—не ядъ (онъ бы сказалъ, не сталъ бы брать безъ нужды такого грѣха на душу), а все-таки надо знать, въ какой пропорціи подлить, чтобы не портило вкусу. Снадобье—темное, запахъ какъ отъ капель, много ли къ какому кушанью не подмѣшаешь, чтобы сейчасъ же барышня не насторожилась. Тогда—бѣда! Она этого такъ не оставитъ. Попробовать на языкъ Устинья боится: кто его знаетъ?.. Вдругъ какъ это ядъ?

Перебирала она въ памяти всякіе соусы, густые, съ крѣпкимъ бульономъ. Барышня ихъ не любитъ, не станетъ кушать. Густыхъ похлѣбокъ, борщу, жирныхъ щей она даже „на духъ“ не подпускаетъ. Что же останется?..

Вотъ и въ эту минуту Устиньѣ такъ тяжело на лавкѣ, голова кружится, тошнота все прибываетъ, а въ мозгу одинъ за другимъ проходитъ соус, подливки, горячія пирожныя, и передъ каждымъ изъ нихъ она мысленно остановится.

„Нашла!“ — вдруг выговорила она про себя, и ей стало легче, особенная свѣжая испарина проползла вдоль спины, она подняла голову и встала, прошлась по кухнѣ, потомъ подперлась руками въ бока и долго смотрѣла на дворъ, въ открытое окно.

„Нашла!“ — повторила она.

Давно она не готовила пирожного, которое часто подавали у нѣмки-барыни на Острову. Оно—шведское; та ему не то въ Выборгѣ, не то въ Гельсингфорсѣ научилась. Дѣлають его изъ варенья, крыжовника, со сливками. Варенья можно и теперь достать, но оно свѣтло-зеленаго цвѣта—не годится, да и барышня скажетъ навѣрно, что слишкомъ сладко, и для желудка тяжело; а сливокъ она, пожалуй, тоже ѣсть не согласится. Пришло Устиньѣ на умъ замѣнить крыжовникъ французскимъ черносливомъ, сдѣлать изъ него родъ каши, на густомъ сиропѣ, со спеціями, а кругомъ, какъ и слѣдуетъ, по шведскому рецепту, полить слегка взбитыхъ сливокъ; къ пюре изъ чернослива приусутить немощко, для духу, „помаранцевыхъ“ корочеъ. Это добавленіе она выдумала отъ себя.

Черносливъ барышня очень одобряла въ разныхъ видахъ. Ей хоть каждый день подавай изъ него компотъ, даже безъ всякаго гарнира. Онъ ей служить вмѣсто лѣкарства. Устинья и предложить на завтра шведское пирожное, только съ пюре изъ чернослива; а о сливкахъ можно и совсѣмъ умолчать. Когда станетъ подавать—если барышня поморщится, она ей скажетъ:

— Для васъ, матушка, только то, что въ середкѣ, а баринъ и сливочки подберутъ.

Такъ выходило прекрасно. Черносливъ, да еще въ густомъ пюре съ корицей, съ подоженнымъ сахаромъ—и еще чего-нибудь, слѣдуетъ прибавить для крѣпости, хотя бы ванили кусочка два-три—поможетъ скрыть вкусъ снадобья. Пожалуй, на языкъ и явится что-нибудь особенное, но уже послѣ того, какъ нѣсколько ложекъ будетъ проглочено; да врядъ ли колченогая разберетъ, при запахѣ ванили и откусѣ корицы и другихъ спецій, что есть тутъ что-нибудь „лѣкарственное“.

Голова уже не трещала. Устинья припилась смѣлѣе заправлять соусъ.

Въ кухню вѣжалъ гимназистъ. Онъ только что вернулся изъ классовъ, въ парусинной блузѣ, и даже ранца еще не снялъ.

— Устюша! — окликнул Петя, и сзади дотронулся до ее локтя.

— Чтой-то какъ напугали!..

Устинья вздрогнула. Это неожиданное появленіе мальчика въ кухнѣ, какъ разъ, когда она обдумывала шведское пирожное, взволновало ее.

— Чтѣ вамъ, милый баринъ?

Петя былъ красивенькій брюнетикъ, съ глазами немного навывкатъ, пухленькій и очень ловкій въ движеніяхъ. Устинья онъ нравился гораздо больше барышень, и она его любила покормить вѣтъ часовъ обѣда; завтракомъ онъ, кромѣ воскресенья и праздниковъ, не пользовался.

— Скоро готово? — спросилъ Петя звонкимъ дѣтскимъ альтомъ и ласково вскинулъ на нее своими выпуклыми близорукими глазами.

— Минутъ еще двадцать погодить надо, а то и всѣ полчаса. Да и тетенька раньше не сидутъ. Опять же накрыть надо.

— Я самъ накрою.

— Куда ужъ вамъ... Кушать нешто хочется? — съ внезапнымъ волненіемъ спросила она его.

— Ужасно хочется!

Петя даже облизнулся.

— Чего же бы вамъ?..

— Пирожки нынче есть, — увѣренно сказалъ мальчикъ.

— Вы какъ пронюхали? Ловко!

— Пахнетъ пирожками.

Онъ подошелъ къ духовому шкапу и хотѣлъ уже взяться за ручку.

— Горячо! — крикнула Устинья и бросилась вслѣдъ за нимъ. — Дайте срокъ... Я сама выну.

Пирожки съ фаршемъ изъ „лсвера“ подрумянились. Устинья наполовину выдвинула листъ и сняла осторожно два пирожка на деревянный кружокъ.

— Смотрите, не обожгитесь!..

Но Петя уже закинулъ полпирожка въ ротъ, сталъ попрыгивать и подувать на горячій кусокъ, переваливая его изъ-за одной щеки въ другую.

— Говорила — обожгетесь.

— Ничего!

Онъ уже проглотилъ и принялся за вторую половину

— Ну, теперь не жѣшайте, баринъ, а то опоздаю.

Но онъ еще медлилъ въ кухнѣ.

— Устюша!

— Чтò угодно?

— Пирожное какое?

— Когда?—невольно вырвалось у нея, и она даже вся заохлодѣла.

— Сегодня.

— Царскія кудри для васъ, а барышнѣ особенно—рисъ съ яблокомъ.

— А завтра?

— Завтра... ужъ не знаю.

Слово „черносливъ“ не шло у нея съ языка.

— Пожалуйста, послаще... съ вареньемъ бы, или сливокъ битыхъ давно не давали!

„Господи! Сливки битыхъ!“—повторила она про себя: даже лобъ у нея сталъ чесаться отъ прилива крови, и она держала низко голову надъ столомъ.

Петя ушелъ и изъ коридора крикнулъ:

— Спасибо, Устюша!

Это „спасибо“ отдалось у нея внутри, точно подъ ложечку капнуло холодной водой. Онъ ее же благодарить!.. Не за битыя ли сливки завтрашнія и за черносливъ?..

Нѣжныя, пухленькія щеки Пети, его ласковые выпуклые глаза мелькали передъ ней... Этакій птенецъ!.. Много ли ему надо, чтобы уснуть... и совсѣмъ не пробудиться?

Х.

За полночь. Все спитъ въ квартирѣ. Устинья одна въ комнатѣ горничныхъ. Епифана нѣтъ. Онъ въ передней, и до нея доходитъ чуть слышно его храпъ.

Онъ, видно, можетъ спать ровно малый младенецъ, когда у него „такое“ на душѣ? Что же онъ послѣ того за человѣкъ? Неужели и впрямь — душегубецъ или грабитель безстыжій, закоренѣлый? И вся-то его кротость и мягкость — только личина одна, въ родѣ какъ святочная „хари“, которой обличье прикрываютъ?..

Мечется Устинья; душить ее несносно, и голова работаетъ безъ усталы.

Теперь уже поздно назадъ пятиться. Сегодня Епифанъ ей „приказъ“ отдалъ. Такъ и сказалъ:

„Я тебѣ, Устинья, вотъ какой приказъ отдаю“.

Завтрашній день выбралъ онъ окончательно, безъ вся-

нихъ отговорокъ. Послѣзавтра на дѣлѣхъ два дня прѣзжаетъ съ дачи баринъ; можетъ, пробудетъ и цѣлыхъ три. Хорошо еще, коли завтра къ вечеру не нагрѣнетъ. Елифанъ два дня пропадалъ по уговору съ ней — подготавливалъ въ городѣ все, что нужно. Она у него не спрашивала, что именно подготовилъ онъ; а самъ онъ не любитъ лишнее говорить. Вѣдь она уже въ его рукахъ, сообщница. Стало, должна повиноваться; куда скажетъ идти или ѣхать—туда и поѣдетъ; что прикажетъ дѣлать, то и сдѣлаетъ.

Съ вечера она увязала узелъ съ его и своимъ добромъ. Сундука брать нельзя, даже ежели и ночью выбираться. И съ узломъ-то надо умѣючи обойтись, улучить минуту, когда у воротъ дворниковъ не будетъ. Билеты свои она зашила въ кусокъ коленкора и повѣсила себѣ на шею, на крѣпкой тесемкѣ. Къ завтрашнему обѣду вся провизія готова и для шведскаго пирожнаго: черносливъ, померанцовая корка, ваниль, корица. Сливки охтенка приносить утромъ. И весь день надо двигаться около плиты, балагурить съ барчонкомъ, когда онъ въ кухню забѣжитъ, „улащать“ старую барышню. Та на пирожное согласилась.

Подолбеть она, попробуетъ сама—Елифанъ ее увѣрилъ, что это не ядъ, и даже капли дыѣ при ней отпилъ; убѣдится, что вкуса „особеннаго“ отличить нельзя. Все это пускай такъ и произойдетъ. О грабежѣ Устинья не думаетъ. Ей не жаль добра „колченогой“. Да и можно ли ей, бывшей мужичкѣ, подневольному трудовому человѣку, разбирать такія деликатности?.. Что плохо лежитъ изъ барскаго добра, да еще такая уйма денегъ, то и слѣдуетъ брать. Какъ она себя ни стыдила всю эту недѣлю—не содрогается она отъ мысли о кражѣ. Не то ее колыхетъ и давитъ въ эту ночь!.. Хорошо, и старая дѣвуля, и мальчикъ будутъ безпросыпно лежать, какъ покойники... А вдругъ, въ то время, какъ Елифанъ примется ломомъ вышибать желѣзную дверку, барышня проснется? Что тогда?

„Извѣстно что“, — проментала почти вслухъ Устинья. Она знала, что ломъ Елифанъ уже приготовилъ, и ломъ—въ кухнѣ, въ углу, между шкапомъ изъ некрашеннаго дерева и большимъ шкапомъ, гдѣ у нея хранится сухая провизія. Она вышла въ кухню.

Тамъ еще стояла блѣсоватая мгла петербургской полуночи. Все можно было разглядѣть. Ломъ стоялъ въ томъ же углу. Но ее гвоздилъ другой, болѣе страшный вопросъ:

„На случай того, что барышня не во-время проснется—
неужто Елифанъ покончить съ нею все тѣмъ же ломомъ?..
Нѣтъ, по-другому!“

Она стала оглядываться, соображать, быстро подошла въ кухонному шкафчику, покрытому толстой доской для раскатыванья тѣста. Отворила она дверку, пошарила тамъ и вынула что-то черное, футляръ. Это были кухонные ножи, счетомъ четыре, весь наборъ, какой продается въ ножовыхъ лавкахъ. Устинья держала ихъ въ чистотѣ, и изъ-за нихъ не мало отъ нея доставалось судомойкамъ.

Одного ножа, самого большого, недостаетъ. Она вѣрно угадала. Ее проняла сначала чуть замѣтная дрожь. Футляръ съ тремя ножами такъ и остался у нея въ лѣвой рукѣ. Нѣсколько секундъ она стояла посреди нѣ кухни—потъ покрывалъ ея лобъ и шею. И такимъ же ускореннымъ шагомъ пошла она за перегородку, гдѣ ея пустая желѣзная кровать и кованый сундукъ подъ нею. Тамъ она пошарила въ углу, на лавкѣ, гдѣ знала, что Елифанъ клалъ свои вещи. Не разставаясь съ ножнымъ футляромъ, она нащупала въ какихъ-то тряпичкахъ взятый имъ большой ножъ, вынула его, чуть не порѣзала себѣ большого пальца, вставила въ ножны и унесла весь наборъ съ собою.

Все ей теперь представилось отчетливо—какъ будетъ дѣло, если, паче чаянiя, произойдетъ тревога. Другого хода нѣтъ Елифану, какъ всадить барышнѣ ножъ въ горло... Такъ всегда бываетъ—хотятъ грабить не за тѣмъ, чтобы рѣзать; а рѣзнуть по надобности, чтобы не быть пойманнымъ. На крикъ старухи подымется мальчикъ. Петенька—смѣлый. Онъ выскочитъ непременно, если только снадобье не свалить его вполнѣ. И тогда что?.. А то же... И съ нимъ надо будетъ покончить.

Не каторга, не ссылка, не судъ и расправа испугали Устинью. Истязать не будутъ ее, пытатъ въ застѣнкѣ, гонять „скрозь строй“, какъ прежде, или вѣшать. Ссылку, работу можно вынести, особливо, если сошлютъ въ одной партіи съ любимымъ человѣкомъ.

Вспомнились ей деревня, ея дѣвичество, церковь, служба... Ихъ Горки недалеко отъ большого села Богородскаго, гдѣ все кожевники и сапожники, тоже шереметьевскіе, какъ и Грабилово, откуда Елифанъ, и того же самого барина. Тамъ водились раскольники, и простые старообрядцы, и духоборцы. Одно время хаживала къ нимъ



одна солдатка, начетчица, и ее подбивала учиться грамотѣ, по старымъ книгамъ. Но Устинья осталась равнодушной къ ея рѣчамъ. И тогда, и теперь все то же она знаетъ изъ молитвъ: неполныхъ четыре члена „вѣрую“, „достойну“ всю; произносить однимъ духомъ: „Богородица-дѣво^{ра}ду^ися“ въ полной увѣренности, что это одно слово. Ни единого раза не поучала ее ни батя-попъ, ни кто изъ семьи, ни старичокъ какой, изъ православныхъ. Постовъ она держится, въ примѣты, лѣснаго, домового, „шишигу“ до сихъ поръ вѣрить.

Слабый лучъ духовнаго страха мелькнулъ передъ нею. Но ей не за что было схватиться. Губы ея тряслись, какъ въ лихорадкѣ, но не шептали никакихъ молитвенныхъ словъ. Ее держалъ припадокъ тревоги и смутнаго ужаса.

Опять начало ее душить. Она прошла кухней, на ды-почкахъ, и длиннымъ коридоромъ, остановилась у дверей въ спальню барышни, приложилась ухомъ и слушала... Тихо. Она не можетъ различить дыханія. Но ей не жаль „колченогой“. Кухонный ножъ опять представился ей. Ей больше уже не страшно, никакого пѣтъ въ ней чувства къ этой старой дѣвкѣ, у которой въ шкапчикѣ набиты десятки тысячъ билетами. Пускай и завтра такъ же спитъ, ъ-ту же пору; а проснется—„туда ей и дорога“.

Устинья отошла отъ двери со скошенной усмѣшкой своего широкаго рта и стала пробираться назадъ. Но чуть замѣтная полоса свѣта упала изъ полуотворенной двери. Ее точно потянуло туда. Въ комнаткѣ Пети окно стояло отвореннымъ. Свѣтъ начинавшейся зари падалъ ему вкось на лицо. Голова откинулась на подушку. Глаза на нее смотрѣли, но онъ спалъ крѣико, съ полуоткрытымъ ртомъ. Больше трехъ секундъ Устинья не выдержала, шарахнулась и почти бѣгомъ вернулась къ себѣ... Голова мальчика съ перерѣзаннымъ горломъ... и глаза его, выпуклые, большіе, глядятъ на нее... Она бросилась въ постель и закрылась одеяломъ. Видѣніе не проходило...

Всю ночь не спала Устинья. Еще до пробужденія Епифана, она уже спустилась на дворъ, по черной лѣстницѣ, дождалась восьми часовъ—и пошла въ участокъ.



ИЗЪ НОВЫХЪ.

(РОМАНЪ.)

Часть первая.

I.

Передъ желтой колоннадой Англійскаго дворца, по лужайкѣ, со стороны желѣзной дороги, разбрелись парусинныя блузы и фуражки мальчиковъ-пѣвчихъ. Нѣкоторые сошли къ рѣчкѣ и удили. Вдали, на перекресткѣ, лучъ свѣта отражался мигающей точкой на чемъ-то металлическомъ у конвойнаго казака, верхомъ, въ бараньей шапкѣ на затылокъ, съ ружьемъ въ козьемъ, мохнатомъ чехлѣ. Свѣтло-гнѣдая его лошадь вышла головой и всею грудью изъ-подъ свода аллеи: можно было разглядѣть, какъ она мотаеть головой и вся переминается отъ мухъ и оводовъ.

Утро стояло теплое, но не сухое, съ чуть замѣтнымъ паромъ въ воздухѣ. Разбросанное вдоль дороги къ Березовому домику сѣно слало пахучую струю до самого моста. Кумачныя рубахи и бѣлыя фуражки кавалерійскихъ солдатъ—они разметывали сѣно—выступали на фонѣ дерна и деревьевъ свѣтлыми пятнами.

Къ мосту, что около Березоваго домика, приближалась замедленной походкой, подъ большимъ чернымъ японскимъ зонтомъ, Зинаида Мартыновна Ногайцева.

Лицо — безъ румянца, нѣсколько изжелта-бѣлое, отъ тепла прозрачное, смотрѣло спокойно и непривѣтливо,

сухимъ взглядомъ своихъ черныхъ, болѣе длинныхъ, чѣмъ крупныхъ глазъ. Носъ съ тонкими ноздрями прекраснаго рисунка; немного сдвинутыя, не очень густыя брови; полусжатый ротъ; заостренный подбородокъ; губы — цвѣта жидкой крови; на высокомъ и узковатомъ лбу — городки волосъ, темпорусыхъ и лоснящихся; всѣ ея черты установились и застыли, какъ будто она хотѣла ихъ передать пластинкѣ фотографа. Радостное утро не играло на ея лицѣ, да и свѣтъ не попадалъ подъ широкій японскій зонтъ и борта высокой, очень модной соломенной шляпы, съ пучкомъ искусственныхъ полевыхъ цвѣтовъ, покрывавшихъ весь передъ тульи; макъ и маргаритки перемѣшивались въ этомъ букетѣ.

Зинаида Мартыновна шла нескоро, но не разслабленной походкой; она ступала широко и не такъ, какъ у насъ ходятъ свѣтскія дамы и взрослые дѣвушки. Въ лѣвой рукѣ она держала книжку въ яркой желтой оберткѣ. Ея фигура подалась впередъ, опять на особый ладъ. Туалетъ, даже и тутъ, въ Петергофѣ, въ іюлѣ, говорилъ объ особенномъ уходѣ за собой, о суровомъ соблюденіи моды, не той, что переѣхала изъ Парижа съ хозяйками лучшихъ мастерскихъ къ Свѣтлому Празднику, т. е. опоздала уже на цѣлый сезонъ, а о той модѣ, которая установилась и тамъ, въ Булонскомъ лѣсу, только въ день „Grand Prix“ — въ первыхъ числахъ іюня, не больше мѣсяца назадъ.

Станъ ея скрасилъ бы, впрочемъ, всякую моду, даже и запоздалую. Въ такой шляпѣ Зинаида Мартыновна была выше женщины хорошаго роста. Довольно длинная шея ушла въ высокій, мужского покроя, воротникъ кофточки съ разрѣзомъ для бѣлага, уже совершенно мужского жилета. Свѣтлый галстукъ, съ булавкой англійскаго образца, переходилъ въ полотняный стволъ воротничка; батистовый платокъ торчалъ цвѣтными коймами изъ бокового кармана; складки кретоноваго цвѣтнаго платья падали спереди и подъ турпюрой одна въ одну и лежали недвижно; изъ-подъ короткаго подола выступали длинноватая, но подъемистыя ноги въ лаковыхъ башмакахъ и дымчатыхъ чулкахъ.

Она была и не суха тѣломъ, и не роскошна. Талію стягивалъ корсетъ очень низко; ниже, чѣмъ вообще у русскихъ женщинъ, обозначалась, слегка волнуясь, и линия груди.

Всё ~~замечное~~ на Зинаидѣ Мартыновнѣ: лайковыя перчатки съ широкимъ шитьемъ, грубоватая на видѣ, но тогда обязательная по своей новизнѣ; духи—запахъ ихъ поднимался изъ складокъ платка; серьги, браслеты на правой рукѣ—ихъ было нѣсколько; кружева, оборки бѣлой юбки, вещи, хранившіяся въ карманахъ: часы, портмоне и маленький *sacnet*,—отзывались не простой, случайной, непродуманной, невыношенной нарядностью, а чѣмъ-то уже сложившимся въ особаго рода ученіе. Такъ въ это утро во всемъ Петергофѣ и дальше, въ Ораніенбаумѣ, навѣрное никто не одѣтъ, кромѣ ея кузины, съ этимъ именно отпечаткомъ, съ подобною вѣрностью указаніямъ того, что англичанки, говоря съ русскими барышнями на водахъ, называютъ: „good style“.

Трудно было опредѣлить: замужняя она или дѣвушка. По туалету—ни въ какомъ случаѣ, развѣ по походкѣ и ясности суховатаго взгляда, по тому, какъ она несла свою грудь и довольно широкія плечи—иной, бывалый человѣкъ, призналъ бы въ Зинаидѣ Мартыновнѣ дѣвушку.

Ей пошелъ двадцать четвертый годъ; она зимой смотрѣла не старше, но никакъ и не моложе своихъ лѣтъ, и хорошо это знала. Лѣтній воздухъ, а еще болѣе свѣтлый туалетъ скорѣе моложавили ее.

Перешла она мостъ съ перилами изъ березовыхъ бревенъ и повернула налѣво, по дорожкѣ къ мыску, гдѣ, подъ развѣсистымъ деревомъ, удѣлана круглая скамья, обхватывающая стволъ, дошла—и сейчасъ же сѣла. Она не любила ходить безъ цѣли. Мечтательности Зинаида Мартыновна не знала. Но въ эту минуту, подъ ея мало-подвижной, величавой маской, съ сухимъ взглядомъ черныхъ глазъ, шла внутренняя работа. Сердце у нея не билось, кровь не прилиwała къ прозрачнымъ желтоватымъ щекамъ. Только къ правому виску приступала легкая боль, точно начало мигрени: такъ всегда случалось, когда ее что-нибудь тревожило, когда она принуждена думать о непріятныхъ вещахъ или придти къ рѣшенію не по своей охотѣ, не для своего удовольствія.

Взглядъ, вправо и влѣво, послала она, не мѣняя положенія. Сидѣла она прямо, съ живописнымъ наклономъ головы, безъ умышленной рисовки. Вообще, все, что только „жантильно“, беспощадно гнала отъ себя Зинаида Мартыновна. Движенія и позы она уже давно установила и



приспособила къ своему росту и къ тому тону, какой она себя выработала.

Посмотрѣла она на книжку, взяла ее со скамьи, заглянула въ нѣсколько страницъ, поправила на лбу одинъ изъ городковъ, взглянула и на часы, спрятанные не въ жилетъ, а въ кофточкѣ.

Они показывали сорокъ пять минутъ десятого. Со стороны Березоваго домика никого она не видѣла, кромѣ сторожа, укрывшагося въ будкѣ, до прихода дежурнаго лакея. По ту сторону рѣки шли двѣ дамы, и дѣвочка прыгала черезъ веревочку. Красныя и бѣлыя пятна на сѣнокошѣ то собирались въ группы, то расходились...

Но вотъ она выпрямилась еще замѣтнѣе и кивнула своей высокой шляпкой. Маки и маргаритки встрепонулись.

Къ тому мѣсту, гдѣ она сидѣла, спѣшилъ мужчина, весь въ чесунчѣ, со шляпой въ рукахъ, отдуваясь немного; можно было видѣть, какъ онъ запыхался и машетъ платкомъ въ другой рукѣ.

— Простите моему окаянству, Зинаида Мартыновна! — крикнулъ онъ еще съ моста.

Ей не очень понравилось то, что онъ называлъ ее во весь голосъ на такомъ разстояніи. Она не любила своего имени и отчества, не жаловала и того, чтобы ее громко звали по-русски; плохо мирилась и съ именемъ „Zizi“: такъ звали ее только дома.

Мужчина въ чесунчѣ подбѣжалъ и сейчасъ же крѣпко пожалъ ея перчатку своею широкою кистью съ золотистыми волосками на суставахъ.

— Простите, — коллега тутъ, полковой врачъ, встрѣлся... — заговорилъ онъ высокимъ теноровымъ голосомъ, простымъ, почти простонароднымъ звукомъ. — Затащилъ на минутку въ аптеку, — тамъ, на шоссе, противъ кадетскаго лагеря...

Зинаида Мартыновна повела по немъ глазами, какъ бы пожелала остановить его... И сидя, она была развѣ на одинъ или на два вершка ниже его. На видъ лѣтъ подъ тридцать, съ крестьянскимъ лицомъ, русыми волосами на головѣ и съ бородѣ, полный, красный, веснучатый, онъ привѣтствовалъ ее своими желтоватыми, карими глазами и улыбкой широкаго свѣжаго рта, откуда бѣлые рѣдкіе зубы выглядывали совсѣмъ по-дѣтски.

— Здравствуйте, докторъ, — сказала Ногайцева безъ всякаго выраженія.

— Можно присѣсть, Зинаида Мартыновна?.. Уморился!

— Садитесь.

Она была скупа на слова, не потому, что хотѣла быть съ нимъ нелюбезной: вообще русскій разговоръ стѣснялъ ее, да и по-французски или по-англійски она не умѣла или не хотѣла говорить тирадами; предпочитала смѣлыя замѣчанія и готовые ловкіе отвѣты.

Докторъ Лукашинъ сѣлъ на скамью, поджалъ подъ нее свои короткія ноги, отеръ лобъ платкомъ и надѣлъ шляпу; послѣ чего чуть слышно вздохнулъ: „ну, вотъ, молю, я теперь совсѣмъ готовъ и ожидаю вашихъ приказаній“.

Взглядъ вбокъ далъ ему знать, что Зинаида Мартыновна не желаетъ, не считаетъ для себя ловкимъ самой начинать разговоръ.

— Это я понимаю,—началъ онъ самымъ простымъ тономъ, точно продолжалъ прерванную пріятельскую бесѣду,—прекрасно я понимаю, Зинаида Мартыновна; вчера вамъ, при всѣхъ этихъ барыняхъ и господахъ, да и при Софѣ Германовнѣ, не хотѣлось мени... къ себѣ, что ли, увести... Такъ вѣдь?

Она отвѣтила наклоненіемъ головы.

— Прекрасно, я смекнулъ... да и зачѣмъ же себя нудить?.. особенно со мной. — Глаза его улынулись необычайно добро. — Ужъ со мною-то нечего... цирлихъ-манирлихъ... Ну, вотъ-съ и поговоримъ ладкомъ... Кажется, никакихъ барышень съ книжками сюда не направляется... Падирсочку позвольте?

— Курите,—сказала она и поглядѣла, не идетъ ли кто въ ихъ сторону.

— А если помѣшаютъ... мы вонъ туда въ домикъ... какъ будто для осмотра екатерининскихъ памятниковъ...

Она понимала, что Лукашинъ прикрываетъ болтовней педовкое чувство: по своей добротѣ—она это признавала и говорила даже, что онъ „stupidement bon“ — докторъ оттягивалъ то, что онъ ей сообщить сейчасъ, для чего она его вызвала въ паркъ передъ своимъ обычнымъ утреннимъ визитомъ къ княгинѣ Трубчевской.

— Скажите,—ускорила она сама,—все это правда, что Сосѣ привезла изъ Москвы?

Голосъ ея звучалъ пріятно, по слова она произносила слишкомъ отчетливо.

— Насчетъ папѣ вашего?

— Да...



— Видите, Зинаида Мартыновна... — Лукашинъ подвинулся къ ней, а папиросу взялъ огнемъ книзу, — я самъ не видалъ... вашего папѣ... Мартынъ Лукичъ, кажется?

— Да,—почти вѣхотѣ подтвердила она.

— Такъ самъ лично я не могъ его видѣть... Но тотъ врачъ, у кого онъ на рукахъ... мы съ нимъ одного выпуска... изъ академіи; послѣ онъ душевными завялся, и теперь вотъ какъ въ Москвѣ гремитъ!.. Малый чудесный даже Крафтъ-Эбингъ...

Лукашинъ останоѣился: почувствовалъ на себѣ ея взглядъ.

— Извините, Зинаида Мартыновна... Я только къ слову. Во всей этой учености... не силѣ. Но папѣ вашъ — въ прекраснѣйшихъ рукахъ. И вотъ Улановъ—это психіатра фамилія—подтвердилъ мнѣ, что теперь состояніе Мартына Лукича весьма тихое... и онъ совершенно здраво разсуждаетъ. Васъ онъ очень бы желалъ видѣть, и даже мнѣніе Уланова таково, что это на него хорошо подѣйствуетъ. То же онъ сказалъ, должно-быть, и Софѣ Германовнѣ. Вы ей можете въ этомъ повѣрить.

Она не сразу откликнулась. Лукашинъ могъ бы разслышать ея дыханіе, поздриѣ, при сжатомъ ртѣ; онъ застучалъ каблукѣмъ о щебенъ площадки и ничего не разслышалъ.

— Хорошо,—отвѣтила она такъ, какъ говорятъ, когда не желаютъ дать согласіе.

— Ужъ вы на меня не пеняйте!—продолжалъ Лукашинъ, заглянувъ ей подъ шляпку, съ новой усмѣшкой и рта, и глазъ.--Софѣ Германовна, по своей добрѣ, часто навѣщала вашего папѣ... тамъ, въ заведеніи... Улановъ вошелъ въ его душевную жизнь... не такъ, какъ другіе... только плати имъ за содержаніе... Нѣтъ, чудеснѣйшій, рѣдкій паренъ—вы можете вѣрить...

Опять взглядъ безъ словъ пригласилъ его сократить. Лукашинъ разсмѣялся надъ самимъ собою.

— Простите!.. Не могу кратко. Да я при васъ еще больше путаюсь. Вотъ подите: вѣдь помните, за границей, еще дѣвчѣйкой васъ звалъ... почти что въ короткихъ платьяхъ, бакфишъ были, а теперь внушаете...

— Что же этотъ Улановъ... вы не хотите мнѣ сразу разсказать...

— Это точно!..

Лукашинъ расхохотался.

Quel idioti! — назвала она его про себя.

— Зинаида Мартыновна, — началъ онъ уже безъ смѣха, почти съ серьезной миной, и голосъ его дрогнулъ, — вы — дѣвушка безъ всякихъ, сколько мнѣ извѣстно, предразсудковъ. И лѣта ваши такія... вы ихъ не скрываете... Стало — я буду попросту. Папа вашъ... заслужилъ передъ вами, все сдѣлалъ, хоть и на послѣдяхъ... имѣ, законное положеніе... и состояніе такое. А если остались въ прошедшемъ какія зацѣпки... какъ же съ этимъ быть?..

— Я ни въ чемъ не виню отца, — твердо выговорила она.

— И чудесно! Но маменька ваша...

— Какая! — вдругъ спросила она съ поворотомъ головы, и въ ея глазахъ заострились двѣ иголки. — Я не знаю моей матери... Если она и живетъ до сихъ поръ... насколько мнѣ извѣстно, то и отца она...

Зинаида Мартыновна искала слова.

— Покинула, хотите вы, что ли, сказать?.. Такъ вѣдь это когда же случилось? И папенька тоже пожилъ; небось, не одинъ романъ у него былъ? Какъ же все это разобрать теперь... давность прошла!

Онъ тихо разсмѣялся. Ее чрезвычайно непріятно зацѣвали всѣ эти рѣчи простодушнаго доктора. Она считала ихъ безтактными, и если бъ ей не хотѣлось узнать все до конца, она бы прекратила первая разговоръ.

— И что же? — спросила она такъ, что Лукашинъ почти оторопѣлъ.

— Да вы не волнуйтесь, Зинаида Мартыновна. Я въ двухъ словахъ...

— Будто? — остановила она его такимъ тономъ, какимъ озадачивала въ салонѣ плохонькихъ молодыхъ людей.

— Это точно!.. Словообиліе у меня варварское! Я васъ держу безъ толку; пора вамъ къ той, къ княгинѣ...

— Да, пора.

— Такъ вотъ-съ... — Онъ набрался духу. — Папа вашъ, когда сталъ приходить въ себя, обратился сердцемъ... къ своей давнишней подругѣ...

„Подруга, — повторила въ головѣ Зинаида Мартыновна, — ma mère, excusez du peu!..“

— Все забылъ, все простилъ и пожелалъ видѣть ее... А она оказалась больная... съ хроническимъ недугомъ... но все-таки была у него... Все это при Улановѣ.

„Какъ трогательно!“ — чуть не вслухъ выговорила Зинаида Мартыновна.



— А остальное-то само собою разумеется. Улановъ мнѣ передалъ это, отчасти и Софьѣ Германовнѣ. Только съ ней ваша... маменька,—выговорилъ онъ вполголоса, — не видалась.

— А видѣлась съ вами,—досказала Ногайцева и встала. Этого движенія Лукашинъ не ожидалъ. Онъ еще не кончилъ, и у него было въ карманѣ пальто—самое важное. Но онъ не двигался и скороговоркой досказалъ:

— Да-съ... Это точно... И маменька ваша достойна жалости... объ васъ спрашивала... плакала... я не скрою... А вотъ и письмо.

Письмо онъ выхватилъ изъ бокового кармана, протянулъ его Ногайцевой и тогда только всталъ.

Ея лѣвая рука была уже занята—держала книжку, а въ правой былъ зонтикъ. Она немного даже отступила. Лукашинъ стоялъ передъ ней съ письмомъ, красный, улыбающийся, сконфуженный и такой же заразительно протодушный, какъ и въ началѣ этого объясненія.

— Возьмите,—сказалъ онъ тихонько,—вамъ жалко стаетъ, барышня...

Это слово: „барышня“—вырвалось у него такой нотой, что и она тотчасъ же мягко улыбнулась.

— Подержите,—сказала она ему и подала книжку.

Лукашинъ взялъ книжку въ правую руку, а лѣвой отдалъ ей письмо.

Однимъ взглядомъ проглотила она адресъ. На конвертѣ большого формата стояло твердой мужской рукой: „Ея Высокоблагородію Зинаидѣ Мартыновнѣ Ногайцевой, въ собственныя руки“.

— Это ея рука?

Вопросъ былъ недовѣрчивый.

— Нѣтъ, это я надписалъ по ея просьбѣ... Ужъ мнѣ каются заодно: семь бѣдъ!.. Вы прочтите вотъ тутъ, по дорогѣ, въ тишинѣ, знаете, барышня, безъ всякихъ этикихъ щекотливостей... Если жалко стаетъ—это главное... какъ Богъ на душу положить—такъ и ладно. А за симъ прощенія прошу. Сегодня вѣдь я званъ къ вамъ къ обѣденному столу.

— Будете?

Она спросила это глухо и задумавшись. Рука ея съ письмомъ опустилась. Лицо было наполовину прикрыто зонтикомъ.

— Буду... Только знаете, Зинаида Мартыновна, меня

ваша сестрица зоветъ всегда въ родѣ какъ за границей—помните—отца Вениамина посольскаго, когда онъ, бывало, придетъ требу справлять. Она вѣдь и меня считаетъ изъ духовныхъ, а этой крови во мнѣ нѣтъ!..

Неопредѣленной усмѣшкой отвѣтила она ему и покачнулась немного станомъ; но не сказала ему: „прощайте“.

— Я, впрочемъ,— не унимался Лукашинъ,— не одинъ буду... Иванъ Альфонсычъ приглашенъ... Вы рады его видѣть, Зинаида Мартыновна: вѣдь онъ вашъ бывшій менторъ?

— Блazo?..—переспросила она.—Онъ умень.

Тутъ она кивнула ему головой и пошла скорѣе, чѣмъ двигалась къ мѣсту ихъ встрѣчи. Лукашинъ частыми шажками догналъ ее и духомъ выговорилъ:

— Повѣрьте, у меня и въ помышленіи не было васъ разстроить, Зинаида Мартыновна.

— Вѣрю, вѣрю.

Она отвѣтила это на ходу и не обернулась къ нему.

Такъ дошли они до поворота. Лукашинъ снялъ шляпу, махнулъ ею въ воздухъ и побѣжалъ къ желѣзной дорогѣ.

Одна—Ногайцева замедлила шаги и повернула въ аллею влѣво. Ей нужно было походить еще хоть пять минутъ въ тѣни передъ тѣмъ, какъ идти къ княгинѣ, привести въ порядокъ свои мысли, спросить хорошенько о главномъ самоѣ себя.

Этотъ „идіотъ“ Лукашинъ приготовилъ ей самую нелѣпую неожиданность!.. До двадцати трехъ лѣтъ дожидая она, и никогда не задумывалась о своей матери. Сначала ее воспитывали такъ, точно будто она сирота. Очень рѣдко кузина отца, ея названная „машан“, или ея мужъ, или Сосѣ, упоминали про Москву, вообще про Россію... Она сама давнымъ-давно свыклась съ той мыслью, что жизнь ея всегда пройдетъ за границей. Дѣвочкой, лѣтъ двѣнадцати, увидала она въ первый разъ отца... Машанъ сказала ей за педѣлю:

— Твой отецъ придетъ. Ты должна любить его.

Отецъ явился такой... ненарядный, неряшливый, обрюзглый, съ краснымъ носомъ, съ пятнами на щекахъ и лысиной, беззубый, все что-то такое болталъ хриплымъ голосомъ, рассказывалъ анекдоты; за столомъ смѣялись его дурачествамъ, но она и тогда уже поняла, что на него смотреть какъ на шута; поняла она и то, что онъ совсѣмъ спотрился и у кузины пріѣхалъ погостить и поиграть въ



рулетку... Онъ и проигралъ послѣднія деньжонки, а все ходилъ каждый день въ игорную залу, — домой возвращался только ѣсть... Узнала она, что онъ и кельнерамъ, и лакеямъ при рулеткѣ остался долженъ... Полюбить его она не могла, да и не хотѣла, такъ-таки сознательно не хотѣла, особенно черезъ годъ, когда она вдругъ поняла—кто она.

„Je suis une batarde“,—выговорила она тогда, и озлилась. Она увидала, что у нея даже фамиліи нѣтъ, что она—просто „Zizi“, что отецъ у нея „незаконный“, прожившійся баришъ, почти нищій, состоятъ при родственникахъ да при богатыхъ купцахъ—прихлебателемъ. Все это она прекрасно сообразила, и не только любить, но и жалѣть его не хотѣла. Да онъ и не показывался года три-четыре. Гдѣ онъ жилъ—она не знала, и сама никогда про него не спрашивала. „Тамъ, гдѣ-то... въ Россіи“. И вся-то Россія уже и тогда представлялась ей зловѣщей далью... Оттуда шла главная ея обида, то клеймо, какое лежало на ней. Воспитательница, мужъ ея, дочь, обращались съ ней какъ съ родной, и даже всѣ посторонніе считали ее за вторую дочь madame Kuhn. Она скоро стала преобладать надъ своей кузипой Сосѳ, вызвала въ ней настоящую къ себѣ слабость и даже имѣла тонъ ея старшей сестры. Но она смотрѣла впередъ, предвидѣла, какъ черезъ три года, когда она будетъ невѣстой, окажется, что она—нищая и безъ имени, побочная дочь разорившагося барина и неизвѣстно какой женщины.

„De mѣre inconpue“,—повторяла она тогда безпрестанно фразу, вычитанную въ какомъ-то уголовномъ отчетѣ.

И, узнавъ совершенно случайно изъ разговора старшихъ, что „эта женщина“ была „фигурантка“ или „корифейка“ (такъ, кажется, они называли), она еще сильнѣе вознегодовала.

Лучше бы было просто родиться отъ „femme du peuple“, о которой никто никогда бы и не упомянулъ.

А подошелъ ей уже восемнадцатый годъ. Тетка вела ихъ съ Сосѳ одинаково. Обѣ онѣ усвоили себѣ „высшій стиль“ дѣвицъ того заграничнаго общества, у котораго нѣтъ ни отечества, ни національности, съ совершенно особенной поведкой. И Англія, и Америка, и Парижъ, и Тривиль, и нѣмецкія воды, и Ницца, и Монако надѣлили ихъ своими вкладами. Ни въ чемъ она не уступала кузипѣ—ни въ строгости соблюденія моды, ни въ малѣй-

шихъ оттънкахъ походки, разговора, мимики, ни въ усиленной преданности всякаго рода спорту: на скачкахъ, на гонкахъ, на крокетъ, на игрѣ въ мячъ и въ кавалькадахъ. Съ шестнадцати лѣтъ у нея стали появляться признаки малокровія, мигрени, сердцебиеніе, катаральное недомоганіе. Она боролась съ этими „sales infirmités“ (она ихъ сама такъ называла), скрывала ихъ, не лѣчилась, чтобы никто изъ тѣхъ, кто могъ выбрать ее себѣ въ жены, ни отъ кого не услыхалъ, что она болѣзненная. Только цѣлѣ лица выдавалъ ее; но онъ многимъ нравился.

Однако, ни лордъ, ни герцогъ, ни даже банкиръ или русскій дипломатъ, или золотопромышленникъ не являлись. Значить, всѣмъ было извѣстно—кто она... Побочная дочь... Да это еще полбѣды въ теперешнемъ свѣтѣ; главное—у нея нѣтъ ничего; тетка сдѣлаетъ приданое, но капитала не дастъ. Вотъ тогда-то ее и охватила жажда денегъ. Безъ всякихъ впушеній и проповѣдей исполнилась она благоговѣнія къ этой силѣ. Будь у нея—ну, хоть сто тысячъ рублей—она купила бы себѣ и мужа, да и этого не нужно: создала бы себѣ жизнь, гдѣ каждый фибръ ея существа испытывалъ бы удовлетвореніе, на полной свободѣ, въ привычкахъ „высшаго стиля“, въ томъ кругу истинныхъ царей Европы, въ сосредоточіи того, что зовется „la haute domme“—съ выраженіемъ зависти—тѣми, кто самъ туда никогда не попадетъ.

Только это и грызло Зинаиду Мартыновну—ее уже такъ звали тогда нѣкоторые русскіе: священникъ, камердинеръ дяди, псаломщикъ, докторъ Лукашинъ, домашній врачъ дяди, кое-кто изъ знакомыхъ мужичковъ. Только это... Борьбы съ собой, самоосужденія, уколовъ совѣсти, исправленія себя по какимъ-нибудь книжкамъ или собственнымъ настроеніямъ—она не знала. Ея начитанность—она читала походя всякія книжки, даже и по философскимъ вопросамъ, и по физиологій—все, что она находила „drôle“—рано создала ей особую теорію самооправданія:

— Такаа у меня патура!

Эту фразу стала она повторять на четырехъ языкахъ, и никогда въ ней не затѣпился—самъ собою или подъ внезапнымъ душевнымъ ударомъ—огонекъ, который растопилъ бы твердую глыбу ея особенной положительности.

И вдругъ—отецъ получаетъ наслѣдство, заочно усыновляетъ ее, собрался къ ней, но не доѣхалъ, отдѣлилъ ей двѣсти тысячъ и черезъ полгода сошелъ съ ума. Его са-

жаютъ. Онъ безнадеженъ. Ъхать къ нему туда было бы совершенно „некстати“.

Прошло еще четыре года. Отецъ „все въ томъ же положеніи“. Она бы ни за что не поѣхала въ Россію, даже на мѣсяцъ, если бъ не эта Сосѵ, съ своимъ разводомъ и желаніемъ навѣстить старика Куна, переѣхавшаго въ Москву. Четыре года прошли у Зинаиды Мартыновны по ея программѣ. И все у нея было, все: имя, настоящее, законное, старо-дворянское, и свое состояніе. Разомъ пропало у нея всякое желаніе идти замужъ. Пускай наивныя люди—есть такіе и въ ея средѣ—толкуютъ, что она не хочетъ разстаться съ своей кузиной и до смерти будетъ состоять при ней... „Quelle bourde!“ Она свылась съ Сосѵ, ей съ ней ловко; въ ея домѣ ей будетъ всегда удобнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Пока еще придетъ старость, а дѣвушкой, одной,—все-таки „не то“, потому что не создашь себѣ совершенно такой же матеріальной обстановки. А не сойдется она съ новымъ мужемъ Сосѵ—тогда устроится иначе.

Да, четыре года жила она съ такимъ захватывающимъ чувствомъ своей свободы и силы, съ такимъ пользованіемъ всѣмъ, что для нея жизнь... Не знала она ни одного щекотливаго вопроса, никакого запрета... Дѣла ей не было до того, что про нее говорить за глаза. Никто никогда не позволилъ себѣ самаго невипннаго намека... Да и кто же посмѣлъ бы сказать, что вотъ такой-то погубилъ ея репутацію?.. Она—дѣвушка на самомъ дѣлѣ, а не номинально. Цѣлый рядъ всякихъ формъ flirt'a проходитъ въ ея воспоминаніяхъ—и никогда она не боялась за себя... Если было „drôle“—она шла на сближеніе... А „pas diôle“—осаживала сразу. И съ каждымъ годомъ убѣждалась Зинаида Мартыновна въ томъ, что мужчина и женщина нисколько не созданы для взаимнаго влеченія, что они, напротивъ,—враги. „Завлекать“—такого слова она не признавала, даже и не дѣлала никогда себѣ никакихъ упрековъ. Тѣ мужчины, всего чаще женатые, что искали съ ней романа, она знала—какой это народъ; она говорила всегда, что они и не могутъ быть другими. Она ничего отъ нихъ и не требовала, какъ только той игры, которой занимались уже многія дѣвушки „высшаго стили“.

Объ одномъ она искренно сожалѣла, что не проходитъ у нея мигрени, и должна она каждое почти лѣто ѣздить то въ Крѣйцнахъ, то въ Франценсбадъ. Но съ тѣхъ поръ,

какъ у нея имя и состояніе, она не скрывала своихъ „sales infirmités“, которымъ, впрочемъ, не особенно вѣрили и ея интимные друзья, видя, какъ она всегда на бреши, во всѣхъ видахъ спорта, какъ она пьетъ и ѣстъ.

Такъ и утекли четыре года, и Зинаида Мартыновна не видѣла конца своему безпробудному довольству, какъ вдругъ... эта поѣздка съ Сосѡ на лѣто въ Россію, московскія вѣсти, временное возвращеніе къ разсудку отца и открытіе матери...

Еще за границей, когда она помирилась съ „памятью“ отца, была уже дворянкой и богатой невѣстой, она, послѣ смерти тетки, узнала отъ ея мужа нѣкоторыя подробности... Эта „корифейка“ давнымъ-давно бросила отца и была „подругой“ другихъ вивѣровъ тамъ, въ Москвѣ!.. А тутъ они помирились, и „идіотъ“ докторъ взялся быть посредникомъ; да и Сосѡ, съ тѣхъ поръ, какъ опять влюблена — въ который разъ! — и позируетъ насчетъ искренности и сердечности, тоже надѣлала разныхъ безтактностей...

Прошло не пять, не десять минутъ, — цѣлыхъ тридцать, а Зинаида Мартыновна все еще прохаживалась взадъ и впередъ, вдоль одной изъ аллей, влѣво отъ Англійскаго дворца...

И, быть-можетъ, въ первый разъ она ни къ чему не пришла сама. Надо будетъ попросить совѣта у княгини Трубчевской и говорить ей о своей матери, — стало-быть, опять „mettre sur le tapis“ свое незаконное происхожденіе.

Вхвать въ Москву? Или просто махнуть рукой и поступить по-своему? Эта поѣздка была для нея нѣчто такое, что могло повлечь за собою неисчислимыя послѣдствія, выбить ее изъ колеи, заставить пройти черезъ ощущенія, которыхъ она боялась не менѣе смерти. Не слѣдуетъ ей — Зинѣ Ногайцевой, идти на это. Не должна она измѣнять всему своему существу, своей судьбѣ, той твердыни пользования жизнью, какую она себѣ устроила.

Но... она понала сюда, въ эту странную землю, въ общество, уже не то, что тамъ, въ международныхъ мѣстахъ, гдѣ блеснить и царить „high-life“. Пока она здѣсь, при Сосѡ, нельзя такъ рѣзко освобождать себя отъ дочерняго долга. Не годится. Уже Сосѡ сказала ей вчера:

— Cela ne se fait pas, Zizi!..

Отецъ у нея теперь законный. Она не можетъ же не

исполнить его какъ бы предсмертной воли: не повидаться съ нимъ.

Тутъ еще этотъ психіатръ—„чудеснѣйшій малый“! Онъ наболталъ Сосѣ, что такое свиданіе поправить больного окончательно. Все это—докторская „vanité“; но Сосѣ сразу убѣдилась и разрюмилась. Вѣдь Мартынь Лукичъ—ея дяди, хоть и не родной, но она очень любила считать себя „коггенной, столбовой“ по матери, чтобы прикрыть происхожденіе отъ нѣмца-коммерсанта, получившаго за благотворительность чинъ статскаго совѣтника, уже на старости, послѣ того, какъ женился на дѣвицѣ Ногайцевой.

Словомъ, въ этой странѣ—она связана. Не убѣжать ли ей? Сейчасъ взять паспортъ, и прямо—на воды или на купанье? И будь она одна, она бы, вѣроятно, такъ и сдѣлала.

Княгиня Трубчевская, до сихъ поръ, для нея—живая книга свѣтской мудрости, высокій характеръ и авторитетъ, примѣръ того, какъ умъ и умѣнье пользоваться своимъ положеніемъ все покрываютъ и все пересиливаютъ. Она и съ Сосѣ-то согласилась поѣхать на сезонъ въ Петергофъ потому, что княгиня тоже тамъ жила, а прежде нѣсколько зимъ провела безвыѣздно за границей. Дѣвицей Ногайцевой, уже дворянкой и приданницей, Зинаида Мартыновна поставила себя подъ патронатъ княгини. Она сама предложила ей себя въ чтицы—и почти каждый день, передъ обѣдомъ, ходила къ ней, и зимой, и лѣтомъ. Все прошлое княгини, хроника ея побѣдъ, а подъ старость—и просто пріобрѣтеній тѣхъ, кто шелъ на это, разумѣется, не даромъ, ея отношенія къ мужу, множество слуховъ и анекдотовъ, одинъ другого цѣлѣстнѣе,—все это было ей извѣстно до того дня, когда она сѣла около кушетки княгини и начала ей читать какую-то статью изъ „Revue“,—такъ по-парижски называла та журналъ Бюлоза, безъ прибавленія: „des deux mondes“.

Ничто ее во всемъ этомъ не смущало, какъ не смущало и ея кузину Сосѣ, уже вышедшую въ это время замужъ. Онѣ еще дѣвочками-подростками прекрасно все это знали. Тетка любила ухаживанья, и мужичпы, въ курортѣ, гдѣ не перебирать знакомыхъ труднѣе, чѣмъ въ столицѣ, не стѣснялись присутствіемъ подростковъ и пространно рассказывали о прошедшемъ и настоящемъ княгини.

Но та же тетка отпиралась въ княгинѣ, какъ къ особѣ высшаго разряда, и Зизи, каждый разъ, на Promenade вливалась въ ея фигуру, тонъ, манеру говорить по-французски, умѣнье заставить замолчать всѣхъ или разговаривать о томъ, что ей пріятно. Это поклоненіе было не восторженное, — разсчитанное, дѣловое. Она ее изучала и тогда, а еще болѣе когда сдѣлалась ея добровольной чтицей.

Ей, такъ долго страдавшей оттого, что она „побочная“, безъ имени, захотѣлось, у кушетки княгини Трубчевской, наверстать время своего незаконнаго положенія въ high-life, изъ прямого источника получать все, что могло подѣлать для нея стиль жизни, пріемовъ, взглядовъ, всей ея философіи...

II.

Княгиня Трубчевская занимала дачу въ Старомъ Петергофѣ, навѣтую на сезонъ. Дача принадлежала разбогатѣвшему доктору. Больше одного лѣтняго сезона княгиня и не разсчитывала прожить въ Россіи. Она пріѣхала по какому-то дѣлу одна: князь былъ за границей. Да они и никогда почти не оставались вмѣстѣ.

Зинаида Мартыновна вошла въ цвѣтникъ дачи ровно въ одиннадцать часовъ, — опоздала, по крайней мѣрѣ, на двадцать минутъ, и это ее серьезно беспокоило. Княгиня не знала, чтó такое кого-нибудь ждать, и даже любила повторять историческую фразу „короля-солнца“: „J'ai failli attendre!“

Необходимо было тѣмъ прямѣе сказать, что заставило ее опоздать, и просить совѣта.

Дача выходила въ цвѣтникъ своимъ узорчатымъ фасадомъ въ русскомъ вкусѣ, съ пѣтушками и полотенцами и двумя вышками съ металлической облицовкой крыши. Цвѣтникъ смотрѣлъ довольно голо. Солнце плоско падало на него, и ни на одной дорожкѣ не было тѣни. Ногайцева пересѣкла его ускореннымъ шагомъ и, поднимаясь на довольно высокую террасу, такъ же дышала ноздрями со сжатымъ ртомъ, какъ и въ паркѣ, въ промежуткахъ разговора съ Лукашинымъ.

Чтеніе происходило, обыкновенно, передъ завтракомъ: его подавали около часу, въ темной, прохладной гостиной, обшитой некрашенымъ деревомъ и съ такой же мебелью.



Княгиня, навѣрное, сидитъ уже въ глубинѣ, противъ двери на террасу, и вышиваетъ.

— *C'est vous, mon enfant?*—раздался сухой и глуховатый голосъ княгини, когда Зинаида Мартыновна была еще на предпоследней ступенькѣ.

Разговоръ пошелъ только по-французски. Княгиня не употребляла смѣси и всегда зло смѣялась надъ этимъ. Русскія фразы, и очень своеобразнымъ языкомъ, она пускала иногда за границей, на прогулкѣ, когда садилась подъ дерево, „дѣлала кругъ“ и принимала на воздухѣ поклоны и привѣтствія пріѣзжихъ русскихъ барынь, разныхъ нѣмокъ и англичанокъ.

Ногайцева извинилась и сѣла; она немного запыхалась. На лицѣ княгини она ничего не прочла: ни недовольства, ни особаго привѣта. Въ полутьмѣ гостиной оно выдѣлялось своимъ оваломъ, все точно изъ панье-маше, но искусно станутое къ вискамъ, съ ровно наложеннымъ слоемъ косметикъ и пудры, подъ парикомъ изъ свѣтлорусыхъ волосъ, посыпанныхъ также пудрой. Черты были у нея въ молодости мелкія и миловидныя, въ особенности ротъ и носъ; теперь все это отекло и обмякло. Умѣные и споровка держали въ равновѣсіи одряблѣвшія мышцы. Выраженіе было безстрастно-довольное, совсѣмъ еще не старушечье. Въ своемъ шитомъ бѣломъ капотѣ княгиня держалась прямо и не лишена еще была талии. Ногайцева знала, чего ей стоило такъ держаться. Ходить безъ поддержки она почти уже не могла—не отъ старости: ей пошелъ всего пятьдесятъ четвертый годъ, а отъ изнурительной хронической болѣзни. Но этого посторонніе не знали, и въ столовую она шла всегда, ни на чью руку не опираясь. Руки сохранились молодыя—полныя и бѣлыя, съ ямочками и длинными пальцами, что вмѣстѣ встрѣчается рѣдко.

— *Quelle chaleur! une étuve,* — сказала снисходительно княгиня и добавила, что ей жаль Ногайцеву, и что онѣ могутъ и полѣниться: „*faire l'école buissonnière*“.

Никакой тревоги или озабоченности въ лицѣ Ногайцевой она не захотѣла примѣтить.

Въ первый разъ кровь прилила къ щекамъ Зинаиды Мартыновны—она отъ этого подурнѣла. Тотчасъ же, передъ чтеніемъ, рѣшилась она заговорить о себѣ.

Ей это было гораздо труднѣе, чѣмъ она думала. Тутъ только почувствовала она, до какой степени выше ея ин-

тересовъ стояла эта „свѣтлѣйшая“, упреждая вся въ сохраненіе своего тона и въ поддержаніе развалинъ нераскаяннаго тѣла. Не отъ нея ждать теплаго пожатія, слезы или просто ласковаго, ободряющаго звука. Но вѣдь этого ей и не надо; ей надобенъ приговоръ высшаго эксперта: какъ она скажетъ, такъ и надо поступить, и никакія Сосѣ, никакіе „идіоты“ не собьютъ ея, она имъ и рта не позволить раскрыть, — разъ она получитъ санкцію княгини.

Довольно твердымъ голосомъ и въ короткихъ словахъ — княгиня не выносила многословія — рассказала она про отца, безъ всякихъ, конечно, отступленій къ прошедшему.

Княгиня кивнула раза два головой, и когда Ногайцева дошла до того, что у него теперь „une période lucide“, — выговорила съ небрежной миной рта:

— Il est condamné!.. C'est passager, mon enfant.

И это уже было по-сердцу Зинаидѣ Мартыновнѣ. Стало, княгиня не вѣрить такому выздоровленію; стало, нечего торопиться въ Москву. Тонъ княгини показывалъ ясно, что ей все давно извѣстно, и она признаетъ законность теперешняго положенія Ногайцевой. Въ глазахъ ея не трудно было прочесть такое мнѣніе:

„О чемъ же тутъ распространяться? Безпутный игрокъ-отецъ прекрасно сдѣлалъ, что получилъ прогрессивный параличъ, послѣ того, какъ усыновилъ тебя, моя милая, и записалъ тебѣ приданое въ двѣсти тысячъ“.

Но Зинаида Мартыновна не сказала тутъ же: „какъ вы мнѣ совѣтуете, княгиня, ѣхать или нѣтъ?“ Та ждала еще чего-то.

Призваніе о матери далось труднѣе. Но она еще кратче объяснила „это обстоятельство“. Матери никогда не знала, вдругъ теперь та свалилась съ неба. У отца съ матерью была „сентиментальная“ сцена. А потомъ, глупый докторъ Лукашинъ — княгиня видала его за границей — и только...

Разъ два повела головой княгиня, и опять мина рта дала знать, что все это „ne vaut pas un rouge liard“, — ея любимая поговорка. Только она для самой себя копчила болѣе серьезной миной, съ отбѣнкомъ мягкаго покровительства.

Письмо лежало у Зинаиды Мартыновны за жилетомъ. Тамъ, въ англійскомъ паркѣ, она два раза прочла его.

Выраженія, ошибки правописанія, самый почеркъ, чернила, бумага—вызывали въ ней брезгливое чувство. Внутри у нея ничего не дрогнуло. И теперь ей стало неловко,— уже не за то, что у нея мать „Богъ знаетъ кто“, а за это „смѣшное“, полуграмотное письмо. Вдругъ какъ княгиня пожелаетъ сама взглянуть на него!

Съ рѣшимостью, какая схватываетъ васъ, когда вы отдаетесь зубному врачу въ руки, она вынула конвертъ, а изъ него—на-двое сложенный листъ дешевой почтовой бумаги, купленной, вѣроятно, въ мелочной лавочкѣ.

— *Voyons*, — раздался голосъ княгини. — *Lisez-moi ça, petite.*

Слова „petite“ никогда еще не употребляла княгиня. Въ немъ былъ новый оттѣнокъ—точно пренебрежительнаго списхожденія.

Невольно закусил Ногайцева губы и тоже въ первый разъ озлилась на эту „свѣтлѣйшую“, но все-таки преклонилась заново передъ ея тономъ. Вотъ этотъ тонъ все освящаетъ и покрываетъ собою. Что за бѣда, что за границы, тамъ, гдѣ Зизи воспиталась, каждая нѣмка-конторщица, любой оберъ-кѣльперъ расскажутъ вамъ „ужасныя исторіи“ про княгиню изъ недавняго времени, изъ того, что бывало всего какихъ-нибудь лѣтъ десять-пятнадцать назадъ. И плѣнные французы-офицеры, и годовой докторъ-нѣмецъ, и какой-то заѣзжій піанистъ-венгерецъ, да и не перечтешь! Когда ей стукнуло уже сорокъ, и она, боясь старости, не знала себѣ мѣры въ своихъ вкусахъ, эта самая женщина способна была на бѣшенныя выходки публично. Уже дѣвочками-подростками Зизи и Сосѣ слышали, какъ мужчины повторяли ея знаменитую фразу про соперницу—не французскую, а русскую фразу, которую она пустила при всѣхъ:

— Да, эта дрянь отбила у меня капитана!..

Но все это было, и тонъ, высшая школа, недостижимый стиль покрываютъ то, что способно было бы уронить до общаго и полнаго презрѣнія всякую заурядную барыньку. И вотъ она, Зизи Ногайцева, сидитъ передъ своимъ судьей на табуретѣ, побурѣла отъ смущенія, обиды, злобнаго чувства, и не смѣетъ встать, положить письмо въ карманъ и уйти. Она будетъ его читать и поступить такъ, какъ ей продиктуютъ.

— *Voyons*, — повторила княгиня и перемѣнила позу.

Все лучше: не нужно показывать почерка и „кухарочных ошибок“.

„Милая дочка“...

Эти два слова Зинаида Мартыновна хотѣла было проглотить и не смогла.

„Извините меня (знаковъ, кромѣ точекъ, не было никакихъ) столько лѣтъ были неизвѣстны мы и вотъ Богъ привелъ. Папенька теперь опять пришелъ въ себя, такъ я въ сердцѣ своемъ носила... и въ болѣзняхъ своихъ, чтобы Господь привелъ увидать тебя, Зинушка моя сердечная. Извините, что такъ называю. Не надѣюсь я долго жить... пока теперь у тебя отъ папеньки и фамилія, и хорошія средства — и такъ меня это радуетъ, и соберется ли, хоть глазкомъ поглядѣть бы къ намъ въ Москву. Да папенькѣ будетъ великая радость.

„Извините, я отъ всей души и что въ моихъ поступкахъ было—право, если бъ моя воля, никогда бы я свое дитѣ не оставила. Да и все это уже позади. Радость — дочка моя. Не дай мнѣ умереть безъ благословенія тебя навѣки —

„Мать ваша“.

Голосъ Зинаиды Мартыновны не падалъ и не поднимался; онъ скользилъ по словамъ. Она читала сама со знаками и измѣнила разъ пять безграмотность окончаній. Но уже той брезгливости, что была у нея въ аллеѣ парка, она не испытывала, только еще больше горькій стыдъ и желаніе поскорѣе, поскорѣе конца этой операціи.

— Elle signe?—спросила княгиня.

— „Людмила Разшивина“.

— Une danseuse?—переспросила княгиня, но не тономъ настоящаго вопроса.

— Oui, princesse, — отвѣтила Зинаида Мартыновна и громко перевела духъ.

Лобъ ея былъ влаженъ.

Она не позволила себѣ ни вопроса, ни возгласа, никакихъ словъ душевной тревоги. Она ждала.

Княгиня опять перемѣнила позу, вытянула ноги, перевела губами и сдѣлала ими что-то въ родъ:—Шхе!

Послѣ чего сейчасъ же скороговоркой рѣшила:

— Mon enfant, il n'y a pas de quoi fouetter un chat!

И потомъ, не торопясь, бросая фразы легко и вѣско („какъ умно!“ — повторяла про себя Ногайцева), мягко и снисходительно разобрала она этотъ „cas de conscience“.

Отцу Зина должна быть все-таки благодарна, и можно бы было поѣхать къ нему, тѣмъ болѣе, что это „ne tire pas à conséquence“. Но внезапное появленіе этой матери... „Une mère est toujours une mère, mon enfant“,—но надо знать хорошенько: нѣтъ ли подъ этимъ примиреньемъ съ отцомъ какой-нибудь интриги? Это болѣе, чѣмъ вѣроятно. Можетъ-быть, у него есть еще часть капитала—не успѣлъ прокутить передъ своимъ сумасшествіемъ. Да это — ихъ дѣло, но ей, молодой дѣвушкѣ, хотя все-таки „avec un certain détail dans le passé“, ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ лѣзть прямо на какое-то подозрительное семейное свиданіе и рисковать очень многимъ.

Княгиня не пояснила подробно, чѣмъ именно, но Зинаидѣ Мартыновнѣ сейчасъ же представились всѣ возможности этого риска. Никто лучше бы не отвѣтилъ на ея сокровенныя думы.

А Сосѣ?.. Вся эта болтовня въ теперешнемъ ея чувствительно-благородномъ настроеніи?

На это ей отвѣтили, что съ Сосѣ спорить не слѣдуетъ, безтактно было бы рѣзко упираться: — надо сказать, что она не прочь ѣхать и поѣдетъ, когда убѣдится, что сдѣлать такъ будетъ „достойно ея теперешняго положенія“.

Эту фразу: „digne de votre condition actuelle“, она быстро схватила и уложила въ своей головѣ, какъ нѣчто разрѣшающее ей все.

На чтеніе романа оставалось всего около двадцати минутъ. Княгиня, ласковѣе обыкновеннаго, сама разрѣшила Ногайцевой не читать, — только спросила ее: ознакомилась ли она хоть немножко съ содержаніемъ книги; это былъ новый романъ, изданіе Шарпантье. Просмотрѣть его Ногайцева не успѣла, что ее также раздосадовало на самое себя: обыкновенно она это дѣлала. У княгини не было никакихъ любимыхъ писателей. Она слушала все; ея чтеніе пошелъ двадцать четвертый годъ, и имъ обѣимъ уже не пристало стѣсняться другъ передъ другомъ.

Отъ княгини Зинаида Мартыновна выучилась фразѣ насчетъ того, что „drôle“ и что — „pas drôle“. Вкусу ея она довѣряла безусловно, и въ три года ей пришлось выслушать сотни короткихъ, всегда толковыхъ, часто злыхъ отзывѣвъ. О безнравственности романистовъ княгиня никогда не говорила и выслушивала до конца самыя смѣлыя мѣста. Иногда скажетъ:

— C'est d'une crudité inutile.

Не спускала она никому из новых писателей — „des bêtises“, т.-е. невѣрныхъ описаній, выдумокъ, фактовъ изъ третьихъ рукъ. Ногайцева помнила въ особенности четыре ея приговора. Всѣ четыре пришлось на долю романовъ Золя. Сцены при дворѣ Наполеона въ Компьенѣ, изъ „Son Excellence Eugène Rugon“, княгиня разобрала по ниточкѣ и рассказала, какъ это бывало на самомъ дѣлѣ, въ качествѣ приглашенной. Въ „la Faute de l'abbé Mouret“ она подсмѣялась надъ авторомъ за то, что онъ заставилъ искать въ одно время года и лапдышей, и картофеля, чего въ природѣ не случается. Про подробности родовъ изъ „Potlouille“ она объявила, что такихъ точно ощущений никогда не испытывала; а у нея были очень трудные роды—дѣти не жили. Въ „la Joie de vivre“ нашла, что постоянное оранье подагрика-дяди „est tiré pas les cheveux“.

— Mon frère avait la goutte,—припоминала она,—ma tante, la comtesse Wladykine, de même, mon père en souffrait terriblement, et personne ne hurlait comme chez monsieur Zola!

Зинаида Мартыновна еще разъ попросила извиненія: она не успѣла проглядѣть книгу. Когда взятые ими книги оказывались слишкомъ скучными или слабыми, княгиня слегка стыдила ее, говорила обыкновенно:

— Non, c'est de la bouillie!.. Abrégeons!

Онѣ прошлись немного по террасѣ, княгиня сильно опиралась о руку Зинаиды Мартыновны, но станъ держала прямо. Горничной она никогда не звала для этого, а какъ войдетъ посторонній,—сейчасъ же садилась и вела разговоръ съ высокоподнятой головой и выпрямленною грудью.

Она спросила ее про Сосѣ Дрозенъ, про ея разводъ; сказала, что разводиться, тратить большія деньги за тѣмъ только, чтобы опять женить на себѣ какого-то заграничнаго „paltoquet“—великая глупость, и добавила:

— J'espère, mon enfant, que vous vous passerez bien du divorce...

Сосѣ она не терпѣла за многое; всего же больше за ея свѣжестъ и ту шумную бойкость, на которую мужчины идутъ гурьбой, даже и безъ всякихъ заднихъ мыслей... Она знала, что у Сосѣ всѣмъ удобно и весело.

— On y entre comme dans un moulin!—часто выражалась княгиня.



Отъ Зинаиды Мартыновны она уже слышала, что здѣсь, въ Петербургѣ, чета Ожиговыхъ и французъ Блэзо.

— Monsieur Blaisot, qui blaise?.. — сострила она и не улыбулась.

Ногайцева знала давно, что княгиня не любитъ Блэзо, не потому, чтобы возмущалась его прошедшимъ „непримиримаго“ и коммунара, а по другой причинѣ. Одно время, когда онъ давалъ уроки Зизи, она принимала его, восхваляла его, искала ему занятій. Потомъ вышелъ рѣзкій поворотъ... Тамъ, въ курортѣ, гдѣ это все происходило, такую рѣзкую пережѣву въ княгинѣ объясняли очень понятно, — и Зизи слыхала эти объясненія.

Княгиня все-таки освѣдомилась: зачѣмъ Блэзо пріѣхалъ. Онъ жепился на русской, и у него дѣла по ея послѣдству. Это вызвало у нея злое замѣчаніе насчетъ его теорій „коллективиста“, но больше она ничего не сказала и перешла къ Ожиговымъ.

Эти улизули, конечно, отъ долговъ; что-нибудь еще продать и поноухать — „*faire*“, — нельзя ли здѣсь опять пристроиться, не помирятся ли съ ними „*en haut lieu*“? Но это они — напрасно. Ихъ пѣсенка спѣта, и ходу больше не будетъ. Да и не туда теперь дуетъ вѣтеръ.

— *Le vent est au moujik et aux vertus de famille*, — сказала княгиня и остановилась на ходу, вскинула головой на фасадъ дачи съ пѣтушками, косяками и полотенцами изъ крашеной сосны. — *Vous voyez, ma chère*, — указала она на эти орнаменты, — *voilà les emblèmes décoratifs du moment*.

И безъ словъ она, своей миной, дала почувствовать Зинаидѣ Мартыновнѣ, уже не въ первый разъ, что у нея, у княгини Трубчевской, ея ума, тона невозмутимой увѣренности въ себѣ, никто не отниметъ; что она — другой эпохи, той, которая отошла безвозвратно, и не желаетъ она подцѣлываться подъ разныя пылшія „*niaiseries*“. Это всего больше цѣнила въ ней Зинаида Мартыновна. На ея глазахъ разрушалась эта женщина, но со знаменемъ въ рукахъ, на которомъ стояло: „какъ мы прожили — не вашего ума дѣло“.

Коньки, пѣтушки, полотенецъ и „*l'engouement du *pro-stoi**“ — острота княгини — перевели разговоръ еще на нѣсколько знакомыхъ лицъ. Не сплетничество видѣла въ этомъ ученица, — да и, въ самомъ дѣлѣ, княгиня не была сплетницей, — а поводъ къ безпощадной, не вздорной

оцѣнѣ людей. Ей стоило только хорошенько слушать и запоминать,—и у нея накопится такой запасъ знаній того свѣта, гдѣ она хочетъ оставаться до смерти, какъ ни у кого. За это княгиня ничего не требовала, даже лести или подлаживанья.

— Et Rynine?

Этотъ вопросъ княгиня сдѣлала съ блуждающей улыбкой, и тотчасъ же приняла серьезный видъ.

Разговоръ показывалъ, что Рынинъ интересуется ихъ нѣсколько болѣе остальныхъ. Онъ наканунѣ былъ съ визитомъ у княгини и много говорилъ о Ногайцевой. Сегодня онъ будетъ обѣдать у Сосѣ. Княгиня, точно про себя, вымолвила:

— Voilà un garçon... qui a toutes les ambitions. Et une volonté de fer! Il arrivera!..

Никакого оживленія не показывалось на лицѣ Ногайцевой. Она сказала съ пренебрежительной миной и совершенно искренно:

— No good style!

— C'est un masque, petite..

И княгиня пояснила, почему. Въ немъ есть многое, что нужно именно теперь. Опять съ улыбкой поглядѣла она на орнаменты дачи. Рынинъ бѣденъ, но хорошей фамиліи, учился мальчикомъ за границей, и сталъ теперь не даромъ такимъ... „farouche“ въ своихъ патріотическихъ чувствахъ: „slavophile, chauvin et, avant tout, roublard“,—закончила княгиня.

Зинаида Мартыновна всѣ эти слова схватила на лету: они ей могли пригодиться очень скоро.

Четверть часа ходьбы утомили княгиню. Что-то такое у нея заболѣло внутри, сразу; она подавила гримасу, потемнѣла въ лицѣ, попросила отвести себя къ кушеткѣ и отпустила Ногайцеву. Завтракать она ея не удерживала, потому что къ ней будетъ „un homme de loi“ изъ города, она поѣстъ наскоро и отдохнетъ немного.

На вопросъ Ногайцевой о ея здоровьѣ, княгиня выговорила со скошеннымъ ртомъ:

— Je vais claquer, mon enfant, d'ici—deux ans!..

Она легла на кушетку, закрыла глаза: видно было, что у нея очень сильныя боли.

— Je ne vous retiens pas!—повторила она два раза.

Зинаида Мартыновна беззвучно сошла съ террасы.

III.

Жаръ спустился прозрачной дымкой надъ взморьемъ, вдоль дороги въ Ораніенбаумъ. Шелъ пятый часъ. По верхнему шоссе облака пыли безпрестанно поднимались отъ экипажей. Тѣни падало мало. Изрѣдка прохлада доходила только до садовъ и цвѣтниковъ дачъ. Всего больше ея было вокругъ „государевой“ дачи: и наверху, гдѣ нодъ густою зеленью липъ выстроились въ два ряда гипсовыя сухощавыя фигуры на пьедесталахъ, и по ту сторону, въ цвѣтникѣ и въ извилистыхъ аллеяхъ, на дорожкахъ съ подъемами и спусками. Особенно пріятна была прохлада на террасѣ.

На одномъ изъ желѣзныхъ дивановъ террасы сидѣла Зинаида Мартыновна, все съ той же книжкой, которую носила утромъ къ княгинѣ. Она провела цѣлыхъ четыре часа совсѣмъ не такъ, какъ обыкновенно. Всего чаще княгиня оставляла ее завтракать. Ъда у княгини не очень ей нравилась: она любила покушать основательно, знала толкъ въ гастрономіи, имѣла слабость къ русскимъ закускамъ и разнымъ блюдамъ, вкуснымъ и опаснымъ, — за что и платилась частымъ нездоровьемъ; только русскія „comestibles“ да кулебяки и ботвиньи и нравились ей изъ всего національнаго. Княгиня сидѣла на діетѣ. Но все-таки она охотно оставалась у нея завтракать. За столомъ княгиня бывала всегда разговорчивѣе, острѣе; съ визитомъ къ ней являлись только люди „très stylés“, или такіе, къ которымъ недурно было присмотрѣться, на всякій случай.

Сегодня Зинаида Мартыновна и дома позавтракала дурно, одна, кое-чѣмъ. Сосѣ уѣхала съ утра въ городъ, все къ своему адвокату по бракоразводнымъ дѣламъ; прислуга думала, что барышня останется завтракать у княгини. Никогда она такъ дурно не ѣла, какъ сегодня. И не хотѣлось ей сидѣть одной и ждать визитовъ. Она этого и вообще не любила. Когда ее кто-нибудь занималъ и было это „drôle“, она уходила съ нимъ преспокойно гулять по горамъ. А здѣсь она ни на комъ не останавливала своего выбора, да, вѣроятно, и не остановитъ до возвращенія за границу.

Взяла она книжку и послѣ завтрака пошла ее просматривать къ взморью. Она уже нѣсколько разъ заходила

на „государеву“ дачу, раза два осматривала комнаты и чувствовала себя въ нихъ по-заграничному. Отдѣлку салоновъ, будуара, столовой, картинки Ватто, Ванъ-Лоо, Бушѣ, общій характеръ виллы — террасы и садъ — находила она въ „стиль“ и отдыхала на всемъ глазами. Ей было тутъ уютно, даже, на особый ладъ, ново: точно она совсѣмъ не въ Россіи, не въ этомъ довольно-таки безвкусномъ для нея Петергофѣ.

Русскій дворецкій (Сосѣ привезла еще изъ-за границы грума и valet de pied — англичанъ) доложилъ ей, когда она уходила, что Софья Германовна вернутся скоро и поѣдутъ съ гостями куда-то кататься, — кажется на Бабій-Гонъ, — такъ угодно ли Зинаидѣ Мартыновнѣ, чтобъ за ними заѣхать на государеву дачу?

Она приказала сказать Софьѣ Германовнѣ, что просить заѣхать за ней, когда они будутъ возвращаться назадъ, домой, передъ самымъ обѣдомъ.

Вотъ теперъ она и ждала ихъ. Съ кѣмъ заѣдетъ Сосѣ? Навѣрное съ пріятелемъ своимъ, Теняшевымъ, можетъ-быть, и съ Ожиговыми. Рынинъ будетъ только къ обѣду. Ей вспомнился разговоръ о немъ у княгини. Да, онъ, конечно „goublard“, но въ немъ есть что-то еще мужское, какое-то особое „себѣ на умъ“, худо скрываемое пренебреженіе къ женщинѣ и легкое отношеніе къ тому, что она, Зина Ногайцева, считаетъ хорошимъ стилемъ. И все-таки онъ трется же около ея общества. Ей ничего не надо: она карьеру свою сдѣлала, а ему, видимо, надо очень многого добиться. Къ такимъ мужчинамъ, какъ этотъ Рынинъ — некрасивымъ, безъ граціи и дурачливости, съ которыми не чувствуешь себя по-товарищески и не хочешь „пофлѣртировать“, сейчасъ же является враждебность: вовсе не та враждебность, какую въ старомодныхъ книжкахъ представляли какъ перевернутую любовь, переходящую прямо во взрывъ страсти... Пустяки! Просто, такой „мужчинка“, какъ говоритъ Сосѣ съ Теняшевымъ — (только та этого не чувствуетъ) — врагъ. Видишь насквозь его желаніе: взять тебя, всего чаще безъ всякой любви, и принизить; если и страсть на обоихъ нахлынетъ — она понимала это только въ идеѣ, — такъ все же они чужды одинъ другому, два звѣря, которымъ надо разгрызть одну и ту же кость. А сколько же такихъ паръ — ихъ сотни тысячъ! — гдѣ вся жизнь показываетъ, какіе мужчина и женщина прирожденные враги; и ничего у нихъ общаго

нѣтъ и быть не можетъ въ томъ, что составляетъ ихъ коренную природу, въ чемъ они сами по себѣ.

Перелистывала она новый романъ, взятый съ собой, — завтра она начнетъ его у княгини, — и эти мысли переплетались со сценами любовной исторіи. Авторъ этого не говоритъ, но она-то видитъ, что такъ было на самомъ дѣлѣ.

Ее этотъ выводъ — она его сдѣлала не на-дняхъ, давно уже — особенно ободряетъ; придастъ смѣлость и прямо-ту тому, какъ она будетъ поступать въ каждомъ обстоятельствѣ: ихъ только разныя сентиментальныя кривляки и дуры — „des cruches“ — считаютъ „щекотливыми“. Она, здѣсь, на террасѣ, перебрала всѣ заключенія княгини насчетъ ея „cas de conscience“, и теперь у нея нѣтъ никакихъ колебаній: она знаетъ, какъ ей говорить и какъ оттянуть безъ всякихъ объясненій то, чего ей не слѣдуетъ дѣлать, что не „digne de sa condition actuelle“.

Ей послышались голоса позади дачи; экипажъ только что остановился передъ воротами, на верхнемъ шоссе.

„Это они“, — подумала Зинаида Мартыновна, встала и пошла къ нимъ навстрѣчу.

На дорожкѣ, около воротъ, со стороны задняго фасада, къ ней подбѣжала Сосѣ Дрозенъ, ея кузина. За нею шли двое мужчинъ, штатскій и военный. Штатскій былъ Теняшевъ, ихъ давнишній заграничный пріятель, лѣтъ за тридцать. Пухлое, смуглое лицо, борода, развалистая походка, мягкая шляпа, небрежность лѣтнаго туалета, пестрый, далеко не изящнаго выбора галстукъ, дѣлали его по виду мало подходящимъ товарищемъ и фактотумомъ обѣихъ кузинъ; не больше подходили и къ его службѣ за границей, требующей представительности. Военный, на цѣлую голову выше Теняшева ростомъ, двигался жесткой походкой, не сгибалъ колѣнъ. На немъ форменно сидѣли: бѣлая фуражка съ краснымъ околышемъ, китель и кавалерійскія рейтузы. Лицо буро-красноватое, нечистое, старообразное, съ жидкими усами, бритое, и очень короткіе темнорусые волосы съ рыжеватымъ оттѣнкомъ: — наружность Рынина не привлекала къ нему. При всемъ томъ онъ казался порядочнѣе Теняшева, и на блѣдномъ, широкомъ ртѣ съ сжатыми, довольно толстыми губами, лежала улыбка извѣстнаго рода увѣренности; сѣрые узкіе глаза щурились подъ удлиненными рѣсницами. Въ правой рукѣ, безъ перчатки, онъ держалъ прутикъ, сорванный дорогой.

Сосѡ налетѣла на Зинаиду Мартыновну шумливо, и потокъ словъ запрыгалъ и затрепалъ, какъ мѣра гороху, высыпанная на гладкій каменный полъ. Эта коротенькая молодая женщина—она на два года была старше Ногайцевой—полная, съ таліей въ рюмочку, бѣлокурая, причесанная по рисунку, въ красномъ кумачнаго цѣлта платьѣ и бѣломъ жилетѣ, съ палкой-зонтикомъ въ рукахъ, съ огромной турнюрой, — засѣменила передъ ней ножками, занестрила своимъ платьемъ, огромной шлпной съ отвороченными бортами, уходящей подъ цѣлый каскадъ перьевъ и лентъ, красной вуалеткой, всѣми своими „bijoux“. Лицо ея раскраснѣлось, щеки даже лоснились немного отъ яркаго румянца, а пышный ротъ выпускалъ гортанною нотой слова съ веселымъ и дѣловымъ выраженіемъ—оно было у нея обычное—и тонъ ея картаваго, рѣзковатаго, высокаго голоса съ иностраннымъ акцентомъ на всѣхъ языкахъ звучалъ также какой-то дѣловитостью: точно будто она распоряжается сложной церемоніей или устраиваетъ спектакль, или подготавливаетъ трудное практическое дѣло. Зинаида Мартыновна и Теняшевъ, и всѣ ея старые пріятели, давно знали, что Софья Германовна Дрозенъ ни о чемъ иначе не можетъ говорить, ни по другому держать себя.

— Et bien, quoi?—осадила ее Ногайцева, какъ всегда.

— Monsieur Rynine te salue, Zizi,—потихе сказала та ей въ сторону.

— Je vois, — отвѣтила спокойно Зинаида Мартыновна и отдала поклонъ военному однимъ наклоненіемъ головы, на русскій манеръ: такъ она пріучилась кланяться еще за границей.

Теняшевъ пожалъ ея руку по-пріятельски и сейчасъ же расхохотался.

— Вы что?

Она съ нимъ почему-то говорила по-русски.

— Ха-ха-ха!.. Зина-то,—онъ обратился къ Сосѡ,—Зина-то цѣлый день съ книжкой... знаете, пьесу я такую видѣлъ у нѣмцевъ... кажется, „Нарциссъ“ называется; такъ тамъ чтнца есть у маркизы де-Помпадуръ (онъ выговорилъ: *дурь*), тоже все съ книжкой... вотъ какъ наша Зинаида Мартыновна, добровольная мученица; въ этакую-то духоту и къ завтрашнему сеансу готовится!

И его смѣхъ опять раздался,—довольно добродушный, но не умный.

Въ другое бы время она сама улыбулась, а тутъ ей захотѣлось высунуть ему языкъ или дать окрикъ, какъ на дурака.

— Да, охота пуще неволи!—выговорила Сосò; ей тоже захотѣлось перейти къ русскому языку. Она вѣдь была „столбовая“, да и въ Петергофѣ это „assez bien porté“.

Но она тотчасъ же перешла къ другому сюжету. Заѣхала она за Зизи отъ Ожиговыхъ, которыхъ отвозила; а всѣ пятеро они были на Бабьемъ-Гонѣ, гдѣ устроили чудесный „lawn-tennis“, и она очень жалѣла, что Зизи не дождалась. У нея были билеты для входа во всѣ эти мѣста. Теперь она заѣхала за ней; хочетъ она, чтобы ее довезли домой, или она еще подождетъ немного? А Сосò нужно на минутку съ Теняшевымъ въ оранжерею, выбрать фруктовъ. Онъ видѣлъ какіе-то восхитительные персики и дыни...

Зинаида Мартыновна отказалась ѣхать.

— Какъ же ты одна? — спросила Сосò. — Хочешь, я тебѣ оставлю Рынина? Вотъ билетъ, — подала она ему карту.

Отказаться было неловко. Но Рынинъ понялъ, что она не особенно восхищена будетъ такимъ tête-à-tête, и самъ сказалъ съ улыбкой:

— Mademoiselle Zina любитъ уединеніе. Зачѣмъ же ей навязывать меня?

Голосъ его звучалъ деревянно и слова выходили съ нѣкоторымъ усиленіемъ.

Это: „mademoiselle Zina“ съ продолженіемъ рѣчи на русскомъ языкѣ взбѣсило Зинаиду Мартыновну. Она нарочно сказала кузинѣ очень вѣжливо и кротко:

— Merci, Сосò, prends-le, — и указала рукой на Теняшева.

Рынину слѣдовало остаться.

— Ыдемъ,—скомандовала Сосò, взяла Теняшева подъ руку и побѣжала съ нимъ къ экипажу.

— Не опоздай! — крикнула она отъ экипажа. — Мы въ семь часовъ ровно... Il faut changer de toilette! Nous avons du monde!

— Успѣю! — отвѣтила Зинаида Мартыновна по-русски и повернула къ дачѣ.

— Вамъ угодно остаться одной?—услышала она сзади голосъ Рынина. — Вы не стѣсняйтесь... Я уйду... И мнѣ надо переодѣться. Софья Германовна просила меня къ обѣду.

Его тонъ рѣшительно мутилъ ее. Не было ничего въ немъ дерзкаго, говорилъ онъ самыя обыкновенныя вещи, но во всемъ сквозило пренебреженіе къ ней. Онъ ей явно показывалъ, что она для него—ровно ничего!..

А Рынинъ шелъ за ней, и его сѣрые, недобрые глаза медленно обглядывали, и во всѣхъ деталяхъ, ея станъ, походку, давно усвоенное ею покачиванье на бедрахъ, лѣвую руку, лежащую вдоль бедра, каблуки ея лаковыхъ башмаковъ.

„По послѣднему фасону,—не спѣша, острилъ онъ мысленно.—Непохожа на нашихъ — заурядныхъ, но что-то въ ней есть — не Faubourg St.-Germain... Лицо напоминаетъ красивыхъ мѣщанокъ“.

Это онъ рѣшилъ, когда, на-дняхъ, въ первый разъ, оглядѣлъ ее, сидя въ гостиной у Сосѣ, наискосокъ отъ Зинаиды Мартыновны, которая все время молчала.

Она сдержала свое сердце и подумала, что это банально, точно въ плохомъ романѣ, когда герой и героиня начинаютъ со взаимныхъ пикировокъ.

— Вы меня проводите до насъ?—сказала она и обернулась къ нему въ полголовы.

— Сейчасъ прикажете?

— Нѣтъ, еще жарко. Здѣсь, въ цвѣтникахъ и на террасѣ, хорошо.

Она выговаривала по-русски безъ того акцента, какой былъ у Сосѣ, хотя обѣ онѣ воспитывались вмѣстѣ. Но она лучше училась, одно время любила болтать, то съ „батюшкой“, то съ „Лукашинымъ“, а всего больше съ Тенишевымъ; онъ повѣрялъ ей свои супружескія и всякія другія тайны всегда по-русски. Говоръ ея былъ даже очень русскій.

И его отмѣтилъ Рынинъ и сказалъ про себя:

„Ну, да, голубушка, и говоришь ты, какъ наши дѣвицы изъ кордебалета“.

— Рококо!—указалъ онъ на окна дачи.

Онъ подалъ свой билетъ лакею на крыльцѣ и сказалъ ему, что осматривать комнатъ не будетъ.

Они спустились по дорожкѣ и остановились на мостикѣ. Тамъ обдавало свѣжестью, и запахъ цвѣтовъ относилъ туда легкій вѣтерокъ съ моря.

Рынинъ поглядѣлъ на желтый томикъ въ ея лѣвой рукѣ.

— Вы — я слышалъ отъ Софьи Германовны — ходите читать книжки Трубчевской.

— Да.

Ей захотѣлось прибавить: „а вамъ что до этого за дѣло?“

Она почувствовала, что вопросъ былъ не проста.

— И давно?

— Давно...

— Изучаете эту бонапартистку?

Такого слова она рѣшительно не ожидала. „Бонапартистка“—это еще что?

Стоитъ передъ ней, въ некрасивой, жесткой позѣ, у перилъ, офицеръ, сухой, съ солдатскимъ лицомъ, даже на гвардейца мало похожъ, голосъ какъ у динстмана (сравненіе съ писаремъ не могло ей придти), безъ всякаго „стиля“, и вдругъ съ улыбкой—зубы показавъ при этомъ желтые—называетъ княгиню Елену Романовну Трубчевскую—„бонапартисткой“!

„Что же это? Сарказмъ, колкость, „камуфлетъ“, какъ любить выражаться Сосѣ, въ такихъ случаяхъ, или это какой-то неизвѣстный ей терминъ?“

Она рѣшилась вывѣдать.

— Почему „бонапартистку“?

Она даже ничего больше и не прибавила.

— А какъ же? Вѣдь она того времени... Старая гвардія... княгиня Меттернихъ... и тѣ еще двѣ модницы, Галифѣ-Пурталесъ...

Точно нарочно онъ выговорилъ на русскій ладъ, съ мягкой буквой „е“: „Галифѣ-Пурталесъ“.

Тутъ она поняла, что это все — „камуфлетъ“, и стала совсѣмъ бѣлая. Но оборвать его сразу было бы уже совершенно не въ „стиль“.

— Не знаю, — отвѣтила она, но не такимъ звукомъ, что онъ долженъ бы былъ замолчать или перемѣнить разговоръ.

— Галифѣ-Пурталесъ, — продолжалъ онъ, — Наполеона интриговали на маскированныхъ балахъ. Еще онъ одной-то изъ нашихъ такихъ бонапартистокъ сказалъ, что ей въ политику пускаться нечего: скорбна главой.

— Я не понимаю этого... moi!

— Скорбна главой—значить: la comprenette difficile...

— Вы это про княгиню?—спросила она и пожала плечами. — Вы, значить, не имѣете о ней понятія, а кажется, бываете у нея... У нея — comprenette difficile! Ха-ха!

Она искренно разсмѣялась. Что за идиоты! И княгиня же находить, что онъ выйдетъ въ люди. Смѣхъ подѣйствовалъ. Онъ покраснѣлъ и выпрямился.

— Я знаю, что она умна...

— Вы вѣдь бываете у нея,—не дала она ему кончить,—тоже для изученія?

— Точно такъ,—отвѣтилъ онъ, и дерзко, и серьезно.

— Пригодится?

Она видѣла, что разговоръ переходитъ въ пикировку, а у нея нѣтъ силы дать ему другой оборотъ.

— Мнѣ пригодится... знаете: всякое лыко въ строку. А занимательно бы было узнать, какъ она тамъ, за границей, у себя, въ своемъ Монрепо?

Зинаида Мартыновна вопросительно вскинула на него рѣсницами изъ-подъ шляпки.

— Вы не знаете, что такое Монрепо?

— Понимаю.

— Нѣтъ, вотъ въ петербургскомъ смыслѣ?

— Не понимаю. Но,—она не могла удержаться,—я думаю,—она начала искать русскихъ выраженій,—вы слышали, monsieur Рынинъ, что я близка къ книгинѣ... и вашъ топъ, все, что вы сейчасъ себѣ позволили,—ее сильно затруднили русскія фразы, а надо было кончить по-русски,—я нахожу лишнимъ... Это не gentlemanlike!—выговорила она англійское слово.

Рынинъ не сразу отвѣтилъ. Въ это время они подошли опять къ террасѣ.

Онъ обернулся къ ней лицомъ, снялъ свою фуражку съ длиннымъ козырькомъ, согнулъ шею въ видѣ поклона и даже прищелкнулъ шпорами. Она подумала было, что онъ продолжаетъ свой дерзкій „камуфлетъ“.

— Вы правы,—выговорилъ онъ, уже по-другому.—Мнѣ даже весьма пріятно, что вы меня осадили.

— Пріятно?

— Да, у насъ, въ Россіи, вездѣ, и въ самомъ избранномъ обществѣ (слово: „избранный“ онъ сказалъ иронически), полнѣйшая распушенность по этой части. Подходя оскорбляютъ людей, заѣдомо вамъ близкихъ. И никто не заставитъ уважать свои отношенія...

— Вы меня хотѣли испытать?—остановила его Зинаида Мартыновна и тихо разсмѣялась.

— Можетъ-быть. Вы, значитъ, съ характеромъ. Нынче это рѣдкость между нашими барышнями.



— Я не люблю этого слова.

— Слушаю-сь. Но почему же вы думаете, что я хотѣлъ только испытать васъ?.. А, быть-можетъ, я хотѣлъ васъ предостеречь!

— Предостеречь?

Она остановилась. Сталь и онъ. Они были уже по ту сторону дачи.

— Вы скажете, конечно, съ какой стати, по какому праву? Поищите, не изъ того, чтобы васъ поймать на благородныхъ чувствахъ. Я не настолько добръ, чтобы зря протягивать руку. Но... вы позволите присѣсть... и быть съ вами откровеннымъ?..

Зинаида Мартыновна, въ видѣ отвѣта, сѣла на одинъ диванъ съ нимъ, подъ дерево.

Съ крыльца смотрѣлъ на нихъ лакей въ сѣромъ короткомъ пальто, обшитомъ галунами. Барышню онъ уже зналъ, офицера видѣлъ въ первый разъ.

— Вы, кажется, взяли себѣ идеаломъ эту... не бойтесь, я не назову ее еще разъ... вамъ это неприятно. А вѣдь это напрасно. Одно изъ двухъ: или вы про нее ничего не знаете... и тогда вы...

— Je suis une dupe?—досказала она и такъ на него посмотрѣла, что онъ помолчалъ и выговорилъ:

— А если вамъ все извѣстно, въ такомъ случаѣ... въ такомъ случаѣ... cela dépasse ma comprenette à moi,—добавилъ онъ по-французски.

— Вы хотите сказать: въ такомъ случаѣ я... une monstre de perversité?

— Позвольте, — выговорилъ онъ живѣе и болѣе простымъ тономъ, — нотацій я вамъ не могу читать, проповѣдей—точно такъ же; какая вы есть, такая и будете... Вы—дѣвушка на полной волѣ и, кажется, безъ всякихъ уже иллюзій. Отчего же и не быть такой?.. Но вы теперь живете здѣсь. Будемте говорить, какъ бы двое мужчинъ. Одинъ знаетъ хорошо то мѣсто, гдѣ оба живутъ, а другой только что пріѣхалъ. Здѣсь не нѣмецкій курортъ, гдѣ все сойдеться... Здѣсь—родина ваша...

— Я знаю,—выговорила она спокойно.

Она его слушала почти съ интересомъ, но безъ всякаго добраго чувства.

— Я хочу оказать вамъ простую услугу, mademoiselle Zina. Не понимаю только, какъ madame Дрозенъ или этотъ Теняшевъ—вѣдь онъ вашъ пріятель—не скажутъ вамъ,

что вамъ ходить, каждый день, читать къ Трубчевской, прослыть ея воспитанницей... ея, такъ сказать, духовной дочерью, нѣтъ никакого расчета...

— Это все?—спросила она и опять встала.

Поднялся и Рыницъ.

— Одинъ вопросъ, — остановилъ онъ ее. — Вы знаете, зачѣмъ пріѣхала въ Россію княгиня?

— По дѣлу.

— По какому?

— Это до меня не касается...

— Ну, такъ я вамъ скажу, по какому: она хлопочетъ отдать мужа подъ опеку. А князь, — вы вѣдь его, навѣрное, видѣли, тамъ, въ курортѣ, — ни въ чемъ не повиненъ... Онъ любитъ кутнуть, но это не резонъ, чтобы отнимать у него состояніе... и пускать въ ходъ самые неблагоприятные каналы.

— Кто же это доказалъ?

Больше она ничего не прибавила и пошла ускореннымъ шагомъ къ воротамъ. Рыницъ подбѣжалъ къ лакею, опустилъ ему что-то въ руку и догналъ ее на шоссе.

— Вамъ угодно, чтобы я васъ проводилъ?—спросилъ онъ уже прежнимъ тономъ.

— Благодарствуйте.

Это „благодарствуйте“ звучало совершенно такъ, какъ за обѣдомъ, когда Зинаида Мартыновна благодарила Егора, дворецкого.

Молча спустились они внизъ и пошли по шоссе, держась лѣвой тропинки; жаръ уже спадалъ.

— Вы, можетъ-быть, устали?

Она, дѣйствительно, насилу шла.

— Угодно мою руку?

Не принять было нельзя. Они пошли въ ногу. Идти съ нимъ было ловко.

— *L'incident est clos*, — сказалъ онъ, не заглядывая къ ней подъ зонтикъ. — Вы стоите за свою... княгиню. Это прекрасно. Я васъ предупредилъ... Мы можемъ и встрѣтиться у нея.

— Значитъ, она вамъ нужна! — живѣе выговорила Зинаида Мартыновна.

— Мнѣ всѣ одинаково пужны, и никто въ частности. Ей-Богу! Вѣдь я не оттого вамъ такъ высказался, что на нее сердитъ. Ея взглядъ на меня я знаю.

— Знаете?

Это ее заинтересовало.

— Добрый человекъ пересказалъ.

— И что же?

— *Slavophile, chauvin et roublard*.

„Она и другимъ то же“, — подумала Ногайцева, и у ней мелькнуло въ головѣ: не умнѣ ли этотъ прыщавый офицеръ, въ бѣломъ сюртукѣ, княгини Елены Романовны?

— Вѣдь такъ? Безъ увертокъ.

— Да, это ея слова.

Ей не слѣдовало признаваться. Но она сдѣлала это машинально; съ этой минуты, какъ онъ держалъ ее подъ руку и она шла съ нимъ въ ногу, она точно стала гораздо моложе его, почти дѣвочкой; а онъ владѣть собою лучше ея, несравненно лучше, и уже говоритъ съ ней въ родѣ какъ ловкій гувернеръ, послѣ хорошей головомойки. Она готова была выдернуть руку и крикнуть ему:

— Не нужно мнѣ васъ, идите своей дорогой! Намъ съ вами не бывать даже простыми пріятелями.

И ее переполнило знакомое ей чувство естественной вражды къ мужчинѣ, къ настоящему, вотъ такому, какъ этотъ „roublard“, сухому, долговязому, отъ котораго идетъ особый запахъ, — смѣсь одеколона съ испареніями кожи отъ его рейтузъ и вылощенного утюгомъ бѣлаго кителя.

Но рука его прижимала ея руку плотно, жестко, авторитетно.

Она задыхалась отъ всѣхъ этихъ чувствъ, когда Рынинъ раскланялся съ ней, доведи до дому.

IV.

Рынинъ ночевалъ у пріятеля, въ зданіяхъ дворца. Онъ пріѣхалъ на однѣ сутки изъ лагеря подъ Краснымъ. Ко дворцу взялъ онъ извозчика, туда и назадъ, и поторговался съ нимъ, чего его сослуживцы и вообще кавалеристы почти никогда не дѣлаютъ. Но онъ зналъ, когда и гдѣ соблюсти экономію. Тратить зря онъ не любилъ, да и не могъ. Считая съ жалованьемъ — оно у него шло въ счетъ — онъ могъ проживать, не дѣлая долговъ, тысячи четыре на самый большой конецъ. Лошадей упряжныхъ, разумѣется, не держалъ. Верховая стояла въ эскадронѣ. У него не было даже „подъѣздки“, а одинъ только „па-

радеръ“, но добрая лошадь, купленная по случаю очень дешево. Въ полкъ онъ вернулся всего полгода назадъ. Его служба, почти съ самой турецкой войны, прошла внѣ полка; поэтому онъ такъ и запоздалъ въ производствѣ: былъ всего еще штабсъ-ротмистръ, когда его товарищи уже командуютъ эскадронами въ гвардіи и полками въ армейской кавалеріи. Ему пошелъ тридцатый годъ.

Но Рынинъ смотрѣлъ на свой полкъ, на строевую службу вообще, только какъ на временную, выжидательную станцію. Его не туда влекло.

На тряскомъ извозчикѣ онъ сидѣлъ, высокій и сухой, неинного согнувшись, въ фуражкѣ съ удлинненнымъ козырькомъ, и въ немъ не было ничего не только ухарскаго, но даже и той особенной развалистости, какой держится почти каждый молодой офицеръ-кирасиръ. Онъ и не желалъ поддѣлываться подъ тотъ жанръ, что установился въ полку за послѣднее время: жанръ этотъ мѣнялся каждыя пять лѣтъ, а то и чаще. Если бы онъ вынычивалъ грудь покруче, да былъ поплечистѣе—его манера держаться, когда онъ стоялъ и ходилъ, похожа бы была скорѣе на выправку офицера-пруссакъ, а еще ближе—нѣмецкаго чиновника въ мундирѣ.

Нѣмецкое воспитаніе прошло въ немъ. Въ южной Германіи, въ школѣ, онъ учился года четыре, а потомъ и въ университетѣ два года былъ „корбуршемъ“ въ корпорациіи.

Пришлось отбывать повинность. Война, славяне, наплывъ идей, къ которымъ онъ сразу получилъ склонность и по-своему воспользовался ими,—вотъ что выяснило ему самого себя. Онъ унтеръ-офицеромъ состоялъ въ ординарцахъ при одномъ легендарномъ генералѣ, отлично его понималъ и изучилъ, остался тамъ, за Балканами, въ видной, но недоходной должности. Когда онъ въ мундирѣ, у него грудь въ иностранныхъ, больше всего—славянскихъ крестахъ. Но выше онъ не могъ подняться: время настало тугое; случались и настоящія недоразумѣнія съ тамошнимъ высшимъ русскимъ начальствомъ. Онъ предпочелъ вернуться въ полкъ и ждать.

Рынинъ любилъ женщинъ, какъ охотникъ любить дичь; слабости къ нимъ не имѣлъ никакой; когда-то водился и съ кокотками и считался въ ихъ кругу дерзкимъ и часто циничнымъ до крайности. Француженки звали его „ripse-sans-rigue“, потому что онъ вышучивалъ и ихъ компанію



съ безстрастнымъ выраженіемъ лица. Его боялись. У него не было ни одной дуэли, даже и въ ту пору, когда онъ участвовалъ въ попойкахъ и славился своей крѣпостью. Теперь онъ пьетъ только красное вино, не любитъ шампанскаго, и циническихъ вещей, ни злыхъ, ни шутивыхъ, не говоритъ изъ принципа.

Въ Петербургѣ онъ началъ бывать вездѣ, гдѣ держатся нѣкоторыхъ взглядовъ въ „русскомъ“ направленіи. Двѣ-три вліятельныя дамы принимали его не какъ простого кавалера для танцевъ, а съ особеннымъ оттѣнкомъ: точно онъ агентъ кого-то, какой-то особы; этой дымки онъ не разсѣвалъ вокругъ себя и, гдѣ можно было, говорилъ всегда вовсе не какъ строевой военный, а скорѣе какъ дипломатъ въ мундирѣ, на особый манеръ. Многіе замѣчали, что онъ начитанъ—и не такъ, какъ другіе. Почти каждая брошюра и книга по славянскимъ вопросамъ, все, что касается нѣмцевъ, ихъ замысловъ, будущей войны съ ними, видовъ на Константинополь и на „Эгейское“ море,—все это ему было извѣстно. Въ одной гостиной онъ развернулъ даже какой-то южно-славянскій листокъ, и дамы попросили его прочесть нѣсколько строкъ, чтобы послушать, какъ это звучитъ. Одна разсмѣялась: Рынинъ сейчасъ же прекратилъ чтеніе. Все это хорошо его ставило и въ женскомъ обществѣ. Но до сихъ поръ и послѣ своего возвращенія въ Россію онъ ни къ одной свѣтской женщинѣ не ѣздилъ „съ намѣреніями“.

Зинаиду Погайцеву увидалъ онъ сначала на музыкѣ, въ Нижнемъ саду. Кое-что слыхалъ онъ о ней и за границей, и ему припомнилось даже что-то о ея „исторіи“. Эта статная дѣвица „высшей школы“ (такъ онъ ее, по кавалерійски, называлъ) вызвала въ немъ, въ первый же разъ, чувство, какое является у берейтора при видѣ чужой выдрессированной манежной лошади, которая выдѣлывается свои упражненія, не обращая на него вниманія; другой ее вышколилъ, а его бича она не испугается. И онъ сказалъ себѣ: „я съ ней познакомлюсь и погляжу, что подъ такой школой имѣется“. Въ ней ему все-таки понравилась эта „школа“. Петербургскихъ дѣвицъ, въ массѣ, онъ называлъ про себѣ весьма неслестнымъ терминомъ,—до такой степени онѣ казались ему „жидки“ во всѣхъ смыслахъ. Онъ въ большинствѣ ихъ не находилъ ничего ни „славянскаго“, ни даже „хорошаго“ нѣмецкаго. Жениться на одной изъ нихъ онъ допускалъ развѣ

изъ расчета, и то только если избѣжать „этого“ нельзя будетъ.

Познакомиться съ Сосѡ Дрозенъ не было никакой трудности. И раскусить ее также. Въ Сосѡ школа рѣзче была видна, чѣмъ на Ногайцевой. Она выкладывала ее, кромѣ внѣшняго облика, въ своемъ неумолкаемомъ „bagout“, въ своемъ „montant“ — ея любимыя выраженія. Для него, очень бывалаго, обѣ кухни попали въ разрядъ сначала дрессированныхъ модныхъ „дѣвочекъ“ (онъ произносилъ иногда это слово и безъ уменьшительнаго окончанія). Только у нихъ все было поновѣе, особенно здѣсь, въ Петергофѣ. И Рынинъ не встрѣчалъ еще такихъ отрѣшенныхъ отъ своей родины русскихъ женщинъ, да и отъ всего, кромѣ ихъ моднаго толка. Въ немъ презрительное чувство смѣшивалось еще съ любопытствомъ и съ желаніемъ осаживать „этихъ бабёнокъ“, показывать имъ, при случаѣ, когда онъ присмотрится къ нимъ, какія онѣ „шутихи гороховыя“. Онъ вполне искренно поглядѣлъ на нихъ такимъ именно образомъ, а вовсе не изъ одной зависти, что вотъ онъ, Рынинъ, долженъ облизываться, глядя на то, какъ такая Софья Германовна Дрозенъ живетъ, сколько она тратитъ, какая у нея обстановка. Его не покидала увѣренность, что и у него все это будетъ, и не это одно, а власть, возможность заставлять прыгать по своей дудкѣ тѣхъ, кто теперь проходитъ мимо него, не спрашивая: кто этотъ длинный, прыцаваго лица, офицеръ, въ бѣлой фуражкѣ и кавалерійскихъ рейтузахъ?

Въ Петергофѣ домъ Сосѡ Дрозенъ былъ для него „курьёзнѣ“ другихъ: онъ тоже начиналъ уже испытывать, послѣ жизни за границей, вялость и тусклость общаго тона и въ гостинныхъ, и въ дѣловыхъ кабинетахъ, и въ казармахъ...

Въ десять минутъ Рынинъ на квартирѣ пріятеля былъ готовъ, умылся, велѣлъ себя почистить и переměнилъ китель на сюртукъ, который онъ носилъ длиннымъ, на три вершка длиннѣе, чѣмъ носили тогда: при его ростѣ, модный короткій сюртукъ дѣлалъ бы его фигуру смѣшной. На обратномъ пути онъ улыбнулся про себя, когда сталъ перебирать въ головѣ всѣ маленькіе эпизоды и фразы, ихъ стычки въ цвѣтникѣ, на террасѣ и подъ деревомъ, на дворѣ „государевой“ дачи. Нечего тутъ и сомнѣваться: она „спасовала“. Онъ вышелъ изъ перваго опыта съ пол-



нымъ успѣхомъ. Такъ должно пойти и дальше. Такой типъ женщинъ всегда ему нравился. Малорослыхъ („карапузиковъ“), вотъ такихъ, какъ Сосѵ, съ грушевиднымъ бюстомъ, на короткихъ ножкахъ, чего-то похожаго на хорошенькую „Spritz-mamsell“, гдѣ-нибудь въ Вѣнѣ или Пештѣ, въ кіоскѣ съ содовой водой, онъ не признавалъ. Даже и чувственность его требовала совѣмъ не того. Ему нужны были болѣе чистыя линіи, драпировка, падающая вдоль стройныхъ бедръ, величавый подъемъ головы, походка съ ритмомъ,—такая есть у Зины Ногайцевой,—матовость кожи, строгость профили, высокій лобъ. Все это у нея имѣлось и все-таки на какой-то „славянской подкладкѣ“, что ему было, опять-таки, пріятно...

„Она повыше сортомъ очень многихъ,—думалъ онъ, на возвратномъ пути къ дачѣ Сосѵ Дрозенъ,—повыше, хоть и набита всякимъ обезьянствомъ“.

Почуялъ онъ въ стычкѣ сегодня передъ обѣдомъ и то, что въ Зинѣ Ногайцевой есть какая-то, мало попадающая и за границей, бывалость. Мужчины ее не волновали. Точно будто она чрезъ все уже прошла. Въ ея непорочность онъ ни малѣйшимъ образомъ не вѣрилъ: вѣдь она что-то въ родѣ питомицы княгини Трубевской.

„Но изъ такой, высколившей самое себя по доброй волѣ, особы въ хорошихъ рукахъ можетъ выйти пѣчто?..“

Усмѣшка сошла съ губъ его, и онъ задумался отъ этого вопроса. Извозчикъ ѣхалъ очень тихо; онъ на него не кричалъ, а обыкновенно бывалъ съ извозчиками, и вообще съ народомъ, жестокъ и даже золъ.

Сегодня тамъ, на Бабьемъ-Гонѣ, во время игры въ мячъ—„lawn-tennis“, какъ они всѣ называли—съ нимъ разболтался этотъ Тенишевъ, по всѣмъ признакамъ—ихъ давнишній пріятель, сталъ ему сначала, ни съ того, ни съ сего, рассказывать, какихъ у него жена „дѣловъ“ надѣлала: прогремѣла на всю Европу, и карточки ея вездѣ продаютъ; а онъ, по добротѣ, ее „жалѣючи“, далъ ей разводъ и взялъ все на себя, почему онъ „въ этихъ дѣлахъ“ и опытенъ, и руководить теперь хлопотами Софьи Германовны: устроилъ такъ, что ей больше не грозятъ родственники мужа, а прежде они хотѣли ее „цапъ-царапъ“, какъ только она носъ покажетъ въ Россію для совѣщаній съ адвокатомъ, который ѣздилъ уже два раза къ ней въ Берлинъ, да все это сдѣлалось „дьявольски дорого“.

Онъ слушалъ Теняшева, а самъ оглядывалъ его и удивлялся, какъ такой „Адексѣй коридорный“ могъ заниматься за границей постъ, отъ котораго, на первыхъ порахъ, онъ, Рынинъ, не отказался бы. Чтò у этого „коридорнаго“ ходило въ головѣ, ему трудно было рѣшить: какія идеи и соображенія насчетъ національной политики? Не безъ удовольствія узналъ онъ, что его изъ Европы переводятъ куда-то далеко, чуть не на Тихій океанъ...

Но Теняшевъ отъ Сосò перешелъ сейчасъ же къ „другу“ своему—Зинѣ; онъ такъ просто и называлъ: „Зина“, и говорилъ о ней съ причмокиваньемъ, какъ дѣлаютъ виноторговцы, предложивъ вамъ на пробу вина: „лучше, молъ, за эту цѣну не найдете, да и дороже будетъ, а все не то“. Рынинъ не ставилъ сначала никакихъ серьезныхъ вопросовъ. Это было бы „жениховствомъ“. Онъ свободно уловилъ тонъ, въ которомъ всего лучше говорить о Зинѣ съ ея пріятелемъ; только онъ не могъ не удивиться, какъ же это она сошлась съ такимъ, ужъ совсѣмъ не высшаго стили, соотечественникомъ? Должно-быть, ей ловко съ нимъ, стѣсняться не нужно; она, должно-быть, смотритъ на него не какъ на мужчину, а больше какъ на наперсника, безъ пола...

Теняшевъ, все подмигивая, кидалъ фразы не то въ хвалебномъ тонѣ, не то въ такомъ, что вѣтъ, молъ, у насъ теперь какія дѣвицы водятся. Тутъ было всего: и „ее на кривой не объѣдешь“, и „принцевъ крови объѣзжала“, и возгласъ: „порода какова! и вправду хорошо русская печь печеть“, и разное другое, въ такомъ же вкусѣ.

А въ антрактѣ между двумя партіями, тотъ же Теняшевъ щелкнулъ языкомъ и сказалъ ему, точно по секрету:

— Такихъ у васъ отроковицъ нѣтъ: на всей своей волѣ, въ родѣ какъ королева амазонокъ, и двѣсти тысячъ чистаганчикомъ отъ безпутнаго тятеньки; этакій выигрышъ не часто бываетъ, хоть бы и перваго сентября.

Рынинъ, не спрашивая его, самъ узналъ про то, что отецъ Зины „въ домикъ сидитъ“, послѣ чего послѣдовала шутка насчетъ того, что на такой дѣвицѣ жениться тогда было бы опасно, если бъ у нея дѣти пошли.

— А у Зины не будетъ, за это ужъ я вамъ ручаюсь.— Теняшевъ на ухо сказалъ ему, потомъ уже совсѣмъ за панибрата: — Да она и въ морганатическія къ сіамскому



королю не пойдетъ... Что ей?.. Для нея мы, мужчинки, такъ что-то въ родѣ динстмановъ и лон-лакеевъ.

На первый разъ Рынину было достаточно. Но запанибратство Теняшева не мѣшало ему въ знакомствѣ съ обѣими кузинами. Онъ зналъ теперь, кто ихъ приближенные.

Сосѣ сказала ему, что къ обѣду у нея будутъ, кромѣ четы Ожиговыхъ, домашній врачъ ея отца, „un bon diable“ — изъ „вѣчныхъ студентовъ“, какъ пояснилъ Теняшевъ, и французъ Блэзо — бывший учитель Зины, „un compagnard muselé“ — по опредѣленію хозяйки дома.

Мужа и жену Ожиговыхъ, которыхъ они завозили съ Бабьяго-Гона къ нимъ на дачу, Рынинъ встрѣчалъ когда-то, еще до войны. Тогда они шли въ гору, и потомъ разомъ споткнулись. Онъ зналъ — на чемъ, и смотрѣлъ на „Мишку“ Ожигова — такъ его звали въ кутящихъ компаніяхъ — какъ на пустѣйшаго бабника, мотыгу и переметную суму; теперь же къ этому взгляду присоединилось и безразличное чувство къ его „недоразумѣнію“, какъ вездѣ повторяла его жена, старавшаяся увѣрить cadaго, что ея мужъ оклеветанъ. Для Рынина такіе люди, какъ Ожиговъ, были всегда особенно ненавистны, хотя онъ ни однимъ звукомъ не выказывалъ этого, а, напротивъ, отзывался о нихъ слегка, какъ о сотнѣ другихъ баръ, чиновниковъ или военныхъ. Его возмущала глубоко, непримиримо, возможность того, что подобные „Мишки“ бываютъ „взысканы“, могутъ попадать наверхъ; бѣсило то, что выше ихъ, да и туда, гдѣ они сидятъ, не забраться и такимъ, какъ онъ, если бабушка не поворожитъ. Когда онъ раздумывалъ объ этомъ, то считалъ въ себѣ оскорбленнымъ „лучшаго сына родины“: мечталъ даже иногда, какъ онъ, добившись власти, способенъ будетъ сажать „въ лужу“ всякое такое дрянцо, не достойное ни наслѣдственного состоянія, ни имени: Ожиговы были графы.

Впрочемъ, онъ считалъ себя весьма родовитымъ, родившеюсь хоть бы такого Мишки Ожигова, прадѣду котораго былъ пожалованъ титулъ графа „римской имперіи“, что, какъ онъ выражался, „не жирное кушанье“. Смѣло носилъ онъ и свое, не для гостиныхъ и будуаровъ выбранное, крестное имя. Его звали Парменій или, по-просту, Парменъ. Но онъ печаталъ на карточкахъ: „Парменій Никитичъ Рынинъ“ и поставилъ бы: „Ширьевскій“; онъ толковалъ указъ о дворянскихъ вольностяхъ такъ, что

каждый старшій въ родѣ, владѣющій родовымъ имѣніемъ, можетъ прибавлять къ фамиліи имя своей вотчины. По „Ширяевымъ“ онъ теперь не владѣлъ. Оно пошло съ молотка, за долги отца. Парменіемъ его звали вездѣ почти-тельно; и у Сосѣ онъ заставилъ, въ русскомъ разговорѣ, выговаривать отчетливо свое имя и отчество — первую Зину. Имя Парменъ въ родѣ его отца—стародавнее, какъ въ родѣ его матери значилось двадцать Лукьяновъ—тоже имя не очень модное, зато весьма звучное по-французски. Себя онъ не позволялъ и думать звать на французскій ладъ, и всегда почти замѣчалъ:

— Надо бы говорить: Парменидъ, да я въ философы не мѣчу...

И многіе отъ него узнавали, въ первый разъ, что былъ такой древній мыслитель.

Когда извозчикъ, протащившій его отъ дворца болѣе четверти часа, завернулъ на дворъ дачи Софьи Германовны Дрозенъ, Рынинъ подумалъ не безъ удовольствія, что личности, окружающія Зину Ногайцеву, мѣшать ему не могутъ.

Мѣшать — въ чемъ? Онъ еще не отвѣтилъ на это, но его уже подмывало охотничье чувство къ безкровной красавицѣ. Еще разъ остановился онъ мыслью на томъ ощущеніи, съ какимъ онъ велъ ее сегодня вотъ сюда же, къ этой дачѣ съ двумя башенками, построенной навѣрное нѣмцемъ-банкиромъ.

И въ этомъ онъ не ошибся. Дачу строилъ отецъ Сосѣ—Германъ Францовичъ Кунъ, когда разбогатѣлъ въ Петербургѣ. На ней Сосѣ и родилась. Но до нынѣшняго года дача ходила внаймы.

До обѣда оставалось двадцать минутъ; на дворѣ, гдѣ между палисадникомъ и широкимъ подъѣздомъ желтѣла площадка, не стояло ни одного экипажа. Рынинъ подъѣхалъ на своемъ, очень невзрачномъ, извозникѣ прямо къ крыльцу. И въ этомъ онъ любилъ оставаться самимъ собою, выказывая даже нѣкоторое франтовство, когда нужно было.

Дамы еще не выходили въ гостиную; ихъ туалетъ могъ затянуться до семи часовъ, если не зайти за срокъ обѣда.

Въ прихожей, въ видѣ большого полутемнаго коридора, съ витой лѣстницей налѣво и дверью прямо — въ распи-

санных готических стеклах—Рынина встрѣтилъ лакей, высокій, молодой, бритый, но съ крошечными бакенбардами, въ короткомъ ливрейномъ фракѣ свѣтло-голубого сукна, при темномъ бархатномъ воротникѣ, въ шелковомъ полосатомъ жилетѣ, штиблетахъ и воротничкахъ, какіе можно видѣть на прислугѣ только въ Гайдъ-Паркѣ.

Рынинъ уже зналъ, что этотъ лакей—англичанинъ, и ни на какомъ языкѣ, кромѣ англійскаго, не говоритъ. Мальчикъ-грумъ, тоже англичанинъ,—его не было въ передней,—говорилъ по-французски. Софья Германовна „обожала“ Англию и увѣряла всѣхъ, что никакой другой страны и общества не признаетъ.

Воздухъ и полусвѣтъ передней, драпировки изъ восточныхъ матерій, громадное японское блюдо для карточекъ, такой же фонарь дѣлали изъ лакейской пріятную галерею. Гость согласился, что эта русско-нѣмецкая англо-манка довольно сильна въ декоративномъ стилѣ.

По-англійски Рынинъ не говорилъ свободно, какъ и большинство русскихъ мужчинъ, но онъ все-таки отвѣтилъ, что было нужно, когда лакей предложилъ ему пройти въ салонъ.

Тамъ уже дожидался Теняшевъ, все въ томъ же перешитомъ сюртукѣ, и незнакомые Рынину двое мужчинъ: Лукашинъ и Блэзо. И въ гостиной стоялъ полусвѣтъ отъ спущенной на балконъ большой маркизы и японскихъ шторъ на окнахъ. Она была вся въ букетахъ и цвѣточныхъ горшкахъ. Въ одномъ изъ угловъ—два почти шарообразныхъ куста крупныхъ живыхъ маргаритокъ, только изъ цвѣтовъ, составленные вмѣстѣ, казались полукруглымъ, высокимъ диваномъ. Обои и мебель, желтаго штофа съ бѣлымъ лакомъ, набрасывали на всѣ предметы золотисто-палевый колоритъ. Комната ушла вся въ бронзу, плюшевые столики и этажерки, переполненные фарфоромъ, и въ старыя матеріи, набросанныя на пылинно; на мебель, со стѣны, смотрѣли два венеціанскихъ зеркала; за картинами хозяйка не гналась.

Всѣ „bibelots“ она привезла изъ-за границы на одно мѣсто.

Теняшевъ познакомилъ Рынина съ обоими мужчинами.

Ихъ видъ удивилъ его: Лукашинъ замѣнилъ свое пальто изъ чесунчи визиткой кофейнаго цвѣта, а Блэзо былъ въ черной сюртучной парѣ, купленной въ „готовыхъ платьяхъ“. Небольшого роста, немного выше доктора, узкоплеч-

чій, со впалой грудью, скорѣе темнорусый, чѣмъ черно-волосый, съ маленькимъ, желтымъ, немного веспуцатымъ лицомъ, очень напоминающимъ русскаго мастерового изъ Москвы или Тулы, съ шершавой бородкой рыжевато-черной,—онъ держался совсѣмъ не по-свѣтски, какъ грамотный рабочій, наборщикъ или часовщикъ, надѣвший свою черную праздничную пару. Онъ еще менѣе Лукашина подходилъ къ стѣнамъ bouton d'or, японскимъ rotiches и цѣлому морю розъ, незабудокъ, лилій, геліотроповъ, петуній и маргаритокъ. Его зеленоватые глаза съ крапинками, подъ густыми бровями, смотрѣли на всѣхъ слишкомъ серьезно для такого мѣста, но ротъ улыбался — не особенно, впрочемъ, ласково: въ углахъ его сидѣла складка человѣка, много пережившаго и съ большой выдержкой.

Такимъ онъ показался Рынину, которому Блэзо ничего не сказалъ, никакой обычной фразы француза, даже простого: „Enchanté!“ Она бы къ нему и не пошла. Рынину это понравилось, а присутствіе такою француза въ салонѣ Сосѣ Дрозенъ онъ началъ себѣ объяснять ея „милымъ“ гостепріимствомъ, должно-быть, унаслѣдованнымъ отъ русской матери... Разумѣется, такого точно вида русскаго учителя или литератора она бы къ себѣ не позвала обѣдать, а этотъ французъ — „avec un passé“ — побывалъ, какъ слышно, въ коммунарахъ или, по малой мѣрѣ, въ какихъ-нибудь „коллективистахъ“.

Все это было довольно забавно и обставляло для него, на неожиданный ладъ, личность и фигуру Зины Ногайцевой.

Изъ-за портьеры, со стороны внутреннихъ комнатъ, выскочила собачка-грифонъ и подбѣжала прямо къ Рынину.

— Съ ней надо не иначе, какъ по-англичански,—заговорилъ Теняшевъ и началъ ее звать:—Тоби, Тоби!

Но грифонъ прыгалъ около Рынина.

— Другого языка не знаетъ? — обратился тотъ къ Теняшеву.

— Не знаетъ... Ахъ, жаль, что здѣсь нѣтъ моего гончаго смычка.

— Вы охотникъ? — спросилъ Теняшевъ Рынина и, не дожидаясь его отвѣта, продолжалъ:—Борька и Зорька у меня... таксы... знаете, кривоножки? Въ норку кротовую зароятся такъ, что готовы подохнуть, если не вытащить.

Лукашинъ погладилъ Тоби; поглядѣлъ на него и Блэзо, но ничего не сказалъ.

— А Зинаиды Мартыновны песикъ гдѣ?—спросилъ докторъ у Теняшева.

— За границей остался. Ему операцію будутъ дѣлать... по всѣмъ правиламъ хирургіи.

— А что у него?

— Грыжа... кажется.

— *C'est le vieux Dizzy?* — присталъ къ разговору и Блэзо.

Рынинъ увидаль, что онъ понимаетъ русскій разговоръ, и нашель не лишнимъ спросить его, давно ли онъ знаетъ Россію?..

За него отвѣтилъ ему докторъ.

— Иванъ Альфонсовичъ почти-что нашъ. Онъ только стѣсняется немножко, а по-русски чисто говоритъ. Вѣдь онъ въ Россіи лѣтъ пять учительствовалъ и даже, кажется, немножко практиковалъ, — такъ ли, коллега?.. Вы ужъ не запирайтесь. Вы вѣдь тоже докторъ, хоть и не пишете этого на карточкахъ.

Разговоръ пошелъ и дальше по-русски. Но Блэзо больше кивалъ головой, и на прямыя обращенія Рынина отвѣчалъ чрезвычайно кратко, но не мѣняя своей полусерьезной мины и безъ всякаго подлаживанья.

Это не укрылось отъ Рынина и скорѣе понравилось ему. Всѣ четверо стояли посреди гостинной и разговаривали вполголоса; но никто изъ нихъ не былъ стѣсненъ. И Рынинъ видѣлъ, что не только Теняшевъ, но и докторъ, и Блэзо держатся совсѣмъ не такъ, какъ держали бы себя въ настоящемъ высокопоставленномъ салонѣ, передъ выходомъ хозяйки.

Ему и сегодня, на „государевой“ дачѣ, хотѣлось уже осадить Зину Ногайцеву и по этой части: показать ей, на первый разъ, хоть въ видѣ намековъ, что ни на нее, ни на ея кузину не смотреть такъ, какъ бы ей, вѣроятно, хотѣлось. „Школа“ въ нихъ есть, какъ есть она въ актрисахъ, модисткахъ, наѣздницахъ, танцовщицахъ—для наружныхъ приемовъ, а настоящаго барства все-таки нѣтъ, и этому Зину не научила даже и ея „бонапартистка“; у той оно въ крови.

Онъ оглядѣлъ гостиную и потомъ опять обвелъ взглядомъ своихъ собесѣдниковъ, и въ немъ самомъ поднялось чувство увѣренности, что онъ только и есть—настоящаго тона гость для такой гостинной. Пускай эта самая Зина считаетъ его конюхомъ и „malappris“, послѣ ихъ сего-

дняшняго разговора. Самый, по-своему, порядочный человекъ былъ, все-таки, по его одѣвкѣ, французъ. Передъ тѣмъ, что онъ про него уже слышалъ, Рынинъ со-всѣмъ не преклонялся, но чуждъ въ немъ натуру, сродни своей...

Францію онъ считалъ почти-что погибшей страной, а французовъ — „прожглой“ націей. Не однѣ московскія передовыя статьи повліяли на него. Онъ ненавидѣлъ нѣмцевъ, но презиралъ еще болѣе „французишекъ“ за то, что они дали себя побить и, навѣрное, будутъ, по его мнѣнію, и въ другой разъ побиты, если вздумаютъ мечтать о „реваншѣ“. Во Франціи онъ жила, вхожъ былъ, одно время, въ официальныя сферы — и военныя, и штатскія, и въ частныя политическія кружки.

„Людишки, а не люди“, — повторялъ онъ часто, и былъ убѣжденъ, что Франціей овладѣла „дѣвка“, „la fille“, что „наскудствомъ“ пропахли тамъ рѣшительно всѣ. Онъ не любилъ „французить“ ни въ полку, ни въ свѣтѣ.

Дверь изъ передней полуоткрылась; грумъ, одѣтый такъ же, какъ и лакей, только въ короткомъ камзолѣ, вмѣсто фрака, выговорилъ съ акцентомъ и очень громко:

— Madame la comtesse, monsieur le comte Ogigoff.

Всѣ мужчины обернулись. Первой вошла жена, уже отвѣтающая, крупная женщина, съ несвѣжимъ цвѣтомъ лица, въ красномъ платьѣ, по другого цвѣта, чѣмъ то, какое было днемъ на Сосѣ, въ шляпкѣ, — что Рынинъ сейчасъ отмѣтилъ. За ней, немного вирипрыжку, — забѣгая сбоку, — показался мужъ съ узко-разрѣзанными глазами и плоскими свѣтлорусыми волосами, жидкими и прилизанными. На всемъ его лицѣ лежалъ жирный глянecъ. Онъ былъ во фракѣ и даже въ бѣломъ галстукѣ. Усы его торчали въ нитку и подъ выдавшеюся нижней губой сидѣла борода.

Ожиговъ узналъ Рынина и далъ ему „шекэндс“, покачнувшись на-бокъ, съ широко-раскрытымъ ртомъ и короткимъ смѣхомъ...

„Все такой же болванъ“, — выбранился про себя Рынинъ, и сейчасъ же былъ представленъ графинѣ. Онъ ее встрѣчалъ когда-то, и напомнилъ ей объ этомъ.

— Онъ не готовъ!.. Разумѣется! — сказала она лѣниво, низкимъ голосомъ, и пошла, переваливаясь, къ дивану.

Графъ жалъ по очереди руки остальнымъ мужчинамъ и смѣялся короткимъ смѣхомъ.

Манера графини — и говорить, и держать себя — была Рынину давно и отлично известна. Все это сложилось здесь, в Петербургѣ, в Царскомъ, в Павловскѣ, на островахъ, в томъ кутящемъ кружкѣ, гдѣ „Мишка“ еще не такъ давно всѣхъ угощалъ и задавалъ пиры в загородныхъ трактирахъ и у себя. Его жена приобрѣла въ этомъ кружкѣ — къ нему принадлежало и нѣсколько другихъ барынь — особый кутильно-актерскій тонъ разговора и всей повадки. Онъ и ихъ называлъ „доморощенными бонапартистками“. Было время, когда три-четыре такія барыни вводили в Петербургъ нравы второй имперіи, ѣздили однѣ, безъ мужчинъ, кутить в рестораны, слушать цыганъ, держали себя совсѣмъ по-мужски.

Отъ этого времени в Ожиговой осталась, — когда прошла свѣжесть, — привычка ярко одѣваться, полуночники, держа въ себя беккара и говорить по-русски, какъ говорятъ актрисы и старыя танцовщицы, а молодымъ людямъ давать бранныя прозвища, почти всѣхъ называть „лягушками“.

Съ той поры, какъ ея „Мишка“ сошелъ со сцены, она за границей постоянно и со всѣми говорила о немъ и убѣждала его, часто болѣла, кормила у себя русскихъ, отличалась богомольностью и особенную страсть выказывала къ покойникамъ, даже къ обмыванію ихъ, къ похоронамъ и похороннымъ хлопотамъ. Ея мужъ безпрестанно ѣздилъ то в Парижъ, то в Россію, и его репутація неразборчиваго любителя женщинъ не остывала. При женѣ онъ держался мальчикомъ и былъ aux petits soins. Его невѣрностей жена какъ бы не признавала, и между мужчинами, еще не такъ давно, считалась совсѣмъ не строгой.

— Идутъ, идутъ! — вскрикнулъ и вскочилъ Теняшевъ. Онъ уже присѣлъ къ графинѣ и что-то такое началъ ей рассказывать „нецензурное“.

Кузины появились разомъ; впереди Сосѣ — немного то-ропливой походкой, и говорила еще в дверяхъ. Обѣ онѣ были одѣты в разные цвѣта, но по одному рисунку, изъ легкой, мелкими букетами тафты, съ кружевными рубашками корсажей и юбками съ шитьемъ и густыми буффами. В волосахъ — по цвѣтку: у Сосѣ — роза, у Зины — лилія.

„Подъ кадры!“ — замѣтилъ про себя Рынинъ, любившій такія солдатскія сравненія.

Туалеты были дѣйствительно „first-rate“, но Рынинъ прикинулъ обѣихъ кузинъ къ линияющей и грубоватой Ожиговой, и нашелъ, что она, все-таки, русская барыня, хоть и актерскаго тона, а онѣ — двѣ высшаго покроя „пробирь-мамзели“, тѣ, что цѣлый день стоятъ передъ трюмо и на нихъ накидываютъ пальто, юбки, кофточки и *sorties de bal*. Этотъ контрастъ даже особенно рѣзко выяснился передъ нимъ.

— *Bonjour!*—кидала Сосѣ, тряся всѣхъ по очереди за руку, уже вполне на британскій манеръ. — Мы не опоздали... Зизи меня напугала... *Ah, monsieur Blaizot, votre élève me rend la vie bien dure...* *Tobby!* — крикнула она на собачку,—*go one!* Докторъ, у Зизи опять ея мигрень; это несносно; пропишите ей что-нибудь... *Monsieur Ry-nine...* отчего вы не въ бѣломъ... какъ это называется?.. ки... ки...

— Китель,—подсказалъ Теняшевъ.

Сосѣ, не переводя духа, продолжала:

— Графъ, не правда ли, какъ мы васъ отдѣляли въ *lawn-tennis*? А послѣ обѣда надо немножко въ крокетъ...

Она говорила больше по-русски, картаво и напряженно — изъ вниманія къ доктору: Лукашинъ и за границей не выучился, какъ слѣдуетъ, ни одному иностранному языку.

— *Madame est servie!* — объявилъ грумъ, сталъ у дверей и поддерживалъ портьеру.

Сосѣ дала руку графу, Теняшевъ повелъ графиню. Рынинъ подошелъ къ Зинѣ.

Она поклонилась ему, когда входила, вѣжливо, но очень сухо, и теперь просунула лѣвую руку, а правой поправила на ходу цвѣтокъ, что онъ счелъ явнымъ признакомъ невниманія.

— Иванъ Альфонсовичъ, вашу руку!

Лукашинъ повелъ француза и что-то ему шепнулъ на ухо.

Влэзо выговорилъ только:

— *Dame!*

Столовая была отдѣлана въ стилѣ *Louis XIII*, съ дубовой обшивкой, металлическими блюдами по стѣнамъ, съ обоями изъ *cuir geroussé*. Два старинныхъ портрета голландскихъ мастеровъ, въ черныхъ рамахъ, глядѣли съ двухъ противоположныхъ стѣнъ. Каминъ темнаго мрамора заставлялъ экранъ въ старомъ нѣмецкомъ вкусѣ.

Высокіе поставцы и полки пестрѣли майоликой и фарфоромъ. Серебряныхъ вещей почти не было видно. Цвѣтныя стекла пропускали въ столовую двойственный свѣтъ, но на дворѣ солнце стояло еще высоко.

Дворецкій Егоръ, бывший курьеръ, ѣздившій много за границу, всталъ у входа около одного изъ рѣзныхъ поставцовъ, въ бѣломъ жилетѣ, съ брюшкомъ и чистенькой лысиной, въ черномъ фракѣ, но въ чулкахъ и башмакахъ.

Закуски не сервировались на отдѣльномъ столѣ или буфетѣ — Сосѣ находила это „*rag trop traktir*“ — и ихъ подавали по-иностранному: послѣ супа. Но Теняшевъ пользовался привилегіей рюмки водки передъ супомъ и кусочка селедки.

На этотъ разъ Сосѣ обратилась, садясь, къ мужчинамъ:

— Графъ не пьетъ, Лукашинъ—также, *monsieur Blai-zot*... также.

— Но я пью, — замѣтилъ о себѣ Рынинъ, нарочно, хотя совсѣмъ не имѣлъ этой привычки.

— Нашего полку прибыло! — крикнулъ Теняшевъ, и указалъ на него рукой дворецкому съ шутиливой миной.

Всѣ разсмѣялись, кромѣ Зинаиды Мартыновны. Она сѣла аккуратно, накрыла салфеткой колѣни, оправила городокъ на лбу, немного придвинула къ себѣ солонку, отрѣзала корочку и густо посыпала ее солью.

У нея начинался припадокъ невралгіи въ правомъ ухѣ и вискѣ.

V.

Обѣдъ открыла ботвинья—на шампанскомъ; Теняшевъ обратилъ на это вниманіе всѣхъ. Графъ разсмѣялся и что-то сказалъ, наклонившись близко къ Сосѣ. Сидѣлъ онъ вправо отъ нея, за нимъ—Теняшевъ, подлѣ него Ожигова, потомъ Лукашинъ. Зина помѣщалась между Рынинъ и Блэзо.

Съ первыхъ глотковъ Рынинъ уже слѣдилъ за ней. Его занимало, какъ она будетъ ѣсть, и не откроетъ ли опъ въ типѣ ея лица, въ чемъ-нибудь неуловимомъ, того, что для него будетъ не бесполезно принять къ свѣдѣнію? Въ високъ ей уже сильно кололо и грозило перейти и во всю правую половину черепа, но она ѣла старательно и при этомъ чуть замѣтно посапывала — отъ привычки

дышать ноздрями. Это не ускользнуло от Рынина: онъ не сдержалъ даже мимолетней усмѣшки. Ему казалось, что въ томъ, какъ Зина ѣсть, — молча, сосредоточенно, точно выполняетъ обрядъ, — было что-то простонародное, мѣщанское. И ея профиль съ городками изъ волосъ на лбу отдавалъ для него русскимъ кордебалетомъ. Въ ней онъ рѣшительно находилъ родовое сходство съ разными Марѳеями, Онечками, Липочками, Марьями Николаевнами и Надеждами Вассиановнами, какихъ знавалъ, когда поступилъ въ полкъ вольноопредѣляющимся.

Она, повидимому, вполне освободила себя отъ обязанности занимать его. Ему это было даже пріятно.

„Позлись, голубушка, — думалъ онъ, когда глоталъ ботвинью, — отъ этого у меня не убудетъ, а у тебя ничего не прибудетъ“.

Съ Блэзо она обмѣнялась двумя фразами очень тихо и поглядѣла на Теняшева, когда тотъ кивнулъ на нее и перекинулъ ей какую-то глупость черезъ столъ, продолжая „врать“ съ Ожиговой.

Сервизъ шелъ своимъ чередомъ, въ образцовомъ порядкѣ. Дворецкій Егоръ подавалъ вина уже налитыми въ большія и малыя рюмки; взрослый англичанинъ обновилъ блюда, а грумъ перемѣнялъ тарелки. Меню — наполовину изъ русскихъ, довольно тяжелыхъ, но прекрасно приготовленныхъ, кушаній — показывало, что обѣ кузины смотрятъ на ѣду, какъ на очень серьезное дѣло. О кушаньяхъ и шелъ почти весь разговоръ; онъ оживился въ особенности, когда подали фаршированные бѣлыми грибами помидоры.

Зина отвѣдала сначала съ кончика вилки и одобрительно кивнула головой, потомъ глазами, съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ:

— C'est exquis!

Всѣ стали хвалить; графъ попросилъ еще; попросила и Зина; она ѣдой боролась обыкновенно съ приступами мигрени, и увѣряла, что ей часто это удается.

— Вы не подражаете нашимъ барышнямъ, — сказала, наконецъ, Рынинъ безъ усмѣшки. — На обѣдъ смотрите основательно.

— А вы? — спросила она безстрастно и провела по немъ сухой взглядъ.

— Я долженъ ѣсть мясо, но не люблю его; вкусы у меня самые мужицкіе: щи, каша, огурцы.

— Par genre ou par conviction? — окликнула его Сосѡ, и продолжала разговоръ съ сосѣдомъ по лѣвую руку.

Блэзо опять заговорилъ съ Зиной, и она наклонила къ нему голову довольно внимательно. Рынинъ схватывалъ ея фразы. На какой-то вопросъ француза, — онъ не могъ разслыхать, какой, — Зина выговорила, между двумя кусками, основательно разжеванными:

— J'aime à être plutôt assise que debout, plutôt couchée qu'assise. Vous savez, que je suis dolente...

Первую половину фразы Рынинъ слыхалъ уже давно, и ему захотѣлось сказать своей сосѣдкѣ, что она пускаетъ въ ходъ чужія „mots“, но онъ воздержался и подумалъ:

„Иначе не можетъ быть: все чужое, какъ ихъ обезьянство туалета, сервировки, тона, англоманіи, всего“...

И чѣмъ дольше онъ сидѣлъ за этимъ длиннымъ обѣдомъ, съ четырьмя отдѣленіями, съ семью сортами винъ и тонкостями сервировки, онъ все больше убѣждался въ томъ, что бывшіе тутъ русскіе, считая и хозяйку, принадлежать къ сборному, въ сущности, мало порядочному обществу, съ которымъ ни бороться, ни считаться, ни даже разсчитывать въ чемъ-нибудь — для него, Рынина, серьезно — нечего. Одна только вотъ эта дѣвица съ восковымъ лицомъ, городками на лбу и бѣлой лиліей въ глянцевитыхъ волосахъ, стоитъ, быть-можетъ, чтобы ею занялись.

Щеки Зины — къ жареному — стали розовѣть. Рынинъ отмѣчалъ, что она не отказывалась ни отъ какого вина: ни отъ мадеры, ни отъ лафита, ни отъ шато-икэма. Это ему напомнило два-три большихъ званныхъ обѣда, въ Англіи, въ городѣ и въ Ричмондѣ, гдѣ его сажали между молодыми дѣвушками, и онѣ также пробовали отъ каждого вина, а къ концу обѣда дѣлались гораздо разговорчивѣе.

Подали маседуанъ изъ тѣхъ „сверхъестественныхъ“ фруктовъ, — такъ называлъ ихъ Теняшевъ, — за которыми Сосѡ ѣздила передъ обѣдомъ.

Сосѡ, красная, почти пылающая, попала на свою тему и говорила быстро-быстро, громко, картаво и увѣренно, почти сердито, что жизнь есть одна — въ замкѣ, въ Англіи и Шотландіи, весь годъ, кромѣ конца „season“. Гонять лисицъ „chasse-à-course“, стрѣлять, дѣлать экскурсію въ горы, ѣздить на яхтѣ, зимой устраивать праздники въ

зámкѣ, и чтобы все это было широко, по-барски. Какое же сравненіе съ глупой жизнью въ Парижѣ, гдѣ всѣ топчутся въ нѣсколькихъ комнатахъ, и непременно *blague*, и „всякія гадости“, и сплетни, и духота въ театрахъ, и всѣ другъ друга ненавидятъ... „*et des journaux pornographiques*“!

И пошла, и пошла...

Ее остановилъ графъ вопросомъ:

— Хорошъ Парижъ?

А Теняшевъ крикнулъ, подражая раешнику:

— Приѣдешь—угоришь!

Противъ Парижа Сосѵ говорила еще минутъ десять, и такъ порывисто и связно, что не было никому никакой возможности вставить хотя одно слово. Зину не смущалъ этотъ потокъ; она слышала все это уже много разъ.

— Вы согласны съ кузиной вашей?—спросилъ ее Рынинъ.

— Почти.

А Сосѵ обратилась даже къ поддержкѣ Блэзо и потребовала, чтобы онъ согласился, до чего Парижъ — „*une horrible bastringue*“.

Онъ снисходительно улыбнулся и кивнулъ головой.

— Мы,—продолжала все такъ же пылко Сосѵ, и указала энергическимъ жестомъ на Зину,—мы съ Zizi воспитались на любви къ Англіи, это нашъ языкъ, мы любимъ только англійскія книги, мы думаемъ на этомъ языкѣ. И моя мечта — жить тамъ всегда, всегда, и эту мечту я лелѣю.

Она даже придавила своимъ круглымъ кулачкомъ ска-терть.

— Прикажете заплѣтъ „*God save the queen*“?—спросилъ Теняшевъ, и поднялся со стаканомъ.

— Вы все глупости! — Сосѵ почти разсердилась. — Я серьезно, я очень серьезно говорю...

— И убѣждены, — остановилъ ее Рынинъ, сначала шутливо, — что въ васъ сидитъ настоящая британская женщина?

Зина подумала: „она у меня и „ког’генная“, „столбовая“, когда ей захочется, чтобы ее считали „стаг’гой г’гусской „фамиліи“.“

— Не съ молокомъ ли матери,—все еще шутливо продолжалъ Рынинъ,—вы выбрали это? Матушка ваша была русская дворянка...

— C'est égal, mais tous nos principes...

— Полноте!—выговорилъ Рынинъ и выпрямился.

Зина поглядѣла на него.

— Полноте,—повторилъ онъ,—ничего въ васъ англійскаго нѣтъ, настоящего, чѣмъ держится Англія...

— Vous me donnez un démenti, monsieur Rynine?

— Oui, madame, je vous le donne, — отвѣтилъ онъ, и еще разъ повторилъ, что ничего онъ настоящего, серьезно-англійскаго не видитъ въ ней, да и въ кузинѣ тоже. Воспитаны онѣ русской барыней, хоть и за границей, и ни на кого, кромѣ какъ на самихъ себя, не похожи.

— Это вѣрно,—подтвердилъ Теняшевъ.

— C'est ça!—откликнулся и графъ.

Графиня обратилась къ Сосѣ со словами:

— Чтѣ, ударъ-то не дуренъ?

Незамѣтно подали десертъ. Рынинъ перешелъ къ Англіи и перебралъ разные, чисто британскія стороны жизни и нравовъ; не забылъ сап'а, ханжества, спѣси и тайной слабости англичанокъ къ графинчику съ коньякомъ или хересомъ.

Все это было не ново, но мужчины смѣялись; даже Влѣзо повторялъ: „с'est ça, с'est ça!“, а докторъ не вытерпѣлъ,—пустилъ фразу Расплюева о „просвѣщенныхъ мореплавателяхъ“.

— Молодецъ!—одобрила Рынина Ожигова возгласомъ полковой командирши.

— Il n'y a que Paris!—крикнулъ ея мужъ французу

Теняшевъ всталъ со стаканомъ и провозгласилъ:

— За здоровье побѣжденной и побѣдителя!

Сосѣ не захотѣла пить и всѣмъ кинула фразу:

— Vous n'y êtes pas!.. Il faut être né pour cela!

Зина поглядѣла на нее довольно строго. Пробивающійся румянецъ красилъ ее. Глаза блестѣли. Рынинъ подумалъ:

„Должно-быть, голубушка, ты изъ англійскихъ-то обычаевъ придержишься слабости къ напиткамъ“.—И представилъ кавалерійскимъ терминомъ: — „Вотъ онъ — *феллер*-то“.

Если бъ онъ чувствовалъ себя позлѣе, онъ кончилъ бы тѣмъ, что сталъ бы жестоко вышучивать Сосѣ и довелъ бы ее до слезъ. Новый „стиль“ этого дома былъ передъ нимъ уже на ладонѣ. Больше ему не нужно было ничего обглядывать.

Разговоръ, однако, не прекратился и перешелъ въ споръ, который покрывали несмолкаемыя рѣчи Софьи Германовны.

Сигналь вставать подала не хозяйка, а Зина, и повела мужчинъ въ курильню, небольшую комнату налѣво, обставленную старинной рѣзной мебелью, съ широкимъ, какъ двѣ кровати, диваномъ. Сейчасъ принесли туда кофе съ пятью сортами ликеровъ. Ожигова закурила; Сосѣ пила сельтерскую воду; Зина присѣла къ столу и стала каждому мужчинѣ, поочередно, предлагать ликеръ, а себѣ налила рюмочку виски. И Рынина она спросила дѣловымъ тономъ, точно это было весьма важное дѣло:

— Vous proposeraï-je de la fine?..

Она даже не прибавила: „champagne“.

Такой тонъ, по части ликеровъ, шелъ къ ней, дополняя для него фizioномію этой дѣвушки. Точно будто она совершала во всемъ какой-то обрядъ: такъ одѣвалась, такъ обѣдала, такъ угощала ликерами и водками и сама отъ нихъ не отказывалась. Ея лицо говорило ему:

„Всѣ вы мнѣ одинаково не нужны и не интересны; но вы—случайность программы дня въ томъ домѣ, гдѣ я живу, гдѣ на мнѣ не лежитъ обуза хозяйки, но гдѣ я привыкла получать весь необходимый для меня комфортъ“.

Послѣ виски Зина проглотила чашку кофе залпомъ и сдѣлала замѣтное движеніе языкомъ. Все это было ей вкусно, и она не скрывала своего чувственного удовольствія.

— Ваша голова прошла?—спросилъ ее Рынинъ и подселъ къ ней поближе, въ позѣ стараго знакомаго.

— А вы какъ знаете, что у меня болѣла голова?

— Догадался. Вы, кажется, лѣчитесь ѣдой и напитками?

— Вы угадали.

Она была съ нимъ поласковѣе, но въ ея меньшей сухости участвовалъ обѣдъ и кофе съ ликерами; онъ ни минуты не обманывался на этотъ счетъ. Ему все-таки хотѣлось поговорить съ ней иначе, сказать, что имъ не пристало смотрѣть другъ на друга „comme deux chats de faïence“.

Но подошелъ Теняшевъ и началъ говорить вздоръ съ намеками, которыхъ Рынинъ не понималъ. Онъ видѣлъ только, что съ Зиной ея пріятель обходится совсѣмъ уже

не какъ съ дѣвушкой, и что ей можно все рассказывать, позволять себѣ шуточки весьма легкаго содержанія.

„Что же я-то, душень, церемонюсь?“—выбралъ онъ себя, и собрался было сейчасъ же показать ей это, да Сосѡ пригласила его въ садъ устроить крокетъ.

— Смилюйтесь!—крикнулъ ей Теняшевъ.—Сейчасъ послѣ всѣхъ яствъ и питій!

— Да, да, сейчасъ! Графъ, вы не пойдете съ нами?

— Позвольте докурить.

— Курите...

Курила и графиня и совѣтъ лежала на низкомъ и широчайшемъ восточномъ диванѣ. Она была сегодня не въ ударѣ. Ей сильно нездоровилось, да и ничего не выходило такъ, какъ она рассчитывала для ея „Миши“.

Сосѡ послала въ садъ и доктора съ Блэзо. Они повиновались безъ всякаго протеста, и были уже внизу, когда хозяйка дома только еще вышла съ Рынинымъ на балконъ.

— Вы злой, — заговорила Сосѡ, — и ваши идеи... *c'est bien porté!*.. теперь я знаю; но я не согласна, — рѣшительно произнесла она.

— А, небось, не станете увѣрять, — возразилъ онъ уже совѣтъ фамиллярно, — что не правда насчетъ англійскихъ правовъ — пристрастіе къ крѣпительнымъ напиткамъ у женскаго пола? А?

Онъ стоялъ надъ ней наклонившись и смотрѣлъ съ высоты своего роста, точно на собачку, — курчавую, раздушенную и шуструю болонку.

— Са... *c'est vrai*, — созналась Сосѡ, и даже остановилась. Она уже спустила было ногу съ первой ступеньки лѣстницы. — Что жъ!.. я скажу, что вотъ и у Зизи уже есть эта... англійская привычка.

— Ah, bah! — шутливо изумился Рынинъ.

— Да, ей нужно три раза въ день... *des liqueurs fortes*... Она увѣрять, что безъ этого... она не проживетъ... *Elle souffre d'anémie et des migraines atroces*...

— И что же... Зинаида Мартыновна аккуратно, въ извѣстные часы, принимаетъ... это лѣкарство?

Рынинъ продолжалъ иронически, а Сосѡ говорила все съ той же серьезной возбужденностью.

Она тихонько сходила въ садъ, гдѣ докторъ съ Блэзо уже начали устраивать крокетъ.

— Да, — говорила Сосѡ, точно она рассказываетъ про

то, какой порядокъ заведенъ у нихъ насчетъ ѣды,—послѣ завтрака она выпиваетъ виски...

— И послѣ обѣда,—подсказалъ Рынинъ.

— И послѣ обѣда... А ночью, въ постель, ей надо brandy.

— Коньячку, значить?

Онъ сдѣлалъ вопросъ трактирнымъ звукомъ, но Сосѣ не замѣтила.

— Да, грогъ... съ теплой водой...

— Ну, совершенно по-англійски, по всѣмъ правиламъ.

— Puisque cela lui fait du bien!

— Только,—продолжалъ шутить Рынинъ,—вы, кажется, вѣдь совсѣмъ собираетесь переселяться въ Англію?

— Непремѣнно.

— Когда же это?

— Послѣ.—Она немного остановилась.—Après mon divorce...

— Такъ Зинаида-то Мартыновна какъ бы тамъ, въ туманномъ Альбионѣ, не усилила бы своей порціи?

— Espérons qu'il n'en sera rien,—все такъ же серьезно отвѣтила Сосѣ.

— Вы что же:—вдвоемъ или втроемъ?

— Comment l'entendez-vous?

— Съ мужемъ... или съ другомъ?

Она не покраснѣла,—Сосѣ и безъ того была очень красна,—а только снова остановилась на дорожкѣ, передъ газономъ, гдѣ мужчины вколачивали дуги для крокета.

— Vous savez, —заговорила Сосѣ, еще скорѣе, точно вѣтверженный урокъ,—moi, je suis pour l'amour libre...

— Оно и удобнѣе.

Рынинъ уже не считалъ нужнымъ стѣсняться.

— Oui, absolument libre!

Она переимѣнила почему-то французскій языкъ на русскій, отвела Рынина къ кусту, за уголъ, и продолжала:

— Такъ гораздо лучше, болѣе... честно, чѣмъ когда мужъ и жена... постоленно нѣжности... вотъ какъ Ожиговы, напримѣръ. Я имъ это въ глаза говорю... „Миша... Миша!“—она передразнила манеру графини,—и невѣрности à perte de vue... Я разошлась съ мужемъ,—вы вѣдь это знаете,—я его не обманывала. Онъ согласенъ на разводъ...

— А потомъ, поди, сейчасъ и опять выскочите за кого-нибудь?..

— Такъ нужно... J'accepte l'usage, mais je suis pour l'amour libre!.. Allons!.. Ахъ, онъ совсѣмъ не такъ... Лукашинъ!.. Monsieur Blaisot! Вы Богъ знаетъ что дѣлаете... Рынинъ, позовите остальныхъ, тамъ... въ fumerie...

Ему не очень понравилось, что Сосѣ назвала его просто „Рынинъ“.

Онъ этимъ воспользовался и полушутя кинулъ ей, поднимаясь на террасу.

— Меня зовутъ Парменій Никитичъ.

— Какъ?

— Парменій Никитичъ. Вы вѣдь знаете.

— C'est trop compliqué!.. и похоже на пармезанъ... Ха-ха-ха!

Сосѣ убѣжала. Рынинъ съѣжился и зашагалъ по лѣстницѣ черезъ двѣ ступеньки.

Онъ нашелъ Зину на диванѣ, подлѣ Ожиговой; около нея, на полу, сидѣлъ Теняшевъ, а графъ развалился на валькѣ дивана и положилъ голову на широкое ребро подушки.

Всѣ смѣялись, когда Рынинъ вошелъ. Онъ пригласилъ ихъ въ садъ.

— Мучительница, Софья Германовна!—крикнулъ Теняшевъ.—Барынямъ не хочется...

— Я пойду,—отозвалась Зина.

Во всякихъ играхъ—хоть ей совсѣмъ было не до крокета, голова все еще болѣла—она считала обязательнымъ участвовать: это входило въ „стиль“ избранной ею жизни.

— А тѣ „лягушки“ тамъ?—лѣнливо спросила Ожигова.

— Какія?—переспросилъ Рынинъ.

— Докторъ и тотъ... санкюотъ? Зачѣмъ Сосѣ пригласила ихъ?—обратилась она къ Зинѣ и Теняшеву.

— Для счету,—отвѣтилъ тотъ и сgrimасничалъ.

— C'est ça,—подтвердила Зина и преспокойно зѣвнула.

— Покойной ночи!—сказалъ ей Рынинъ.

— Это заразительно!—вскричалъ Теняшевъ и всталъ на ноги.—Дѣлать нечего:—мать-командирша приказала.

— Миша!.. подними, я одна не встану!..

Мужъ и жена никакой охоты не имѣли играть въ крокетъ; но они ухаживали за Сосѣ: вѣроятно, хотѣли произвести у нея перехватку денегъ до осени; на-дняхъ они собирались въ деревню; здѣсь имъ больше нечего было дѣлать; они убѣждали „не солоно хлебавши“, какъ выра-

жался даже незлобивый докторъ. Всѣ поплелись въ садъ. Зину и Ожигову повелъ графъ и заставилъ ихъ сѣжать по лѣстницѣ съ взвизгиваньемъ.

Тенияшевъ взялъ Рынина подъ руку и задержалъ его на террасѣ.

Онъ поглядѣлъ на него такими глазами, точно хотѣлъ ему сказать:

„Ну, теперь, баринъ, вы нашихъ барынь разглядѣли. Каковы „статьи“—то у Зины?“

Рынинъ позволилъ даже взять себя за талию, и когда спустился въ цвѣтникъ, то прошелся съ Тенияшевымъ въ сторонѣ, по дорожкѣ, за кусты, мимо давно отцвѣтшей сирени.

Кто-то ихъ окликнулъ; Тенияшевъ крикнулъ въ отвѣтъ: — Сейчас!

И они углубились въ липовую аллею, вдоль забора, очень тѣнистую, усыпанную краснымъ пескомъ.

Рука Тенияшева все еще держала офицера за длинную талию.

Безъ всякихъ подходовъ со стороны Рынина, онъ самъ завелъ разговоръ объ обѣихъ кузинахъ.

— Знаете, въ „Периколѣ“, кажется, есть кабачокъ „zu drei Kusinen“... я въ Вѣнѣ видѣлъ... а у насъ...

— Тоже кабачокъ?

— Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать... Зачѣмъ обижать ихъ! Онъ добрейшія... особенно Софья Германовна... да и Зина... только вѣдь напускаетъ на себя это какое-то истуканство... въ иностранномъ вкусѣ. Надо знать всю ея исторію.

И точно Рынинъ просилъ его объ этой „исторіи“, Тенияшевъ рассказалъ ему все—и во второй разъ,—про отца, про мать, про узаконеніе, про наслѣдство и про то, какъ теперь вотъ Зина находится въ смущеніи: Софья Германовна тащитъ ее въ Москву, а она никогда своей матери не знала, да не вѣрится Тенияшеву, чтобы и тотъ, „Мартынъ-то многогрѣшный“—онъ такъ звалъ Ногайцева—пришелъ въ себя какъ слѣдуетъ. А упираться ей все-таки не пристало:—вѣдь „какъ ни какъ“—двѣсти тысячъ записалъ. Да тутъ еще—„всякія лихія болѣсти“, отъ которыхъ „самое бы вѣрное средство—замужство, а она и слушать не хочетъ!“

О Зинѣ Тенияшевъ говорилъ съ замѣтнымъ и безкорыстнымъ участіемъ, хотъ и выдавалъ ее безъ всякой надобности чужому человѣку.



Такъ же точно, отъ себя и по собственной охотѣ, сталъ онъ почти жаловаться на Сосѵ.

— Этакое положеніе... пятьдесятъ тысячъ дохода... за границей вилла — полная чапа, должна бы угодниковъ славить за то, что мы ее распутаемъ съ мужемъ — пятнадцать тысячъ это будетъ стоить, да-съ! — и что же: за стриккулиста какого-то сейчасъ же выходить, какъ только утвердятъ разводъ.

— Кто же онъ? — полюбоществовалъ, однако, Рынинъ.

— Да, по-нынѣшнему выражаясь, *растакуръ* какой-то! — знаете, нынче такое званіе въ Парижѣ выдумали. Не то англичанинъ, не то голландецъ, не то швейцарецъ... Неизвѣстно какого званія. Ноги какъ у журавля. Вотъ, видите ли, у него двадцать паръ исподняго платья и столько же гарусныхъ жилетокъ! Ахъ, бабье, бабье!

Теняшевъ даже вздохнулъ и выговорилъ: — „Что дѣлать, что дѣлать!“ — съ нотой сокрушенія.

Послѣ этого онъ круто перемѣнилъ разговоръ и спросилъ Рынина:

— Вы, я думаю, тяготитесь строевой службой?

Рынинъ только пожалъ плечами.

— Что дѣлать, что дѣлать! — повторилъ Теняшевъ той же нотой. — Вотъ и меня пошлютъ аих diables, аих petits coulikis!.. Это я такъ русскую поговорку перевелъ. Я буду тамъ чуть не на Мадагаскарѣ, а супружница моя — то-есть эксъ-супружница — изволить свою фотографію на всѣхъ водахъ выставлать... вмѣстѣ съ опереточными королевами... и съ professional beauties. А вѣдь мнѣ ее жалко! — выговорилъ онъ, заглянувъ Рынину въ глаза, и тряхнулъ на особый ладъ головой. — Ей-Богу, жалко!

„А вотъ тебя, мой милый, ни чуточку не жалко“, — отвѣтилъ мысленно Рынинъ.

Теняшевъ даже задумался-было, по острый, пронзительный окликъ Софьи Германовны вывелъ его изъ грустнаго настроенія.

Надо было идти играть въ крокетъ.

— У этихъ дамъ, — сказалъ по дорогѣ Рынинъ, — игры и уходятъ за тѣломъ — въ родѣ какой-то религіи... Это совсѣмъ новая черта.

— Истину глаголете! Тамъ, въ Европѣ-то, изъ обезьянства англичанамъ и англичанкамъ, просто всѣ въ какихъ-то эквилибристовъ и жонглеровъ обратились. Весь день въ фуфайкахъ, съ голыми руками, въ шапочкахъ, — знаете, та-

кими кружечками?—въ трико и въ башмакахъ: настоящіе жонглеры. Вы, навѣрное, читали: въ Парижѣ-то, циркъ устроили себѣ!.. Самые, что ни на есть, отчаянные гоп-теих, и двое никакъ наѣздниками, въ юбочкахъ, стоя на лошадяхъ, разныя пѣ выдѣлывали. Я ужъ нашимъ-то барышнямъ и говорю: не лучше ли бы имъ въ циркъ поступить прямо? Зина-то вѣдь какъ больна бываетъ, а чтобы когда-нибудь отказаться отъ игры, охоты, скачки — ни Боже мой! Умреть на мѣстѣ, а не откажется!

Игра уже началась. Сосѣ сама ихъ размѣстила и сдѣлала выговоръ. Для нея это дѣйствительно было дѣло. И докторъ, и Блэзо играли довольно неуклюже, слушались ея и очень старались. Лукашинъ находилъ, что такаа игра, послѣ обѣда съ разными „финзербами“, очень полезна. Онъ никогда не возставалъ на спортсменскія наклонности Софьи Германовны, и Зинѣ частенько говорилъ за границей, что ей всякая такая штука полезна, кромя верховой ѣзды вскачь и на сильныхъ рысяхъ; а она и не признавала никакой другой ѣзды, какъ вскачь, за лисицей, позади стаи англійскихъ гончихъ.

Ожиговы играли вило и только изъ угожденія хозяйкѣ. Рынинъ принялся за дѣло старательно и стоялъ около Зины; у нея лицо опять было блѣдно-желтоватое, а глаза ушли въ землистые круги. Она замѣтно похудѣла въ лицѣ, въ одинъ день. Онъ невольно заглядѣлся на нее. Въ своемъ, нѣжныхъ цвѣтовъ, платьѣ, съ извилистой линіей таліи и спины и красивымъ наклономъ головы — съ его стороны была воткнута и бѣлая лилія—она облокотилась о палку и смотрѣла вдаль, точно не замѣчая даже его присутствія.

Внутреннее чувство подсказало ему: „нѣтъ, ты ее еще не осадилъ; ты для нея еще не существуешь; она не поддается тебѣ ни въ чемъ; ты для нея—ни герой, ни женихъ, ни другъ, ни руководитель“.

Онъ былъ слишкомъ уменъ и строгъ къ себѣ, чтобы не сознаться во всемъ этомъ. И она ему правилась, какая бы она ни была: порочная, пустая, чванная, глупая, съ привычкой къ виски, со смѣшной, въ его глазахъ, „религіей“ моднаго обезьянства, дочь „ерыги“ и какой-то корифейки... навѣрное изъ мѣщанокъ. *Тихихъ* онъ все-таки не встрѣчалъ ни въ Петербургѣ, ни за границей. Одна, владѣетъ собой — на рѣдкость, какъ къ ней ни придирайся, все-таки же съ блестящимъ свѣтскимъ воспитан-

ніемъ, съ прекрасными *своими* средствами... Гдѣ же такія невѣсты? Да и вообще „стоющія“ женщины?..

Рынинъ такъ задумался, что Сосѣ окликнула его и чуть не лишила его очереди.

„Глухо будетъ ничего ей не сказать“, — укоризненно подумалъ онъ и, приблизившись къ Зинѣ, выговорилъ почти вполголоса:

— Mademoiselle Zina... вы вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, съ огромной выдержкой... Я вижу, что вы еле на ногахъ стоите, а все такъ же вѣрны спорту...

Онъ задумалъ это сказать довольно искренно, а вышло у него въ нехорошемъ, вызывающемъ тонѣ.

Зина обернулась къ нему въ полголовы и твердо, мужскимъ звукомъ, отиѣтила ему:

— Вамъ играть!

Онъ закусилъ губу и до конца партіи не проронилъ ни слова.

Сосѣ хотѣла было и вторую, да Ожиговы торопились на музыку. Дамы разомъ засуетились—оправить туалетъ; Теняшевъ и графъ были ихъ кавалерами; Рынинъ извинился: онъ долженъ былъ ѣхать въ Красное. Для доктора и Блэзо въ бракъ не было мѣста, и они пошли подъ руку.

Сосѣ простилась съ Рынинымъ по-пріятельски и сказала ему:

— Ne nous oubliez pas!

Съ Зиной онъ раскланялся молча и даже ждалъ, чтобы она первая подала ему руку. Она это сдѣлала и потрясла ему руку, совершенно такъ же, какъ Лукашину и французу.

Сказать ей что-нибудь на прощанье, что-нибудь злое и мѣткое—онъ не хотѣлъ, можетъ-быть, и не смогъ бы, потому что онъ не на шутку злился.

„Очень нужно!“—повторялъ онъ, шагая по шоссе.

Впереди ему видѣлись докторъ съ Блэзо. Они уже спускались съ горы къ мосту, около гранильной фабрики. Подумалъ было онъ:

„А недурно бы разспросить этого доктора про болѣзнь той недотроги-царевны?“

Но быстрый жестъ правой рукой показалъ, что онъ тотчасъ же отказался отъ такой мысли.

На перекресткѣ, у казармъ, онъ взялъ извозчика и поѣхалъ прямо ко дворцу.

VI.

Два пріятели, которыхъ Рынинъ увидѣлъ на пути въ Нижвій садъ, шли не спѣша. Они были почти одного роста. Лукашинъ держалъ француза подъ руку, на спускѣ придерживалъ его и раза два сказалъ ему:

— Смотрите, Иванъ Альфонсычъ, здѣсь крутенько.

Онъ давно ладила съ Блэзо; въ минуты же особенно-блгодушнаго настроенія переходилъ на „ты“, звалъ его въ шутку „Ива Альфонсычъ“ и даже просто— „Ивушка“. Настоящія имена того были: Ивъ-Феликсъ-Франсуа; но онъ самъ себя придумалъ для русскихъ имя и отчество: Иванъ Альфонсычъ, по отцу.

Вотъ уже болѣе шести лѣтъ, какъ Лукашинъ знакомъ съ Блэзо. Они сошлись за границей, гдѣ Блэзо временно проживалъ, переселившись изъ Швейцаріи, по пути въ Россію. Тогда онъ, одно время, давалъ уроки Зинѣ Погайцевой, а Лукашинъ около десяти лѣтъ безсмѣнно состоитъ домашнимъ врачомъ при отцѣ Софьи Германовны и часто переѣзжаетъ съ нимъ изъ Москвы за границу и обратно.

По-французски Лукашинъ понималъ, но свободно изъясняться не могъ; съ тѣхъ поръ, какъ Блэзо, пробывъ въ Россіи цѣлыхъ пять лѣтъ, сталъ не только прекрасно понимать по-русски, но даже и порядочно говорить, ихъ бесѣды уже не были затруднены. Обыкновенно Лукашинъ говорилъ по-русски, а его пріятель — вообще не словообильный и на своемъ языкѣ — выражалъ по-французски только то, что ему еще не давалось по-русски.

Не по сходству натуръ или взглядовъ сблизились они; сдѣлали это мягкость, безобидность, приличивая доброта Лукашина, казавшаяся французу, на первыхъ порахъ, почти „кретинизмомъ“. Лукашинъ сначала сильно побаивался его, считалъ „кровожаднымъ“ и думалъ, что онъ не мало „душъ загубилъ“ и отправилъ на гильотину. Политикой докторъ, такъ же какъ и литературой, совсѣмъ не занимался, и ему казалось, что „коммуна“ пускала сначала въ ходъ настоящую гильотину, а потомъ пошла уже „скрозь“ разстрѣливать. Когда онъ примѣнился къ Блэзо, то сказалъ ему, еще за границей:

— Иванъ Альфонсычъ, повинись мнѣ, милый чело-вѣкъ: сколько ты душъ загубилъ изъ-за своей проклятой политики?

Тотъ расхохотался—такъ задушевно было это сказано—и далъ Лукашину честное слово, что онъ никого рѣшительно не разстрѣливалъ и не посылалъ на гильотину, которая и не дѣйствовала „въ революціи 18-го марта“, и что никогда онъ тамъ не былъ членомъ коммуны, а „коммунаромъ“ его ославили русскія барыни потому только, что ему, дѣйствительно, нельзя было еще вернуться во Францію и онъ ждалъ амнистіи, въ которую онъ и тогда уже твердо вѣрилъ, а съ паденія министерства „16-го мая“—ждалъ со дня на день.

Но все-таки для Лукашина онъ былъ „великій бунтарь“; вѣдь докторъ слыхалъ же отъ него разсказъ, какъ Блазо шелъ со своимъ „легиономъ“ національной гвардіи въ Hôtel de Ville, и какъ тамъ держали они нѣсколько часовъ въ плѣну главнаго генерала и главнаго министра.

Нѣсколько разъ онъ заставлялъ его показывать, въ какой позѣ генералъ сидѣлъ, привязанный къ стулу.

— Да вѣдь ты какъ есть штафирка,—говорилъ Лукашинъ, ласково оглядывая его,—учителемъ былъ и тамъ, у себя дома, и какимъ же легиономъ могъ ты командовать? Это только у римлянъ были легионы?

Иванъ Альфонсычъ снисходительно улыбался этимъ славянскимъ „наивностямъ“, но, по взгляду его глазъ, по движенію бровей и рта, по всѣмъ линіямъ его сухого, нервнаго тѣла, докторъ смутно чувствовалъ, что такой человекъ можетъ командовать, и его будутъ слушаться, и пойдутъ за нимъ, и самъ онъ не побоится полѣзть на баррикаду.

Только Лукашинъ не могъ понять: какъ это человекъ всю свою жизнь все стремится къ торжеству какой-то тамъ „программы“ и до самой своей смерти не уймется. „Но прочему, — разсуждалъ онъ, — Иванъ Альфонсычъ—человекъ солидный, тихій, аккуратный, что твой почтовый экспедиторъ, честнѣйшій на расплату, да и никогда у пріятеля даже не займетъ пяти рублей; и всѣ пріличія, насчетъ хоть бы визитовъ, строжайше соблюдаетъ. Пять лѣтъ, — шутка сказать, — въ Россіи мѣста хорошія занималъ, и никакого соблазна не поселялъ, а передъ тѣмъ въ Швейцаріи, худо ли, хорошо ли, докторскій дипломъ получилъ; теперь, вотъ, женился по любви и за женой взялъ состояннице, и дѣтки есть... Чего бы, кажется, лучше? Такъ нѣтъ, все его эта „программа“ мучить, и онъ изъ-за политики будетъ умирать, выборы

какіе-то устраивать и афишки печатать, говорить о своей „sainte cause“ съ блескомъ въ глазахъ, а случись что—и опить легіонъ, и пойдетъ какого-нибудь генерала при-
изывать къ стулу“.

Зналъ Лукашинъ и то про своего пріятеля, что кличка „коллективистъ“—ее наши же барыни пустили—тоже къ Ивану Альфонсычу не относится. Влэзо ему объяснялъ, какіе такіе водятся тамъ, въ Парижѣ, „коллективисты“, но самъ онъ къ нимъ не принадлежитъ. Чего ему хочется, для человѣчества вообще и у себя дома, то и Лукашинъ считаетъ „правильнымъ“, и даже иначе и представить себѣ не можетъ, чтобы на свѣтѣ, гдѣ люди „любъ крестятъ“, можно было жить, не попирая правды; но все-таки же дѣлу не поможешь тѣмъ, что генерала къ стулу бечевкой привяжешь или дюжину-другую человѣческихъ душъ загубишь. Не могла незлобивая и недѣлительная натура Лукашина признать такого вѣчнаго напряженія, стойкости принциповъ, силы негодованія, чувства возмездія и страстныхъ потугъ для побѣды надъ тѣмъ, кого считаешь врагами свободы, равенства, прогресса, демократіи.

Всѣ эти слова Лукашинъ признавалъ, считалъ ихъ „хорошими вещами“, и все-таки между нимъ и „Ивой Альфонсычемъ“ лежала пропасть. Тотъ на него не сердился, даже не стыдилъ его, а только спрашивалъ, когда у нихъ бывали такіе разговоры,—какъ же онъ науку-то уважаетъ? Вѣдь и ее надо водворить борьбой, а то обскуранты, изувѣры, гасильники отодвинутъ все назадъ, на тысячу лѣтъ, если ихъ не держать въ страхѣ.

Спорить Лукашинъ былъ не мастеръ; повторялъ только:
— И безъ легіоновъ вашихъ пойдетъ наука... Нашимъ-то отцамъ, сейчасъ, въ тифѣ, руду пускали, отъ блѣдной немочи—учили марену давать, потому что она краснаго цвѣта; а вотъ насъ—стали же учить по-другому, по-настоящему...

Теперь, въ ихъ послѣднее свиданіе, они уже не спорили; все общее было переговорено между ними. Лукашинъ много разъ каялся Ивану Альфонсычу, что его мало что интересуетъ даже и въ „вашемъ хваленомъ Парижѣ“... Въ палату или на сходку какую его не залучить. Книжекъ философскихъ онъ не читаетъ, а романы—только дорогой, да и то больше уголовные... Пойдетъ онъ охотно въ „Ипподромъ“ или въ „Эдель-Театръ“, любить

смотрѣть на разныя „штуки“, только чтобы не очень опасныя для самого „штукаря“... Что жъ дѣлать! Голова у него не такая, а сердце живетъ доставленіемъ душевнаго и тѣлеснаго довольства, хоть какой-нибудь маленькой пріятности всѣмъ тѣмъ, кто около него.

Частенько, бывало, Блэзо говаривалъ ему, что онъ, докторъ Лукашинъ, все-таки долженъ имѣть „демократическія чувства“: вѣдь онъ пролетарій по рожденію; ближе стоитъ къ народу, а онъ мирится съ барствомъ, съ разжившейся „плутократіей“, не возмущается исѣми этими паразитами, которымъ онъ, по доброй волѣ, отдаетъ свой трудъ, находясь у нихъ въ услуженіи. Это допустимо,—надо же на что-нибудь жить,—по не тѣ чувства слѣдуетъ имѣть къ міру враждебному всякимъ рабочимъ вплоть до поденщиковъ умышленнаго труда.

Лукашинъ не особенно защищался, а какъ-то незамѣтно привелъ своего пріятеля къ тому, что большаго съ него и требовать нельзя. Чѣмъ же было бы лучше, если бы онъ „вгонялъ себѣ внутрь“ демократическія чувства?

— Печень разбухнетъ,—говаривалъ онъ,—а ничего и не исправлю. Пойти на казенную службу—тамъ еще гаже: плутовать придется; частной практикой заняться—надо шарлатанить. Старикъ мой—отецъ Софьи Германовны—право, еще ничего: добраго сердца, веселый и въ дочери души не слышитъ. А остальные до меня не касаются.

Но и на „остальныхъ“ Лукашинъ смотрѣлъ всегда точно на дѣтей, которымъ надо сунуть въ руку или въ карманъ курточку леденецъ, винную ягоду, кусочекъ шоколада.

Такъ и тянулось пріятельство этихъ двухъ натуръ. Первая страстность кельта и все растворяющая мягкость лѣниваго славянина кончили тѣмъ, что пришли къ полному ладу въ своихъ отношеніяхъ.

Заря переходила въ свѣтлыя сумерки, когда Лукашинъ съ Блэзо миновали мостикъ, у швейцарскаго сторожеваго домика, и пошли вдоль пруда, по дорожкѣ, около самой воды; засвѣжѣло очень скоро, и въ саду началъ подниматься чуть примѣтный туманъ.

Отъ площадки, гдѣ играло въ этотъ день два хора музыки, передъ памятникомъ Петру, доносились послѣдовательныя, низкія волны духовыхъ инструментовъ. Били всѣ фонтаны, и въ широкихъ бассейнахъ, обставленныхъ съ двухъ сторонъ полукруглыми бесѣдками, по главной

аллеѣ, и всѣ водометы Самсона. Журчаніе, блескъ и брызги воды сливались съ разнообразнымъ гуломъ отъ ѣзды, музыки, голосовъ, конскихъ копытъ въ кавалькадахъ. Дворецъ Марли глядѣлся въ недвижныя воды пруда; зеленые четырехугольники, дорожки, идущія вдоль и поперекъ, своды аллеѣ, желтая краска зданій, просторъ и вмѣстѣ подчиненность, скованность всѣхъ прогулокъ, одинаково, на этотъ разъ, настраивали и Лукашина, и Блэзо.

На музыку они не спѣшили и, не доходя до того мѣста, гдѣ стоятъ золоченыя статуи, сѣли на скамейку. Въ этой части сада было почти безлюдно. Все уже прошло и проѣхало на музыку, толпилось на площади между двумя хорами и расплзлось по садику и террасѣ Монплезира, гдѣ только что потухъ послѣдній оранжевый отблескъ зари.

Лукашинъ радъ былъ тому, что Сосѣ пригласила Блэзо на обѣдъ черезъ него. Онъ любилъ, чтобы Ивану Альфонсичу оказывали уваженіе. Вѣдь всѣ эти барыни побаиваются его. И прекрасно! Но ему хотѣлось поговорить съ Блэзо о Зинѣ. Ему сдавалось, что французъ былъ къ ней когда-то не совсѣмъ равнодушенъ, а потомъ точно махнулъ на нее рукой и справлялся, бывало, про нее точно для очистки совѣсти.

Какъ только они присѣли, Лукашинъ сейчасъ же сообщилъ Блэзо свой разговоръ съ Зиной утромъ, въ Англійскомъ паркѣ; она навѣрное была тронута, хотя и не высказала этого, и поѣдетъ въ Москву.

— Ужъ какъ тебѣ угодно, Иванъ Альфонсичъ, — сказалъ онъ радостно, — исковеркана, — это точно, а все же русская въ ней душа. А исковеркали кѣмъ же и чѣмъ? Все вѣ�й хваленой Европой.

Блэзо не вѣрилъ въ то, что у этой дѣвушки, — „chez cette fille“ — могло явиться „un mouvement spontané“.

— Да ты видѣлъ, въ какомъ она состояніи была за столомъ, Оома невѣрный!

У нея начинался мигрень и съ сосѣдомъ не ладился разговоръ, вотъ и все: Блэзо изучилъ ее достаточно. Для него Зина была крайнимъ примѣромъ того, до какихъ предѣловъ можетъ дойти безпринципное свѣтскаго эгоизма въ русской барынѣ или барышнѣ — все равно: — „elle n'est vierge que formellement“ — рѣшилъ онъ въ скобкахъ: — въ обществѣ безъ всякой національной и политической окраски. Онъ сталъ медленно и въ короткихъ афоризмахъ

развивать ту мысль, что въ Парижѣ, да и нигдѣ въ Европѣ, даже въ Америкѣ — Америка была для Блэзо ненавистнѣе всѣхъ странъ — такая „gompeuse“ не можетъ дойти до подобнаго крайняго извращенія, какъ русская, созданная средой, въ которой выросла и сложилась „cette éssourante Zina!“ — докончилъ онъ, не возвысивъ голоса.

— Да ты, Ивушка, разсуждаешь, какъ наши почвенники. Я хоть и мало газетъ читаю, а знаю, что такіе годятся.

Блэзо на это усмѣхнулся. Лукашину не хотѣлось съ нимъ спорить, особенно сегодня, давно не выдавшись, а ему надо на-дняхъ назадъ въ Москву и опять, быть можетъ, годъ цѣлый, а то и больше, не увидятся. Но что жъ дѣлать? Все-таки въ себѣ онъ чувствовалъ, въ эту минуту, „русака“, да и про Блэзо зналъ, что и тому у насъ совсѣмъ не плохо жилось, что онъ, въ своемъ хваленомъ Парижѣ, частенько скучаетъ по русскимъ пріятелямъ. Это онъ отъ его жены слышалъ самъ.

— Иванъ Альфонсычъ, — Лукашинъ наклонился къ его плечу, — какъ, голубчикъ, ручаться за русскую барышню?!.. хотя (ы вотъ и такую, какъ наша Зинаида Мартыновна... никакъ нельзя!.. Теперь она вся въ фалбалы свои да въ крокетъ ушла... а вдругъ, глядишь... и очутится гдѣ-нибудь... хотя бы въ твоемъ же легіонѣ... Примѣры-то бывали... И ужъ ты, какъ хочешь тамъ, а у нашихъ дѣвушекъ — я не больше ихъ одобряю за разные выкрутасы — геройства побольше, чѣмъ у вашего женскаго пола... Ась?..

Блэзо, въ знакъ своего недовѣрія, покачалъ головой.

— Опять же, больная она... Я ужъ это превосходно знаю, да и ты тоже... Вѣдь у нея припадки какіе! Страсть! Крови въ недочетѣ ведра на два, по малой мѣрѣ, чуть не до каталенсіи дѣло доходило, а каждый день — точно какъ на инспекторскій смотръ гвардейцы готовятся. Вѣдь это тоже, Ива Альфонсычъ, доказываетъ натуру... Жалко, искры еще никто не зажегъ въ ней, — вотъ какъ надо говорить. Опять тѣ возьми — замужъ совсѣмъ не хочетъ. Вѣдь съ какими фертами за границей зналась! Да и здѣсь. Сегодняшній-то офицеръ — изъ серьезныхъ — тоже не с проста появился... А грибъ съѣсть.

— *Vicieuse et lâche!* — выговорилъ Блэзо на всѣ эти доводы пріятеля. — *Elle veut jouir, elle craint la maternité!*

Лукашинъ почувствовалъ въ короткомъ приговорѣ француза что-то сильно похожее на правду, и примолкъ, даже задумался. Они посидѣли молча. Туманъ сталъ обволакивать золоченныя статуи и уходилъ въ даль аллеи длинной полосой. Музыка въ засыръвшемъ воздухѣ стала слышнѣе. Кругомъ совсѣмъ опустѣло.

Блѣзо глядѣлъ на плоскую панораму уходящихъ къ взморью дорожекъ, съ правильными линіями деревьевъ, и его мысль, въ эти минуты, возбужденная разговоромъ съ пріятелемъ, витала вокругъ общей идеи — онъ всегда такъ думалъ — этого пестраго, чуднаго, хаотическаго и способнаго „на все“ русскаго общества... Развѣ Зина Ногайцева не подходила всего больше вотъ къ этому саду, съ его голландско-французской отдѣлкой, золочеными крышами, желтой штукатуркой, мостиками, фонтанами, монплезирами, садомъ, скульптурой рококо? Со всей его чужой, краденой, изломанной граціей, нарядностью и съ внутренними болѣзнями въ видѣ тумана, сырости, бѣлосоватой, хлоротической почвы?..

— *Que! calme plat!* — вырвалось у него, и онъ повелъ рукой по воздуху.

— Это точно! — понялъ его по-своему Лукашинъ. — И я всей этой подмалеванной Ингерманландіи не жалую.

Но мысль его пріятеля пошла дальше. Онъ почти соглашался съ Лукашинымъ, только не насчетъ Зины Ногайцевой. Не она, такъ десятокъ другихъ, такъ же воспитанныхъ, неспособныхъ, казалось бы, на высокіе порывы, вдругъ преобразаются... *et les voilà martyres!*.. И ничего нельзя предвидѣть, и ко всему нужно готовиться, всего ждать. Пять лѣтъ выжилъ онъ среди русскихъ, знавалъ много народу, особенно между молодежью, а можетъ ли онъ уложить въ своей головѣ, раздѣлить на параграфы, клѣтки, группы общіе признаки движенія этого общества, этой націи? Заставъ его написать руководящую статью или этюдъ... Онъ не выберется изъ отрывочныхъ фактовъ, одинъ другого чуднѣе, а если станетъ обобщать — непременно надѣлаетъ своихъ соображеній, а не настоящихъ выводовъ.

Зина похожа на этотъ садъ — да; но вся-то русская жизнь, насколько ему, иностранцу, удалось даже въ одномъ большомъ городѣ схватить ее, развѣ не похожа? А между тѣмъ все это вывелъ тотъ русскій человѣкъ, что стоитъ тамъ, откуда доносится музыка, коренной „моско-

вить“, буйный, порочный, жестокозвѣрскій и безгранично широкій. А былъ же онъ влюбленъ въ голландскую ограниченность, въ буржуазную домовитость, жилъ вонъ тамъ, черезъ прудъ, съ своей женой, какъ достаточный шкиперъ, тѣшилъ себя, обучаясь всякой заграничной выдумкѣ! И французская стриженая садовая природа прельщала его; цѣликомъ переносилъ онъ ее сюда, и находилъ, вѣроятно, что необходимы его націи эти кастраты-деревья, эти полураздѣтыя пастушки изъ мрамора и алебаstra, — вся эта нестерпимо-подражательная, декоративная природа. Но остался до смерти тѣмъ же русскимъ, способнымъ на все: на гениальныя идеи и на ужасающія, жестокия выходки.

— Ау!—парушилъ Лукашинъ думу пріятеля.

— Eh quoi?—окликнулъ его тотъ и взялся за часы.

Перешло уже за половину десятаго.

— Такъ-то, Ива Альфонсычъ... „не уявися, чѣмъ будемъ“... То же можно сказать и о дѣвицѣ Зинаидѣ, да и вообще.

Блэзо не понялъ изреченія Лукашина, и вопросительно взглянулъ на него.

— Не уявися... Это въ Писаніи такъ говорится... То есть, значитъ, всего слѣдуетъ ожидать.

— Oui, — съ улыбкой, но искренно выговорилъ Блэзо, отлично понявъ, на этотъ разъ, мысль Лукашина.

— Пора уходить... На машину!..

Они возвращались вмѣстѣ въ Петербургъ, гдѣ Лукашинъ остановился у товарища, на Выборгской; несмотря на приглашеніе Софьи Германовны жить у нея—ему такъ удобнѣе было... Блэзо долженъ былъ остаться въ Петербургѣ около мѣсяца по дѣламъ своей жены — очень неприятнымъ дѣламъ, съ запутанными взысканіями; а Лукашинъ надѣялся проводить въ Москву Зинаиду Мартыновну, ему нельзя было ждать: старикъ Кунъ съ неохотой отпущалъ его и не могъ безъ него остаться дольше недѣли.

Когда пріятели встали и повернули къ выходу, начался уже разлѣздъ. Но аллеѣ замелькали между деревьями коляски, а по обѣимъ дорожкамъ потянулись пешеходы. Музыка донгрывала послѣдній номеръ. Сырость проникала подъ платье, и туманъ сталъ все явственнѣе подниматься отовсюду: съ каналовъ, съ пруда, съ лужаекъ, изъ плоскихъ аллей и подъемовъ, укрывшихся

подъ своды деревьевъ. Всѣ спѣшили точно съ обязательнаго парада или церемоніи; никому не захотѣлось остаться въ саду лишнихъ пять минутъ.

Спѣшили и Лукашинъ съ Блэзо. Имъ хотѣлось дойти до станціи пѣшкомъ.

Опустѣлъ Нижній садъ. Только вдоль главной аллеи, въ медленныхъ волнахъ тумана, двигались плотныя фигуры полицейскихъ въ пальто и фуражкахъ.

Тамъ, гдѣ два хора музыкантовъ, за полчаса передъ тѣмъ, держали всю массу публики на скамейкахъ и въ проходѣ между обими кіосками, не было уже никого. А подалѣе, наверху, на перекресткѣ, впереди двухъ фонтановъ, на высокомъ пьедесталѣ, закинулась назадъ, опираясь на палку, коренастая фигура въ треугольной шляпѣ, въ кафтанѣ съ широкими рукавами и въ большихъ походныхъ сапогахъ, вылитая изъ бронзы, только слегка потерявшая блескъ металла.

Туманъ обволакивалъ ее нѣжно, вверхъ по гранитному пьедесталу, извивался вокругъ мощныхъ ногъ и поползъ по смѣло откинутой скульпторомъ богатырской спинѣ. Плечи еще выдвигались изъ дымчатаго пара и заломъ головы, увѣренно, молодецки смотрящей на свою стихію— близкое взморье, на свое добро, на всѣ свои затѣи, кругомъ. Вся несокрушимая сила, схваченная художникомъ, перешла теперь въ этотъ заломъ головы, посаженной вбокъ.

Но плечи утонули въ волнѣ тумана, а за ними и шея, и затылокъ, и одинъ уголъ шляпы, а тамъ и вся голова... Внизу часть пьедестала темнѣла еще пятномъ, да палка, да сапогъ еще не были окутаны.

Послѣдній звукъ экипажа донесся сверху, съ дороги передъ дворцомъ. Бѣлесоватая почъ слилась съ туманомъ, и на всемъ стояла свѣтлая мгла, а сквозь нее то золоченая статуя, то скатъ мраморныхъ плитъ, то шпиль, то бассейнъ—мелькнуть и скроются.

Небо не слало ничего: ни мерцанья звѣздъ, ни болѣе мрачнаго покрова грозовыхъ тучъ. Въ воздухѣ стояла мягкая, недвижная влага,—и деревья, травы, цвѣты, кустарники, все притихло и точно застыло въ густой млечной пеленѣ.

VII.

Передъ обѣдомъ, около платформы желѣзной дороги, подъ яркимъ солнцемъ, дожидалась публика, пришедшая пѣшкомъ отъ ипподрома, гдѣ только что кончились полковыя офицерскія скачки. Погода установилась къ полудню. Наканунѣ цѣлый день шелъ дождь, и все полотно скачекъ было въ грязи и даже въ большихъ лужахъ. Оттуда, отъ павильоновъ съ тотализаторами, все еще тянулась публика: дамы, много штатскихъ, военные разныхъ мундировъ, въ томъ числѣ и тѣ, что участвовали въ скачкахъ. Нѣкоторыхъ такъ облѣпили брызги и комки грязи, что на нихъ и жалко, и смѣшно было глядѣть. Въ особенности пострадалъ одинъ, только что произведенный гусарикъ, еще безусый и бѣлокурый, какъ бываютъ бѣлокуры мальчишки, лѣтомъ, въ деревняхъ. Его красный мундиръ былъ весь испачканъ, да и лицу досталось не меньше. Но онъ улыбался весело, по-дѣтски, и поглядывалъ на всѣхъ молодцовато, пробираясь по доскамъ.

Дожидались тутъ и экипажи, но много дамъ еще не смѣшили садиться. Подъ навѣсомъ платформы и около нея, у выхода за загородъ, на самомъ полотнѣ дороги образовались пестрыя группы. Оживленныхъ разговоровъ не слышно было. Всѣ держались чопорно, кромѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ паръ и двоихъ юркихъ молодыхъ людей, очень модно одѣтыхъ въ яркіе свѣтлые цвѣта съ длинными носками своихъ лодкообразныхъ лаковыхъ башмаковъ. Въ сторонѣ, у перилъ, держались двѣ танцовщицы, и при каждой по офицеру и по штатскому. Изъ всѣхъ молодыхъ женщинъ эти танцовщицы были самыя нарядныя, съ непомерно длинными таліями и высокими шляпами. Смѣяться онѣ стѣснялись и говорили со своими кавалерами тихо.

До прихода поѣзда—онъ долженъ былъ забрать пассажировъ въ Новый Петергофъ и Ораніенбаумъ—оставалось пять минутъ.

Сосѣ Дрозентъ потеряла свой брѣкъ. Мальчикъ-грумъ папугалъ по незнакомію языка; онъ держалъ лошадей, и когда начался разъѣздъ, брѣка не оказалось. За нимъ побѣжалъ Теняшевъ. Дамамъ—съ ними была и Ожигова—пришлось дожидаться. Онѣ тоже потянулись къ платформѣ. Если Теняшевъ долго проищеть экипажа, онѣ мо-

гутъ доѣхать по желѣзной дорогѣ до станціи, а тамъ взять коляску.

Зинѣ всѣ эти дни нездоровилось. Лукашинъ уѣхалъ, не дождавшись ея; она избѣгала разговора не только съ нимъ, но и съ Сосѣ. Той она сказала только, чтобы ей дали время все обдумать; доктору—что письма къ отцу или къ матери она не приготовила. Она увѣрила его, что у нея въ головѣ стоитъ что-то въ родѣ гвоздя, и она не можетъ связать двухъ мыслей.

Сосѣ не приставала къ ней. Она боялась болѣзни Зины и знала, что если та расклеится, то неизвестно, когда опять будетъ „на что-нибудь похожа“:—безъ Зины, бодрой, безупречно представительной, подтянутой и безмятежной, Софьѣ Германовнѣ и жизнь была не въ жизнь.

Однако, въ день скачекъ, Зина съ утра уже приготовилась, и туалетъ ея, только что полученный изъ Франкфурта—Сосѣ заказывала себѣ и кузинѣ половину туалетовъ тамъ, увѣряла даже, что во Франкфуртѣ лучше шьютъ, чѣмъ въ Парижѣ—блисталъ на ней всѣми цвѣтами радуги.

Къ половинѣ скачекъ Зина утомилась, и ей стало очень скучно. Когда поскакали офицеры того полка, гдѣ служилъ Рынинъ, она его узнала сейчасъ же по его длинной, сухой фигурѣ и большому козырьку фуражки. Она злобно разсмѣялась, глядя, какъ всѣ они попадали въ лужи и перескакивали черезъ нихъ среди брызгъ и комковъ липкой грязи. Сосѣ хохотала отъ чистаго сердца. Ожигова раза два крикнула:

— Бѣдныя лягушки!

По доскамъ, къ платформѣ, Зина шла позади Сосѣ, — Ожигова осталась на пути съ какимъ-то знакомымъ, — утомленной, почти разбитой поступью. Ей было совсѣмъ не по себѣ, и она почти навѣрно знала, что на другой день ляжетъ. И весь этотъ ипподромъ, павильоны, далеко не наполненные публикой, отсутствіе мужчинъ, хотя сколько-нибудь для нея занимательныхъ, много „Богъ знаетъ“ какихъ дамъ и молодыхъ дѣвушекъ въ „ужасныхъ“ мордовскихъ и малороссійскихъ рубашкахъ, безъ перчатокъ, съ размашистыми жестами и окликаками гимназистовъ, долгоногихъ юношей въ блузахъ—давали ей ощущение не большихъ столичныхъ скачекъ съ милліонными пари, а чего-то совершенно провинціальнаго. Она даже не захотѣла играть и на настоящихъ скачкахъ, бывшихъ

уже раза два передъ тѣмъ, когда увидала, что въ кассѣ сидятъ артельщики въ родѣ тѣхъ разносчиковъ, у которыхъ Сосѣ покупала клубнику и вишни. А сегодняшнія состязанія—эти офицеры, въ фуражкахъ на затылкѣ, въ несвѣжихъ мундирахъ, многіе съ некрасивыми посадками—были для нея просто ученьемъ военныхъ, которыхъ пригнали въ полковой манежъ.

Когда нѣсколько дамъ вскрикнуло, — одинъ офицеръ упалъ въ лужу вмѣстѣ съ лошадыю и сломалъ себѣ на носу *pinse-nez*, но оправился тотчасъ же и пошелъ бодро, хоть и весь въ грязи, — она даже оглянулась въ ихъ сторону и сдвинула брови, чуть не сказала имъ:

— Чего вы нервничаете?

Такъ ли она себя чувствовала два года назадъ, осенью, когда сидѣла наверху кареты, запряженной „*four in hand*“? И правилъ принцъ... А потомъ, въ ложѣ, *lunch* съ шампанскимъ и возвращеніе, когда они пересѣли въ ландо: принцъ и четыре дамы. И что тогда было!.. Какихъ дурачествъ они ни выдѣлывали!?! Все ему тогда позволила бы каждая изъ нихъ; она — менѣе другихъ, зато она командовала имъ какъ собачкой всю недѣлю, пока онъ жилъ тамъ, всю недѣлю осеннихъ скачекъ.

Горькое чувство желчи во рту заставило Зину подавить съ трудомъ гримасу, идя за Сосѣ. Принцъ... наслѣдникъ трона. И каково!.. И вотъ этотъ длинный, армейскаго вида, офицеръ Рынинъ, который и ѣздить-то не умѣетъ такъ, какъ она или Сосѣ, — особенно рысью, — и онъ смѣетъ здѣсь задавать тонъ, позволять себѣ „камуфлеты“, дѣлать ей замѣчанія, направлять ее, точно какую дѣвчонку!

Еще досаднѣе было ей и то, что послѣ разговора съ Рыпинымъ, на царской дачѣ, она поглядѣла иначе на княгиню Трубчевскую. Въ ней что-то такое покачнулось. Что ей, въ сущности, за дѣло, что княгиня пріѣхала сюда хлопотать объ отдачѣ своего мужа подъ опеку? А хоть бы и такъ?! Онъ безпутный виверъ. Всѣ мужчины — или развратники, или моты, игроки, пьяницы. Даже принцъ оказался не лучше другихъ, когда она съ нимъ провела ту, знаменитую недѣлю. Наконецъ, спроси она сама княгиню, какое у нея въ Россіи дѣло? — та бы сказала. Однако, вотъ, скрывала же отъ нея, отъ своей чтицы. Стало-быть, или не хотѣла передъ ней показать себя въ подозрительномъ свѣтѣ, или считаетъ ее... такъ.. *une batarde prétentieuse*...

Она и не бывала съ того дня у княгини, — написала

ей, что нездорова. И дѣйствительно, ей нездоровилось. Сегодня могла бы пойти утромъ пораньше, но не захотѣла, просто не захотѣла.

Теперь она чувствуетъ, что у нея уже нѣтъ той опоры, въ лицѣ княгини, какая была еще недѣлю назадъ. Она не пойдетъ къ ней за окончательнымъ рѣшеніемъ: ѣхать ей въ Москву или только написать, и кому написать, и какъ написать. А Сосѡ непремѣнно и очень скоро поведетъ рѣчь объ этомъ. Она уже подговаривалась вчера, сказала вскользь, что ей надо еще разъ въ Москву... Совсѣмъ не надо: не настолько она нѣжная дочь, а просто „pour forcer la main“ ей же, Зинѣ Ногайцевой.

Обѣ кузины вошли на платформу.

Первый, кто раскланялся съ ними, былъ Рынинъ.

Онъ стоялъ у перилъ, выпрямился. Свою фуражку отсадилъ онъ сильно на затылокъ, такъ что изъ-подъ удлиненнаго козырька показался его лобъ, менѣе загорѣлый, чѣмъ лицо съ бронзовымъ отливомъ и все такое же угреватое.

На обѣихъ щекахъ, на правой, около носа, на лѣвой, ниже рта, сидѣло по большому пятну запекшейся грязи и мелкія брызги на подбородкѣ и съ лѣвой стороны красной шен. Одно пятнышко усѣлось на нижнемъ вѣкѣ и довольно смѣшно дѣлало его глазъ точно съ подтекомъ.

Вся его грудь, одинъ рукавъ и рейтузы тоже были въ брызгахъ. Рынинъ поклонился дамамъ весело, и нисколько его не стѣсняло то, что онъ въ такомъ видѣ. Кругомъ на него указывали глазами, но безъ насмѣшливыхъ улыбокъ. Грязи досталось всѣмъ скакавшимъ, и это даже подходило къ настроенію публики и характеру дня.

Зина поклонилась ему на ходу. Руки не подала. Сосѡ засмѣялась и сказала:

— Vous voilà joliment fagoté!

А ей захотѣлось что-нибудь необыкновенно злое и презирающее сказать этому „важнющѣ“, въ которомъ ничего нѣтъ: ни талантовъ, ни красоты, ни манеръ, ни хорошей даже посадки верхомъ, ни умѣнья носить мундиръ. Вонъ какія у него складки на бокахъ и слишкомъ длинная талія, а фалдочки такъ коротки, что смѣшно!..

— Вы довольны?—сказалъ онъ ей первый, когда она поровнялась съ нимъ.

— Чѣмъ?

— Да вот тѣмъ, что насъ, и меня въ томъ числѣ, такъ отдѣлала грязь, по обязанностямъ службы?

Сосѣ не слыхала этихъ словъ Рынина; она опять засуетилась, выглядывала, нѣтъ ли гдѣ Тенищева и не видать ли ихъ брѣка.

— Вы рисуетесь,—сказала Зина, и ее ужасно, въ ту же минуту, кольнуло въ високъ.

— Не знаю, кто изъ насъ,—отвѣтилъ онъ безъ ироніи, тономъ старшаго, который желаетъ тихонько урезонить и немножко проучить строптивую дѣвочку.

Вся, какая была въ ней, кровь бросилась въ лицо. Она такъ его возненавидѣла въ эту минуту, что даже ее стало душить, а потомъ кровь быстро отхлынула, и ей надо было взяться за перила, иначе она бы закачалась.

— Какой туалетъ!—продолжалъ онъ тихо, съ усмѣшкой въ глазахъ.—Всѣ въ восхищеніи... А знаете что, Зинаида Мартыновна,—онъ въ первый разъ называлъ ее такъ,—вѣдь, посмотрите, вотъ тамъ стоятъ дамы съ военными... онѣ всего больше подходятъ къ вамъ...

Она обернула голову. Ее продолжало душить... Что такое онъ ей говорилъ? Зачѣмъ онъ это говорилъ? Навѣрно, еще какая-нибудь новая и предательская дерзость.

Указалъ онъ ей на двухъ танцовщицъ; одна, болѣе стройная, съ правильнымъ нѣмецкимъ лицомъ, дѣйствительно, по турнирѣ и раздраженности, только и подходила къ Ногайцевой и ея кузинѣ. Около нея стоялъ высокій блондинъ съ бородкой деревенскаго парня, уже съ брюшкомъ, въ такомъ же точно короткомъ мундирѣ, какъ и Рынинъ; но онъ былъ поменьше забрызганъ. Рядомъ съ нимъ переминался худенькій штатскій, въ обтянутомъ фишашково-зеленоватомъ сьютѣ, съ огромными руками, въ яркихъ перчаткахъ, совсѣмъ вышедшими изъ рукавовъ пиджака. Этотъ заморышъ похожъ былъ на собачонку около крупнаго бѣлокураго парня съ брюшкомъ. Вся группа смотрѣла очень по-петербургски, и было что-то въ штатскомъ и въ дѣвицѣ забавное и празднично-франтоватое и дурного тона балетной „гошпе“.

Все это схватила и поняла Зина мгновенно, и недостало у нея ни присутствія духа, ни физической бодрости, чтобы предупредить то, что ей сейчасъ скажетъ ненавистный офицеръ.

Онъ все улыбался.

— Танцовщица... и эта, и та... Сестры.. какъ, бишь, ихъ фамилія? Да это все равно.

— Такъ вы находите, что я на нихъ похожа?—спросила Зина, и больше не могла уже ничего прибавить.

Слово „танцовщица“ прозвучало у него особенно. Конечно, онъ знаетъ, что она незаконная дочь балетной корифеи... и онъ нарочно указалъ ей на этихъ двухъ— „ses deux filles“, со злобой и презрѣніемъ выговорила она про себя.

Куда же дѣвались всѣ ея герартіи, ея отвѣты, которыми она могла тамъ, за границей, парировать кому угодно... даже тому принцу, а ужъ онъ ли не дерзокъ на слова, особенно послѣ десерта и ликеровъ?!

Голова не повинуется ей... холодный потъ выступилъ на вискахъ... но она слышитъ его тихій, деревяннаго звука голосъ:

— Право, Зинаида Мартыновна, не стоитъ у насъ такъ... точно на майскій парадъ...

И глаза его говорили такъ ясно то, что она уже видѣла въ нихъ и прежде:

„Какъ ты ни радись, какого стили ни держись, и все же ты похожа на танцовщицу и на иностранку-наѣздницу, а не на барышню родовитаго семейства, настоящаго высокопоставленнаго общества, и всѣ кругомъ, навѣрное, такъ и смотрять на тебя“.

Въ головѣ у нея дѣлалось все туманнѣе... Что же это такое? Неужели она упадетъ въ обморокъ? Видитъ она передъ собою Сосѣ; красный, розовый, абрикосовый цвѣта пестрѣютъ передъ ней. И она такъ же одѣта, точно попугай.

Сначала вертѣлись цвѣта платья, а потомъ пошли круги, круги и сѣрою рябью все заволокло, въ родѣ частаго дождя... Это—приступъ невралгій.

— Проведите меня,—успѣла она сказать.

Рынинъ взялъ ее подъ-руку, крѣпко-крѣпко прижалъ ее къ своей и ведетъ. Она уже съ трудомъ различаетъ лица, туалеты, мужчинъ, женщинъ; голова закружилась; мучительно тошно...

Вся она обомлѣла: вдругъ тутъ, при всѣхъ, въ такомъ туалетѣ, и тошнота... усилятся?

Она сдѣлала надъ собою послѣднее усиліе.

Рынинъ проталкивался въ толпѣ. Сзади раздался звонокъ; всѣ побѣжали къ поѣзду, чуть не сбили ихъ съ ногъ.

— Тихе! — гнѣвно крикнулъ онъ. — Не видите—дамъ дурно?!

Раздался испуганный возгласъ Сосѣ:

— Zizi, qu'as-tu?

Это было послѣднее слово, дошедшее до нея; больше она уже ничего не помнила. Сосѣ ужасно засуетилась,.. Больную усадили на скамейку; но никто изъ толпы не подбѣжалъ, только мужчины посторонились.

Экипажа все не было. Рынинъ распорядился живо: послалъ двухъ жандармовъ, у кого-то нашелъ даже флакончикъ съ „солями“. Черезъ пять минутъ, когда поѣздъ ушелъ, среди ужасной толкотни, бракъ Софьи Германовны былъ приведенъ; Теняшевъ прибѣжалъ за ними.

Рынинъ посадилъ обѣихъ дамъ. Зина пришла въ себя, но была такъ слаба, что ее повели подъ обѣ руки.

И опять ведетъ ее этотъ офицеръ и держитъ ее такъ крѣпко, и она въ толпѣ, больная; можетъ-быть, ее тошнило? Она спросила бы объ этомъ Сосѣ, но ничего не могла выговорить.

Рынинъ вызвался сѣсть править. Теняшевъ не допустилъ его; Сосѣ посадила Зину рядомъ, сзади помѣстился грумъ.

Всѣ благодарили Рынина. Должна была и Зина сказать ему съ усиліемъ:

--- Merci, monsieur!

Но ея вѣки не поднялись на него. Лицо ея было совсѣмъ мертвое, когда экипажъ тронулся тихо. Онъ глядѣлъ ему вслѣдъ, и фигура Зины, съ головой почти на плечѣ у Сосѣ, не вызывала въ немъ жалости. Урокъ былъ ею полученъ, и лучше, чѣмъ онъ самъ могъ мечтать. И все-таки что-то тянуло его къ этой дѣвушкѣ. Не въ послѣдній разъ видѣлись они, даже если бы она и уѣхала сейчасъ. Ему сдавалось, что она не станетъ заживаться ни въ Петербургѣ, ни вообще въ Россіи.

Рынинъ прослѣдилъ глазами за экипажемъ и, когда онъ исчезъ изъ виду, немного стряхнувшись съ себя застывшую грязь, сбѣжалъ подъ козырекъ двумъ генераламъ и зашагалъ къ полотну ипподрома, гдѣ еще продолжалось офицерское угощеніе подъ палаткой.

VIII.

Въ темной, душной спальнѣ Зинаиды Мартыновны, выходящей на югъ, въ полдень, при спущенныхъ шторахъ,

происходилъ разговоръ, не громкій, но съ нервнымъ настроеніемъ. Вся комната куталась въ свѣтлую тафту, покрытую складками расшитой кисеи. Кровать, съ балдахиномъ, тоже вся утопала въ шитьѣ и складкахъ тюля.

Зина сидѣла, а не лежала, на кровати въ бѣломъ пеньюарѣ-кофтѣ, съ распущенными волосами. Около изголовья стоялъ столикъ изъ поливной глины, въ арабскомъ вкусѣ; на немъ — остатки ея завтрака. Послѣ чашки бульона, съѣла она два сандвича и выпила большую рюмку портвейна. Ея обычнаго вѣски докторъ ей не позволилъ.

У ногъ, на табуретѣ изъ двухъ подушекъ, положенныхъ крестомъ одна на другую, сидѣла Софья Германовна, одѣтая уже къ выѣзду, — она собиралась въ городъ, — въ такой же высокой шляпѣ, покрытой букетомъ полевыхъ цвѣтовъ, какая была на Зинѣ въ то утро, когда она ходила къ княгинѣ Трубчевской.

Съ обморока на скачкахъ прошло четыре дня. Всѣ эти дни Зину держали въ постели и у ней былъ одинъ припадокъ столбняка, очень серьезный. Изъ Петербурга приглашенъ былъ даже профессоръ академіи. Но теперь она себя чувствовала довольно хорошо, только въ головѣ еще осталась тупая боль и въ рукахъ нервная дрожь.

Софья Германовна держала листокъ депеши. Она только что прочла его. Обыкновенно между собою онѣ говорили по-англійски въ гостиной, зато въ интимныхъ объясненіяхъ и спорахъ часто употребляли русскій языкъ, чтобы такъ ихъ никто не понималъ, за границей, изъ иностранной прислуги. Ту же привычку удержали онѣ и въ Россіи, забывая, что здѣсь-то ихъ и можетъ всякій понять, кто вошелъ бы неожиданно въ комнату.

— Надо ѣхать, — выговорила Сосѣ серьезно и голосомъ, въ которомъ слышалось волненіе.

— И поѣзжай, если только этотъ идиотъ Лукашинъ не пугаетъ тебя.

— Я знаю папѣ: онъ не позволилъ бы выписывать меня, если бы не чувствовалъ себя очень нехорошо.

Депеша была получена утромъ, изъ Москвы, отъ Лукашина. Старикъ Кунъ заболѣлъ серьезно, хотя и не опасно. Сосѣ была не такъ чтобы очень нѣжная дочь, но любила, по-своему, старика и не простила бы себѣ, если бы не пріѣхала въ-время, не застала бы его въ живыхъ.

Этотъ внезапный отъѣздъ нисколько не смущалъ Зины: онъ не былъ для нея даже большой неожиданностью.

Софья Германовна и безъ того собиралась въ Москву и тащила ее за собою. И пускай ее ѣдетъ!

— Какъ же я тебя оставлю?—спросила Сосѡ.

— Какой вздоръ! Я буду себѣ лежать.

— Никого нѣтъ въ домѣ!

— И не нужно. Есть Милли. Есть докторъ... два цѣлыхъ...

Ей хотѣлось даже остаться одной, совсѣмъ одной—принять рѣшеніе и выполнить его. Но она видѣла, что Сосѡ не оставитъ ея, все-таки, въ покоѣ. Что-нибудь да она начнетъ, все на ту же чувствительную тему.

— И поѣзжай, — повторила Зина. — Сегодня вечеромъ возьми express.

— Да, но, Zizi, my darling... ты теперь, разумѣется, не можешь... надо же какъ-нибудь, prendre un parti quant à Moscou, —разсудила она докончить не по-русски.

— Что еще?—протянула Зина тономъ больной, къ которой приступаютъ съ ложкой микстуры.

— Что же мнѣ тамъ сказать? Онъ ждетъ тебя... и мать твоя... Tranche la question une fois pour toutes!.. Я не хочу,—Сосѡ начала впадать въ тронутыя ноты,—да, я не хочу, чтобы про тебя сказали: „она безъ сердца, она — дурная дочь, она неблагодарная“... Это не для свѣта... ты дѣлаешь это для себя... и чтобы всѣ знали...

— Tu gadotes... —остановила ее и Зина. — И для себя, и чтобы всѣ знали?..

— Ну, да!—какъ маленькая крикнула Сосѡ и топнула ножкой.

— Оставь меня... Безъ сценъ, пожалуйста...

Софья Германовна испугалась, вскочила, поцѣловала Зину въ лобъ и попросила у нея прощенія.

— Сядь, ты меня утомляешь!

Голосъ Зины сдѣлался нервнѣе. Она прислонилась затылкомъ къ высоко поднятой подушкѣ и сдвинула брови: этого всего больше боялась Сосѡ.

— Вѣдь я для тебя... Zizi... my darling.

— Съ чего ты, —начала Зина все такъ же нервно, — съ чего ты такъ берешь это къ сердцу? Это смѣшно! Оттого, что ты влюблена? И разводишься!.. И хочешь выйти замужъ... Avec des émotions d'une jeune personne!..

И она засмѣялась раздраженнымъ и злобнымъ смѣхомъ. Сосѡ обидѣлась.

— Tu n'as pas de sœur! — вырвалась у нея въ первый разъ такая фраза.

— Хорошо, пусть будет такъ,—отвѣтила Зина глухо.— Сердце! сердце! Я никогда и никому не рассказывала, что у меня есть сердце... Но я не вѣшиваюсь въ чужія дѣла. Я могла бы тоже приставать къ тебѣ въ твоихъ... coups de tête!

— Coups de tête?—задорно и почти съ негодованіемъ переспросила Сосѣ.

— Oui, ma chère, des coups de tête,—повторила Зина, какъ старшая сестра или мать.— Больше ничего!.. Тебѣ такъ нравится, ты должна быть увлечена... toujours fascinante comme une locomotive! Ты желаешь опять любить, желаешь держать при себѣ un gaillard... имѣть отъ него дѣтей? Все это совсѣмъ не умно. Но я къ тебѣ не пристаю!

— Ты не любишь меня, тебѣ все равно...

— Хорошо; вотъ я и хочу тебѣ доказать, что не люблю тебя... И буду жить, какъ мнѣ надо, думать о моемъ здорьевѣ, не позволять возить себя comme une valise.

Глаза Зины раскрылись широко, она выпрямилась и протянула длинной и красивой рукой по воздуху сильнымъ, выразительнымъ жестомъ.

Сосѣ слышала что-то совершенно новое. Она впервые подумала, что вѣдь въ самомъ дѣлѣ Зина состоитъ „при ней“, пріѣхала для нея сюда, въ Россію, гдѣ ей все противно, собиралась переселиться съ ней въ Англію, гдѣ климатъ совсѣмъ не по ея здоровью...

А она сейчасъ бросила ей такой упрекъ!

— Quelle misérable je fais!..—выбранила она себя, и на глазахъ у нея блеснули слезы.

— Прости!

Зина жестомъ не позволила ей подняться.

— Ахъ, полно! Ты точно пятилѣтняя!.. Хочешь быть со мною въ дружбѣ, оставь мнѣ мою свободу... Я нездорова...

— Прости, прости!..

Сосѣ готова была разрыдаться.

— Сценъ не нужно, Софѣ! Поѣзжай въ Москву.

— Какъ же ты?

— И останусь преспокойно, мнѣ надо быть одной... Больше ничего не надо...

Но Софью Германовну—она уже перескочила къ другому ряду чувствъ—начало мучить то, какъ она оставитъ Зизу, съ горничной-иностранкой, Егоромъ-дворецкимъ и

громомъ. А кому же ее поручить? Ожиговой? Та все разбѣзжаетъ по островамъ, она за больными не умѣетъ ходить, любить только покойниковъ.

„Elle a le mauvais œil, — подумала Сосѡ, — еще накличетъ смерть“.

Какъ бы тамъ ни сердилась Зизи, а все-таки она ей выскажетъ свои волненія. И ѣхать нужно въ Москву: жаль отца, ужасно жаль...

— Ты одна!.. Никого... — заговорила Сосѡ. — Твоя княгиня сама... ипе patraque, да ей и все равно... Какую она тебѣ записку прислала? а?..

— Записку, — какъ записку, — нѣхота отвѣтила Зина.

— Ей скучно... безъ тебя... ты чтица... а что ты больна — ей до этого дѣла нѣтъ.

Брови Зинаиды Мартыновны опять сдвинулись. То, что сейчасъ сказала Сосѡ, — правда. Она теперь только, не дальше какъ вчера, когда получена была записка княгини, въ отвѣтъ на почти отчаянное письмо Софьи Германовны о ея припадкахъ, — почувствовала, какъ мало она значила для этой старой грѣшницы... Право, не больше, чѣмъ бы всякая чтица. Развѣ только вотъ то, что она ничего ей не стоила, а княгиня — скупа.

Да и можно ли было ждать отъ нея сердца? Искала развѣ она сердца у своей руководительницы? И сама она ни крошечки ее не любила.

Записка княгини — безукоризненна по формѣ, но холодна, зато не фальшива, не стоитъ въ ней всѣмъ надобившихъ фразъ.

Все-таки княгиня отошла отъ нея еще дальше... Ей представился снова тотъ фактъ, что она здѣсь хлопочетъ объ опеку мужа, стало-быть, интригуетъ, проситъ, конечно, жжетъ и, во всякомъ случаѣ, доносить... При ея-то состояніи!..

„C'est d'une avarice sordide“, — сказала про себя Зина и сдѣлала гримасу.

Ей стало вдругъ жалко сангвиническую Сосѡ.

— А Тенишевъ? — сказала она. — Довольно и его.

— Suis-je-bête? — вскрикнула Сосѡ и вскочила уже въ послѣдній разъ съ табурета. — Его здѣсь еще продержатъ... А я черезъ недѣлю буду назадъ!..

Она хлопнула въ ладони, поцѣловала Зину въ голову и уже ни однимъ словомъ не заикалась больше о Москвѣ, отцѣ Зины, свиданіи съ матерью... Она даже не подумала,

что ей удастся какъ-нибудь вытянуть Зизи туда, когда та поправится. Въ эту минуту она вся стояла уже на сторонѣ своей кузины, ея припадковъ, готова была бы сама везти ее не въ Москву, а за границу, куда пошлютъ доктора: во Франценсбадъ, Крейцнахъ, Пирмонтъ, на море, въ Остенде, въ Біарицъ—хоть на островъ Мадеру!

— Я гадкая!—крикнула она, и еще разъ приложилась къ волосамъ Зины.—Тебѣ Россія—ядъ, здѣсь сыро, гадко, туманъ... а все я, я!..

Быстро опустилаcь она на колѣни у кровати, схватила руку Зины, начала ее цѣловать, расплакалась, надавала себѣ еще бранныхъ прозвищъ на трехъ языкахъ, а когда опять поднялась на ноги, то сейчасъ же отерла слезы и стала дѣловымъ тономъ увѣрять Зину, что она лишней секунды не останется въ Москвѣ и сейчасъ поѣдетъ въ городъ къ адвокату и къ доктору, который пріѣзжалъ на консультацию, и оставитъ ему свой московскій адресъ на всякій случай, а потомъ заѣдетъ къ Теняшеву. Опъ можетъ даже и переселиться въ Петергофъ; не все ли ему равно!

— Ужъ ты лучше жени его на мнѣ,—сказала Зина.

Эта шутка окончательно разсѣяла волненіе Сосѣ, и она предалась лихорадкѣ отъѣзда, что для нея было всегда лишнимъ средствомъ дать ходъ своему темпераменту.

Черезъ четверть часа ея голоса уже не было слышно въ домѣ.

Зина лежала въ полной тишинѣ. Все обошлось лучше, чѣмъ она ожидала. Главное—ее оставить въ покоѣ. Обморокъ у платформы подоспѣлъ кстати. Но онъ же печалилъ ее и смущалъ. Бывали съ ней припадки въ родѣ столбняка, но всегда послѣ сильныхъ мигреней, въ постели или, по крайней мѣрѣ, въ комнатахъ. А такъ, внезапно... и „глупо“ еще ни разу не случилось.

Лежала она съ закрытыми глазами. Ни заснуть, ни забыться она не могла. Не зла она на Сосѣ за то, что та привезла ее въ Россію—мало ли она глупостей выдѣлывала, эта неисправимая Сосѣ!—но въ Россіи, въ этомъ климатѣ, ей оставаться нельзя... Да и не климатъ тутъ одинъ виной:—вся жизнь, люди, тонъ, разговоры, что-то ужасно прѣсное...

Для кого здѣсь одѣваться, кому себя показывать, кѣмъ, хоть на недѣлю, заинтересоваться? Теряешь всякій вкусъ къ жизни...

Да, ея нездоровье подошло чрезвычайно кстати. Она еще не может ни ходить, ни сидѣть, какъ надо, и еще меньше писать. Кто же будетъ требовать отъ нея письма, въ отвѣтъ на то, что лежитъ у нея въ бюварѣ, на письменномъ бюро, рядомъ, въ ея будуарѣ-кабинетѣ, куда дверь была полуотворена?

А вдругъ Сосѳо заживется въ Москвѣ? Старику-дядѣ станетъ хуже?.. Что она будетъ здѣсь дѣлать, съ Теняшевымъ „pour tout potage“? Онъ въ Петергофѣ совсѣмъ не забавенъ, вретъ все то же, старая, давно ей извѣстная вещь, и смотритъ въ публикѣ такимъ „voeu“. Правда, онъ ей преданъ, но что жъ изъ этого? Веселѣе отъ того не станетъ.

Разводъ Сосѳо, ея будущая свадьба, переѣзды изъ Германіи въ Россію, изъ Россіи—неизвѣстно куда,—все совершенно выбиваетъ ее изъ колеи. Не вѣритъ она и въ то, чтобы Сосѳо поселилась, выйдя замужъ, въ Англіи навсегда, купила бы коттеджъ... Не можетъ она высидѣть на одномъ мѣстѣ больше двухъ сезонѡвъ. И что, если начнется скитаніе по Европѣ... жизнь то тамъ, то здѣсь... всегда „sur le qui vive“?.. Хорошо той съ новымъ мужемъ, пока она въ него влюблена, или съ дѣтьми—у нея навѣрное будутъ и отъ второго,—а что же во всемъ этомъ она, Зина Ногайцева?

Зачѣмъ же ей обманывать себя, лгать и выдумывать, сочинять себѣ и другимъ такія чувства, которыхъ нѣтъ? Сосѳо ей предана, но она такъ же предана: и своимъ привычкамъ, и туалетамъ, и спорту, и слабости къ мужчинамъ, и фамилінымъ привязанностямъ, и тысячѣ всякихъ гіеп, всего того, что для нея „d'une extrême importance“. Такъ же точно и она сама знаетъ размѣры своего чувства къ Сосѳо. Да если бъ она и желала по доброй волѣ приносить себя въ жертву,—а она этого совсѣмъ не желаетъ,—то на что она нужна кузинѣ? Та безъ нея и разведется, и выйдетъ замужъ, и будетъ тормозить себя и своего мужа, развѣзжать, ридиться, имѣть дѣтей, толстѣть, скакать верхомъ и говорить всѣмъ и каждому, что она воспитана въ англійскихъ нравахъ, чего никогда не бывало, какъ ей и доложилъ офицеръ Рынинъ.

Къ Рынину Зина пришла мысль уже не въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ лежитъ послѣ своего обморока.

Когда, третьяго дня, въ головѣ у нея прояснилось и она могла все припомнить и сообразить, она заново за-

трепетала отъ обиды... Онъ умышленно оскорбилъ ее, и она вела себя... хуже, чѣмъ всякая кордебалетная русская корифейка, чѣмъ та смазливая дѣвчонка съ глупыми глазами, что стояла около толстаго гвардейца, къ которой приравнялъ ее Рынинъ! Ничего подобнаго такому сраму она не испытывала никогда, ни съ кѣмъ! И какъ же это все кончилось?.. Его полнымъ торжествомъ. Онъ же повелъ ее, у него же она попросила помощи, онъ же ее посадилъ на лавку, можетъ — оттиралъ, онъ же отыскивалъ экинажъ, усаживалъ и вызвался править лошадыми.

Сосѡ, не понимающая того, что между ними происходитъ, какъ только она раскрыла глаза вчера, сейчасъ же прибѣжала ей объявить, что изъ Краснаго Села Рынинъ прислалъ депешу — „très respectueuse“, — съ просьбой дать отвѣтъ, „réponse payée“, о здоровьи „mademoiselle Zina“... И когда она сказала, чтобы отвѣтили: „Merci, elle va bien“, Сосѡ стала ее укорять и говорила, что такъ нельзя, очень сухо, и, навѣрное, отвѣтила какими-нибудь глупостями... въ чувствительномъ родѣ.

Пожалуй, и сегодня онъ еще пришлетъ депешу или самъ пожелуетъ. Сосѡ ничего не понимаетъ, да и не могла ни о чемъ догадаться... А ей, Зинѣ, не слѣдуетъ даже имени выговаривать этого... этого...

Она затруднялась, какимъ бы презрительнымъ словомъ выразиться и на какомъ языкѣ.

„Roublard“! — вспомнила она слово княгини и сначала очень обрадовалась. — Да, roublard, интриганъ, пролазъ; „на даровщинку“, — такъ выражается Теняшевъ, — желаетъ выйти въ люди и все забрать въ руки. И что онъ къ ней присталъ? Неужели воображаетъ, что она для него — „un coup de filet à faire“? Онъ, съ его лицомъ, манерами, фигурой?.. Онъ, позволяющій себѣ невозможное обращеніе?.. Или, не пожелалъ ли онъ показать ей, своимъ тономъ, что онъ не только не рассчитываетъ на нее, на ея приданое, на всю ея эффектную и разодѣтую фигуру, а считаетъ себя неизмѣримо выше по всему и забавляется только шибаньемъ съ нею спеси?..

Бѣднѣйшей безцеремонности нельзя было и выказать. Не только онъ ее приравнялъ къ первой попавшейся тапцовщицѣ, но прямо ей показалъ, что знаетъ, какого она происхожденія; нѣсколько разъ далъ ей почувствовать, что, какъ бы она ни рядилась, какого бы высшаго стиля

ни держалась, все-таки она похожа... на какую-то заграничную мамзель, а не на русскую дѣвицу или даму изъ настоящаго общества высокопоставленныхъ и безупречно рожденныхъ людей.

И кто могъ ему разболтать о ея матери, о ея недавнемъ незаконномъ положеніи? Да кто же, какъ не Теняшевъ, другъ и наперсникъ!.. Неужели ей никогда не приходило въ голову, что такой человѣкъ выдастъ отца родного, только бы ему что-нибудь врать? Вѣдь онъ про себя, про свою жену, про свой разводъ, про такія исторіи, о которыхъ другой бы молчалъ до гробовой доски, рассказывалъ всѣмъ, въ первый же день знакомства. Навѣрное, все уже выложилъ и Рынину.

А она не догадалась даже запретить ему формально ротъ развѣвать о ней съ офицеромъ, если бы тотъ и началъ его выпрашивать...

Почему же она этого не сдѣлала? Почему?..

Все по тому же чувству, которое не позволяло ей и княгинѣ Трубчевской говорить о своихъ родителяхъ прежде, чѣмъ не понадобится спросить совѣта, въ послѣдней крайности. А Теняшева, хоть онъ и пріятель больше четырехъ лѣтъ, она ставила ниже себя, ниже Сосѣ, хотя и позволяла, и до сихъ поръ позволяетъ ему, при всѣхъ, вести себя чуть не какъ съ легкой особой...

Во всемъ виновата сама... сама...

Слезы досады и презрѣнія къ себѣ выступили на глазахъ ея. Она разгорѣлась въ лицѣ и сидѣла, прислонившись всей спиной къ подушкамъ, въ полутемной своей спальнѣ.

Раздался шумъ экипажа; влетѣла Сосѣ, а за ней мужскіе шаги остановились у двери.

— Я привезла Грегуара!..

Она въ минуты сердечнаго возбужденія звала такъ Теняшева.

— Зиночка!—донесся его голосъ изъ будуара, — этиль пермй?

— А! это онъ?—глухо выговорила Зина.

— Да, и согласенъ переѣхать въ Петергофъ...

— Даже къ вамъ на дачу, — шопотомъ пустилъ въ дверь Теняшевъ.

Сосѣ видѣла, что Зина дурачиться не желаетъ.

— Чтѣ съ тобой?—испуганно спросила она.

— Позови мнѣ... его... И оставь насъ. У тебя много дѣла...

— Прекрасно!—Сосѡ поцѣловала Зину и убѣжала въ другую дверь, а Теняшеву крикнула:

— Идите!

Онъ вступилъ въ спальню, со сложенными на груди руками, шутовской походкой, свѣсивъ голову на-бокъ.

— Милая вы моя больнушка... Бѣленькая лежитъ...

— Тсс!..—остановила его Зина и, выпрямившись, говорила:—Не лгите! Вы болтали обо мнѣ тому... офицеру... Рынину?

— Чтѡ болталъ?

— Не лгите!—гнѣвно крикнула она.—Вы болтали... обо мнѣ?.. Видѣть васъ не хочу, не надо мнѣ васъ, вашихъ услугъ... Но если вы пикнете еще хоть слово... мы—враги на вѣкъ. Ступайте!..

И повернулась къ нему спиной.

Теняшевъ пожалъ плечами, вышелъ на цыпочкахъ и сказалъ Сосѡ—она уже начала распорядиться укладкой своихъ туалетовъ:

— Нервы! Прогнала!

Его заставили записывать то, чтѡ Софья Германовна беретъ съ собой.

И выходка съ Теняшевымъ черезъ двѣ минуты показалась самой Зинѣ нелѣпой, самого дурного тона. Она ничего не поправляла и ни отъ чего не спасала.

„Вонъ, вонъ отсюда!“—вдругъ вырвалось у нея съ глухимъ стономъ, и она обѣими руками схватила себя за виски.

Всѣ живутъ полной жизнью, начиная съ Сосѡ: вѣдь она укладывается, шумитъ, картавитъ, строитъ планы, пишетъ каждый день своему жениху, поскачетъ къ больному отцу, точно на праздникъ... Теняшевъ—и тотъ очень доволенъ собой, своимъ шутовствомъ, даже своей карьерой, хотя и жалуется, что его шлютъ къ чорту на кулички. И тотъ долгій, прыщавый roublard... Онъ бѣденъ, бьется, злится, снѣдаемъ честолюбиемъ, и все-таки живетъ, стоитъ прочно на своей дорогѣ, считаетъ себя умнѣе ея, родовитѣе, тоньше, самодовольно перебираетъ теперѣ, у себя, тамъ, въ лагерь, всѣ ходы, какіе онъ взялъ у нея въ два-три разговора.

Ее наполняло одно желаніе, чтобы поскорѣ подошелъ вечеръ, чтобы уѣхала Сосѡ, убрался Теняшевъ, и тогда она запрется... Даже доктора не будетъ пускать. Она сама лучше всякаго специалиста знаетъ, чтѡ ей надо. Пролетѣ-

жать еще три дня, а потомъ, не дожидаясь Сосѣ, собраться и оставить позади себя и эту Москву, и офицера, и книгиню, и Сосѣ... всѣхъ! Положить конецъ лѣта и всю осень на уходъ за своимъ тѣломъ. Оно расшаталось, оно можетъ и не такой еще сюрпризъ приготовить ей...

Вернуться въ себя, стать снова собой — безмятежной, сияющей, увѣренной въ себѣ, на полной волѣ, безъ тревогъ, щекотливыхъ вопросовъ, уступокъ чему бы то ни было, кромѣ того, чего требуетъ высшій строй жизни...

IX.

Вѣтеръ, съ сѣверо-запада, бушевалъ по всей великолѣпной „дигъ“, высланной квадратными матовыми кирпичиками изъ терракоты. Море, сизо-зеленое, разбурлилось къ сумеркамъ. Прибой пѣнистыхъ валовъ доходилъ до перилъ наружной обшивки набережной и заливалъ выступы, идущіе въ море недвижимыми, окаменѣлыми китами. Пестрые фасады отелей и нарядныхъ виллъ тянутся вправо, до „аэстады“, своими фламандскими украшениями, столбиками, верандами и вышками. Огни только что показались въ дальнихъ фонаряхъ набережной, въ ресторанахъ нижнихъ этажей, внутри тяжелой, раскинутой во всѣ стороны, громады кургауза съ его овальной надставкой крыши, индійскими башенками, главами и столбами.

На дигу высыпало самое блестящее население Остенде, тотчасъ послѣ обѣда, и заходило по ней во всѣхъ направленіяхъ. Ни одного экипажа не проѣзжало наискосокъ, по узкой полосѣ мостовой, оставленной для ѣзды. Шаговъ тысячи гуляющихъ не было слышно за вѣтромъ и прибоемъ. Платья, шляпки, шарфы, зонтики, — все это взбивалось и затрудняло ходъ цѣлымъ рядамъ разряженныхъ женщинъ и дѣвочекъ. Со многихъ срывало шляпки. Раздавался раскатистый смѣхъ. Яркіе цвѣта туалетовъ умѣрялись двойственнымъ свѣтомъ сумерекъ. Но всего больше было бѣлыхъ платьевъ — стѣне, въ обтяжку, съ огромными турнюрками, почти фижмами, и синихъ съ красными полосками. Мужчины, ближе къ кургаузу, въ этой толпѣ разрядившихся женщинъ и дѣтей, смотрѣли особенно: въ бѣлыхъ — стѣне — фланелевыхъ панталонахъ, короткихъ пиджакахъ, бѣлыхъ же картузахъ англійскаго морского покроя, съ большими прямыми козырьками, обшитыми фланелью, и околышемъ изъ яркихъ трехцвѣтныхъ лентъ,

или въ соломенныхъ шляпахъ съ прямыми бортами и съ такими же широкими лентами радужныхъ цвѣтовъ, въ холщевыхъ или желтыхъ кожаныхъ башмакахъ.

Во всей этой сновавшей, то скоро, то медленно, толпѣ, былъ какъ бы особый уговоръ держаться, одѣваться, пить, ѣсть, купаться, посѣщать вечеромъ концерты—точно на представленіи, на выводѣ, напоказъ, хотя на первый взглядъ все казалось непринужденнымъ.

Изъ главной улицы, снизу, изъ Rue de Flandre, поднимались все новые ряды и группы мужчинъ, женщинъ, дѣтей, въ туалетахъ попроще, болѣе степеннаго вида посѣтителы дешевыхъ ресторановъ и табльд'отовъ, внутри города, квартиранты недорогихъ отелей и меблированныхъ комнатъ... Ихъ, какъ бы само собою, относил направо, къ тихому концу набережной. Многие садились сейчасъ же на скамейки у самаго края пѣшеходнаго полотна диги или у перилъ. Какъ только вѣтеръ дѣлался полегче и прибой слабѣе гудѣлъ, волны человѣческихъ голосовъ поднимались.

У монументальной лѣстницы кургауза не прерывалась вереница поднимающихся между двумя будочками и жирандолями. Три дежурныхъ контролера, въ однихъ фракахъ и кепи, кое у кого спрашивали входныя карты. Снаружи, подъ навѣсомъ, публика сидѣла только въ глубинѣ, у самыхъ оконъ залы, и направо, за полотномъ опущенныхъ шторъ, въ ресторанѣ, доканчивая самый поздній обѣдъ, по-англійски...

За кургаузомъ набережная, огибающая поворотъ берега, спускается къ новому ряду отелей и ресторановъ, а дальше, на возвышеніи, темной глыбой, глядитъ въ море королевская вилла, темно-сѣрая, тяжелая, лишенная стройности и величія.

Внизу, на пескѣ, длинныя ряды полосатыхъ будокъ выстроились тѣсно, одна къ другой,—близко къ баракамъ, гдѣ продаютъ билеты и хранятъ костюмы, дожидаясь скорого отлива. Въ полутемнотѣ, въ пескѣ, дѣти еще мастерили крѣпости, проводили канавки, таскали песокъ въ раскрашенныхъ ведеркахъ; дѣвочки-подростки играли вѣсткѣ съ малолѣтками. Почти всѣ были босикомъ...

Вѣтеръ, не унимавшійся и къ часу отлива, скоро загалъ гуляющихъ въ кургаузъ; тамъ уже начался концертъ. Главная зала, гдѣ помѣстится нѣсколько тысячъ человѣкъ, обдавала уже жаромъ газовыхъ люстръ и ды-

ханія толпы, занявшей всё стулья и диваны, такъ что по двумъ проходамъ кругомъ едва можно было протиснуться. Музыканты сидѣли на обширной эстрадѣ, подъ колпакомъ. Наверху, на галлерей, видѣлось нѣсколько человѣкъ, и дѣти играли съ одной стороны. Дѣтей, особенно дѣвочекъ, внизу были цѣлыя вереницы: разряженныхъ, съ распущенными волосами, въ перьяхъ, бантахъ, атласѣ, съ голыми икрами, даже при порядочномъ ростѣ.

Оркестръ игралъ увертюру. Ближе къ эстрадѣ, за столиками, пили кофе; большія семейства, изъ матерей и взрослыхъ дѣвицъ, облѣпляли кругомъ столики, ничего себѣ не спрашивали, и такъ сидѣли до конца концерта, красныя, зятянутыя, разодѣтыя и формально улыбающіяся. Два теченія публики было: и въ глубинѣ—позади оркестра, слѣва, изъ коридора—отъ задняго входа, изъ читальни и кафѣ, и направо изъ бильярдныхъ, гдѣ уже шла азартная партія.

Танцевальный залъ еще стоялъ темнымъ. Сотни дѣвицъ и дѣвочекъ ждали только минуты, когда растворятъ двери, чтобы устремиться туда и занять всё скамейки и стулья. На хоры танцевальнаго зала уже забрались зрители.

Въ читальню, съ улицы, черезъ наружную галлерею, вошла Зинаида Мартыновна, одна, въ шляпѣ въ видѣ салатника, въ бѣломъ платьѣ—сгѣте и въ короткой шелковой кофточкѣ съ высокими воротникомъ, разстегнутой по модѣ, съ плюшевымъ платкомъ на рукѣ. Она двигалась медленно, нехотя, глядѣла по бокамъ, похудѣла въ лицѣ, но съ болѣе сильнымъ блескомъ въ глазахъ; она даже немного гнулась, чего прежде у нея не было. На всѣхъ столахъ, въ первой комнатѣ, и у маленькихъ столиковъ, писали дамы.

„Чего онѣ пишутъ?—раздраженно подумала она.—Весь день пишутъ; кому?“

И утромъ она, въ десятомъ часу, заставляла все такую же усиленную корреспонденцію. Сама она терпѣть не могла писать и писала только своей кузинѣ, да и то разъ въ недѣлю.

Вотъ уже вторая недѣля, какъ она на морѣ, и шестая, какъ вырвалась изъ Петербурга. Она не дождалась возврата Сосѣ изъ Москвы. Ту задержала болѣзнь отца. Ей стало нестерпимо. Она заставила Теняшева выправить ей

паспортъ, и уѣхала одна, съ горничной. Доктора, даже и специалистъ изъ академіи, похвалили ее за такое рѣшеніе и послали оба въ Франценсбадъ. Тамъ жили ея заграничныя знакомыя англичанки. Она не рисковала остаться одной.

Все это она скрутила въ одну недѣлю. Главное ея опасеніе было: не столкнуться съ Рыннымъ. Онъ пріѣзжалъ наканунѣ ея отъѣзда. Ему сказали, что Софья Германовна въ Москвѣ, а Зинаида Мартыновна не принимаетъ. Его встрѣтилъ Егоръ-дворецкій и такъ, по приказанію барышни, и доложилъ:

— Не изволятъ принимать!

Дорогой ее особенно тѣшило приближеніе къ границѣ. Никакихъ приставаній отъ Сосѣ она не получила на письмѣ. Та сама ее гнала за границу послѣ депеши доктора изъ Петергофа. Объ отцѣ Зины Сосѣ писала кратко, что она его еще не успѣла видѣть, но слышала отъ Лукашина, что въ его состояніи опять произошла перемѣна къ „худшему“. На мать не было даже и намека.

На границѣ Зина точно стряхнула съ себя свои припадки, слабости, обмороки, мигрень, всякую напряженность, разбирая щекотливыхъ „*cas de conscience*“. Она, на прощальномъ свиданіи съ княгиней Трубчевской, и не подумала просить у той окончательнаго совѣта, и сама, въ началѣ разговора, сказала ей:

— Я въ Москвѣ не буду. Мое здоровье разстроилось. Я ѣду за границу.

Княгиня одобрила ее, но Зина еще разъ убѣдилась, уже въ ея гостиную, что къ этому одобренію княгини отнесится равнодушно...

Прежнее обаяніе на нее окончательно поколеблѣлось.

Отъ границы до Франценсбада она ѣхала и все мечтала о томъ, какъ будетъ готовиться къ осеннему сезону, подберетъ себѣ общество и, наведя справки, побѣдетъ туда, гдѣ „стоить“ быть: въ Трувилъ, Булонъ, Скевенингенъ или Остенде...

Но во Франценсбадѣ ванны разслабили ее сразу,—она простудилась—погода стояла мокрая и холодная,—должна была прервать лѣченіе. Англичанки уѣхали до нея, и она не докончила курса лѣченія, хотѣла даже бѣжать почти тайно отъ своего доктора, который раздражалъ ее смѣшнымъ французскимъ языкомъ и шуточками насчетъ того, что ей надо позаботиться о выходѣ замужъ.

Плоскія прогулки Франценсбада, сѣренькая публика больныхъ женщинъ, въ дешевыхъ ватерпруфахъ, полное отсутствіе изящныхъ мужчинъ, плохонькій театрикъ и, въ послѣдніе десять дней, тягучее одиночество! Она перестала ходить на музыку, избѣгала усиленно всѣхъ дамъ, казавшихся ей русскими, и дошла-таки до того — она, Зина Ногайцева, — что по вечерамъ брала съ собой свою пѣйку-горничную и уходила съ ней гулять въ поля.

Начало ее тянуть къ морю. Она списалась съ двумя дамами; онѣ звали ее въ Остенде. Тамъ она еще не бывала, но знала, что эти морскія купанья „très bien fréquentés“. Сосѣд рѣшительно засѣла въ Россіи. Отецъ поправился, разводъ опять затянулся, такъ что ей надо было остаться тамъ и на осень.

По дорогѣ въ Остенде, Зина остановилась на нѣсколько дней во Франкфуртѣ — заказать себѣ нѣсколько туалетовъ для „plage“; въ Парижъ она одна не хотѣла ѣхать.

Особенно подробно обдумала она три туалета: бѣлое, красное съ цвѣтами и полосатое. Они должны были прибыть слѣдомъ за нею.

И опять знакомыя обманули ее: пріѣхали въ Остенде слишкомъ рано — въ половинѣ русскаго августа, такъ что черезъ недѣлю она осталась одна. Правда, онѣ ее познакомили съ двумя-тремя семействами и съ цѣлымъ десяткомъ молодыхъ людей, но въ семействахъ все дѣвушки лѣтъ по шестнадцать и моложе, — безцвѣтныя, глупенькія или болтливыя, на англійскій ладъ... Молодые люди — очень модные по части башмаковъ, панталонъ, картузовъ, стоячихъ воротничковъ, тоже — такіе ужъ міоши, что у себя дома она каждого изъ нихъ отсылала бы къ под-росткамъ играть, отдѣльно, въ „lawn-tennis“.

Прибыли ея франкфуртскія платья; въ первый же день она — съ ужасомъ! — увидала, что рѣшительно у всѣхъ бѣлые костюмы — сгѣте и полосатые — красные съ синимъ; а красное къ ней не шло, на этой пестрой *digne*. Бѣлый цвѣтъ она возненавидѣла, и все-таки надо было надѣвать всего чаще костюмъ „сгѣте“, потому что онъ шелъ къ ней больше и въ немъ было теплѣе. Море почти пугало ее въ этотъ разъ; два дня она „лихорадила“ — выраженіе ея петербургскаго врача — и взяла нѣсколько теплыхъ ваннъ, въ заведеніи около кургауза.

Обдуманный ею купальный костюмъ тоже не удался: цвѣтъ не шелъ къ ней въ водѣ, да и не было кругомъ

галлерей, которой стоило бы показать себя. Она очень похудѣла къ тому же, плечи опали, выдались ключицы; ноги и руки казались ей уродливо-длинными. Только большая шляпа шла къ ней. Прежде она плавала смѣло, никогда не обращалась къ купальщику или къ купальщицѣ, а тутъ ее начало тревожить особое чувство, въ родѣ бленія сердца, и она брала купальщицу, одну изъ тѣхъ отвратительныхъ бабъ, въ ваточныхъ капотахъ и чепцахъ, отъ которыхъ пахло водкой.

Въ самый бойкій часъ купанья — отъ одиннадцати до полудня — шумъ, поговя за кабинами, лошади, грязные костюмы, валяющіеся по ступенькамъ будочекъ, крики прислуги, возня дѣтей стояли у ней въ ушахъ стономъ, и она хлопотала только о томъ, чтобы поскорѣ выкупаться. Сначала она ходила со своими англичанками, но за ними повадились и молодые люди, и ей стало просто противно глядѣть на ихъ долгиа, худыя фигуры съ глупыми лицами, большими ушами, полуголыя и плоскогрудыя.

Она перемѣнила часы купаній, водила съ собой горничную, — шла совсѣмъ въ другое мѣсто, къ эстакадѣ, и тамъ купалась, среди какихъ-то нѣмцевъ и самого мѣшанскаго вида бельгійцевъ.

Уѣхала и половина ея знакомыхъ. Она очутилась почти совсѣмъ одна и подумала было взять себѣ нѣ-скоро компаньонку; но ее испугала скука разговора съ такой особой, да и дороговизна начинала ее сердить. Разсчетливость, съ тѣхъ поръ, какъ у нея двѣсти тысячъ, скорѣ усилилась въ ней. Въ Hôtel Continental съ нея брали двадцать франковъ за одну комнату, да за горничную она платила пять. Съятаго сентября объявили, что ея комната будетъ ходить за тридцать. У Сосѣ она не знала никакихъ расходовъ на свое житье, кромѣ траты на туалетъ. Теперь за все надо платить. День обходится ей въ семьдесятъ франковъ. Курсъ все падаль.

Зинаида Мартыновна прошла читальней и должна была остановиться у лѣстницы, ведущей на хоры, — такъ сильна была тутъ толкотня. Концертъ былъ уже на исходѣ, и въ танцевальную залу началось обратное движеніе. Въ разряженной толпѣ она, съ самаго пріѣзда на море, испытывала все возрастающее непріятное чувство. Никогда еще ей не казалось такъ ярко то, что она — какъ сотни

какъ тысячи... Ея туалеты—на всѣхъ, выставлены въ магазинахъ, вонъ тамъ, въ Rue de Flandre; точно такого покроя костюмъ стоитъ всего сто франковъ, и каждая буржуазка изъ Брюсселя купить его... При Сосѣ, у себя, въ исключительномъ обществѣ, Зинаидѣ Мартыновѣ казалось, что она на какомъ-то возвышеніи, принадлежитъ, на самомъ дѣлѣ, къ сливкамъ самаго рѣдкаго вкуса... А здѣсь она затеряна, почти затерта, не взирая на свою походку, ростъ, манеру держать голову, свою красоту, наконецъ...

Смотрятъ на нее мужчины, изъ настоящихъ виверовъ, парижане, но какіе взгляды бросаютъ на нее и когда?

Такіе, какъ разнымъ авантюристамъ, и то—когда она одна, а въ обществѣ дѣвицъ-англичанокъ она имѣетъ видъ молодой дамы или старшей сестры, старше ихъ на десять лѣтъ,—почти старой дѣвы.

Веселиться она не только не могла, но даже сочла бы для себя оскорбительнымъ... Вѣдь въ этой публикѣ кого-кого только нѣтъ! Танцевальныя вечера въ кургаузѣ—это просто танцклассы, гдѣ толкутся двѣсти паръ и безпрестанно барышнями съ барышнями, какъ въ нѣмецкихъ Kränzchen. На болѣе тонныя вечера въ казино она не можетъ ѣздить одна, а со своими „бакъ-фишами“ ей скучно: придется выносить ихъ кавалеровъ, уродливо танцующихъ вальсъ и допотопную „редову“.

Съ трудомъ пробралась она черезъ хвостъ входившихъ въ танцевальную залу; сквозной вѣтеръ беспокоилъ ее; она просто не знала, какъ ей добратся все до того же надоевшаго ей семейства—оно сидитъ около самой эстрады и дослушиваетъ, съ раскрытыми ртами и потными лицами, вариаци на пистонѣ.

Она хотѣла бы повернуть въ бильярдныя... Но тамъ—завѣдомыя кокетки. Она ихъ всѣхъ признала—и очень дорогихъ, и попроще—и съ тѣхъ поръ начала бояться, чтобы вечеромъ, на дигѣ, когда ей случалось дойти одной до своего отеля, кто-нибудь не пошелъ за ней, не принялъ ее за одну изъ нихъ.

Но ей было, именно сегодня, такъ тошно въ толпѣ, что она не стала искать знакомыхъ, а взяла лѣвѣе и, черезъ ресторанъ, вышла на наружную террасу. Вѣтеръ уже не пугалъ ея: она хотѣла остаться одна, куда-нибудь хотъ провалиться. На плечи накинула она платокъ, сбѣжала съ террасы, пересѣкла дигу и по каменнымъ ступенямъ

одного изъ сходовъ къ морю спустилась на влажный песокъ, убитый морскимъ прибоемъ.

Отливъ оставилъ широкую полосу вдоль всей набережной. Мѣсяцъ только что выплылъ, и гладкая поверхность песчаного полотна слегка лоснилась отъ луннаго мерцанія.

Ногамъ ея сдѣлалось мягко; она шагала скоро и далеко ушла къ морю, поднялась на одинъ изъ выступовъ, успѣвшихъ обсохнуть, стала лицомъ къ кургаузу и долго глядѣла на него.

Зданіе, все прозрачное, съ матовымъ свѣтомъ своихъ стеклянныхъ рамъ, глядѣло издали огромнымъ воздушнымъ шаромъ, спущеннымъ на землю. Линія фонарей по дигѣ, освѣщенные нижніе этажи, электрическое солнце на одномъ изъ балконовъ, тѣни гуляющихъ по набережной, имѣли въ себѣ что-то величавое, въ своей ночной нарядности. Такую обстановку вѣдь и нужно для нея, для величавой Зины Ногайцевой...

А вотъ она одиноко ходить по морскому песку, затерянная, чужая, подавленная, жалкая сама себѣ, безъ вкуса къ чему бы то ни было; въ головѣ у нея — никакихъ прежнихъ красивыхъ перспективъ жизни; на душѣ — тупая боль; тѣло ея не чувствуетъ бодрости, даже отъ дыханія моря, отхлынувшаго къ ночи, но все еще гулкого и перекатистаго.

Слѣва отъ нея мелькнулъ маякъ и бросилъ полосу свѣта. Зина едва не разрыдалась.

Х.

Послѣ десяти часовъ потянулась публика внизъ, по Rue de Flandre. Танцевальный вечеръ подходилъ къ концу. Мѣстная мода и потребность посидѣть еще на виду у всѣхъ гнали каждый вечеръ въ самую бойкую кофейню, Норрепепе, на перекресткѣ, съ большимъ открытымъ окномъ-балкономъ.

Уже съ проходной комнаты, гдѣ кондитерская, тѣснота къ одиннадцати часамъ дѣлалась чрезвычайная. Тутъ, стоя, ѣли пирожки тѣ, кто замѣнялъ сладкой ѣдой на-стоящій ужинъ. Слѣдующія двѣ комнаты — первая съ гро-томъ въ глубинѣ и вторая — двумя ступеньками повыше, съ балкономъ — усыпаны были, около всѣхъ столиковъ, вернувшимися изъ кургауза. Гарсоны бѣгали безъ устали и разносили на подносахъ напитки, больше съ соломин-ками, въ высокихъ бокалахъ.

Передь балкономъ, на улицѣ, шло движеніе, точно въ коридорѣ; подь открытымъ небомъ — только одно пѣшее. Въ этотъ часъ развѣ отельный омнибусъ проѣдетъ съ желѣзной дороги. Уличные мальчишки, городскія женщины, въ своихъ темныхъ плащахъ съ капюшонами и черныхъ чепцахъ, останавливались передь блестящей кофейной. Тутъ же, на самомъ перекресткѣ, итальянская семья — мужъ, жена и мальчикъ съ дѣвочкой — размѣстились съ механическимъ піанино на колесахъ. Отецъ и мать попеременно вертѣли за ручку. Дѣвочка, короткая, совсѣмъ четырехугольная, въ римскомъ костюмѣ, съ фартукомъ и цвѣтной тряпкой, наложенной на голову, шныряла, покачиваясь на кривыхъ ногахъ, между проходящими, и совала всѣмъ продолговатую жестянку съ подвижной крышкой. Монеты исчезали внутрь, а она все потряхивала жестянкой, и звукъ ея сливался съ деревяннымъ ритмомъ піанино, которое выдѣлывало вальсъ „Il bassio“.

Съ самаго открытія сезона „Норрепу“ такъ еще не торговалъ, какъ въ этотъ вечеръ.

Потянуло туда и Зинаиду Мартыновну. Внизу, на морскомъ песку, она озибла, хотя и куталась въ свой плюшевый платокъ. Ее на этотъ разъ не остановилъ даже вопросъ:

„Какъ же это я, одна, пойду въ кафѣ, гдѣ масса мужчинъ, и одиѣ являются только подозрительныя женщины?“

Ей сдѣлалось какъ-то „все равно“, и даже захотѣлось начать, въ самомъ дѣлѣ, пользоваться полнѣйшей свободой. И для кого будетъ она подтягивать себя и соблюдать приличія здѣсь? Не для тѣхъ же „бѣлобрысыхъ“ мальчугановъ-англичанъ, на которыхъ она смотритъ сверху внизъ? Да и въ такой тѣснотѣ, какая бываетъ у Норрепу, можно ли узнать сразу, одна она сидитъ или съ обществомъ?... Помѣститься къ столу, гдѣ дамы попорядочнѣе...

Въ кондитерскую она вошла своей обычной, немного колеблющейся, походкой, сладостей ѣсть не захотѣла, остановила гарсона съ выстриженной подь гребенку бѣлокурой головой, заказала себѣ „шерри-кбблеръ“ и потребовала провести себя въ дальнюю комнату, къ балкону.

Тамъ нашлось еще два мѣста, въ самомъ углу — около маленькаго столика. Туда пробраться можно было съ тру-

домъ; за столами побольше сидѣло два общества: одно почти исключительно изъ дамъ и дѣвицъ, пришедшихъ съ танцевъ, а другое—компанія нѣмецкихъ банкирскихъ сыновей, съ большими носами, франтоватыхъ на особый ладъ, и съ ними молодая, красивая, въ крашенныхъ волосахъ, нѣмка съ накинутой на плечи пардессю изъ шали, въ тяжеломъ шелковомъ платьѣ и высокой шляпѣ, которая казалась составленной изъ однихъ цвѣтовъ. Она держала себя скорѣе чопорно, но въ ней сидѣло, на опытный взглядъ, что-то разительно отзывающееся гамбургской Юнгферштиге. По тому, какъ относился къ ней самый шумный изъ нѣмцевъ, можно было легко догадаться, что эта чета справляетъ свой медовый мѣсяцъ.

Зина все это поняла, но не испугалась такого сосѣдства. Столъ нѣмцевъ оказался ближайшимъ отъ ея столика. Ей пришлось сидѣть одной; другой стулъ около круглаго столика оставался пустымъ; но она могла почти укрыться за зеленью, чего она, однако, не пожелала дѣлать. Она осмотрѣла и всю комнату, вглубь, нашла, что всѣ женщины были порядочнаго или, по крайней мѣрѣ, не подозрительнаго вида и тона. Только одна, болѣе шумная, группа, за дальнимъ столомъ, выдѣлялась и оставалась на себѣ ея взглядъ.

Крупныхъ формъ брюнетка, лѣтъ за тридцать, вся въ черномъ, съ широкимъ напудреннымъ лицомъ и крашеными губами, но еще довольно свѣжая, и съ ней чловѣка четыре мужчинъ. Зинѣ показалось, что они — русскіе... Нѣсколько фразъ, долетѣвшихъ оттуда, — французскихъ фразъ, — отзывались произношеніемъ, какого она достаточно наслышалась въ Петербургѣ. Двое были красны и сильно жестикулировали; вѣроятно, пообѣдали слишкомъ хорошо.

Въ дверяхъ стоялъ очень высокаго роста мужчина. На немъ мягкая, темная шляпа, смятенная въ тульѣ, желтоватый, въ мелкую клѣтку, англійскій костюмъ и свѣтлый галстукъ. Лицо длинное, съ русой бородкой.

Машинально Зина подалась назадъ, за косякъ, въ темноту растений, обставлявшихъ весь уголъ веранды; но сейчасъ же овладѣла собою и застыла въ напряженной, жесткой позѣ.

Въ эту минуту ей подали ея шерри-кѣбблеръ. Она взяла одну изъ соломинокъ въ ротъ и стала тянуть холодную темную жидкость и глазъ не опускала.

Это онъ, Рынинъ!.. Вошелъ, сталъ въ дверяхъ, бокомъ, чтобы не мѣшать проходящимъ, и оглядѣлъ, какъ будто разсѣянно, всю комнату. Поворачивалъ голову и въ ея сторону. У нея захватило дыханіе. Вотъ онъ сейчасъ подойдетъ къ ней!.. Нѣтъ, обернулъ голову, но что-то едва уловимое мелькнуло у него въ лицѣ, что она схватила, — сдѣлалъ два шага позади гарсона. Та женщина въ черномъ — теперь Зина видитъ, что это французенка — изъ такихъ, которыхъ называютъ „la vieille garde“ — его узнала, для него встала во весь ростъ, дѣлаетъ ему знаки и головой, и даже рукой, по-парижски. Онъ тоже ей кланяется, — не такъ, какъ кланяются, когда въ первый разъ видятся; вѣрно, они уже встрѣчались сегодня же, гдѣ-нибудь тамъ, въ бильярдныхъ кургауза.

Зина все тянула изъ соломинки, а взглядъ ея шелъ черезъ головы сидѣвшихъ передъ ней. Волненіе ея не унималось, и это всего больше сердило ее. Онъ ее узналъ, и не пожелалъ даже сразу поклониться; но онъ подойдетъ. И находитъ онъ ее здѣсь, одну, за столикомъ, съ соломинкой во рту, въ двухъ шагахъ отъ нѣмки-куртизанки. Точно она сама кого-то ждетъ... Какой ужасъ!

Вмѣстѣ съ французенкой поднялся и одинъ изъ ея кавалеровъ съ петербургскими бакенбардами и большими глазами навывкатъ, нѣлитыми виномъ. Онъ тоже поклонился Рынину шумно и крикнулъ съ дурнымъ акцентомъ:

— Ici, ici!..

Вошедшій мужчина былъ дѣйствительно Парменій Никитичъ. Онъ второй день уже жилъ въ Остенде, зная, что Зина здѣсь, и не искалъ ея усиленно, но сказалъ себѣ, что въ теченіе двухъ сутокъ онъ долженъ ее встрѣтить на улицѣ, во время купанья, въ кургаузѣ. Самъ онъ не мечталъ о такой встрѣчѣ, — въ этой толпѣ, за столикомъ, съ соломинкой, совершенно одна.

Рынинъ пошелъ сначала на зовъ русской компаніи и мимическое приглашеніе французенки. Мужчины были инженеры, пріѣхавшіе съ какого-то конгресса. Одного изъ нихъ онъ зналъ еще съ восточной войны. Съ нимъ столкнулся онъ въ бильярдной, гдѣ возобновили знакомство и съ Діаной, извѣстной всему Петербургу. Діана больше пяти лѣтъ выставляла себя въ ложѣ Михайловскаго театра. Въ бильярдной она успѣла ему сообщить, дѣловымъ пріятельскимъ тономъ, — Рынинъ у нея на дому

никогда не бывалъ, — что она покончила съ Петербургомъ, потому что ея послѣдній покровитель — румынскій финансистъ — „а été exécuté“ на биржѣ, и Петербургъ вообще сталъ никуда негоднымъ, „infecte“; въ маѣ продала она всю свою движимость: экипажи, мебель, ковры, все, черезъ своего „homme d'affaires“ Спросила она его, между прочимъ, не былъ ли онъ на этомъ аукціонѣ, и пригласила къ себѣ въ Парижъ, гдѣ она взяла „un petit pied à terre“, до переѣзда въ Ниццу, если не будетъ тамъ холеры.

Рынинъ сейчасъ же ей замѣтилъ, — безцеремонно, дерзко, переходя самъ на „ты“, хотя она держалась тона дамы: — Tu as filé?!

И доказалъ ей, что она потому не осталась сама продавать свои вещи, что зарвалась въ долги. Діана хотѣла было сказать ему рѣзкость, однако, воздержалась. Она его считала если не богатымъ, то съ большими связями въ обществѣ. Она удовольствовалась тѣмъ, что при инженерахъ сосчитала, сколько она прожила въ Петербургѣ въ пять лѣтъ:

— Deux cents mille roubles, — выговорила она безъ хвастовства.

Подгулявшій инженеръ закричалъ даже:

— Мое почтенье!

Рынинъ повѣрилъ ей, чѣмъ она осталась довольна и сказала ему:

— A la bonne heure!..

Зина подняла голову. Неужели она его боится? Онъ сталъ къ ней спиной, заговорилъ съ француженкой, не такъ громко, какъ эти шумные русскіе, но громче, чѣмъ иностранцы, даже и въ этотъ часъ, въ модномъ кафѣ. Она не могла слышать, что онъ говорилъ; тонъ у него былъ увѣренный, отрывистый, барскій. Да и вся его фигура, въ штатскомъ, очень выиграла; пропала излишняя сухость и жесткость посадки, талья выше, плечи не такъ торчать, лицо бѣлѣе и чище, борода красить его, волосы изъ-подъ шляпы онъ выпустилъ; они слегка курчавятся...

Болѣе мужчиной казался онъ ей, чѣмъ всѣ мужчины, какіе были тутъ, и болѣе „въ стилѣ“, чѣмъ всѣ они; нельзя его принять ни за кого, кромѣ „знатнаго иностранца“, какъ шутъ Теняшевъ говаривалъ, описывая ей разныя торжества.

Волненіе ея не проходило. Рынинъ поговорилъ съ Діаной, кинулъ нѣсколько словъ двоимъ изъ группы русскихъ. Къ нимъ онъ не присѣлъ, а повернулся.

Она было закрыла глаза, и тотчасъ съ усиліемъ раскрыла ихъ, да такъ и сидѣла, надъ своимъ наполовину допитымъ бокаломъ, полнымъ мелкихъ кусочковъ льду. Она глядѣла на него, не моргала, не дѣлала никакого жеста головой. Рынинъ обернулся къ ней лицомъ, подался на два шага впередъ, поклонился ей, приподнялъ даже шляпу, но слегка, съ улыбочкой, въ родѣ той, какая была у него на платформѣ петербургской дороги. Что-то и еще новое распознала она въ этой усмѣшкѣ. Онъ пробирался къ ней, безъ всякой поспѣшности, радости или удивленія, точно это гдѣ-нибудь на балѣ или въ Павловскѣ, на музыкѣ.

Вотъ онъ ужъ около нея, въ узкомъ проходѣ, поглядѣлъ на нѣмку, усмѣхнулся и опять ей кивнулъ... Этотъ кивокъ заставилъ ее покраснѣть: до такой степени она сочла его безцеремоннымъ.

— Зинаида Мартыновна, — раздался его голосъ настолько громко, что русская группа могла слышать. — Вотъ судьба!..

Рынинъ сѣлъ около нея, даже не спросилъ позволенія, спиной къ нѣмецкому столу, еще разъ приподнялъ шляпу и протянулъ руку.

Зина держала свою соломинку въ зубахъ и чувствовала, что ея поза дѣлается или глупой, или запросто пріятельской, что было еще недопустимѣе, еще ужаснѣе.

Она выпустила изо рта соломинку и сказала тихо, боясь, что голосъ у нея дрогнетъ:

— Здравствуйте, Рынинъ.

Какъ у нея вышло это „Рынинъ“, безъ прибавки „monsieur“, она сама не могла понять.

Это ей показало, что она уже не вполне владѣетъ собой. Вдругъ какъ опять повторится сцена на платформѣ?!

Онъ вынулъ серебряный портсигаръ, спички, небрежно сказалъ:

— Вы позволите?

Послѣ того сейчасъ же закурилъ и крикнулъ гарсону:

— Un américain!

Наклонившись къ ней, онъ вслѣдъ затѣмъ спросилъ:

— А вы что же не держитесь вашей британской привычки: прогъ на ночь изъ коньяку?

Она не взвиздѣлась, какъ онъ уже облокотился на столъ, нагнувъ къ ней свое лицо близко-близко и заговорилъ съ ней совершенно по-новому, еще возмутительнѣе, чѣмъ въ Петергофѣ. Она прекрасно поняла, что этакъ говорятъ только съ такими дамами, какъ вонъ та нѣмка или француженка.

— Вы не знаете Діанку?—спросилъ онъ. — Ту?.. Толстую?.. Она отслужила свой срокъ. И какіе наши соотечественники—шалопай. Двѣсти тысячъ такая тварь проѣла, въ пять зимъ, русскихъ рублей. Двѣсти тысячъ! — какъ разъ ваше приданое. Вѣдь такъ кажется?

Что ей было дѣлать? Разговоръ онъ завелъ нарочно по-русски, и тираду о Діанѣ выговорилъ тише, такъ, что, кромѣ нея, не могъ никто разслышать; но что же ей отвѣчать, какъ вести себя? Сейчасъ встать, крикнуть ему, что онъ—нахаль, что онъ пьянъ?!

Она бы это, быть-можетъ, сдѣлала, если бъ они были тутъ единственные русскіе: свой языкъ облегчалъ ей такое поведеніе. Но тѣ, подкутившіе русскіе съ „Діанкой“?.. Вѣдь и она, навѣрно, пойметъ энергичные русскіе возгласы.

Ударило въ ноги, отъ колѣнъ до щиколотокъ, и вдругъ показалось ей, что обѣ ноги отнялись, да и языкъ также. Это возможно. Еще Лукашинъ—положимъ, онъ идиотъ — сказалъ ей разъ:

— Смотрите, милая барышня, не будете беречь себя, сразу такая апатезія сдѣлается, — она и ученое слово помнила, — что ни ногъ, ни языка, и такъ недѣли проваляется... За примѣрами не бѣгать!

— Что съ вами, Зинаида Мартыновна?.. Не нравится мой тонъ?..—сказалъ онъ это уже нѣсколько по-другому.

— Я не знаю, — еле сумѣла она спросить, — что вамъ отъ меня угодно?..

Больше она ничего не смогла выговорить. Вся ея внутренняя работа надъ собой пошла на то, чтобы остаться крѣпкой физически, уйти самой, безъ его помощи, не упасть, не ослабѣть, не получить сильнаго головокруженія. Она съ радостью взяла бы и выпила залпомъ стаканъ грогу, вотъ тотъ самый „américain“, который Рынинъ заказалъ; отъ ея холоднаго напитка только жгло въ груди и было немного тошно.

— Вотъ, пріѣхалъ узнать про ваше здоровье,—отвѣтилъ Рынинъ опять по-другому, откинулъ свою голову и весь

стантъ назадъ, даже немного отодвинуть свой стулъ и положить папиросу на край столика.

— Вашимъ лицомъ, общимъ видомъ я недоволенъ, Зинаида Мартыновна,—продолжалъ онъ уже совсѣмъ просто, тономъ добраго знакомаго, не очень молодого, — не ухаживателя, а петербуржца, изъ ихъ пріятелей, котораго Сосѣ послала за границу узнать, какъ идетъ лѣчение Зины на морскомъ берегу.

Эта переимѣна тона и обращенія вызвала въ ней странное чувство, для нея самой странное: какъ будто она этому обрадовалась, что вотъ хоть не выйдетъ скандала, не должна она будетъ повести себя съ нимъ, какъ съ нахаломъ... И сознаніе его силы, выдержки, свободы, съ какой онъ перешелъ къ такому тону, не бѣсило ее, не обижало; она не желала тягаться съ нимъ, была довольна уже и тѣмъ, что „все это“ можетъ обойтись прилично.

— Вамъ здѣсь одной, я думаю, очень неудобно?

Эта фраза была имъ сказана почти съ участіемъ и опять безъ сладости, не въ тонѣ ухаживателя.

Она ему отвѣтила жестомъ головы, что онъ не ошибается.

— Да и сурово; вѣтры такіе, что даже меня вчера чуть съ ногъ не сшибло. Вамъ бы поблизости, въ Бланкенберге, часъ ѣзды отсюда. Тамъ хорошо, я былъ...

„Искалъ меня?“—вдругъ всталъ у нея въ головѣ, самъ собою, этотъ вопросъ, и ей это не было непріятно. Зачѣмъ онъ вдругъ очутился здѣсь? Навѣрно, узналъ онъ отъ Теняшева и поѣхалъ „на авось“. Вѣдь онъ не могъ же не знать, какъ онъ ей не нравился тамъ, въ Петергофѣ, и все-таки поѣхалъ.

Будь это шесть недѣль передъ тѣмъ, она бы, кромѣ презрѣнія, ничего не ощутила къ этому „coureur de dotes“. Вотъ, сейчасъ, онъ самъ еще дерзилъ ей насчетъ двухсотъ тысячъ приданаго, а она его все-таки не считаетъ теперь искателемъ невѣстъ, un roublard...

— Кто васъ пустилъ?—спросила вдругъ она и не ласково, и не рѣзко.

— Вы хотите спросить, какъ я отъ маневровъ отдѣлался?—просто отвѣтилъ онъ.—Они только что отошли... Вотъ видите, уѣхалъ... въ двадцати-восьми-дневный отпускъ...

Глаза его подсказали ей: „сердиться тутъ нечего!“

На улицѣ механическое піанино итальянца опять забабанило своими клавишами вальсъ „Il basso“.

— Какая старина!—выговорила она съ гримаской.

— Что жъ такое?—возразилъ онъ почти кротко.—Мнѣ это напоминаетъ дѣтство... Въ Гейдельбергѣ... мы, мальчики, все ходили вечеромъ по Anlage и распѣвали, перевирали итальянскія слова... Было модно, теперь старомодно... И все вотъ это... весь этотъ „pschutt“, — и онъ обвелъ глазами публику кафѣ,—тоже будетъ старомоднымъ, не лучше „Il basso“... Будто въ этомъ вся цѣна жизни... Зинаида Мартыновна?

Замѣчаніе было не ново и не особенно остроумно, но подходило къ ея недавнему настроенію. Вотъ и она — какъ обдумывала свои туалеты „rouge la lèvre“, —пріѣхала и увидала, что они на всѣхъ, и даже вотъ та нѣмка одѣта по-своему, хоть грубо, да оригинальнѣе ея...

Этотъ высокій, сильный, характерный русскій мужчина былъ уже ей гораздо ближе, чѣмъ вся здѣшняя людная толпа.

„А заболѣю? Упаду гдѣ-нибудь на набережной или наткнусь на оскорбленіе?.. Вѣдь къ нему же надо будетъ обратиться. Да онъ и самъ первый вызовется“.

Истома, поплывшая по всѣмъ ея членамъ, вызвала въ ней, впервые, потребность женщины, только наружно здоровой и ни въ комъ не нуждающейся, опереться о крѣпкую, властную руку...

Она смягчилась и почти ласково взглянула на него.

XI.

На Воробьевыхъ горахъ, у ресторана, стояли двѣ коляски и нѣсколько дрожекъ. По террасѣ, за столами, размѣстились посѣтители; въ этотъ до-обѣденный часъ ихъ всего больше привлекаетъ видъ на Москву.

Немного свѣжеватый іюньскій день, съ пушистыми облачками, рѣдко посыпанными по блѣдному еще небу, позволялъ, однакожъ, налюбоваться вдоволь на картину... Она только съ этой высоты выступаетъ во всей полнотѣ...

На шпикатѣ храма Спаса золото горѣло въ лучахъ, не задержанныхъ облачками. Нѣжная дымка поднималась надъ скученной вдаль массой стѣнъ, колоколенъ, церквей, фасадовъ, темнѣющихъ купъ въ садахъ и цѣлыхъ роцъ. На первомъ планѣ, внизу, Новодѣвичій монастырь рѣзко поднималъ въ воздухѣ свою темноокрасную ограду съ бой-

ницами и зубцами. Справа, Нескучный садъ спускался зелеными террасами и вдали дворецъ надъ болѣе блѣдной площадкой пологого двѣтника. Въ зелени стояла и Мамонова дача. Извивы рѣки омывали луговину подь монастыремъ. По ней ѣхала пролетка къ перевозу, противъ трактира, стоящаго у самого берега, наискосокъ купальни.

На террасѣ, въ одномъ углу, сидѣло человѣкъ пять нѣмцевъ; одинъ былъ мѣстный, московскій; остальные — заѣзжіе, иностранцы. Онъ имъ только что все показывалъ и объяснялъ на картѣ. Теперь они, весело, точно отработали срочную работу, разсѣлись вокругъ стола, ѣли и чокались пивомъ.

Русская барыня, въ осеннемъ бурнусѣ, задумчиво смотрѣла вдаль, съ приподнятыми бровями. Нѣмецкій разговоръ, перемѣшанный со смѣхомъ, слышался и въ лѣвомъ углу, гдѣ двѣ молодыхъ особы, нарядныя на особый ладъ, уже переглядывались съ компаніей мужчинъ.

По крутому, обвалившемуся спуску, съ первой площадки, подь террасой ресторана, поднимался высокаго роста военный и велъ даму подь-руку, тоже рослую.

Военный былъ Рынинъ. Онъ послѣ адъютантскую форму, съ штабъ-офицерскими эполетами на скюртукѣ. Въ тѣлѣ онъ немного раздался и держалъ свой станъ не такъ жестко, какъ годъ назадъ; борода, подстриженная на щекахъ, придавала его уже загорѣлому лицу больше тонкости и вообще очень мѣняла его.

Рынинъ велъ въ гору жену свою, Зинаиду Мартыновну. Она измѣнилась гораздо сильнѣе его: пополнила въ груди и талии, лицо точно отекло немного, было все такое же блѣдное, немного изжелта; глаза смотрѣли менѣе выразительно и строго; ротъ держала она полуоткрытымъ, почти болѣзненно. Строе шерстяное платье, отдѣланное шерстяными кружевами, такая же шляпка, не особенно высокая, и короткая пелеринка, стянутая въ плечахъ, составляли ея туалетъ. Она держала зонтикъ на правомъ плечѣ, почти не защищала себя отъ солнца. Мужъ придерживалъ ее крѣпко рукой своей; онъ чувствовалъ, что поднимается она тяжело и сгибается на ходу колѣни.

— Qu' as-tu? — спросилъ онъ ее и остановился на половинѣ подъема.

— Rien, — отвѣтила она небрежно, скучающимъ тономъ.

Болѣзни или слабости отъ того, что она беременна, Рынинъ не боялся; онъ зналъ, что въ ея положеніи до

сихъ поръ ничего еще нѣтъ радостнаго для него, какъ для будущаго отца; дѣтей Рынинъ сильно желалъ, и непремѣнно мальчика: онъ былъ послѣдній въ своей вѣтви рода Рыниныхъ.

Передъ тѣмъ, и внизу, и на крутизнѣ, пониже и наверху, въ ресторанѣ, гдѣ они немножко закусили, онъ заставлялъ ее любоваться Москвой. Зина глядѣла на все равнодушно и сказала разъ:

— Oui, c'est assez bien!

Съ тѣхъ поръ, какъ они въ Россіи, Зина при постороннихъ, въ публикѣ, на прогулкахъ, употребляла исключительно французскій языкъ. Мужъ это выносилъ, но почти принуждалъ ее вести разговоръ по-русски, когда они оставались вдвоемъ дома или въ мужскомъ обществѣ.

Наверху Зинаида Мартыновна съ усиліемъ отдышалась.

— Развѣ такъ тяжело?—спросилъ Рынинъ и поглядѣлъ на нее со снисходительной усмѣшкой старшаго.

Отъ такой именно усмѣшки ее всю поводило.

Въ ресторанѣ они не вошли, остановились на подъѣздѣ.

Рынинъ крикнулъ кучеру наемной щегольской коляски:

— Подавай!..

Подсаживая жену, онъ сказалъ ей въ шутиломъ тонѣ:

— Madame n'est pas patriote!

Она ничего не замѣтила на это, сѣла глубоко въ уголъ и протянула ноги въ усталой позѣ. Ноги мужъ покрылъ ей одѣяломъ; ей было зябко и она находила, что воздухъ осенній.

Лошади взяли съ мѣста чуть не вскачь. Зинаида Мартыновна пугливо подалась впередъ и схватилась руками за край коляски.

— Осторожнѣе, братецъ! — окрикнулъ кучера Рынинъ.

Она опять опустилась, и ей стало тутъ же досадно на себя: съ какой стати дѣлается она такой трусихой.

„Comme c'est russe!“—презрительно добавила она про себя.

Прежней дѣвичьей неустрашимости и выдержки у нея уже не было съ тѣхъ поръ, какъ она замужемъ и перешла на житье въ Россію.

Мужъ и жена сидѣли рядомъ, по своимъ угламъ, и между ними не замѣчалось ничего, что бы скрашивало имъ эту поѣздку. Онъ повезъ ее на Воробьевы горы, какъ возилъ ее уже и въ другія мѣста: въ Кусково, въ Остан-

кино, въ Ильинское, въ Царицыно; заставлялъ ходить по соборамъ и Оружейной палатѣ... Въ Кремлѣ, въ первый осмотръ, Зина находила кое-что „drôle“, но, во второй, начала сильно тяготиться. А Рынинъ точно заново изучалъ святыню и старину Москвы и ея окрестностей, находилъ ее красивѣе всѣхъ городовъ Европы, впадалъ даже въ особенный и для нея новый тонъ, когда говорилъ съ ней объ исторіи Москвы.

Глаза Зины разсѣянно глядѣли по сторонамъ... Она уже знала, гдѣ стояла и Мамонова дача. Тамъ, годъ назадъ, сидѣлъ отецъ ея... Мужъ предложилъ ей осмотрѣть и это заведеніе, послѣ прогулки по Нескучному съ его дворцомъ. Она отказалась.

Вторую недѣлю какъ они въ Москвѣ... Она видѣлась уже и съ отцомъ, и съ матерью. Мужъ почти настаивалъ на томъ, чтобы она сдѣлала все, „какъ прилично дочери“. Не было, собственно, никакой надобности непременно останавливаться въ Москвѣ, или онъ могъ одинъ поѣхать по дѣлу о покупкѣ родового имѣнія своего, Ширяева, у купца, который теперь попался въ чемъ-то и продаетъ на скорую руку...

По мужъ—не Сосѣ... Онъ рѣшилъ, что такъ „слѣдуетъ поступить“—и повезъ ее къ родителямъ; почтительно отнеся и къ Мартыну Лукичу, поѣхалъ и къ Людмилѣ Мионовнѣ, послѣ чего онъ отправилъ къ ней Зину, сказавши ей при этомъ:

— Не мнѣ же ѣхать одному безъ тебя? Это было бы, съ твоей стороны, постыднымъ малодушіемъ.

Такимъ слогомъ и всегда по-русски объяснялся онъ съ женой съ-глазу-на-глазъ.

Никогда и нигдѣ, даже съ тѣхъ поръ, какъ она замужемъ, не чувствовала себя Зина до такой степени женой, замужней барыней, подполковницей, подъ опекой и подъ руководствомъ мужа... На нее здѣсь напала небывалая вялость, какое-то безволіе, скрытое, вогнанное внутрь раздраженіе и недовольство всѣмъ. Во-первыхъ, всѣмъ русскимъ:—долгой перспективой житія въ русскихъ городахъ, а можетъ-быть, и въ деревнѣ, и—этой Москвой: разъѣздами по окрестностямъ, осматриваніемъ старины, а еще больше—сознаніемъ того, что она—дочь Мартына Погайцева, безпутнаго и полусумасшедшаго, котораго теперь выпускаютъ, хоть онъ и живетъ еще у доктора-психіатра, въ Сокольникахъ. Туда они и ѣхали. Еще

сильнѣе давило ее и то, что ея мать—„Богъ знаетъ кто“, состарѣвшаяся, разбитая, смѣшная, въ ея глазахъ, отставная танцовщица. Въ „такомъ видѣ“ и она ея не представляла себѣ. И вотъ, десять дней тому назадъ, она все это на себѣ испытала: и квартиру, и видъ этой женщины, и ея языкъ, и все, все!.. Сейчасъ бы уѣхала она изъ этой Москвы, и уже, разумѣется, не въ деревню,—о ней она думала съ дрожью,—а за границу. Но вѣдь это не то, что изъ Петербурга прошлымъ лѣтомъ, ровно годъ назадъ. У нея мужъ. Онъ не пуститъ. Паспорта не дастъ. Да и туда ѣхать вѣтъ у нея особой охоты. Сосѣд—въ Америкѣ... Богъ знаетъ, когда вернется; развѣ вотъ, если старику Куну сдѣлается опять очень худо... Европа для нея, Зинаиды Мартыновны Рыниной,—уже не та. Гдѣ она жила бы, и съ кѣмъ?

„Поздно локти кусать!“

Это она выговорила мысленно, по-русски, и съ самаго пріѣзда въ Москву, Зина, каждый день, перебирала то: какъ она вышла замужъ, и почему мужъ ея—Рынинъ, тотъ самый „прыщавый офицеръ“, который былъ ей такъ противенъ, даже физически.

Вотъ онъ сидитъ рядомъ, смотреть вдаль, тихо улыбается, доволенъ погодой, Москвой, своей осанкой и все такимъ же длиннымъ козырькомъ, который онъ носить изъ желанія придать себѣ особенный „genre“...

Его теперь не сдвинешь: онъ идетъ по своей доскѣ твердо, оставилъ строевую службу, какъ только женился, перечислился по армейской кавалеріи, состоитъ въ такомъ вѣдомствѣ, гдѣ его непременно одѣняютъ и дадутъ ему ходъ.

Здѣсь онъ сдѣлалъ нѣсколько важныхъ визитовъ и еще больше преисполнился серьезности. Ёдетъ выкупать родовое имѣніе, мечтаетъ объ этомъ, говоритъ, закрывая глаза, о „могилѣ родителей“, надѣется на какія-то новыя права, къ столѣтію дворянской грамоты,—быть-можетъ, на княжество! Онъ уже не разъ заводилъ рѣчь о томъ, что Рынины были князьями, да утратили титулъ, а средствъ не было произвести всѣ геральдическія справки. Ему уже видится карточка, гдѣ будетъ стоять славянской вязью: „князь Парменій Никитичъ Рынинъ-Ширяевскій“, по имени села.

И она сама, Зина, дала ему средства; это рѣшеное дѣло, и теперь ей нельзя уже попятиться... Нечего и ду-

мать!.. А ей-то какая отъ того благодать предстоптъ, что имѣніе будетъ принадлежать ему и перейдетъ въ его родъ, если они останутся бездѣтны? Сорокъ тысячъ! Одна пятая ея капитала...

Это случилось такъ же незамѣтно и быстро, какъ и ея выходъ замужъ.

„Все“ пошло съ того „идіотскаго“ вечера въ кондитерской Норрепеу, въ Остенде. Онъ очутился въ ея друзьяхъ, точно покровителемъ и менторомъ, сталъ ей толковать все на ту тему, что вотъ она, при всѣхъ своихъ „стиляхъ“ и „тонахъ“, не имѣстъ подъ ногами никакой „почвы“. Слово „почва“ совадь онъ всюду и достигъ того, что и она начала какъ будто чувствовать отсутствіе подъ собой почвы. Сразу, почти съ того самаго вечера, она подчинилась ему, какъ сильному мужчине, и начало ее влечь къ нему, не любовнымъ влеченіемъ, даже не тѣмъ, что на языкѣ ея кавалеровъ называлось „un caprice“. Что-то другое: вѣщній авторитетъ и усталость довольно уже долгой дѣвической жизни, боязнь состарѣться,—такъ она себя это теперь объясняетъ...

Вернулась Сосѣ изъ Россіи. Онъ уѣхалъ передъ тѣмъ, почти ея женихомъ. Стало ей у Сосѣ ужасно шумно и безтолково житья, въ приготовленіяхъ къ новой свадьбѣ... Цѣлые дни Сосѣ, когда получила разводъ, запиралась съ своимъ женихомъ, или поскачетъ съ нимъ: то туда, то сюда, въ Парижъ, Франкфуртъ, Швейцарію, Вѣну, Берлинъ... Съ ними Зина не ѣздила; ей даже и смотрѣть на нихъ было тошно. И этотъ „rastaquouère“, новый нареченный Сосѣ, казался ей такимъ „комишкой“, франтомъ-контористомъ, ничтожнымъ „разночинецъ“; такъ его опредѣлили и Рынинъ, проведя съ нимъ одинъ вечеръ передъ своимъ отъѣздомъ. Фигура дерзкаго офицера все росла въ ея сильно заскучавшей головѣ... Она начала получать отъ него письма. Писалъ онъ умно, зло, занимательно; сначала она отвѣчала рѣдко,—потомъ втинулась. Свадьба Сосѣ толкнула ее дальше. Молодые уѣхали, „разумѣется“, въ Италію; ее оставили опять съ англичанками, съ тѣми, которыя пріѣлисъ ей достаточно и во Франкфуртъ. Княгиня Трубочевская переселилась въ Ментонъ, да если бѣ жила и все въ томъ же курортѣ, она сама не могла бы уже играть при ней роль добровольной чтицы.

Къ веснѣ ей вдругъ захотѣлось въ Россію. Она сама

заговорила объ отцѣ, о свиданіи съ матерью... Сосѡ прослезилась... Тутъ случился опять Лукашинъ со старикомъ Куномъ, на возвратномъ пути въ Москву, послѣ заграничной поѣздки. Сосѡ начала ее благословлять, точно хотѣла окончательно отдѣлаться отъ нея, и ускорила свой отъѣздъ съ мужемъ въ Америку, на цѣлый годъ, можетъ, и больше. Правда, она предложила ей ѣхать съ ними, и даже на ея счетъ. Но Америка совсѣмъ ее не прельщала. Опять съ ними... Они цѣлый день цѣлуются, точно нѣмцы на швейцарскихъ дорогахъ. Сосѡ—кажется, беременная, слезливо-сладкая, противная!..

Она и поѣхала въ Россію. Въ Петербургѣ утомилась, заболѣла слегка, и въ двѣ недѣли Рынинъ уже былъ ея формальнымъ женихомъ. Въ маѣ они обвѣнчались.

Коляска, на рѣзвыхъ рысяхъ, катилась по шоссе, мимо Нескучнаго.

— Не правда ли, прелестный садъ? — окликнулъ ее мужъ.—Зина! ты слышишь?

— Nein?—откликнулась она парижскимъ звукомъ.

— Прелестный садъ!

Она только пожала плечами... Ей уже надоѣло все ему поддакивать. Садъ какъ садъ, и когда они тамъ были, то нашли толпы купцовъ съ купчихами подъ ручку, и ей было почти противно отъ ихъ туалетовъ, свѣжихъ румяныхъ щекъ и московскаго говора...

Потянулись зданія больницъ, училищъ, пріутовъ; мостовая стала тряскучей, пыль била въ носъ отъ встрѣчныхъ обозовъ и дрожекъ. И цѣлый почти часъ катилась коляска, все съ тѣмъ же трескомъ, поперекъ всего города, переѣхала мостъ черезъ Москву-рѣку и стала подниматься, потомъ спускаться,—дѣлала это не одинъ разъ. И Кремль былъ уже позади, Суарева, Шереметевская больница... Опять они на шоссе... На немъ еще больше пыли и ѣзды... Свистки желѣзныхъ дорогъ чередуются съ грохотомъ желѣзно-конныхъ вагоновъ, ползущихъ туда же, къ Сокольникамъ, куда они ѣхали на дачу того психіатра, у котораго квартировалъ Мартынъ Лукичъ Ногайцевъ.

XII.

Коляска поднялась съ шоссе въ улицу, гдѣ одинъ только разносчикъ покачивалъ на шляпѣ лотокъ и выкрикивалъ пѣвуче:

— Садова-а клубника!

Дача доктора-психіатра стояла на дворѣ, передъ палисадникомъ; справа и слѣва было по флигельку. Одинъ изъ нихъ и занималъ Мартынъ Лукичъ Ногайцевъ. Онъ оставался у доктора больше какъ постоялецъ, и часто помещалъ въ городѣ, гдѣ придется, чаще всего въ „Славянскомъ Базарѣ“.

Дворъ и строенія держались въ чистотѣ.

На крыльцо флигеля вышелъ лакей въ черномъ сюртукѣ и бѣломъ галстукѣ, молодой малый, съ веселымъ, бритымъ лицомъ. Онъ и посадилъ ихъ.

— Кто здѣсь?—спросилъ его Рынинъ.

— Господинъ Лукашинъ.

Зина уже знала, что Лукашинъ здѣсь ее ждетъ; она ему послала депешу, не сказавъ объ этомъ мужу, изъ гостиницы „Дрезденъ“, гдѣ они стояли.

Тѣсная передняя вела прямо въ большую комнату, въ три окна, выходившія на улицу. Она была полна въ эту минуту свѣта, отраженнаго бѣлыми, лоснящимися обоями, золотыми багетами и мебелью въ бѣлыхъ же чехлахъ.

Они застали Ногайцева въ дверяхъ спальни, полуодѣтаго; онъ поправлялъ широкія подтяжки съ шелковымъ шитьемъ и былъ въ панталонахъ и чистой крахмальной рубашкѣ; видимо, одѣвался для выѣзда.

Лукашинъ сидѣлъ у окна, весь въ своей чичунчѣ и съ папирсой. Съ прошлаго лѣта онъ только слегка потолстѣлъ въ лицѣ. Мартына Лукича никто бы не принялъ сразу за недавняго пациента лѣчебницы для душевно-больныхъ; красное, салистое, въ пятнахъ и подтекахъ лицо, рѣдкая, съ просѣдью, широкая борода, вздернутый жирный носъ, подслѣповатые, слезливыя глазки и лысина съ курчавыми вихрами на вискахъ,—все отзывалось чѣмъ-то обычнымъ, бытовымъ и чисто-московскимъ, по чертамъ и окраскѣ: наружность и выраженіе лица — прямо изъ любого клуба или загороднаго ресторана; также и его широкая, ожирѣлая осанка, круглая спина, средній ростъ и по-дворянски разставленныя ноги въ сѣрыхъ панталонахъ, скроенныхъ, по модѣ шестидесятыхъ годовъ, очень широко.

Въ обѣихъ комнатахъ запахъ стоялъ тѣхъ же годовъ: смѣсь папирсы „mariland doux“ съ мускусомъ.

— А-а!—зычно и хрипло крикнулъ Ногайцевъ, увидавъ Зину. Она вошла первая. — И супругъ грядетъ? Его-то

мнѣ и нужно! Полковникъ! — онъ его называлъ „полковникъ“, зная, что онъ только подполковникъ, — вы свободны?

— Какъ, куда?—отъ дверей отвѣтилъ Рынинъ.

— Да куда повезу! Вы мнѣ общали нынче со мной въ разныя значныя мѣста... Couleur locale, mon cher, а то вы очень ужъ торжественны... Здравствуй, Зина.

Ногайцевъ поцѣловалъ ее въ лобъ. Она нагнулась немножко, но ни къ рукѣ, ни къ плечу его не приложилась. Ей стало сейчасъ же жутко отъ того, что Мартынъ Лукичъ, нисколько не конфузясь, продолжалъ поправлять на правомъ плечѣ одну подтяжку и дѣлалъ гримасу отъ напряженія, морщилъ правую щеку. Она подала руку Лукашину и тутъ же присѣла къ окну, въ такой позѣ, точно она пріѣхала очень утомленной.

— Къ вашимъ услугамъ, — чуть слышно выговорилъ Лукашинъ.

Его хорошія чувства къ Зинѣ значительно усилились; онъ даже писалъ на-дняхъ пріятелю своему Иву Блязо, — что съ нимъ бывало рѣдко, — о пріѣздѣ Зины, о томъ, что она родителей не стыдится и даже матери, и вообще гораздо лучше своего „супруга и повелителя“.

Рынинъ, не ускоряя шага, безъ сгибанія колѣнъ, подошелъ къ своему тестю и пожалъ его руку съ легкимъ, военнымъ поклономъ. Они были съ нимъ на „вы“; такъ установилъ Рынинъ, но Мартынъ Лукичъ переходилъ, когда ему вздумается, и на „ты“.

— Зина, — окликнулъ ее отецъ, — mon enfant, ты тоже съ нами?

— Куда?—спросила она по-русски, что строго соблюдала при Лукашинѣ, хотя и знала, что онъ понимаетъ языкъ и можетъ, съ грѣхомъ пополамъ, объясняться на немъ.

— Да во всякія мѣста... увеселительныя... Довольно вамъ точно монашкамъ... по соборамъ все да по ризницамъ. Mon gendre!.. Vous persez, mon bon, и безъ этого! Въ государственные люди мѣтитъ! — указалъ онъ на Рынина доктору и сдѣлалъ смѣшную мину: выпятилъ впередъ обѣ губы съ закрытыми глазами.

Лукашинъ едва удержался отъ того, чтобы не прыснуть. Рынинъ чуть замѣтно покраснѣлъ.

Ногайцевъ послѣ того повернулся на каблукъ и пошелъ въ спальню, откуда крикнулъ:

— Сейчасъ! Будьте какъ дома... Левонтіи!—еще громче

позвалъ онъ лакея и растворилъ изъ спальни дверь въ заднюю комнату.

Рынинъ сѣлъ на диванъ, вытянулъ свои длинныя ноги на коверъ, перевелъ духъ и полѣзъ въ карманъ рейтузъ за папиросницей и огнемъ.

Всѣ трое сидѣли они въ позакъ не то пациентовъ, не то ожидающихся очереди у адвоката или въ присутственномъ мѣстѣ. Первый прервалъ молчаніе Рынинъ и спросилъ Лукашина:

— А какъ здоровье Германа Францовича Куна?

— Попрыгиваетъ... сегодня гулялъ, прошелъ всю Алексѣевскую просѣку... одинъ... И никого не захотѣлъ взять съ собой! Даже и жуликовъ не боится.

— Кого?—спросила Зина.

— Это то, что въ Петербургѣ мазурики, — объяснилъ ей Рынинъ и прибавилъ:—воры.

— Днемъ?—удивилась Зина,—здѣсь?

— И еще какъ!—вскрикнулъ Лукашинъ.

— *Naïve enfant!*—донесся голосъ Ногайцева; онъ слышалъ весь разговоръ. — *Naïve enfant!* Чѣмъ же мы отличаемся отъ Европы?.. Въ этомъ наша гордость... Братушекъ освобождаемъ, а на просѣкахъ у насъ денной грабежъ! *N'est-ce pas, mon gendre?*

Рынинъ даже не улыбнулся. Онъ въ обхожденіи своемъ съ Ногайцевымъ былъ таковъ, точно будто на Мартына Лукича онъ смотритъ какъ на умалишеннаго, въ полномъ разстройствѣ.

Докторъ подумалъ:

„Папа-то, право, поумнѣлъ. Хоть бы и не паралитику впору“.

Лукашинъ зналъ, что Мартыну Лукичу не миновать прогрессивнаго паралича.

— Вотъ я и готовъ!

Мартынъ Лукичъ стоялъ опять въ дверяхъ. Онъ надѣлъ короткую, черную визитку и жилетъ изъ клѣтчатаго пикѣ. По тому, какъ онъ повязалъ галстукъ, Ногайцевъ смотрѣлъ франтоватымъ москвичомъ шестидесятихъ годовъ. Все на немъ сидѣло хорошо и было новое и чистое. Зина помнила, какимъ отрешаннымъ пріѣзжалъ онъ когда-то за границу. Особенно ярко держался у нея въ памяти гороховый макферланъ съ развѣвавшимися рукавами, весь закапанный и выцвѣтшій. Другіе, хотя и во временномъ сумасшествіи, дѣлаются обыкновенно еще не-

ряшливѣ, а ея отецъ исправился. Хотя это немного мирило ее съ нимъ.

— И ты съ нами?—обратился къ ней Ногайцевъ.

— Куда?—все такъ же сухо-утомленно спросила Зина.

— Да что вы глухіе, что-ли оба?.. Или это такъ у васъ въ гранъ-мондѣ, что ли, дѣлается? Чтобы три раза объ одномъ и томъ же переспрашивать! Куда?—уже сердитѣе выговорилъ онъ.—Къ африканкамъ!

Ногайцевъ выкрикнулъ это слово и прицелкнулъ пальцами.

— Къ фараонову племени, небось, Мартынъ Лукичъ?—понялъ Лукашинъ и разсѣлся.

— Именно! Лукашинъ, я васъ, душа моя, не приглашаю: вы состоите при той муміи, при моемъ бо-фрерѣ,—à la mode de Bretagne,—прибавилъ онъ.

Обернувшись къ зятю, — тотъ уже курилъ папиросу-пушку,—Ногайцевъ продолжалъ, все еще стоя въ дверяхъ спальни:

— Послѣ французскаго погрома, когда Наполеона спали въ полонъ и въ Парижѣ краснаго пѣтуха пустили господа коммунары, умнѣйшій малый изъ хроникеровъ... не помню, гдѣ писалъ, кажется, въ „Figaro“,—объяснилъ мнѣ: „Мы,—говорить,—monsieur le comte“—это онъ меня такъ величалъ... а я ничего, не брыкался...

— Ахъ, папа! — выговорила Зина и отвернулась къ окну.

— Что?.. что?.. Милитриса Кирбитъевна!.. Правды нельзя говорить?.. Разумѣется, я ему не препятствовалъ величать меня графомъ... По крайней мѣрѣ, дистанцію соблюдалъ...

— Такъ что жъ вамъ онъ объяснялъ? — почтительно перебилъ Рынинъ.

— А вотъ что: „мы,—говорить,—теперь Европу можемъ держать еще однимъ: Оффенбаховщиной, la cascade!.. пикантнымъ кошонствомъ“. Такъ точно и наша порфиросная вдова, первопрестольная столица, тѣмъ же привлекаетъ даже и Европу... Трактиры, цыгане... Вотъ чѣмъ... Такъ вѣдь, докторъ?

— Это вѣрно, Мартынъ Лукичъ!..

Лукашинъ расхохотался. Ему это очень понравилось.

Рынинъ улыбнулся сквозь дымъ. Зина только перемѣнила позу, и положила ногу на ногу.

— Вы здѣсь вторую недѣлю, — продолжалъ Ногайцевъ и заходилъ по комнатѣ, — а ни въ „Ярѣ“, ни въ „Мавританіи“, ни въ Грузинахъ не были... Какъ же это?.. Только въ этомъ и *souleur locale*. Изъ Лондона фиѳикусы ѣздятъ, настоящіе туристы, не вамъ чета... изъ Парижа... а ужъ на что французики скупы на подъемъ, и сейчасъ къ африканкамъ!.. А то такъ и къ себѣ въ номеръ, всѣмъ соборомъ...

— Какъ же это соборомъ... Мартынъ Лукичъ?.. Цыганки? — остановилъ его Рынинъ слегка укоризненно и даже покачалъ головой.

— Не такъ сказалъ?.. Слово... не то?.. Лукашинъ! Мой зитюшка въ благочестіи упражняется... Премьеръ-министръ! Чтобы, знаете, все въ благопотребныхъ выраженіяхъ... Какъ, бишь, это въ Писаніи говорится: „звѣзда отъ звѣзды“?..

Зина встала. Она испугалась: вотъ сейчасъ что-нибудь выйдетъ между отцомъ и мужемъ. Ей не было обидно за мужа; не было жалко и отца; только она сама не хотѣла быть свидѣтельницей глупой или пошлой сцены.

— Ну что, ну что? — окликнулъ ее Ногайцевъ. — Полно, матушка, строить такіа фізіономіи! Видали мы самыхъ знаменитыхъ кривлякъ, и самое Плессившу выкачивали до седьмого взмаха... И Фаваршу тоже! Точно ты на большомъ выходѣ, герцогиня Герольштейнская. Право! Мужъ твой понимаетъ, небось, шутку. Докторъ! Они нынче и въ эскадронахъ, подъ духовую музыку, вонъ какую муштру получаютъ, точно дипломатическіе агенты... Да все это наплевать!.. *Pardon, madame!*.. А вотъ что важно: ѣдемъ мы хотъ сейчасъ... Коляска у меня съ утра заказана. Ты опять скажешь: куда? Это слово у меня въ ушахъ завязло. Ландо у меня, и на каучукахъ. Повезу я васъ...

— У насъ коляска, — остановилъ его Рынинъ.

— Экая важность! Отпустите ее: она у васъ двумѣстная, а я хочу, чтобъ въ одномъ экипажѣ, какъ нѣмцы: *нахъ Кузминки!*..

— И прямо къ африканкамъ? — спросилъ Лукашинъ.

— Вотъ увидятъ... На цѣлый день и вечеръ...

— Прекрасно, Мартынъ Лукичъ, — снисходительно заговорилъ Рынинъ, — но Зина утомлена... она ходила по Воробьевымъ...

— Еще бы вы!.. Какъ еще вы ее на Ивана Великаго

не воздымали? Всѣ сто четыре ступеньки... Ничего этого отъ васъ не потребуютъ.

— Я не могу...—выговорила Зина и встала у выходной двери, пригласивъ взглядомъ Лукашина.

Тотъ сейчасъ же поднялся.

— *Пуркуа?* — спросилъ Ногайцевъ, — вапёры, небось!.. Такъ если ты... здѣсь можно сказать... если ты,—онъ нагнулся къ уху Лукашина и прокричалъ: — въ интересномъ положеніи, тѣмъ лучше!.. Это тебѣ дастъ... *du nerf*... Ты вялая. Я тебя не узнаю. *Et tu auras un enfant musical!*..

Всталъ и Рынинъ, и онъ началъ беспокоиться, какъ бы между отцомъ и дочерью не вышло чего „неподходящаго“.

— Я ѣду... мнѣ нужно быть...—Зина затруднялась выговорить: „у папаша“ или „у матери“.

Лукашинъ пришелъ ей на подмогу.

— Зинаида Мартыновна, — выговорилъ онъ взадъ Ногайцеву, — хотѣли къ Людмилѣ Мироновнѣ.

Тотъ опять на каблукъ повернулся быстро и крикнулъ:

— Что такое приспичило? Ты, Зина, пожалуйста, не напускай на себя того, чего въ тебѣ нѣтъ, матушка! Терпѣть я не могу лицемѣрія и двоедушія!.. До двадцати пяти лѣтъ дожидая и знать не знала, есть ли у тебя мать. Въ кои-то вѣки тебя дождались сюда, и вдругъ ты въ сантименты!.. *Tout ça, ma chère, c'est de la frime!*.. Да я не знаю только, къ чему? Людмила Мироновна, твоя родительница, — произнесъ онъ съ особой интонаціей, — это точно!.. Но чтобы она тебѣ доставляла большое... этакое... удовольствіе... я сомнѣваюсь... Да не строй ты, Бога ради, такой мины, вѣдь не испугаюсь! На медвѣдя одинъ на одинъ хаживалъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, съ мордвой некрещеной... Ну, будетъ! Такъ ѣдемъ?!

Онъ подошелъ къ ней и взялъ ее за подбородокъ.

Зина подалась назадъ и чуть-чуть не отстранила его руку.

— *Je ne puis être de votre partie,* — выговорила она твердо и глуховато.

— *Une fois, deux fois, trois fois?*

— Non.

— Ну, такъ чертѣнки съ вами!.. *Mon gendre!*.. Мы вдвоемъ тогда...

— Но какъ же Зина?—замѣтилъ Рынинъ.

— Докторъ поѣдетъ со мною,—сказала Зина.—Мы заѣдемъ къ дядѣ.

И она, не дожидаясь, что скажутъ отецъ и мужъ, направилась къ двери и пригласила Лукашина слѣдовать за собой движеніемъ головы.

— Au revoir!—винула она мужу, и прибавила:—До свиданья, рара.

Въ дверяхъ она спросила мужа по-русски:

— Ждать тебя къ обѣду?

— Не ждать! Ни подъ какимъ видомъ!—закричалъ Мартынъ Лукичъ и замахалъ руками.—Дочь непокорная... безпутнаго отца!—докончилъ онъ и взялъ зятя за талію.—Пускай ее... Съ ней никакой браги не сваришь!

— Я отобѣдаю у дяди,—сказала Зина изъ передней.

Ногайцевъ побѣждалъ зачѣмъ-то въ спальню.

Мужъ вышелъ къ ней и сказалъ ей шопотомъ:

— Ты могла бы поѣхать...

— Jamais de la vie!—брезгливо отвѣтила она.

— Ужъ вы попридержите наше чудушко-то,—сказалъ Рынину Лукашинъ, тоже въ передней.—Что-то онъ разошелся, какъ бы его не прорвало!..

— Такъ лучше послать бы за тѣмъ докторомъ...

Рынинъ указалъ жестомъ головы на домъ психіатра.

— Удерживать его силой тотъ не станетъ.

Лукашинъ поспѣшно выбѣжалъ на крыльцо и вскочилъ въ коляску вслѣдъ за Зиной.

— Благодарю!—сказала она ему. Лицо ея слегка подергивало.

Онъ это замѣтилъ.

— Да вы не волнуйтесь, барыня!—Пріятельскій тонъ Лукашина она въ Россіи выносила спокойнѣе.—Супругъ вашъ—человѣкъ основательный; съ нимъ лучше, чѣмъ со специалистомъ. А вотъ что-съ... Сейчасъ вамъ къ мамашѣ ѣхать не слѣдуетъ... Не угодно ли лучше заѣхать, въ самомъ дѣлѣ, къ дидюшкѣ,—вы вѣдь это для отводу сказали,—тамъ придете въ себя, и обрадуете его, назовитесь обѣдать... Тѣ два путника раньше ночи не отыщутся...

Зина молчала и громко дышала ноздрями. Никогда еще ея отецъ не вызывалъ въ ней такой смѣси раздраженія и обиды за необходимость выносить его личность и подобные разговоры.

XIII.

На „Козяхъ“, въ переулочкѣ, около перекрестка, въ деревянномъ о пяти окнахъ домѣ мѣщанина Чурилова, квартировала отставная „артистка императорскихъ театровъ“, Людмила Мироновна Расшивина. Она занимала комнаты нижняго этажа, почти вросшія въ землю. Ходъ къ ней былъ со двора, въ особую дверь, куда надо было спускаться прямо съ немощеной земли.

Когда Зина съ Лукашинымъ подъѣхали къ воротамъ, — они всегда стояли запертыми, — изъ калитки шмыгнула кухарка, рябая, прикрытая платкомъ, въ затрапезномъ сарафанѣ.

Она узнала Зину, ахнула и кинулась назадъ сказать своей барынѣ, кто пріѣхалъ; успѣла только крикнуть:

— Ахъ ты, Господи!..

Зина ее смутно узнала, и появленіе этой кухарки еще безразливно настроило ее. Дорѣдой она молчала, отъ самаго Ширяева поля, куда они заѣхали къ старику Куну, на двѣ минуты, сказать ему, что она сегодня у него будетъ обѣдать, если къ обѣду не очень утомится.

Лукашинъ не тревожилъ ее никакими вопросами. Онъ ѣхалъ и на Ширяево поле, и обратно, на Козиху, въ состояніи своего неизмѣннаго благодушія и заботы о томъ только, чтобы ничего не вышло „такого“. Этимъ словомъ означалось у него все тяжелое, всякая горечь и неудача для другихъ. Для себя онъ давнымъ-давно ничего не желалъ; въ послѣднее время еще болѣе успокоился: старикъ Кунъ, по возвращеніи изъ-за границы, сказалъ ему, разъ утромъ, за трубкой любимаго заграничнаго табаку „Bird's eye“, что въ завѣщаніи своемъ не забылъ его: „все равно, какъ если бы онъ состоялъ на настоящей службѣ“.

Зину ему дѣлалось все жалче и жалче, здѣсь, въ Москвѣ. Сегодня, за сцену у Ногайцева, онъ внутренно похваливалъ ее: „горделивость, чистоплотность есть“, — повторялъ онъ про себя, сидя около нея въ коляскѣ, и даже выразилъ свое одобреніе вслухъ, когда они были уже на Тверской, въ одномъ возгласѣ:

— Хвалю, Зинаида Мартыновна!

Зина поглядѣла на него бокомъ и мысленно назвала: „bébête“.

Лукашинъ на этомъ не остановился и сталъ мысленно

разговаривать съ Блэзо, указывая на поведеніе Зины: „Что, братъ, Ива Альфонсчъ, это тоже своего рода программа, въ родѣ твоей: послѣ такого пріятнаго визитца къ милашкѣ папенькѣ, да сейчасъ къ маменькѣ, гдѣ тоже надо будетъ всю себя переиначить,—а?“

И Блэзо, въ его воображеніи, признавалъ себя побѣжденнымъ, соглашался на его доводы и отвѣчалъ, безъ словъ, киваніемъ головы.

Кухарка, ея видъ, дворъ, запахи, застоившіеся на немъ, и квартира, и домъ, и ходъ къ Людмилѣ Мироновнѣ,—какъ все это дѣйствовало на Зину—Лукашинъ испыталь на себѣ, когда въ первый разъ былъ съ ней... Онъ, до ея пріѣзда, познакомился съ ея матерью, и черезъ него были, раза два, пересланы за границу письма къ Зинѣ. Ему и Распивину было жалъ не меньше, чѣмъ Зину. Онъ ее понималъ такъ: была она „какъ и быть слѣдуетъ отставной танцовщицѣ“,—Лукашинъ произносилъ это слово съ удареніемъ на „и“. Если бъ отъ него завистло, онъ бы перевезъ ее, на время пребыванія Зины въ Москвѣ, въ другую квартиру, въ гостиницѣ, что ли, нанялъ бы цѣлое помѣщеніе; онъ ей даже и намекалъ, но та все повторала:

— Дочка не побрезгуетъ и этими комнатами... у меня чистенько.

Чистенько дѣйствительно у нея было, насколько возможно у разслабленной, почти парализованной на ноги женщины; но ходъ ужасный для такой особы, какъ Зинаида Мартыновна.

На дворѣ, только что Зина съ Лукашинымъ сдѣлали нѣсколько шаговъ, къ нимъ подбѣжали двое дѣтей—мальчикъ и дѣвочка—и бросились къ Лукашину. Онъ уже успѣлъ завести съ ними дружбу, хотя хорошенько не зналъ, чьи это дѣти: хозяйина или постояльцевъ изъ флигеля...

— Пойдемте въ садъ!—начала звать его дѣвочка, бойкая, не испугавшаяся нарядной барыни.

Мальчикъ былъ потише.

— Сейчасъ, сейчасъ приду!..—отвѣтилъ Лукашинъ.— Подождите меня на дворѣ.

Онъ уже расчелъ, про себя, что надо будетъ улучшить минуту, оставить Зинаиду Мартыновну одну съ матерью.

Зина внутренне негодовала на отца: какъ онъ не отдѣляетъ ея матери приличную квартиру; но, до сихъ поръ,

она ему не дѣлала вслухъ этого упрека; она боялась, что Мартынъ Лукичъ скажетъ ей:

„Ты, матушка, капиталистка. Раскошешься сама!“

На это ей уже намекалъ мужъ; но прибавилъ:

— Тебѣ бы все-таки надо что-нибудь сдѣлать, Зина. Это не Богъ знаетъ что будетъ стоять.

Она была увѣрена, что у отца есть еще довольно большія деньги, а мужъ говоритъ такъ только затѣмъ, чтобы подавить ее своею порядочностью и показать: какъ онъ умѣетъ выполнять во всемъ долгъ сыновній. Ему легко такъ рисоваться этими добродѣтелями: у него ни отца, ни матери, и „прахъ“ ихъ онъ ѣдетъ выкупать на ея же деньги.

Сегодня она надумала, однакожъ, поговорить съ матерью о перемѣнѣ помѣщенія.

— Двѣ ступеньки,—сказалъ Лукашинъ, когда они по-
дошли къ двери.

Онъ хотѣлъ даже поддержать ее подъ лѣвый локоть, но Зина сказала ему:

— Благодарствуйте!

Надо было имъ пройти темными сѣнями, въ родѣ чулана, гдѣ стоялъ всегда такой запахъ, что даже Лукашинъ предложилъ бы Зинѣ спирту понюхать — будь съ нимъ стекляночка. Она уже это знала, быстро прошла сѣнями и толкнула дверь, обитую не то рогожей, не то парусиной.

— Пожалуйте, матушка!..—раздался голосъ кухарки, той, что выбѣгала за калитку.

И вслѣдъ за ея словами залаяла собачонка, сиплымъ и слабымъ старымъ лаемъ больной болонки, наполовину слѣпой, съ бѣльмомъ, злой и дикой.

— Амишка!.. Цыцъ!—крикнула на нее кухарка и бросилась къ Зинѣ, хотѣла снять съ нея пальто.

Лукашинъ отвелъ ее рукой и отворилъ изъ крошечной передней дверь въ проходную комнатку, гдѣ было душно и пахло керосиномъ и геранью. Зина шляпкой едва не касалась потолка. Духота сейчасъ схватила ее за горло.

Во второй, довольно большой, угловой комнатѣ, въ четыре окна — это была и спальня, и гостиная Людмилы Мироновны — они нашли ее не одну: у нея сидѣли двѣ гостьи, ея подруги, также изъ отставныхъ танцовщицъ: обѣ были въ шляпкахъ, полныя, съ широкими лицами и

выцветшими волосами. Онѣ сидѣли у столика и допивали кофе.

Людмила Мироновна, ближе къ окну, помѣщалась въ креслѣ, съ высокой спинкой; ноги ея, покрытыя пледомъ, стояли на скамейкѣ. Ей казалось на видѣ лѣтъ не больше сорока; худое, совсѣмъ желтое лицо съ правильными чертами, совершенно такими, какъ у дочери: тотъ же овалъ, та же сохранившаяся красивость поздней, тотъ же подбородокъ и даже такіе же городки еще не сѣдыхъ волосъ на лбу.

Разительное сходство съ матерью, въ первое же посѣщеніе, кольнуло Зину, и она должна была сознаться, что Рынинъ не даромъ язвилъ ее когда-то, намекая на ея кордебалетный типъ.

Голову Расшивиной, еще красивую и по очертаніямъ черепа, покрывала накладка изъ чернаго тюля съ кружевцами; на худомъ, почти костлявомъ станѣ, довольно еще стройномъ, лежали правильныя складки капота изъ свѣтлаго кретона. Вся она очень опрятно держалась. И въ комнатѣ не было ни пыли, ни тряпокъ, ничего лишняго. Мебель—еще недавно нарядная, репсовая, перенесенная изъ квартиры съ просторными комнатами. По двумъ стѣнамъ множество фотографическихъ карточекъ, въ двухъ простѣнкахъ—два большихъ портрета, также фотографическихъ: одинъ мужской—рѣзкій брюнетъ въ военномъ сюртукѣ, съ густыми эполетами; другой—сама Людмила Мироновна декольтѣ, въ балетномъ платьѣ, въ цвѣтахъ и въ тюникахъ, и съ вуалемъ на головѣ, лѣтъ уже за тридцать.

За печкой стояла кровать, отдѣленная ширмами съ малиновой тафтой, краснаго дерева.

Зина окинула тревожнымъ, сухимъ взглядомъ обѣихъ подругъ и подумала: не выдалъ ли ее Лукашинъ, не послалъ ли матери депешу о ихъ посѣщеніи? Потомъ выбрала себя: зачѣмъ она сама такъ неосторожно разлетѣлась, не дала матери знать о томъ, въ которомъ часу она будетъ у нея? Вѣдь она могла, все черезъ того же Лукашина, передать матери, что желаетъ найти ее одну... а не при какихъ-то „drôlesses“—такъ она мысленно выразилась.

Когда кухарка вбѣжала, увидавъ Зину у калитки, и крикнула Людмилѣ Мироновнѣ: „барышня идутъ!“—Расшивина заволновалась, но вдругъ ей стало пріятно, что

вотъ ея подруги увидятъ, какова у нея дочка; онѣ давно знали, что она ждетъ въ Москву дочь съ зятемъ. Передъ самымъ входомъ Зины въ спальню матери, Людмила Миرونна выхваляла Рынина, восхищалась красотой дочери, а про своего Ногайцева раза два сказала:— „Отъ Мартышки нашего, сами знаете, чего же ждать путнаго! Вотъ онъ теперь выздоровѣлъ, говорятъ, и опять закурить... и опять хоть въ богадѣльню кандидатомъ.“

— Зинушка!—встрѣтила она дочь, и хотѣла-было пристать.

Лукашинъ подбѣжалъ къ креслу и удержалъ ее.

— Сидите,—сказалъ онъ ей,—это не въ правилѣ.

Обѣ отставныя танцовщицы встали церемонно и поклонились на особый ладъ.

Зина подошла къ матери быстро, взяла ее за руку, но не поцѣловала ни въ щеку, ни въ темя, что было бы ей всего удобнѣе.

— Кофейку не угодно ли?—спросила Расшивина.

Она все еще не рѣшалась говорить Зинѣ „ты“, особенно при постороннихъ.

— Благодарствуйте,—отвѣтила Зина тѣмъ же звукомъ, какъ она говорила Лукашину или, бывало, дворецкому Егору.

— Садитесь, милые гости, — театрално-сладкимъ тономъ сказала Расшивина, и ея худыя, прозрачныя руки, съ очень длинными пальцами, пришли въ нервное движеніе.

Лукашинъ пододвинулъ Зинѣ кресло, а самъ сѣлъ въ сторонѣ, позади кресла Расшивиной.

— Мои товарки,—Расшивина указала лѣвой рукой на обѣихъ женщинъ.

Тѣ сѣли послѣ новаго поклона нѣсколько попроще. Онѣ тутъ только стали стѣсняться, и каждая поторопилась допить кофей и отставить чашку.

— Блѣденькая какая!..—выговорила Расшивина томно и вскинула на дочь своими усталыми, красивыми глазами, и тотчасъ же повернула голову назадъ, въ сторону доктора.

Голосъ она также, вмѣстѣ со всею наружностью, передала Зинѣ, въ чемъ та уже сознавалась себѣ самой... Тонъ отставной корифейки былъ московскій, театралный, только нервнѣе и слаще того, какъ говорятъ обыкновенно устарѣлыя танцовщицы ея лѣтъ, особенно между собой.

Тонъ этотъ, по опредѣленію Зины, могъ быть „во сто разъ“ хуже, вулгарнѣе. Такъ могла говорить и всякая барыня средней руки; такъ говорили даже разныя „князѣни“ съ татарскими фамиліями, какихъ она встрѣчала за границей, на водахъ.

Лукашинъ кивнулъ головой и громко сказалъ, почти крикнувъ:

— Въ деревнѣ поправится!

— Да, вѣдь вы въ деревню... Ахъ, вотъ и я бы, да мнѣ съ своего кресла не двинуться...

На глазахъ показались слезы. Зина уже знала, что ея „тапан“, отъ болѣзни или отъ чего другого, слезлива... Слезъ ея при „товаркахъ“ она боялась пуще всего.

— Надолго къ маменькѣ?—спросила вдругъ одна изъ танцовщицъ, гораздо смѣлѣе, чѣмъ можно бы ожидать, высокимъ, молодымъ дѣвичьимъ голосомъ.

Это „къ маменькѣ“ заставило Зину податься назадъ и сбѣлать чуть примѣтный жестъ головой вбокъ.

— Да вотъ какъ муженекъ...—отвѣтила за нее мать и протянула къ ней кисть правой руки.

И этотъ жестъ отразился болѣзненно на Зинѣ. Она даже полузакрyla глаза...

Обѣ гостяи переглянулись; онѣ поняли сами, что нужно оставить мать съ дочерью однѣхъ.

Все прошедшее Расшивиной имъ прекрасно было извѣстно. Онѣ даже вѣстѣ вышли изъ школы и въ одной компаніи тогдашней молодежи отыскиали каждая своего „душѣнскаго“. На ихъ глазахъ прошла вся „служба Милочки“, какъ они звали Расшивину, да и теперь еще зовутъ иногда... Помнили онѣ, когда родилась Зина, и какъ изъ-за нея же вышелъ окончательный разрывъ Милочки—съ ея „чадушкой“; онѣ уже тогда проигрался и прокутился почти „вдрызгъ“, и Милочка требовала, чтобы онѣ обезпечилъ чѣмъ-нибудь дочь, грозила ему, что она его броситъ.—Помнили онѣ и то, что эту Зину—ей еще года не было—„Мартышка“ (такъ онѣ звали ея отца, даже и въ глаза) укралъ дочь у матери, увезъ ее къ двоюродной сестрѣ, а та—съ собой за границу; какъ Милочка убивалась, какъ „чудесный“ адъютантъ Нетопырцевъ—состоялъ при дивизионномъ генералѣ, потомъ перешелъ въ полицію и давно страдалъ по Милочкѣ—утѣшилъ ее, и все забылъ, и устроилъ... И жила она, какъ въ раю, цѣлыхъ девять лѣтъ, не транжирила, даже

капиталецъ скопила, дѣти были тоже, только не жили;— Нетопырцева ударъ постигъ. Милочка заболѣла, потеряла „элевацию“, въ Крымъ ее возили, на службѣ состояла уже только въ корифеяхъ. Однако, и тогда еще сошлась съ хорошимъ человѣкомъ изъ комиссаріатскихъ, почти въ чинѣ полковника. Этотъ былъ живучѣе, да подѣ судъ угодилъ; кажется, и Милочкиныхъ денегъ перепало, когда его судили. Пришлось адвокатовъ нанимать... Кое-что у нея, однако, осталось... Здоровье-то совсѣмъ ушло: ноги отнялись и въ сердцѣ нашли ожирѣнье... Вотъ тогда она и начала тосковать по дочери, и Мартышку ей стало жалъ — онъ сумасшедшимъ былъ, да оправился; однако, когда получилъ наслѣдство — сказывали: милліонъ! — ничего ей не далъ, только хвалился, что можетъ ее озолотить; но Милочка свое достоинство соблюла и сказала ему, что она его жалѣетъ и мирится съ нимъ изъ-за дочери.

Все это знали и помнили товарки Людмилы Мионовны: — „Васинька“ (такъ ее еще въ школѣ прозвали) Укрыйкина и Марѣуша Копчикова 3-я, теперь такъ же, какъ и Милочка, на пенсіи и при самыхъ малыхъ сбереженіяхъ; обѣ живутъ похуже ея, и у каждой дѣти — у одной даже пятеро, а поддержки еще ни отъ одного.

— Идти хотите, голубки? — обратилась къ нимъ Людмила Мионовна, и удерживать ихъ не стала, перецѣловалась съ каждой по три раза и прибавила: — Дѣточекъ пришлите ко мнѣ... теперь вѣдь у нихъ вакаціи...

Обѣ танцовщицы опять церемонно поклонились Зинѣ, и одна—Марѣуша Копчикова 3-я, та, что заговорила съ ней, уходя, сказала ей:

— Въ маменьку вы вылитая личикомъ.

„C'est un comble“, — подумала Зина.

Она, стоя, поклонилась имъ, не разжимая рта. Лукашинъ сказалъ имъ вслѣдъ:

— Мое почтеніе.

Онъ тотчасъ же подошелъ къ креслу Расшивиной и, глядя въ то же время и на Зину, выговорилъ:

— Ребятки меня, чай, заждались на дворѣ... Нечего дѣлать, надо ихъ утѣшить. Вы, Зинаида Мартыновна, спосылайте за мной... Я въ садикѣ буду... Въ чехарду мы играемъ!..

И поспѣшно вышелъ.

Зина не была довольна его ненужной деликатностью.

Этотъ Лукашинъ никогда не будетъ умиѣ. Не можетъ понять, что его присутствіе все-таки же облегчаетъ для нея тяжесть разговора съ-глазу-на-глазъ. Смутилась и сама Людмила Мироновна. Она не ожидала такого скорого ухода Лукашина и не знала, какъ ей привлечь къ себѣ дочь. Въ ней былъ уже наплывъ нервной пѣжвости. Поглядѣла она на свой портретъ въ балетномъ платьѣ и сейчасъ же потомъ на Зину, и точно она себя увидѣла, какая она была двадцать пять лѣтъ назадъ, когда жила съ этимъ безпутнымъ Ногайцевымъ. Много онъ ей горя далъ, и обиды, и болѣзни, послѣ того, какъ дочь укралъ и увезъ:—теперь она объ этомъ не хотѣла помянуть. Вотъ вѣдь какаѣ барыня: красавица, богатая, мужъ гвардеецъ, далеко пойдеть—это сейчасъ видно.

Людмилу Мироновну до слезъ трогало и собственное достоинство: вотъ она живетъ въ такой квартирнѣ, и ни у отца Зины, ни у нея самой — копейки не просила, и не попросить, и не надо ей. Если бы даже они сами предложили за границу, что ли, везти, къ докторамъ въ тамошнимъ, — она не согласна... Привыкла она къ своей Козихѣ и есть у нея все...

Глаза ея уже полны были слезъ и кисти рукъ вздрагивали отъ усиливавшейся нервности.

— Вамъ здѣсь... неудобно жить,—начала прямо Зина, и сама нашла сейчасъ же, что тонъ ея слишкомъ рѣзкій, что не слѣдовало такъ, безъ всякаго перехода, обращаться къ вопросу о перемѣнѣ квартиры.

— Почему вы такъ находите? — спросила Расшивина, и вся выпрямилась.

Руки ея упали на пледъ: она хотѣла ими привлечь Зину.

— Мы съ мужемъ... думали предложить вамъ... другую квартиру... Здѣсь такъ низко... и этотъ ходъ...

— Да вѣдь я никуда не хожу, а мои знакомыя не выпыщуть,—выговорила пѣскольکو обидчиво Людмила Мироновна.

— Все равно, — настаивала Зина и присѣла поближе къ креслу матери.—Вы должны понять...

— Я понимаю,—другимъ голосомъ, съ внезапными слезами, заговорила Людмила Мироновна,—я понимаю... Это все Мартынъ Лукичъ...

— При чемъ тутъ Мартынъ Лукичъ? — перебила ее Зина, почти гнѣвно: она сочла себя въ правѣ быть воз-

мущенной непонятливостью и безтактностью этой женщины.

— Ну, да, ну, да,—уже истерически продолжала Людмила Мироновна.—Я знаю... ему стыдно... онъ брезгуешь... ходъ нехорошъ... дурно пахнетъ... А вы бы у папеньки своего спросили, какую онъ обо мнѣ заботу имѣлъ... вотъ хотя бы два года, не больше, когда онъ наслѣдство такое получилъ?.. Но я ничего не прошу, я у него копейки не взяла... и не возьму...

Она съ трудомъ уже выговаривала. Руки ея затряслись.

— Да вы должны понять,—говорила Зина, и тонъ ея, помимо ея воли, дѣлался все суровѣе и повелительнѣе,—вы должны понять: тутъ отецъ ни-при-чемъ... Мы... будемъ помогать... для васъ же...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Я отсюда никуда не хочу! — почти вскрикнула Людмила Мироновна.—Это все папеньки вашего затѣи... изъ фанфаронства одного. Ни у мужа вашего, ни у васъ... Зинаида Мартыновна... я не желаю одолжаться... Благодареніе Богу—не нищая!.. Отслужила свой срокъ... и пенсія есть... и были хорошіе люди... не Мартину Лукичу чета... тѣ, сколько могли, обезпечили...

Въ эту минуту взгляды Зины, стоявшей у кресла, упали на большой фотографическій портретъ военнаго. Она тутъ только поняла, кто былъ этотъ мужчина для ея матери... На него та и намекала. Такой намекъ показался ей еще возмутительнѣе по своей неделикатности и даже цинизму.

— Мнѣ не нужно этого знать! — неловко выразилась она по-русски, и лицо ея стало такъ сурово, что Людмила Мироновна отодвинулась отъ нея въ уголъ кресла, заахала и застонала.

— Ничего, ничего мнѣ не надо! Грѣхъ, грѣхъ такъ!

Она не докончила; слезы полились изъ глазъ, голова упала на грудь, ноги вытянулись, во всѣхъ членахъ произошло почти мгновенное одеревянѣніе.

Зина увидела это. Она не перепугалась; скорѣе, озлилась. Съ ней бывали такіе же припадки. И какъ ни внезапно былъ ея испугъ, она успѣла еще разъ вознегодовать на мать за то, что та ей передала такіе нервы и всѣ эти „sales infirmités“, которыя съ замужествомъ вовсе не проходятъ.

— Доктора!—крикнула она, заглянувъ въ первую комнату.

Она не растерялась, но ею овладѣло стремительное чувство: бѣжать отсюда и никогда не возвращаться. Что изъ того, что эта отставная танцовщица—ея родная мать? Она чужда ей, смѣшна, безтактна, возмущаетъ ее!..

Кухарка кинулась за Лукашинымъ. Зинѣ тяжело было вернуться къ матери. Она боялась всего въ этой квартирѣ... Вдругъ какъ та умерла скоропостижно?

Лукашинъ прибѣжалъ весь красный. Онъ тоже подумалъ: не ударъ ли нервный, но совсѣмъ отъ другого — отъ радости, что ласкаетъ дочь.

— Идите!.. Идите! Обморокъ! — кликнула ему Зина и почти побѣжала вонъ.

— Вы... ѣдете? — съ изумленіемъ успѣлъ спросить Лукашинъ.

— Я не могу, не удерживайте меня... мнѣ самой нехорошо!.. Идите...

Онъ бросился къ Людмилѣ Мионовнѣ. Зина скорыми шагами дошла до калитки, крикнула кучера, вскочила въ коляску и сказала ему порывисто:

— Домой, на Тверскую!

Только въ коляскѣ ее стало душить, въ глазахъ завертѣлись круги, и опять то же ощущеніе, что вотъ-вотъ у нея отнимутся ноги.

Страхъ напалъ на нее уже сильнѣе; она стала хвататься за колѣни, за крыло коляски, откидывалась назадъ, закрывала глаза... Коляску качало по мостовой переулковъ; чуть она откроетъ глаза—и все кружится. На Тверскомъ бульварѣ она крикнула:

— Скорѣй! Скорѣй!

Показалось ей, и такъ тревожно ясно, что она можетъ умереть тутъ, въ коляскѣ, или упасть въ такой же столбнякъ, какъ и та „женщина“, которую она оставила сей-часъ... Матерью она не назвала въ умѣ Людмилу Мионовну.

Опять страхъ за себя смѣнился, безъ всякаго перехода, злобой на ту женщину, за то, что она должна была пріѣхать въ Москву, видѣть отца, пройти черезъ самыя уни-зительныя для себя ощущенія въ домишкѣ на Козихѣ... Но всего этого было мало; она видитъ теперь, до какой степени она — вылитая мать по лицу, фигурѣ, голосу... Отъ нея унаслѣдовала она свою кажущуюся только рос-лую и бодрю осанку; но, въ сущности, неизлѣчимыя и тайныя болѣзни, всѣ эти мигрени, обмороки, мертвенную

слабость, столбняки. Немошь сдѣлала ее, точно какимъ-то обманомъ, женой Рынина, и всегда она будетъ у него въ рукахъ, и все потому же!..

Нестерпимо горько ей стало. Обморока она уже менѣ боялась и не чувствовала никакой боли въ головѣ; смѣсь злобы и отвращенія отъ всего этого города возбудила ее такъ, что она вдругъ выпрямилась, покраснѣла, блеснула глазами и выговорила мысленно:

„Demain, nous partons!“

Если Парменій Никитичъ начнетъ упираться, она уѣдетъ одна; только тогда уже не въ деревню— Боже! чтó готовить ей эта „деревня“?!—куда-нибудь назадъ, въ Петербургъ, поселится лучше на дачѣ и будетъ ждать возвращенія мужа.

Ни на единое мгновеніе не вернулась она мыслью къ тому, чтó теперь дѣлается въ домикѣ мѣщанина Чурилова.

Она сама, не дожидаясь помощи швейцара, выскочила у подъѣзда гостиницы „Дрезденъ“.

XIV.

Парменій Никитичъ ѣхалъ со своимъ тестемъ въ открытой, четырехмѣстной коляскѣ, и ему было не совсѣмъ по себѣ... Онъ начиналъ было, въ два приѣма, отговариваться отъ сопровожденія Мартына Лукича къ „африканкамъ“. Тотъ просто на него прикрикнулъ, да такъ, что Рынинъ, для соблюденія достоинства, счелъ нужнымъ обратить все въ шутку.

Ногайцевъ его положительно стѣснялъ, не столько своею вздорностью, безпутными, шутовскими, хотя и барскими, выходками, сколько тѣмъ, что онъ не могъ попасть съ нимъ въ тонъ. Его серьезности Мартынъ Лукичъ не признавалъ и прохаживался надъ нимъ то и дѣло въ видѣ дурачливыхъ прибаутокъ, для такого „психопата“ весьма и весьма ядовитыхъ. Рынинъ, уже во второй свой визитъ къ „бо-перу“ (такъ Ногайцевъ называлъ себя съ русскимъ произношеніемъ), увидалъ, что Ногайцевъ очень хорошо раскусилъ то, чѣмъ хочетъ быть и казаться мужъ его дочери... И эти его стремленія, и всю его выправку Мартынъ Лукичъ ни въ грошъ не ставилъ. Циническія его выходы не были только привычкой; въ нихъ Рынину ясно было безцеремонное зубоскальство.

„Вотъ, молъ, ты мнишь себя будущимъ премьеръ-ми-

нистромъ, и на меня смотришь какъ на полоумнаго безобразника. А я тверже тебя стою на ногахъ... У меня есть даровыя денежки, и я ихъ опять проѣмъ и пропью, и все-таки останусь Мартыномъ Ногайцевымъ, котораго вся Москва знаетъ. Ты же только пыжишься... Амбиціи на радужную, амуніцію на грошъ!.. А со мной почтительнень потому единственно, что Зина — моя наслѣдница. Авось меня хватить сразу параличъ, и въ Купеческомъ банкѣ, на текущемъ, останется нѣкоторая сумма“.

Парменій Никитичъ, хотя и смутно, распознавалъ въ глубинѣ души своей расчетъ порядочнаго человѣка и на этотъ искомый искъ. Разумѣется, онъ не станетъ стороной узнавать, сколько у тестя есть еще денегъ, но увеличеніе капитала Зины возьметъ въ соображеніе, какъ усиленіе своего „базиса“. Двѣсти тысячъ не Богъ знаетъ что, да еще съ привычками Зинаиды Мартыновны! Имѣніе, которое онъ не можетъ не выкупить въ свой родъ, врядъ ли будетъ давать больше пяти процентовъ, если поддерживать усадьбу, а не поддерживать нельзя...

Надо, слѣдовательно, терпѣть тестя, конечно, съ соблюденіемъ возможнаго авторитета. Да и то сказать: чего же и ждать отъ недавняго пансіонера Мамоновой дачи?

По дорогѣ, Ногайцевъ почти безъ умолку болталъ, все больше о женщинахъ. Прежняя тройная форма безпутства—игра, кутежъ и женщины—сошла на двойную, безъ картъ. Сидѣть за столомъ даже и въ азартную игру, даже и въ рулетку, слѣдить за номерами или картами внимательно и держать расчетъ въ головѣ Мартынъ Лукичъ уже не могъ. Пробовалъ, и ему сейчасъ начинало зѣваться. Онъ даже не вѣрилъ, что когда-то деревню цѣлую проигралъ. Отрѣзало!

Но женщины и разливанное море въ ночныхъ заведеніяхъ остались во всей своей силѣ и получили даже новый оттѣнокъ оппозиціи—чему-то и кому-то...

Парменій Никитичъ хорошенько не зналъ еще этого; психіатра, у котораго Ногайцевъ квартировалъ, онъ не видалъ у тестя. Ыхалъ онъ съ Мартыномъ Лукичомъ, впередъ чувствуя, что ему нужна будетъ вся его выдержка. Въ которомъ часу попадетъ онъ домой, предвидѣть нельзя. Въ первый разъ придется ему, быть-можетъ, провести часть ночи не съ женой. Зина утомлена, скучаетъ, пожалуй, посердится. Вѣдь это для нея же... Мартынъ Ногай-

цевъ—ея отецъ. Ну, если онъ мачнетъ скандалить—можно будетъ его и скрутить...

Рынинъ, обдумывая все это, не слушалъ, что болталъ Мартынъ Лукичъ.

— Но глаза у Палаши!...—вдругъ прервалъ его мысли возгласъ тестя.—И Паша тоже глазаста!.. Но все не то!.. Вы ихъ знаете, mon gendre?

— Кого?—спросилъ Рынинъ.

— Да вы гдѣ же были?.. Обдумывали планъ воссоединенія Оракии съ Македоніей?.. Гдѣ это васъ учили, дружокъ, вѣжливости? Человѣкъ моихъ лѣтъ, да еще тесть вашъ, полчаса вамъ рассказываетъ цѣлую исторію, а вы его и не думаете слушать.

Переходъ къ этому окрику, данному въ самомъ безцеремонномъ тонѣ, заставилъ Рынина рѣзко обернуться.

— Извините... да и трескъ экипажа...

— Никакого треска нѣтъ,—возразилъ Ногайцевъ такъ же безцеремонно,—коляска на каучукахъ... да и ѣдемъ мы по асфальту.

Они дѣйствительно ѣхали по верхнему концу Тверской и были уже около Тверскихъ воротъ, по пути въ Грузины, къ Тишанской площади...

— Такъ вы изволили говорить?..

— Я изволилъ не говорить,—перебилъ его Ногайцевъ,—а рассказывать вамъ про двухъ душкановъ—сестеръ Свѣшниковыхъ... Пашу и Палашу... Вы способны не имѣть о нихъ понятія... по состоянію вашей серьезности?..

— Я не знаю ихъ,—сдерживая внезапно овладѣвшую имъ злость на полоумнаго старикашку, отвѣтилъ Рынинъ и улыбнулся...

— Вотъ узнаете сейчасъ... Трактиръ „Македонію“ знаете?

— Нѣтъ.

— А еще святыню Москвы изучаете!

— Какое же отношеніе?!

— Да полноте вамъ высокимъ слогомъ!.. Что вы „моментъ“, что ли, съ ученымъ кантомъ... баллистику и гидравлику проходили? Просто, по армейской кавалеріи состоите, изъ вольнопредѣляющихся были; такъ зачѣмъ же, душа моя, напускать на себя такую важность? Ѣдемъ къ душканамъ... такимъ, о какихъ вы и не вѣдаете!.. И строгостью... по части... сокровища... васъ превзойдутъ... Еще Палаша... ну... та, кажется, споткнулась... годковъ пять

тому назадъ... а Паша... если только эта бестія... Митка-теноръ... Нынче и въ таборахъ съ своими хамами амуры пошли. Но ручки вы у нея будете цѣловать... и на колѣняхъ стоять...

— Я?—изумился Рынинъ.

— Непремѣнно...—растянулъ Ногайцевъ...—и въ трезвомъ, и въ пьяномъ видѣ...

— Въ пьяномъ? Это я же?

— *C'est moi qui vous le dis!*.. Нельзя, дружокъ, все такъ... точно вы, съ позволенія сказать, аршинъ проглотили... Съ нѣмцами собираетесь воевать, а ихъ копируете...

Рынину оставалось одно: снисходительно улыбаться.

— Вотъ и Живодерка!.. Вы должны съ женой вашей изучить и это урочище Москвы... Что... слово удивило? И мы умѣемъ. Такъ трактиръ „Македонія“ вамъ неизвѣстенъ... Это — пупъ земли фараонской... Каждый день, чѣмъ свѣтъ, всѣ хоры здѣсь выручку дѣлать... Мы еще попадемъ... съ ними же и вернемся... на линейкѣ... знаете, тѣ же, что плакальщицъ на кладбище возятъ, съ оранжевой обивкой?..

— Въ которомъ же это часу, смѣю спросить?

Рынинъ перешелъ къ насмѣшливому тону.

— Въ которомъ? Обыкновенно утромъ, часу въ шестомъ или когда священнодѣйствіе отойдетъ... Вотъ вы и наслушаетесь разговоровъ. Если, напримѣръ, вы какой черпомазенькой увлечетесь и отвалите кушъ всему хору, это она сейчасъ—на счетъ... „Полковникъ, молю, съ кѣмъ,—и онъ ему досказалъ на ухо,—съ тобой, что ли?.. Стало, и пай мнѣ не тотъ“...

— Куда прикажете?—спросилъ Ногайцева кучеръ.

— Куда?.. Не знаешь?

— Не могу знать...

— Въ Тишанскій переулочъ.

— Да ихъ, ваше сіятельство, не одинъ.

— Погоди... во второй... домъ Свѣшникова...

— Барышника?

— *C'est ça!*.. У калитки, гдѣ лавочка...

Ногайцевъ нагнулся къ Рынину и добавилъ:

— Это папенька душкановъ, макинъонъ и скотоврачъ. И маменька есть. Родителей больше прибираютъ при посѣщеніи хорошихъ господъ... Сюда—направо!—крикнулъ Ногайцевъ извозчику.

Они остановились у калитки между двумя двухэтажными домами—бревенчатымъ и кирпичнымъ—на штукатурныхъ фундаментахъ.

— Полковникъ, прошу! — пригласилъ Рынина комическимъ жестомъ Ногайцевъ. — Идите прямо, къ галдарейкѣ—я за вами!

Рынинъ вышелъ первымъ изъ коляски и растворилъ калитку.

Между домами, въ глубинѣ двора, грязнаго, полного навоза, былъ родъ навѣса надъ конюшнями. Слева амбаръ, еще сарайчикъ и что-то похожее на кузницу. По двору валялся соръ, солома, обглодки фѣды. Прямо — лѣстница во второй этажъ, какія бываютъ на постоялыхъ дворахъ, съ деревянной же галдарейкой. Внизу, между лѣстницей и стѣной перваго этажа, двѣ женщины съ засученными рукавами и съ приподнятыми подолами стирали бѣлье въ корытѣ. Запахъ мыла и щелока смѣшивался съ остальными испареніями двора.

— Вамъ кого? — окликнулъ Рынина бородатый работникъ, выглянувшій изъ сарайчика. Онъ похожъ былъ на кузнеца или батрака у барышника.

Рынинъ затруднился, какъ отвѣтить.

— Павла Аверьянова, что ли? — спросилъ тотъ же бородатъ.

— Идите, идите, полковникъ! — крикнулъ сзади Ногайцевъ, уже проникнувшій въ калитку.

— Спрашиваетъ, кого намъ?

— А зачѣмъ ему это знать? Ты, любезный, дѣлай свое дѣло.

— Павла Аверьянова вамъ? — продолжалъ любопытствовать работникъ.

— Не Павла Аверьяныча, — деликатно-шутовски отвѣтилъ ему Ногайцевъ. — Прасковью Павловну и Пелагею Павловну.

— Такъ бы и сказали...

Работникъ махнулъ рукой и скрылся въ сарайчикѣ.

— *Montons, mon gendre!* — пригласилъ Ногайцевъ.

И слова „*mon gendre*“ задѣвали Рынина. Онъ чувствовалъ, что тестъ произноситъ ихъ тоже съ зубоскальствомъ, подражая интонаціи парижскаго комика Жоффруа, изъ водевиля „*Le chapeau de paille d'Italie*“, а вовсе не за тѣмъ, чтобы усладить свое отцовское самолюбіе. Онъ самымъ звукомъ какъ бы желалъ сказать: „не больно-то я

въ восхищеніи, что Зина стала подполковницей Рынной“.

Одинъ за другимъ—Ногайцевъ впереди—поднимались они по скользкой, грязной лѣстницѣ съ рѣдкими дощатыми перилами. На галдарейку, довольно широкую, но съ выбитыми стеклами, выходило нѣсколько дверей. И тутъ двѣ женщины, тоже съ засученными рукавами, гладили бѣлье. Бѣгали ребятишки, игралъ съ щенкомъ мальчикъ въ форменномъ сюртукѣ, безъ галстука, взъерошенный, цыганскаго типа.

Мартынъ Лукичъ шелъ, какъ человѣкъ бывалый, знакомый съ мѣстностью. Онъ кивнулъ головой мальчику и спросилъ его на ходу:

— Сестрички дома?

— Дома, пожалуйста,—небрежно отвѣтилъ тотъ.

Вторая дверь отъ лѣстницы вела въ квартиру домохозяевъ. Рынинъ немного нагнулся, входя, вслѣдъ за тестемъ, въ темную переднюю, гдѣ его охватилъ уже другой запахъ; пахло обѣдомъ: щами, жаренымъ картофелемъ и гусемъ.

— Дома?—крикнулъ Ногайцевъ, и въ шляпѣ, не снимая съ себя макферлана,—онъ не измѣнялъ этому покрою,—вошелъ въ комнату, въ родѣ столовой, узкую, заставленную шкапомъ и четырехугольныхъ столомъ.

— Ахъ, это вы!—раздалось два женскихъ голоса, и въ дверь направо скрылся кто-то въ бѣломъ. То была младшая сестра; у стола осталась старшая; въ дверь, въ лѣвомъ углу отъ входа, куталась въ платокъ пожилая женщина въ красной „головкѣ“.

Средину стола занимало недоѣденное блюдо—гусь. На цвѣтной скатерти валялся кусокъ хлѣба; салфетокъ не было; стояли графинъ съ квасомъ и солонка.

— Мартынъ Лукичъ!—встрѣтила Ногайцева старшая сестра Свѣшникова, уже причесанная, въ кретоновомъ модномъ капотѣ.

При видѣ высокаго военнаго, въ густыхъ эполетахъ—Рынинъ хотѣлъ сдѣлать два-три серьезныхъ визита—Пелагея Павловна немного смутилась; но тотчасъ же пригласила гостей сѣсть, даже указала имъ на гуся и пригостила:

— Чѣмъ богаты!

Ей пошелъ уже двадцать восьмой годъ. Днемъ казалось больше, безъ бѣлилъ и румянъ. Станъ былъ суховатъ,

лицо также, но съ прекрасными глазами и правильнымъ носомъ.

— Паша шмыгнула?—спросилъ Ногайцевъ.—Вотъ я ее! Полковникъ! Займитесь съ Палашей... Я сейчасъ.

Онъ взялся за ручку двери въ комнату Паши. Оттуда раздался визгъ. Но это не остановило Мартына Лукича.

— Вотъ какой онъ у насъ—нашъ крестный!

— Вашъ крестный?—переспросилъ Рынинъ и присѣлъ къ столу.

— Онъ у насъ двухъ крестилъ въ хорѣ, мы его крестнымъ всѣ зовемъ.

Рынинъ давно не бывалъ съ цыганками. Тонъ Пелагеи Павловны—очень приличный и немного даже манерный—не удивлялъ его. Сидѣла она передъ нимъ въ позѣ свѣтской дамы, улыбалась сдержанно; низкій тембръ ея голоса чрезвычайно шелъ къ ея степенной, нѣсколько увядшей красотѣ.

— Вы прїѣзжій?—спросила его Палаша, послѣ маленькой паузы.

Ему не захотѣлось сразу говорить ей, что „крестный“—его тестъ; все равно, пускай уже самъ Ногайцевъ его отрекомендуетъ.

Въ комнатѣ Паши продолжались возня, взвизгиванія и раскаты хриплаго голоса Ногайцева.

— Полковникъ!

Изъ двери высунулось красное лицо Мартына Лукича.

— Пожалуйста! Душканъ пеньюаръ надѣлъ... И такіе у насъ контуры и божественное растрепе!..

— Какъ же можно?—хотѣла-было его остановить старшая сестра.

— Не вмѣшиваться! Что за мать-казначей!.. Надъ бѣлищами надзирать... Mon gendre!.. Entrez!

Надо было войти. За Рынинымъ встала и старшая сестра.

Онъ былъ удивленъ контрастомъ столовой и особенно лѣстницы, галдарейки и двора съ спальней Прасковьи Павловны. Вся комната была обита темно-голубымъ атласомъ; кровать съ балдахиномъ; на ней подушки и одеяло не были еще прибраны,—обѣ сестры обѣдали какъ встать, —мебель съ позолотой, два зеркала, мраморный умывальникъ, шифоньерка съ инкрустаціями. Пахло духами, пудрой и неприбранной комнатою.

— Что вы, что вы?.. —стыдила Прасковья Павловна Ногайцева и указывала рукой на Рынина.

Ногайцевъ держалъ ее за талию и указывалъ свободной рукой на ея личико входившему зятю.

— Бакоть душканъ! А? Видали лучше? А? *Etudiez cela, mon cher! Янтарный персикъ. Брови, волосы, ротъ...*

— Да полно вамъ!—продолжала отбиваться Паша.

Рыницъ невольно засмотрѣлся на нее: онъ давно не видалъ такой прелестной наружности. Паша была немножко меньше ростомъ старшей сестры, стройна, съ волнистой линіей спины. Рѣсницы ея черно-синихъ глазъ кидали бархатный отливъ на зрачки; волосы, безъ рѣзкой цыганской черноты, пушистыя, нѣжныя щеки и чудесные зубы, даже для цыганки, дѣлали изъ нея породистую женщину, только что вошедшую въ обладаніе своей красотой.

Пеньюаръ изъ нѣжнаго цвѣта тафты, съ кружевомъ, оставлялъ до половины обнаженными смугловатыя руки и падалъ на коверъ цѣлой кучкой складокъ и оборокъ...

— Рекомендую,—указалъ ей Ногайцевъ на Рынина.— Мой зять... мужъ моей дочери, Зины. Она вѣдь красавицей считается. А ты, душканъ, сегодня же покажи этому...

— Пустите, крестный!—просилась Паша.

— Пушу, пушу!.. Только съ уговоромъ: мы съ вами.

— Куда?—спросила Паша, мѣняя сейчасъ же тонъ.

— Въ Паркъ! У насъ ландо; васъ обѣихъ на почетное мѣсто.

— Рано...

Паша сдѣлала гримасу.

— Обѣдать.

— Мы уже кушали...

— Еще покушаете!.. Извольте одѣваться. Палаша!—крикнулъ Ногайцевъ въ столовую, — вѣдь ты набольшій. Нечего тутъ... Уберите вы мнѣ этого гуся... Не могу запаха выносить!.. Живо одѣваться!.. А чааламъ сказать, чтобы тотчасъ же послѣ обѣда... къ Натрускину, въ „Мавританію“. Наверху, въ большой комнатѣ.

Обѣ сестры рѣшительно возстали противъ обѣда и поспѣшнаго туалета. Онѣ такъ не привыкли. Да и куаферъ не пришелъ, и Пашиной юбки съ прошивками не принесла прачка, и еще приведены были какіе-то доводы. Мартынъ Лукичъ сначала слушать не хотѣлъ, а потомъ, когда Палаша заговорила съ нимъ построже, немного притихъ—онъ былъ еще совсѣмъ трезвый—и согласился ѣхать съ Рынинымъ вдвоемъ въ Паркъ, тамъ обѣдать,

но чтобъ къ девятому часу были всѣ „чавалы“ налицо. Раньше, чѣмъ они обыкновенно являются.

Сестры общали, что все будетъ исполнено. Въ Грузинахъ Мартынъ Лукичъ опять былъ въ почетѣ; всѣ знали, что онъ доканчивалъ новое наслѣдство. Онъ не сразу удалился отъ сестеръ Свѣшниковыхъ; водилъ Рынина и въ будуаръ Палаши, отдѣленный гораздо проще, кретомомъ, потомъ и къ „тапан ла маquignonne“, какъ онъ называлъ ихъ мать, выдалъ ей Рынина за сербскаго министра, началъ съ ней переговариваться по-цыгански, отчего та все закрывала себѣ глаза ладонью, и подь-копецъ стала толкать его къ двери.

По дорогѣ въ Паркъ, Парменій Никитичъ вступилъ съ тестемъ въ болѣе игривый разговоръ. Онъ былъ доволенъ хоть тѣмъ, что въ Грузинахъ все обошлось довольно еще прилично. Обѣдать ему хотѣлось. Воздухъ за городомъ обдавалъ его пріятной свѣжестью. Они незамѣтно доѣхали до „Мавританіи“, гдѣ онъ никогда не бывалъ.

Дальше пошло совсѣмъ не такъ, какъ онъ желалъ. Къ обѣду, заказанному навсрху, въ большой комнатѣ, Мартынъ Лукичъ пригласилъ неизвѣстно откуда явившихся гостей: троихъ мужчинъ, незнакомыхъ съ Рынинымъ, — ему даже показалось — подозрительнаго вида, — должно-быть, изъ того времени, когда Ногайцевъ жилъ, какъ онъ самъ выражался, „ярыжнымъ дворяниномъ“, передъ своимъ сумасшествіемъ. Одного изъ нихъ онъ назвалъ по фамиліи, другихъ даже и не представилъ, и прибавилъ:

— Потолкуйте, кто кого закидаетъ высшими взглядами... Это, братъ — указалъ онъ на гостя, — человекъ съ перомъ.

„Человѣкъ съ перомъ“ смотрѣлъ на оцѣнку Рынина странно: не то купецъ изъ Ножовой, не то приказчикъ изъ нѣмцевъ, не то судебный приставъ. Красное лицо съ лоскомъ на щекахъ, свѣтлорусая борода, улыбка сидѣльца и очень пестро одѣтъ; волосы острижены подъ гребенку, лѣтъ за сорокъ.

Всѣ они, и Ногайцевъ съ ними, заговорили своимъ особеннымъ лзыкомъ, съ московскими остротами и анекдотами. Сразу принять участіе въ ихъ разговорѣ и попасть въ тонъ было не легко, но Рынинъ старался. Онъ не отставалъ ни отъ чего, въ ѣдѣ и напиткахъ. Между закуской, гдѣ было выпито много всякихъ смѣсей изъ водокъ, горькихъ и сладкихъ, и обѣдомъ, уже явилось шам-

панское, прямо въ стаканахъ, и тарелки съ кусочками тонко наръзаннаго чернаго хлѣба, поджареннаго въ маслѣ и посыпаннаго солью. Всѣ стали это грызть и пить шампанское какъ квасъ. Ногайцевъ видимо желать напоить зятя. Рынинъ не отказывался ни отъ чего; въ немъ заговорило тщеславіе бывалаго участника кутежей, славившагося тѣмъ, что его нельзя перепить.

Обѣдъ прошелъ въ томъ, что Мартынъ Лукичъ пьянѣлъ и дѣлался съ каждымъ блюдомъ безцеремоннѣе со своимъ зятемъ. Онъ уже не иначе его называлъ, какъ „македонскій принцъ“, или „недоваренный моментъ“, или „перевернутый прусскій майоръ“, и раза два пригласилъ его изложить имъ всѣмъ программу будущаго переворота на Балканскомъ полуостровѣ, а потомъ—своего министерства. Всѣ хохотали. Рынинъ, блѣдный отъ выпитыхъ водокъ и винъ, сдержанно усмѣхался и продолжалъ испытывать свою выдержку.

Мартынъ Лукичъ, дойдя до извѣстнаго градуса опьянѣнія, больше уже не хмелѣлъ. Болтовня его принимала все больше и больше задорный характеръ, гдѣ зять служилъ ему только мишенью: и изъ-за него онъ притягивалъ къ отвѣту и все, чтѣ, по его мнѣнію, „Петрушкина комедія“. Рынинъ тутъ только распозналъ, какъ его полоумный тестъ презираетъ всякое „модничанье“ и „ерыганство“ насчетъ высшей политики, тотъ именно строй идей, домогательствъ и плановъ, какому онъ, Парменій Никитичъ, начиналъ теперь служить сознательно и преданнѣренно.

— И либералишки, блудословы,—хрипѣлъ Ногайцевъ за десертомъ,—и вотъ эти спасители отечества,—онъ тыкалъ пальцемъ туда, гдѣ сидѣлъ Рынинъ,—трехпрогонные!.. Только тотъ, настоящій-то трехпрогонный,—человѣкъ съ перомъ“ захохоталъ, поймавъ сейчасъ намекъ,—былъ ужъ какъ есть заплечныхъ дѣлъ мастеръ, а эти, пынѣшніе-то, все въ Биконсфильды лѣзутъ да въ Бисмарки! На все у нихъ свое возрѣніе. Вотъ и Москву они намъ особенную сочиняютъ... Полковникъ уже побывалъ у своихъ набольшихъ... какъ же... ѣздилъ представляться... Съ регаліями, и Такову второй степени надѣлъ, и черногорскаго... какъ, бишь?.. Ну, да шутъ съ ними!.. А потомъ со Страстнаго, тѣмъ же аллюромъ, и на Спиридоновку... Сочинили Москву—совсѣмъ не ту, не нашу... Вотъ Москва!—закричалъ онъ и всталъ.—Мы вамъ, полковникъ,

покажемъ... что такое настоящая Москва. Ицки явились?—
вдругъ спросилъ онъ у главного лакея.

— Музыканты?

— Да.

— Внизу-съ...

— Пригласи сюда!

Пришелъ цѣлый оркестръ, человекъ около пятнадцати музыкантовъ-евреевъ. Ногайцевъ приказывалъ что играть, потому въхватилъ у перваго скрипача смычокъ и сталъ самъ дирижировать. Оркестръ смѣнилъ хоръ казацкихъ трубачей. Рыпинъ начиналъ уже сомнѣваться въ томъ, сохранить ли онъ свою выдержку; въ головѣ его сильно затуманилось; презрительная злобность противъ тестя переходила въ болѣе животненныя проявленія его натуры; ему захотѣлось самому чего-нибудь буйнаго, безстыднаго... такого, гдѣ бы можно было, гдѣ бы стоило выказать свою силу, дерзость...

Ногайцевъ заставилъ дирижера казацкаго хора, изъ нѣмцевъ, взять корнетъ-а-пистонъ и играть марсельезу; кто-то аккомпанировалъ на фортепьяно. Всѣ начали пѣть; за ними и Рыпинъ.

— Га-га!—загоготалъ Ногайцевъ.—Вотъ это чудесно!.. Нѣмецъ въ казацкой формѣ дуетъ марсельезу!.. И на Бисмарка, каналья, поди, молится?! И полковникъ... Зины-кривляки супругникъ—тоже... А самъ въ Бисмарки мѣтитъ... Вотъ она, Москва-то... настоящая... Орда!.. И вы—ордынцы... потому и на Европу гнѣвается... Азіаты... а туда же спасать человѣчество!..

Рыпинъ, уже съ сильнымъ туманомъ въ головѣ, выдѣлывалъ горломъ:

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!"

Мартынъ Лукичъ приказалъ прямо отъ марсельезы перейти къ „камаринской“, и „человѣкъ съ шеромъ“ началъ выдѣлывать съ нимъ трепака, съ присядкой, оба безъ сюртуковъ.

Во время пляски появились цыгане. Рыпинъ помнилъ, что комнату, полную теперь вина, табачнаго дыма, грохота, оглашала команда Ногайцева:

— Чавалы!.. Въ кругъ!.. Душканы—въ центры!.. Сюда!.. Починъ дѣлай съ „Йвушки“!..

Сестры Свѣшниковы сѣли посрединѣ. Паша была въ дорогой нарядѣ, съ цвѣткомъ въ волосахъ, соблазни-

тельно хороша и очень изящна. Палаша—въ черномъ, тоже съ цвѣткомъ; смотрѣла она свѣтской дамой. Рынинъ очутился между ними послѣ того, какъ пропѣли двѣ хоровыя пѣсни. Помнилъ онъ, что прилаживался къ персиковой щекѣ Паши, что къ ней приставалъ одинъ изъ гостей, совсѣмъ уже „готовый“, что ему захотѣлось оттолкнуть его и даже взять за шиворотъ, да Паша съ кроткой улыбкой сказала:

— Оставьте его, полковникъ, развѣ стѣить?..

Онъ удивлялся выдержкѣ обѣихъ сестеръ: какъ онѣ отдѣляются отъ слюнявыхъ приставаній, подѣлуевъ, щипковъ, и такъ каждый день; шампанскаго не пьютъ, сидятъ среди всей этой оргіи, причесаны какъ на балу, чистоплотныя, улыбаются, любятъ деликатные разговоры...

Помнилъ онъ, что къ Пелагеѣ Павловнѣ присѣлъ другой гость и сталъ ее гладить по рукѣ, но не лѣзъ цѣловаться, и тотъ обратился къ нему съ цѣлой рѣчью, гдѣ доказывалъ, что лучше не можетъ быть жены, какъ цыганка, вотъ такая, какъ Пелагея Павловна, или сестра ея, Паша, что онъ къ ней сватается и мечтаетъ о томъ, какъ вотъ такая жена, въ батистовомъ капотѣ, выйдетъ въ столовую и изъ собственныхъ рукъ поднесетъ ему чашку кофе.

— Да вы только сообразите,—слушалъ Рынинъ,—изучите этихъ вотъ дѣвицъ... и какое же сравненіе... съ нашими барышнями, хотя бы самыми... тонными!

— Des gommeuses, кривляки!—злобно выговорилъ Рынинъ, и подумалъ о своей женѣ.

— Именно... У нихъ—одна гистерія и фанаберія, а въ этихъ все для услажденія хорошаго мужа.

Рынинъ внутренне согласился съ этимъ, неизвѣстно какого сорта человѣкомъ, очень пестро одѣтымъ. Онъ даже съ азартомъ выпилъ стаканъ, поданный ему татаринѣмъ, и опять прикоснулся горячими губами къ щекѣ Паши и ближе къ ней примостился, взявъ ее за руку и подцѣловалъ... Черезъ двѣ минуты хоръ подхватывалъ:

„За любовь мою, въ награду,
Ты мнѣ сердце подари,
Я помчуся съ нимъ въ Гренаду
На крылахъ моей любви!“

У Паши хорошаго голоса не было; она только подтягивала. Рынинъ увидалъ себя почти на колѣняхъ и гладилъ ее по плечу,—накидку она сняла,—гдѣ въ кружев-

пныя прошивки глядѣла ея круглая, атласистая, твердая и смугловатая рука только что расцвѣтшей красавицы.

— Га... га! — раздалось опять гоготаніе Ногайцева. — Папъ полковникъ!.. Что я тебѣ, братецъ, пророчилъ? Руки лизать?! На колѣняхъ стоять? Спасибо, душканъ!..

Рынинъ быстро сѣлъ рядомъ съ Пашей.

— Нечего оправляться, — гоготалъ Ногайцевъ, — передъ такими душканами слѣдуетъ на колѣнки... Полковникъ! И вотъ что вамъ скажу: вѣдь цыганскій хоръ — это ни дать, ни взять, какъ у насъ въ мондѣ... женщины милыя бываютъ, хотя и не всѣ, а мужья... чавалы... хамы, вонъ тѣ, что сзади-то подтягиваютъ себѣ въ галстукъ... Ха-ха!.. „Человѣкъ съ перомъ“ захопалъ и закричалъ:

— Браво!

Мартынъ Лукичъ дѣлался все остроумнѣе. Рынинъ замѣчалъ это съ досадой. Самъ онъ ничего что-то не умѣлъ выдать изъ себя, ни злого, ни игриваго... Хмель дѣлалъ его тяжелымъ. Ногайцевъ могъ теперь и не такъ еще за дѣвать его, и онъ не въ состояніи будетъ отвѣтить ему такъ же находчиво. Разсердиться, сказать дерзость — будетъ глупо: это онъ отлично сознавалъ.

Туманъ въ головѣ все густѣлъ. Пѣніе, чадъ, пылающія щеки Паши, взвизгиваніе старыхъ цыганокъ начали обволакивать его точно пеленой. Онъ все чаще смѣялся, что-то такое шепталъ Паши, въ чемъ-то ее уговаривалъ...

Помнилъ онъ то, что Палаша, справа, сказала ему на ухо:

— Вы, полковникъ, пошли бы отдохнуть... вонъ тамъ... наши дѣвочки чай пьютъ... Освѣжаются!..

За эту идею онъ ухватился и засѣлъ въ углу боковой комнаты, на диванѣ, съ молодыми цыганками, которыя поплосе. Тутъ же былъ и одинъ изъ пріятелей Ногайцева, съ калмыцкими глазками, безъ сюртука. Онъ ихъ всѣхъ зналъ поименно, заставилъ пѣть въ четыре голоса, не цыганскія — простыя, слободскія пѣсни, какія поются у Калужской сѣставки фабричными работницами. Это пѣніе, вмѣстѣ съ крѣпкимъ чаемъ, подѣйствовало на Рынина освѣжающе; онъ выпилъ стакановъ пять, полулежа на диванчикѣ.

Когда въ головѣ у него значительно прояснилось, онъ вдругъ сообразилъ, что очень поздно, и схватился за часы.

Шелъ четвертый часъ. Пачинало брезжить. Это его за-

ставило встать. Въ большой комнатѣ хоръ смолкъ; старыя цыганки угощались остатками пира; мужчины нѣкоторые сошли внизъ, другіе стояли на лѣстницѣ. Разговоры велись вполголоса.

Рынина эта тишина озадачила. Неужели Ногайцевъ уѣхалъ? Вдругъ какъ ему придется платить за тестя! Огъ Мартына Лукича можно было всего ожидать.

Онъ тревожно оглядѣлъ комнату.

За пианино, у стѣпы, на диванѣ, прастяжку, лежалъ Ногайцевъ; его голова покоилась на колѣняхъ у Паши. Она сидѣла все съ той же улыбкой и перебирала машинально пальцами по его лыснѣ. Раздавался храпъ.

„Такое животное!“—выбранился про себя Рынинъ, и его сейчасъ же потянуло вонъ. Какъ онъ могъ такъ долго оставаться съ этимъ старымъ безпутникомъ, участвовать въ кутежѣ, цѣловать руки у цыганки? И на глазахъ прислуги, военного хора трубачей и всѣхъ этихъ пріятелей Мартына Лукича!..

— Извозчика!—приказалъ онъ лакею.

Оставить Ногайцева онъ ни на минуту не задумался. Тутъ были его пріятели. Пускай и везутъ его. Еще подниметь, пожалуй, драку, при расчетѣ. И что онъ долженъ былъ истратить?.. Трудно было и приблизительно опредѣлить... Нѣсколько сотенныхъ, померѣнно.

Лакей доложилъ ему, что извозчиковъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?—крикнулъ сердито Рынинъ.—Достаты!

— Невозможно!

— Да какъ же всѣ отсюда выберутся?

— Да которые господа засидѣлись, у тѣхъ свои извозчики. Тѣ господа,—лакей указалъ на гостей Ногайцева,—уже не знаю, какъ вернутся... развѣ съ цыганами, на липейкахъ. Коляска одна—Мартына Лукича.

На дворѣ совсѣмъ уже стало свѣтать. Бѣгство было невозможно. Рынину приходилось ждать пробужденія тестя.

Оно произошло не больше, какъ минутъ черезъ десять. Мартынъ Лукичъ протеръ глаза, поднялся, поцѣловалъ Пашу, что-то такое пробормоталъ и увидалъ передъ собою длинную фигуру зятя.

— Mon gendre! Détalons! Пора и душканамъ спать... Вы, тамъ!—крикнулъ онъ въ уголь, гдѣ цыганки затинули опять какую-то фабричную пѣсню,—молчать! Что за гадость! Мастеровщина кабацкая!..

Тѣ сразу замолкли.

— Счеты!

Счетъ былъ уже на столѣ. Лакей подаль его. Рынинъ видѣлъ, какъ Мартынъ Лукичъ досталъ изъ кармана большого формата бумажникъ и, вынувъ изъ него пачку сто-рублевыхъ, положилъ на тарелку и скомандовалъ:

— Маршъ!..

Лакей побѣжалъ внизъ. Погайцевъ, пошатываясь, обнялъ еще разъ Нашу,—глаза у нея уже посоловѣли—отъ сидѣнія, не отъ вина,—подвелъ ее къ зятю, подмигнулъ ему и щелкнулъ языкомъ:

— Хорошъ персикъ?.. Что жъ ты зѣвалъ, папъ пулковникъ?.. Не прогнѣвайся... провожать ты будешь не душкана, а меня... Облизнись!..

Лакей принесъ сдачу изъ нѣсколькихъ бумажекъ и счетъ.

— Возьми!—сказалъ ему Погайцевъ.

Рынинъ взглянулъ на счетъ. Цифра въ шестьсотъ слиш-комъ рублей—тутъ была и плата за три хора—кольнула его. Онъ ничего, однако, не сказалъ, взялъ даже подъ руку тестя и свелъ его внизъ. На нихъ накинули пальто, пока они спускались оба съ лѣстницы.

На дворѣ стояла дѣйствительно одна всего коляска и нѣсколько дрогъ для цыганъ съ ярко-цвѣтной обивкой сидѣнія. Почной воздухъ заставилъ ихъ обоихъ встряхнуться. Усаживали ихъ лакеи. Рынину казалось, что онъ былъ уже совсѣмъ трезвъ. Тестъ сейчасъ же задремалъ и во снѣ что-то началъ бормотать. Голова его все тыкалась въ правое плечо зятя. Рынину захотѣлось каждый разъ отшпихнуть его. Досада на себя дѣлалась все острѣе. Пошелъ уже пятый часъ. Послѣ такой ночи, гдѣ безпутный тестъ позволилъ себѣ, въ теченіе чуть не десяти часовъ сряду, такъ вышучивать его, онъ рискуетъ еще испытать сцену дома, особенно, если Зипѣ нездоровилось, и она его начала ждать, не могла долго заснуть.

Въ Паркѣ Погайцевъ продолжалъ спать и такъ крѣпко, что шляпа раза два слетала съ головы, и Рынинъ принужденъ былъ поднимать ее у себя подъ ногами. Только что они выѣхали на шоссе, Мартынъ Лукичъ проснулся вдругъ, даже выпрямился, поправилъ на головѣ шляпу и спросилъ:

— „Яръ“ проѣхали?

— Никакъ нѣтъ,—отвѣтилъ кучеръ.

— Возьми лѣвѣе... вонъ тамъ двѣ дачи... у второй, на шоссе, остановись.

— Куда это?—строго выговорилъ Рынинъ.—Вы съ ума сошли!

— Сходилъ, полковникъ, сходилъ, но теперь не беспокойтесь, — отвѣтилъ Мартынъ Лукичъ и самодовольно расхохотался.—Я заверну... къ кумѣ... Видите, топ cher, въ угловомъ окнѣ, во второмъ этажѣ, есть, что ли, лампадка?

— Ничего я не вижу,—выговорилъ Рынинъ и нахлобучилъ фуражку.

— Ну, такъ я слѣзу... Стой!..

Кучеръ сдержалъ лошадей.

— Какъ же я доѣду?—спросилъ Рынинъ.

— Не бойтесь... Не покину васъ... Минутку подождите... Я справлюсь—можно ли...

Онъ не договорилъ и слѣзъ на шоссе, отворилъ калитку и исчезъ. Ждалъ Рынинъ не долго. Погайцевъ отъ калитки крикнулъ ему:

— Довези этого барина до „Дрездена“, а за мной завтра въ девять часовъ.

— Сегодня!—поправилъ его Рынинъ.—Прощайте!

Въ отвѣтъ послышался смѣхъ Погайцева, очень веселый и довольный. Ему, конечно, было пріятнѣе, чѣмъ его зятю.

Всѣ итоги сегодняшней поѣздки въ Грузины и Паркъ еще разъ пронеслись въ головѣ Рынина. За свой видъ онъ не боялся; но все-таки вернется домой въ пять часовъ, если не въ половинѣ шестого.

Когда онъ дозволился и швейцаръ впустилъ его, онъ узналъ, что съ Зинаидой Мартыновной случился припадокъ ночью; докторъ былъ два раза. Пришлось лечь въ особомъ номерѣ; горничная къ женѣ его не пустила: та только что успокоилась и заснула на разсвѣтѣ...

Черезъ два дня Рынины выѣхали въ имѣніе.

Конецъ первой части.



Оглавление III тома.

	стр.
По чужимъ людямъ. Разсказъ	3
За красненькую. Разсказъ	47
Послѣдняя депеша. Разсказъ.	90
Три афиши. Разсказъ	101
Голубой лифъ. Разсказъ	146
У плиты. Разсказъ	181
ИЗЪ НОВЫХЪ. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть первая. .	217

